

АРТ БУХТА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СПЕЦВЫПУСК:
РОССИЯ-КАЗАХСТАН



3

2014

АРТ БУКТА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ



Москва
2014

ББК 84 Р7
А 86

Литературно-художественный альманах «**Артбухта**» № 3.
Международный спецвыпуск: Россия-Казахстан.
М.: 2014, – 512 с., илл.

В альманахе представлены рассказы, стихи, документальная проза, культурологические статьи. Большинство произведений публикуется впервые.

ISSN 2308-4502

ББК 84 Р7

© АНО «Продюсерская компания «Артбухта»»
© Редколлегия альманаха «Артбухта»
© Авторы альманаха, текст
© Борис Шварёв, оформление

ISSN 2308-4502

Все мы однажды почему-то уверились, будто ходим по кругу, запертые в пространстве своих вечных «кто виноват?» и «что делать?». Почувствовав себя и в тесноте и в обиде, мы изо всех сил рвались на «свободу», требовали «воли», грезили о невиданных новых горизонтах, жаждали напиться из мировых творческих океанов.

Вывались. Глотали впопыхах, ещё и ещё, и всё черпали, не разбирая, и не могли утолить жажды: то ли колодец души оказался бездонным, то ли наполняли мы его из решета, то ли душу в увлечении, как водится, с чем-то другим перепутали...

Отравились. Разуверились. Оглянулись. А вокруг — однополярный мир, в котором есть ли у кого-то шанс не очутиться «в загоне»? И — дальше что?..

Книга, которую вы сейчас держите в руках, создана совместными усилиями писателей Казахстана и России. В последнее время выпущено несколько российско-казахстанских спецвыпусков - «Юности», «Дружбы народов», «Москвы». В каждом из них подчеркивается межгосударственная значимость публикации, приводятся приветственные слова политиков и послов, торжественность подачи должна захватывать дух.

А нам вот захотелось просто сесть и тихо поговорить. Не о межгосударственном, а об общем. Мы не станем брать в собеседники всё человечество, а пообщаемся в тесном кругу - русские и казахи.

Поговорим о Человеке, о семье, о Творчестве. И - о... животных, которые служат нам верой и правдой на нашей общей земле. Что они могут рассказать нам о нас? Об этом статья Ольги Абишевой «Путешествие в край аруаны», об этом же — трагическая повесть Смагула Елубая «В загоне», и жестокий рассказ Аскара Алтая «Сорока-киллер», и тонкая самоироничная миниатюра Владимира Гути «Путь пса», и мистическая поэма Ирины Макаровой «Цаган Ава — Огненное дыхание». Эта поэма - апофеоз духа, где утверждается единство всего сущего, - достойно предворяет ключевую, даже корневую вещь этого номера «Артбухты» - «Глиняную книгу» Олжаса Сулейменова.

«Глиняная книга» - это поэма о великой любви и о том, что мы навсегда утратили и чего утратить невозможно. Она написана почти полвека назад. Ни по форме, ни по исполнению, ни по наполнению «Глиняная книга» не имеет аналогов в мировой литературе. Тем не менее мы публикуем ее впервые в России, по первому, советскому, изданию 1969 года. Тогда поэма вышла в Алма-Ате в одноименном

сборнике поэм, которые представляли собой единое целое. У некоторых россиян эта книжечка осталась только благодаря тому, что мы жили когда-то в одной стране.

В Казахстане «Глиняная книга» опубликована не так давно, отдельным изданием, но — с купюрами. Полагая, что политкорректность не стоит того, чтобы ломать смысловую и художественную целостность произведения, мы даем полный вариант по старому советскому изданию. Да, «Глиняная книга» - дерзкая! Такой она и должна оставаться.

В традиционном нашем разделе «На золотом крыльце» вы найдете статью Аллы Марченко об этом удивительном произведении Олжаса Сулейменова, после которой, возможно, захотите перечитать поэму еще раз... или не раз.

В альманахе, как всегда, разнообразие авторов и тем, а также эксклюзивных публикаций. Интервью с Новеллой Матвеевой и с Юрием Арабовым. Впервые публикуемые записки русского философа и писателя Василия Розанова. Воспоминания об актере Евгении Леонове. Своё участие в Великой Отечественной войне вспоминает российский историк и литературовед Леонид Аринштейн.

А еще у нас появился новый раздел — «лирико-юмористическая проза». Или... новый жанр? Туда вошли остроумные рассказы и наблюдения наших прозаиков, а также афоризмы Бауржана Тойшибекова.

Желаем вам приятного и полезного общения с представленными авторами!

Мы выражаем глубокую благодарность за помощь в подготовке номера редакции литературно-художественного журнала «Простор» и лично главному редактору Валерию Михайлову, а также Газизу Насырову, Дидару Амантаю и Вячеславу Киктенко.

П О Д О Р О Г Е

ΠΑΡΗΑΣ

α

β

ο

π

ρ



Вершина Есбая

Никогда прежде и прийти не могло в голову Есбая, что его слово никакого значения не будет иметь ни для жены, ни для сына. С тех пор как потерял слух и зрение, он стал привыкать к одиночеству и как бы в полузабытии бесцельно бродил по дому или по двору, никого не замечая и никем не замечаемый. Жена его Сана целыми днями бестолково металась по хозяйству, всем своим видом выражая решимость заставить всех и вся вокруг повиноваться ей. В последнее время она даже советоваться перестала с мужем, как будто его и не было. Слабый слух Есбая улавливал, как эта несдержанная вздорная женщина и их сын, недавно женившийся, постоянно из-за чего-нибудь ругаются. Сана считает, что напрасно она выпросила у Всевышнего сына, толку от этого никакого. Есбая тоже огорчает поведение Жасыбека, который только и знает, что, будто привязанный, ходит вокруг своей молодой жены, уж не тронулся ли он умом. В самом деле, почему бы ему не быть более почтительным к родителям, да и снохе подсказать, чтобы она оказывала им по обычаю почет и уважение.

Согласие и мир будто покинули их семейный очаг, каждый живет сам по себе. И Есбаю ничего не осталось, как предаваться своим невеселым размышлениям. Разве мог он подумать, что его старость будет настолько безрадостной. Печаль и грустные раздумья оставили свой отпечаток на морщинистом лбу старика. Неподвижная, густая с проседью борода и потерявшие блеск глаза, долго озирающие вокруг из-под узких щелок, весь его облик как бы выражал застывшую, безжизненную форму.

Старик подолгу лежит то на одном, то на другом боку, отвернувшись от окружающей его и так надоевшей действительности, временами поглядывая в сторону дверного проема юрты, и размышляет над тем, как же неразумно и бесцельно проводят дни его сын со снохой. Вот и теперь видит он, что сноха сидит на порожке, и руки у нее ничем не заняты. А вот и сыночек Жасыбек все кружится вокруг жены, и оба что-то с жаром громко обсуждают. Что-то здесь не так, подумалось Есбаю, видно, разговор у них важный.

— Да что это вы там опять заспорили?! — раздался визгливый голос жены. Не нравится Есбаю, что старуха, как из ума выжившая, забывает проявлять сдержанность хотя бы перед снохой. Не пони-

мает она, где-то ей по-матерински и мудрость проявить бы надо, да и сын весь в свою мать — никогда не смолчит, вот и бранятся они целыми днями.

Одно утешает старика: средний сын Мылтыкбай и к отцу с почтением относится, и с людьми обходительный. Да и дело нашел себе по душе — с любовью ухаживает за Карагером, мечтает вырастить из этого молодого коня хорошего скакуна.

Взгляд опять упал на Жасыбека. Да-а, у этого одно занятие, ни на шаг не отходит от жены, как будто других дел нет.

— Жасыбек! — Есбай охрипшим голосом позвал сына.

— А, — невозмутимо отозвался тот, и не думая подойти к отцу.

Видя это, старик повысил голос, на что Жасыбек недовольно ответил:

— Ну что тебе надо от меня?

— Да подойдешь ты, наконец, или нет, ноги тебе отказали, что ли, — разгневался Есбай.

Жасыбек вскочил, подошел к двери и посмотрел на отца, всем своим видом выражая нетерпение:

— Ну что тебе, отец?

Есбай долго разглядывал сына, как будто только что его увидел. Под слезящимся взглядом отца Жасыбек почувствовал себя неуютно.

— Что ж ты, сын мой, как будто тебя привязали арканом, ходишь вокруг своей жены? — обратился Есбай, думая о том, как бы ему вразумить сына.

— Ну что ты пристал, отец, — попытался отмахнуться от разговора Жасыбек. Его светлое продолговатое лицо покраснело от смущения.

— Да сколько можно на это смотреть? Целый день слоняешься без дела, из-за этого и с матерью ругаетесь, горе ты мое, — продолжал браниться Есбай.

— Всем я мешаю в этом доме, куда деваться, уж не знаю, — обиделся на слово отца Жасыбек.

Есбай помолчал, опять долгим взглядом посмотрел на сына и решил дать совет:

— Ты не смотри, что я сейчас такой беспомощный, было время, когда мое слово было законом и для такой своенравной женщины, как твоя мать. И ты должен знать, где жену и приласкать, а где и побить надо, чтобы она уважала своего мужа.

— Отец, наше время с вашим не сравнить, — не согласился Жасыбек, нетерпеливо поглядывая на улицу.

— А что случилось с вашим временем, о какой разнице ты говоришь? — решил допытаться Есбай у сына. Но тот не стал ничего доказывать, махнул рукой и вышел из юрты.

Есбай собрался было вернуть Жасыбека, но потом раздумал и, неподвижно уставившись взглядом в пол, мысленно продолжал разговор с сыном: «Что этот умник знает, возомнил себя неизвестно кем, учить меня собрался. Видите ли, времена сейчас для него другие. Лучше бы жену свою заставил себя уважать. И когда разум войдет в его голову?».

Мысли его вдруг прервал голос жены:

— Эй, старик, послушай меня.

Есбай вскинул голову. По виду Саны он понял, что у нее к нему важный разговор.

— Говори, слушаю тебя, — ответил Есбай.

— Улежся здесь, как камень, так и лежит целый день неподвижно. Сыночек-то наш отделиться собрался.

Сообщив мужу новость, Сана преобразилась и всем своим видом выражала покорность жены, для которой главное — решение главы семьи.

«Что-то непохоже это на нее, вот и глаза потупила, чтобы не выдать свое пренебрежение ко мне, — подумал Есбай. Он давно уже махнул рукой на свои попытки разгадать все хитрые уловки Саны, поняв, что это дело бесполезное. — Так, на всякий случай зашла узнать, что я об этом думаю. И сейчас ей мой совет не нужен совсем, она сама все решит», — заключил свои мысли Есбай. Пристальным взглядом он долго разглядывал сидевшую перед ним Сану. Это молчаливое разглядывание собеседника вошло у него в привычку с тех пор, как зрение стало совсем слабым. Ему приходилось теперь напрягать беспомощные зрачки, чтобы рассмотреть выражение лица собеседника, понять по его виду, что ему от него требуется.

Затем Есбай принял суровое выражение, лицо его побагровело, что всегда означало нарастающий гнев, и он с раздражением обратился к жене:

— Ну и что ты теперь от меня хочешь?

— Как что я хочу? — набросилась Сана в ответ. — О Создатель, за что мне такая доля, ни от детей, ни от мужа нет радости. Уж лучше бы ты поскорей забрал меня к себе, чем так мучиться на этом свете.

Есбай приподнялся, сел и, слушая поток жалоб жены, доносившихся уже с улицы, вспомнил, что всю их совместную жизнь Сана была такой же сварливой, постоянно искала повод, чтобы наброситься с руганью на кого-нибудь, и остановить ее было потом невоз-

можно. В ауле нрав его жены был всем известен, над Есбаем посмеивались, что ему приходится быть вечной ее жертвой. Тогда ему, в то время молодому крепкому джигиту, приходилось, как и сейчас, молча сносить брань Саны и насмешки окружающих, потому что поднять руку на жену как-то не решался. Да и старая мать Есбая удерживала сына от семейных скандалов.

— Сын мой, что уготовано судьбой, тому надо быть покорным. В нашем роду женщины никогда не подчинялись своим мужьям. И я не всегда была покорной твоему отцу, смирись уж с этим, — говорила она.

Теперь Есбаю понятно, что матери хотелось сохранить семейный очаг сына, и любящее материнское сердце старой женщины готово было терпеть любое унижение от вздорной снохи. Не обида, а сожаление о неудавшейся семейной жизни охватили теперь Есбая. «Не сама старость тяготит, а неуважение к твоим сединам, — подумал старик. — Не знаю, смогу ли я и дальше выносить все это».

И вновь он погрузился в свои невеселые раздумья. «Деваться все равно некуда, хочешь — не хочешь, а придется, видно, и дальше терпеть. Одна надежда, что Создатель призовет к себе, тогда сразу от всех жизненных тягот освобожусь. «Не продлевай моих страданий, прошу тебя», — мысленно обратился Есбай ко Всевышнему, затем прислушался к тому, что происходит за стенами юрты. Похоже было, что Сана успокоилась, слабый слух старика не уловил поблизости ее обычных криков.

Воспоминания о молодых годах снова овладели им. Кажется, совсем недавно он был ловким молодым джигитом, вся округа уважала его за победы в состязаниях кокпар¹. Конечно, были у него и завистники, и недоброжелатели, но никто не смел открыто высказать ему свое недовольство. Один только недотепа Тойшибай, пользуясь тем, что они были ровесниками, мог позволить себе задеть Есбая:

— Эй, ты, до каких пор будешь мешать молодым, в каждую игру лезешь. Ты думаешь, что побеждаешь силой, а на самом деле молодые из уважения дают тебе возможность побеждать. Пора уж тебе поумнеть, уступить дорогу другим.

Теперь тот недотепа Тойшибай стал уважаемым человеком в ауле. Дети его выросли и стали управлять колхозом, все хозяйство в их руках. Да и авторитет отца в глазах односельчан подняли. Теперь Тойшибай настолько возгордился, что даже не заедет спросить, как здоровье. Как-никак все-таки ровесники, вместе росли.



Размышлениям одинокого старика нет конца, и о чем ни подумает, все о невеселом. От долгого лежания тело занемело, да и июльская жара давит, все вокруг как бы застыло. «Нет, хватит лежать. Пойду пройдуся немного», — решил Есбай и вышел из юрты.

— Налезался, а теперь выполз, как уж, на солнышке погреться, — сразу же послышалось ворчание Саны. Услышав обидные слова жены, Есбай помедлил, пожалел, что не оглох напрочь, затем решительно подошел к Сане. Та и слова не дала сказать, опять запричитала:

— Уж не хочешь ли ты своим грозным видом напугать меня? Да никто тебя не боится, хватит. Прошло то время, когда тебя боялись. Думаешь, Бог не видит ничего?

Есбай махнул рукой, видя, что остановить жену невозможно. «Хоть бы детей постеснялась, — подумал он. — Если уж Сана так ведет себя со мной, а ведь столько лет вместе прожили, то чего ждать мне от других».

— Эй, Мылтыкбай! — позвал сына Есбай.

— Слушаю, отец, — Мылтыкбай сразу подбежал к отцу.

— Оседлай мне Карагера, да затяни покрепче подпругу.

Легко вскочив на коня, Мылтыкбай отъехал снаряжать в дорогу всадника, как приказал отец. Есбай медленно приходил в себя после обидных слов жены, не понимая, за что же это она его так ненавидит. Разве что за то, что он когда-то давно помог по хозяйству своей соседке Альпиш, оставшейся с детьми без мужа после войны. Так сиротам и беспомощным помогать сам Бог велел. Зато Сана попрекала его потом за это при каждом удобном случае:

— Если я плохая, иди к ней жить, я и без тебя обойдусь.

Есбай долго не обращал внимания на ее попреки, но однажды не выдержал:

— Хватит, а то я заставлю тебя замолчать.

— Да ты попробуй только тронь, потом пожалеешь, — огрызнулась Сана.

— Вот свяжу руки-ноги и выброшу в реку, — пригрозил он.

— Да я вижу, ты не знаешь, как от меня избавиться. Чем принять смерть от тебя, лучше я своими ногами уйду из дома. До каких пор быть мне душой в твоих глазах?

Есбай вскипел от злости. Сколько же можно терпеть выходки жены, да и его матери Сана житья не дает, пора покончить с этим.

— Ты думаешь на тебя погибели нет? — весь кипя от ярости, Есбай подскочил к жене.

Испугавшись его разъяренного вида, Сана отступила и примирительно пробормотала:

— Ладно, ладно, успокойся, что на тебя нашло.

Но в ее интонации не чувствовалось искреннего сожаления, и Есбай понял, что он должен все-таки ее сейчас проучить. Он вышел, приговаривая — «сейчас я тебе покажу», — затем вернулся, держа в руках в несколько раз сложенную крепкую волосяную веревку. Увидев это, Сана поняла, что ей надо искать спасения:

— Ойбай, помогите, убивают, — завизжала она во весь голос.

Не обращая внимания на сопротивляющуюся женщину, он схватил ее за руку, дернул и уложил посреди юрты, несколько раз перевернув тело, крепко обвязал арканом. Сана, как бы смирившись, наконец, замолчала. Есбай вытащил кiset, с которым не расставался на фронте, и долго крутил папиросу, насыпав немного табака на кусочек газетной бумаги. Потом закурил, бросая искоса взгляд на связанную безмолвную Сану, думая при этом: «А теперь я посмотрю, пойдет тебе этот урок на пользу или нет».

— Ну, наконец-то мои уши отдохнут от тебя. С утра до вечера не закрываешь рта, от твоей ругани голова болит, покоя нет в доме. Давно мне надо было так сделать, и как это я раньше не догадался!

Сана молча смотрела на мужа, не имея возможности пошевелиться, слезы текли у нее из глаз к вискам. Платок на голове сбился, а на открывшемся лбу были видны морщины, которых он раньше не замечал. «И чего ей не хватает? Все ей мало, всем недовольна. Глаза у нее ненасытные, жадность губит ее», — думал Есбай, глядя на притихшую Сану и пытаясь разгадать, что же такое есть в ее голове, что мешает жить ей в мире с собой и окружающими.

— Ойбай, что ты задумал, — обращаясь к сыну, подбежала его старая мать к снохе. — Мало на мою голову выпало, еще теперь и это. Что ж промолчать лишний раз не можешь, как жена, и подчиниться мужу не грех, — руки матери беспомощно теребили веревку на теле Саны.

Взглянув на мать, Есбай впервые заметил, как сильно она постарела, эта мысль заставила похолодеть его сыновнее сердце. «А ведь мать несчастна из-за снохи, из-за нее нет житья никому в этом доме», — подумал он. Новый приступ гнева овладел им, и он готов был с кулаками наброситься на жену. Но мать снова удержала его, умоляя:

— Светик мой, прошу тебя, не трогай ее. Смирись со своей судьбой, другой жены у тебя все равно не будет..

— Пусти, апа, она и тебя не уважает, а ведь ты ей вместо матери, и меня, своего мужа, не уважает. Уж лучше я понесу наказание, но сейчас за все с ней рассчитаюсь, — не мог остановить себя Есбай.

– Одумайся, неизвестно, чем все может закончиться, если не возьмешь себя в руки, – продолжала урезонивать мать.

В это время сбежавшиеся на крик соседи окружили Есбая, оттеснив его в сторону, развязали Сану. После этого Есбай, устыдившись смотреть в глаза людям, вскочил на коня и поскакал куда глаза глядят.

После того случая прошло уже много лет, и теперь, перейдя от воспоминаний к мыслям о сегодняшнем дне, старик продолжал размышлять: «И чем это я не угодил Всевышнему? На людей посмотришь и невольно позавидуешь, дети у них уважительные, а снохи просто загляденье. Жена у меня сварливая, сын отца не почитает. Да что винить Жасыбека, ему, несчастному, видно, уготована такая судьба – всю жизнь провести в дразгах с женой. Неужели сбываются сказанные матерью слова о покорности судьбе? В молодости никому не давал спуска, а теперь – кому я нужен? И добра не нажил лишнего, и уважения ни от кого нет. А кем был ни на что не годный Тойшибай, кем он стал теперь и кто я?».

Есбай почувствовал себя глубоко несчастным. Отъехав от аула, он подстегнул Карагера и выехал на гребень Карасая. Проехал вдоль обрыва по глубокой ложбине и снова направил коня к вершине. Здесь он вдохнул полной грудью горный воздух и почувствовал себя освеженным, свободным от житейских невзгод. Старик бросил взгляд вниз, на долину. Там что-то чернело, двигалось, слабое зрение различило группу людей, которые как будто что-то делили между собой, затем от толпы отделились несколько всадников и поскакали в направлении Акколтык. «Как бы то ни было, но это – кокпар», – решил Есбай. Ему послышались какие-то крики. Он оглянулся по сторонам. И стал спускаться вниз к всадникам, выезжавшими из расщелины. Чтобы догнать их, ему пришлось вскачь пересечь долину, затем он выехал уже навстречу им. Удивившись неожиданному появлению незнакомца на своем пути, всадники, приостановив лошадей, окружили его, и чей-то звонкий голос воскликнул:

– Да это же Есбай – аксакал!

– Хочет присоединиться к добыче, хитрец, – добавил второй голос.

Эти бесцеремонные возгласы слабый слух старика уловил ясно. «Надо же, недаром говорят, что глухой проведет любого», – подумал Есбай.

Небрежно оглядев здоровающихся джигитов, спросил:

– Кому достался кокпар?

— В аулы Карасай и Кайназар увезли, но Октябрь может перехватить, кто их знает.

— А от кого получили кокпар?

— От нас, — ответил первый звонкий голос.

Старик, как бы не узнавая, долго рассматривал джигита.

— Вы что, не узнаете меня, я же сын Тойшибая, — смутился тот.

Есбай не стал дальше задерживаться. Мысль о кокпаре полностью захватила его. Не сдерживая коня, он поднялся по склону вверх и увидел вдали тех, кого искал. Карагер смело ринулся вниз. Трое всадников мчались к гребню горы напротив, пустив лошадей во весь опор. Из оставшейся толпы только несколько джигитов бросились за ними в погоню.

— Эй, смотрите, чтобы не увезли кокпар в Кызылауз, — крикнул кто-то из оставшихся, и еще несколько всадников присоединились к погоне.

На Есбая никто и внимания не обратил, но того это не задело. Он решил сам догнать ускакавших с добычей джигитов и повернул коня, чтобы выйти навстречу не ожидающей его удачливой тройке. Время в запасе у него было, поэтому он перевел Карагера на легкий галоп, решив без надобности не гнать коня. Есбай весь отдался своему замыслу догнать победителей и перехватить добычу себе, погоня захватила его. Он почувствовал себя свободным и решительным и начисто забыл о всех своих обидах на эту жизнь. Весь сосредоточившись на своей цели, он решил встретить противников в следующей низине.

Когда-то давно ему пришлось таким же неожиданным образом участвовать в кокпаре. Тогда на вершине Майтюбе он стремительно проник в толпу дерущихся за желанный приз и ухватился за шкуру козленка. Потом он заметил, что четверо крепких парней, которых ему не удавалось одолеть, по очереди передавая друг другу добычу, собираются ускакать от места состязания. Но им не дали вырваться. Ловкий Есбай, изо всех сил дернув козленка, зажал его под коленом. Крепкий сильный жеребец, получив от Есбая резкие удары ногами в бок, вынес его на небольшую полянку. Один из противников вцепился в козленка намертво, не собираясь расставаться с добычей. Остальные участники состязания с криками окружили дерущихся и стали с интересом наблюдать, кому же достанется победа. К противнику присоединился еще один, и оба они уже были готовы вырвать козленка у Есбая, но тот в это время призвав все свои силы, резко натянул узду, выдернул добычу из рук джигитов, и конь стремительно понесся прочь от места поединка. Наблюдавшие за борьбой были

поражены упорством незнакомца. Сколько прошло времени, Есбай не помнил, но увидев, что догонявшие остановились, понял, что погоня закончилась, и ему теперь нечего опасаться. Один из преследователей, небрежно махнув рукой, сказал ему вдогонку:

— Да пусть скачет себе на погибель, отсюда ему не выбраться.

Есбай, пригнувшись, стремительно мчался вперед, вскинув козленка на коня, как вдруг неожиданно увидел перед собой каменные скалы и отвесный обрыв. От мгновенного страха сердце сжалось. И если бы в это время он натянул узду, то конь по инерции не смог бы остановиться и это привело бы их к неминуемой гибели. Но Есбай успел отпустить узду и, закрыв глаза, положился на судьбу, подумав про себя: «Будь что будет». Жеребец успел поднять передние ноги и, прижав их к брюху, плавно вспрыгнул над обрывом. Почувствовав, что ноги лошади коснулись земли, Есбай, не веря своему спасению, в страхе открыл глаза. Конь под ним продолжал скакать вперед. «Ах ты, мой крылатый друг», — благодарно подумал Есбай, и его глаза невольно наполнились слезами. Мгновенный инстинкт самосохранения, присущий и человеку, и животному, спас их от верной гибели.

Вспомнив об этом случае, Есбай понимал, что молодость не вернуть, и смекалка, и сила, и ловкость уже не те. Но, возбужденный воспоминаниями, он мчался сейчас навстречу новым приключениям, желанию испытать себя.

Как и оказалось, Есбай не ошибся в своих расчетах. Три всадника, ускакавшие с кокпаром, приближались к расщелине возле вершины. Увидев Есбая, они остановились, потом стали подниматься вверх. Есбай поспешил к низине, которая находилась за этой вершиной, и пустил Карагера вскачь. Когда он обогнул гору, навстречу ему показались те трое. Они приближались к Есбаю, довольные своей удачей. Что-то друг другу рассказывают, громогласно хохочут, не обращая внимания на ожидавшего их Есбая. Старик не смог расслышать их разговор. С тех пор, как слух и зрение отказали ему, Есбаю стало казаться, что вокруг все посмеиваются над его беспомощным видом. Эти тоже такие, от них сочувствия не жди. Есбай распрямылся, в карих глазах, сидящих в глубине глазниц, сверкнула искра молодого задора, на квадратном лбу собрались морщины. Он знал, что джигитов не пугает его неказистый вид, для них он слабый беспомощный старик, толкнешь — и с коня слетит. Наверное, эти шустрые парни из аула Кайназар. Вырваться с добычей из такой толпы крепких джигитов, конечно, большая удача, им есть, чему радоваться. Надо действовать быстро, пока они не ожидают

нападения, решил он. Зажав вдвое сложенную плетку зубами, чтобы руки были свободными, он внезапно остановился. Те подумали, что он хочет перегнуть их, приостановились, уступая ему дорогу. В это время Есбай, призывая на помощь предков, с криками: «Аруах! Уа, Карасай! С сединой на голове, перед лицом вечности готов я совершить достойный мужчины подвиг!» поскакал к всадникам. Понимая, что силой ему не удастся достичь желаемого, он решил выйти им наперерез. Подскакав совсем близко и не дав им отъехать в сторону, он быстро наклонился и попытался выхватить кокпар из-под колена среднего всадника, но смог ухватиться только за переднюю ногу козленка. Попробовал потянуть на себя, но ничего не получилось. Два других всадника насмешливо наблюдали за попытками Есбая.

Есбай понял, что сейчас начинается главное. Он не станет посмешищем для них, они скоро в этом убедятся. Сначала он пытался захватить козленка спереди, но потом, когда противники сошлись совсем близко, бок к боку, Есбай неожиданно, с силой пнув жертву по хребту, быстро наклонился и дернул за заднюю ногу. Не ожидавший такого маневра джигит и не заметил, как козленок выскользнул у него из-под колена. Есбай резко вздернул удила и, когда Карагер от боли встал на дыбы, с силой выхватил свою добычу, оставив в руках незадачливого джигита только переднюю ногу козленка. Есбай от резкого толчка сам чуть не упал с коня, но смог удержаться и стремительно поскакал прочь. Ошарашенные случившимся противники немедленно бросились в погоню, стремясь преградить ему путь. Есбай почувствовал, что конь под ним уже не подчиняется ему, но у него едва хватало сил сдерживать повод. Вдруг его охватило острое чувство победы, гордость заполнила его душу, крики радости рвались из него и оглашали окрестности гор. Молодой конь под ним без остановки мчался вниз, громкие крики Есбая пугали его, и он скакал не разбирая дороги. Упоенный победными чувствами, Есбай сам забыл об осторожности. Оставшиеся позади джигиты, ошеломленные неожиданным порывом старика и его отчаянной радостью, в испуге смотрели вниз, с ужасом ожидая, возле какого камня остановится, споткнувшись, конь в этой бешеной скачке.

Едва удерживаясь на стремительно скачущем коне, Есбай подтянул болтающегося из стороны в сторону козленка к колену и прижал его. В это время он вдруг почувствовал, что под ногами коня загремели камни. Это была впадина, начинавшаяся от склона горы. На всем скаку Карагер уткнулся мордой в землю, не удержав сам себя, перевернулся через шею. Есбай, не ожидавший внезапного падения коня,

выскочил из седла и отлетел далеко в сторону. Упав на край насыпи, несколько раз перевернулся, упал на спину и, раскинув ноги, остался неподвижно лежать. В эти мгновения ему показалось, что горы сошлись с горами и земля перевернулась кругом в месте с ним. Есбай с усилием приподнял голову, оглянулся вокруг и мысль об участи несчастного Карагера пронзила его. Глядя на опрокинутое над ним небо, старик с недоумением подумал: «Как же такое могло случиться со мной? Как я здесь оказался?» В его путающемся сознании все перемешалось, тревога постепенно заполняла сердце. Он почувствовал, как кто-то поддерживает его под руки, помогая подняться, затем ощутил брызги воды на своем лице, глубоко вдохнул воздух. Открыв глаза, увидел окруживших его людей, разглядывавших его с испугом и удивлением. Ему расстегнули ворот на рубашке, к бледному лицу старика медленно прилила кровь.

— Что с Карагером? — было первое, о чем он спросил.

— Да вы сначала о себе побеспокойтесь, Бог с ней, с лошадьё, — ответил ему кто-то. Обессиленный старик снова прилег на землю, не обращая внимания на собравшихся вокруг людей. Кто знает, сколько времени он собрался так оставаться, как вдруг услышал над собой насмешливой голос:

— Ей, глухой черт, слепой пес!

«Чей же это голос?! Памяти что-то не стало, и человека вспомнить уж не могу», — подумал Есбай. Но самое главное было в том, что оскорбительное обращение не задело его, как задевали прежде грубые насмешки, когда он чувствовал себя одиноким, никому не нужным, немощным стариком. «Да ведь это же Тойшибай, ну, конечно, от кого, кроме него, такое услышишь». Тойшибай, поглаживая свои кошачьи усы, наклонился над Есбаем и продолжал свою тираду:

— Ты что, смерти ищешь? Хочешь умереть — прими достойную смерть, нечего шататься по горам. Ишь ты, герой нашелся, до чего себя довел, он, видите ли, с женой и сыном ужиться не может.

Закончив свою речь над Есбаем, Тойшибай сел рядом с ним, как бы собираясь и дальше продолжать свои насмешки. Есбай с мрачным видом неотрывно смотрел на него, и ему показалось, что он обречен до конца жизни терпеть насмешки глупого никчемного Тойшибая, которого и человеком-то стали считать недавно, благодаря детям. «Ну уж нет, не собираюсь я его больше слушать», — подумал Есбай и решительно поднялся. Не замечая боли в правом плече, он направился к месту, где оставался Карагер. В это время к нему подошел Кыдыр, сын соседки Альпиш и, подтянув за узду своего коня, предложил старику:

— Ата, садитесь на мою лошадь, поезжайте домой.

Молча усевшись в седло, Есбай отъехал от толпы. На погибшего Карагера взглянуть не смог, что-то внутри него противилось этому ужасному зрелищу. Теперь, придя в себя после случившегося, он даже не сожалел о том, что не смог дать отпор насмешкам Тойшибая. А тот явно чувствовал себя мудрецом, к словам которого прислушивается народ. Никто не остановил Тойшибая, оставив, видно, право им самим разбираться между собой.

Уже в сумерках подъехав к ограде возле юрты, Есбай прислушался. Ему показалось, что слышен как всегда крикливый голос Саны. Ей отвечал чей-то мужской голос, что-то доказывая и споря. «Опять что-то случилось», — подумал Есбай и вошел внутрь. Поздний гость оказался сыном бригадира из аула Тойшибая Кияс. Увидев хозяина дома, тот не спеша подошел к нему и поздоровался за руку.

— Аксакал, я видел, как днем ваш Жасыбек уезжал на арбе за сеном. А потом там, где он был, начался пожар. Еле-еле всем колхозом потушили, но все равно весь покос сгорел. Трудно было ему, что ли, как следует затушить сигарету. Жена ваша не хочет понять, в чем вина вашего сына, защищает его, — обратился Кияс к Есбаю, поняв, что со старухой разговаривать бесполезно.

— Зачем ему понадобилось курить, этому лентяю? У него что, под носом черви заведутся, если он не закурит?! — разгорячился Есбай.

Видя гнев Есбая, Сана подошла к мужу, решив отвести бурю от сына:

— Ты же знаешь, старик, что Тойшибай всю жизнь к нам придирается, а теперь и нашим детям от него проходу нет.

— Да ладно, бросьте свои выдумки. Вы свою семью сами поедом едите, и на других кидаетесь, — ответил Кияс, повысив голос.

— Ойбай, да ты не распоряжайся в чужом доме, я от мужа таких слов не слышала, и ты помолчи, — не унималась Сана, приготовившись стоять на своем до конца.

— Да хватит вам, прекратите ругаться, — остановил их Есбай. Вид у него был удрученный. Он посмотрел на жену, затем на Кияса и с насмешкой в голосе сказал: — Не зря говорится в пословице, что сын отца не перегонит. Вот ты сын бригадира и тебя в ауле уважают. А нашему несчастному Жасыбеку такие никчемный отец, как я, и такая мать, как Сана, что могли дать хорошего? Кому как не ему разводить в степи пожары? Вот и подумай сам теперь, что делать, а мне тебе нечего больше сказать!

Сказав свое слово, он вышел и без сил упал на стул возле двери. Кияс и Сана, перестав ругаться, старались понять смысл сказанного

Есбаем, а он молча смотрел на них, как бы узнавая, впервые видя их. Оба поняли, что Есбаю известно что-то другое, более важное для него, чем эти житейские дрязги и сожаления о неудавшейся жизни. Старик и вправду чувствовал себя как никогда свободным от плена серой жизни, грудь расправилась, плечи распрямились. Перед ними сидел человек, удовлетворенный достигнутой целью, будто с небес на него снизошло умиротворение.

Есбай посмотрел вверх, на окружающие аул цепью горы. Как ни старались слабые зрачки старика отыскать среди них то место, где он сегодня стал победителем в кокпаре, это ему не удалось. Он прикрыл уставшие от напряжения глаза. Мысли о том, что теперь гору, на которой состоялся сегодня поединок, вся округа будет называть не иначе как «вершина Есбая», грела душу и рождала в его сознании чувство покоя и причастности ко всему окружающему. Новые неведомые силы возносили его над пустой повседневностью. Он был счастлив.

А вокруг аула, в котором жил Есбай, среди спящих молчаливых гор, скрытая в ночной темноте, одиноко возвышалась покоренная им вершина.

Перевод Г. Шекей

Это такая штука...

Вовка снова сидел у папы на плечах. Снова — спустя столько времени... Когда это было в последний раз, деревья вокруг стояли цветные, а сейчас они голые, и под ногами вместо кленовых листьев — присыпанный снегом лед. Но Вовка знал, уж папа не поскользнется! Как это здорово, вспоминал Вовка — весело подпрыгивать на ухабах, вдыхать папин запах, прижиматься к папиной голове... Оказывается, Вовка забыл, как пахнет от папы — его волосами, его курткой... ну, всем этим, таким родным, привычным... тем же, чем пахнет его старый, оставленный дома свитер, его тапочки, его чашка. Папины ловкие руки, как раньше, крепко держат Вовкины запястья. «Мой папочка...» — нежно думал Вовка. И больше ему ничего-ничего не хотелось сейчас думать или делать. Правда, он не забывал придерживать локтем сидящего в кармане Пусю — чтобы не выпал.

— Тётя Света испекла тебе пирожки! — сказал папа.

— С чем? — поинтересовался Вовка.

— Как ты любишь, с яблоком!

Вовка обрадовался. Пирожки пекла только бабушка, а она приезжала редко. Мама кормит его дома овсяной кашей, щами да печеньем. И еще иногда картошкой с мясом, но мясо всегда жесткое. Совсем не умеет готовить, как говорит бабуля.

— Тётя Света очень хорошая, вот увидишь! Она так ждёт тебя... так хочет с тобой познакомиться!

Папа не обманул, тётя Света, и правда, оказалась очень, очень хорошая и добрая. Она сказала Вовке: «Привет! Какой ты, оказывается, замечательный! Ну, да я так и знала...» Потом они обедали — и Вовка всё съел! Пирожки были — ну просто объеденье, даже лучше, чем у бабушки.

А какая тётя Света была красивая... Когда она смотрела на Вовку, тот не мог оторваться от ее огромных карих глаз с черными ресницами. Ему очень хотелось потрогать её длинные, блестящие, гладкие волосы — казалось, они сделаны из настоящего золота, но Вовка так и не решился. А еще в глазах её искрилось веселье. Она так часто, звонко смеялась — и Вовке тоже сразу становилось весело и смешно.

Потом они пошли в парк и долго там бегали и играли все вместе. Тётя Света кидала в Вовку снежками. Она была совсем как девчонка

— тоненькая и быстрая. Вовка тоже один раз попал ей снежком за шиворот, и тётя Света опять хохотала, а потом поймала Вовку и бросила в снег. Подбежал папа, и бросил в снег тётю Свету, и они все вместе долго там барахтались. Даже сидящий в кармане Пуся намок, и потом пришлось уговаривать его сушиться на батарее, вместе с Вовкиными рейтузами и носками.

Вовка с радостью думал, что впереди ещё целый выходной — одна ночь и один день. Ночевать его устроили на уютном мягком диванчике в гостиной. Папа подоткнул Вовке одеялко, присел на краешек постели. Пуся, уже просохший, лежал рядом на подушке, одной рукой Вовка крепко прижимал его к себе. Над диванчиком неярким теплым светом горел ночник.

— Ну, как тебе тётя Света? Понравилась? — почему-то шёпотом спросил папа.

Тётя Света была на кухне, звенела посудой, убиралась после ужина.

— Да, очень, — тоже шёпотом ответил Вовка.

Папа сразу же засветился от радости, наклонился и поцеловал Вовку в глаз.

— Пап, а ты где будешь спать? На раскладушке? Ложись со мной, я подвинусь...

— Ну... нет, что ты, как я тут? Я с тётей Светой, в комнате. Там широкая-преширокая кровать, ты же видел.

— А разве можно спать с чужой тетей? — удивился Вовка.

Ему бы и в голову не пришло лечь в кровать с тётей Светой — это же стыдно, такому большому мальчику...

Папа странно засмеялся.

— Понимаешь, Вовк, она не чужая. Она теперь моя жена... А жена — это уже не чужая.

— Почему жена? Это же мама — жена?

На самом деле Вовке почему-то не хотелось сейчас говорить о маме. Но это само как-то вылетело изо рта.

— Теперь уже нет... — замылся папа. — Она очень хорошая, твоя мама, и ты должен её всегда слушаться, но...

— Вы что, с ней поссорились?

Вовка в очередной раз попытался вспомнить, не ругались ли мама с папой тогда, перед тем, как папа пропал — но не мог. Вроде всё было тихо-мирно у них в доме. Просто странно как-то... Жил папа там, а потом уехал. Вовка даже думал сначала, что папа за что-то на него рассердился, но папа позвонил по телефону и сказал Вовке, что ни на что не сердится, а наоборот. Мама тоже говорила,

что папа очень занят, он уехал, а когда приедет, сам ему всё объяснит. Тогда Вовка немного успокоился и просто стал папу ждать. И вот дождался.

— Ты на маму обиделся? — уточнил он.

Если не на него — то значит, на маму, рассудил он.

— Нет, что ты. Мама хорошая... Но я встретил другую женщину, тётю Свету, и... Так бывает, пойми.

Вовка попытался понять. Вот как если бы он встретил другую маму, и... Нет, что-то не получалось.

— Так не бывает! — возразил он.

— Бывает, сынок. Ты поймешь обязательно, наверное, не сейчас, но потом... — заторопился папа, оглядываясь на дверь. — Вырастешь, станешь мужиком, и...

— Пап, а когда ты вернешься домой?

Вовка хотел задать этот вопрос давно, но искал подходящего момента. Когда же всё снова будет, как раньше? Папа станет будить его по утрам со словами: «Вставай, мой большой рыжий бельчон!» Это потому, что мама называла Вовку «бельчонок мой», а папа смеялся: «Ну какой же это бельчонок, это такой здоровенный взрослый бельчон!»

— Сынок, мой дом сейчас здесь... Но ты будешь очень, очень часто ко мне приходить! Мы с твоей мамой уже обо всем договорились.

Как это — дом здесь? Вовка не понимал. Дом — это мама, папа и он, Вовка, и ещё Пуся. Всё это как-то у папы теперь по отдельности... что-то он путает, папа. Вовка и хотел бы спросить, чтобы разобраться, но не смог подобрать слов. Что-то в голове не складывалось, и настроение сразу стало таким грустным, словно ничего хорошего уже в жизни не будет.

— Путаница какая-то... — сказал он вслух.

— Ничего, Вовк, распутается все, привыкнешь. Я тоже по тебе скучал очень. Но теперь всё наладится.

— Пап, а ты возьми тётю Свету к нам! — нашел выход Вовка. — И всем будет хорошо!

Папа будто поперхнулся.

— Глупенький, — покачал головой он. — Ну что ты говоришь? Так нельзя...

Ну почему у них ничего нельзя! Чтобы папа был дома — нельзя. И тётя Света такая хорошая! А всё равно ничего нельзя... Правда, Вовка и сам уже понял, что сморозил глупость. Ему и самому почему-то не хотелось, чтобы тётя Света была там, дома, где мама.

— Зачем всё так плохо? — сказал Вовка, и на глаза у него навернулись слезы. — Сделай так, как раньше, а, пап?

— Прости, сынок, как раньше уже не выйдет. Но всё у нас будет хорошо. Мы же с тобой друг у друга есть, правда?

— А мама? — снова повторил Вовка.

Он почему-то вдруг ясно представил, как мама сейчас дома — одна. Чего она там, интересно, делает-то, без папы и без Вовки. Ей, наверное, грустно. А Вовке здесь нравится. И не хочется уезжать. Снова путаница.

— Знаешь, есть такое слово — любовь. Это такая штука... Вот когда узнаешь, что это... вот ты никогда не станешь меня осуждать, правда? Ты же мой друг, мы с тобой оба мужчины.

Любовь? Ну, конечно же, Вовка знает. Он любит, к примеру, маму, папу, бабушку, Пусю и пирожки. А папа про что говорит — «такая штука»? Любовь, это когда кто-то тебя обнимает, и тебе хорошо. И ты знаешь, что тебя еще долго, всегда будут обнимать. А сейчас что такое — когда Вовке хочется плакать, и маме, он тоже видел, хочется теперь плакать всегда? Это больше похоже на разбитую коленку — тоже очень больно, вот только смазать не знаешь, где. Нет, это ещё хуже. А папа говорит — любовь?

— Вырастешь, всё поймёшь, — повторил папа свое заклинание.

Вовке не хотелось теперь ничего понимать. Он решил не думать пока про папину любовь. Сейчас же ему, Вовке, хорошо. Если бы только знать, что маме там не грустно одной — было бы совсем хорошо. Может, мама догадается включить себе телевизор, вот и всё. Тогда Вовка мог бы остаться здесь и подольше.

— А я еще приду сюда?

— Конечно! — обрадовался папа. — Обязательно! А сейчас спи. Утро вечера мудренее.

Вовка закрыл глаза, а папа всё сидел возле него, гладил его по голове. И Вовка стал задрёмывать. Но он ещё слышал, как пришла тётя Света и что-то тихо сказала папе, а тот что-то тихо ответил. Вовке не хотелось признаваться, что он не спит, раз они так старались его не разбудить. Но он невольно прислушался.

— Что это за кошмарный зверь? — спросила тётя Света.

«Это она про кого?» — лениво удивился Вовка, не открывая глаз.

— О, это его давний друг, Вовка с ним не расстанется, — усмехнулся папа, — чуть ли не с самого рождения.

А, это они, значит, про Пусю... Пуся был маленький, совсем незначительный медведь, даже мало на медведя похожий, сам чуть больше ладони, с крохотными черными глазками, в синих бархатных

штанишках. Белый. Ну, то есть это когда-то раньше он был белый, а теперь он стал такой серый, помятый, пришитые штанишки врезались в плюш, оставляя глубокие грязные следы. Но стирать его мама боялась — говорила, так плохо сшито, что расплывется совсем. Вовка никогда с Пусей не расставался, всегда плакал, если случайно терял и долго не мог найти. Вот мама и опасалась совсем Пусю испортить.

— Ну хоть ты бы купил ему нормальную плюшевую игрушку, — сказала тётя Света, почему-то сделав ударение на слове «ты», — если уж не понимают... Что это за убожество такое? Он и в садик его таскает, небось. Стыдно же перед людьми, скажут, не могли нового ребенку купить...

— Да не знаю, — растерялся папа, — как-то мы об этом не думали...

— А мы подумаем, — почему-то сердито сказала тётя Света, теперь нажимая на слово «мы». — В понедельник иди и купи ребенку нормального медведя, ясно? Я видела такого у нас в торговом центре, пушистый, мягонький, просто прелесть! Прямо сразу решила — надо нашему Вовке...

— Конечно, Светуль, спасибо тебе... — ответил папа. — Знаешь, какое тебе огромное спасибо? Знаешь?

И Вовка услышал, как папа поцеловал тётю Свету. Вовка попытался понять, за что ей такое огромное спасибо — ведь она ещё ничего не купила, но не успел. Он уже совсем засыпал....

В воскресенье вечером всё закончилось. Вовка, раздетый, умытый, в колготках и майке, сидел на кухне и ковырялся ложкой в манной каше. Папа привез его и сразу уехал. А мама стала какая-то странная. Всё бегала зачем-то из комнаты в кухню и обратно. И молчала. Или выдавливала из себя пару слов странным голосом: «Ешь» или «Не болтай ногами» — и снова умолкала.

Вовка обиделся на маму. Обычно ей всё было интересно: что происходило в садике, или на прогулке, или у бабушки. Вовке так хотелось рассказать ей про папу, про тётю Свету, про то, что там прямо в квартире растёт настоящее пальмовое дерево в огромном горшке, а на дверях висят колокольчики — входишь, и они звонят. А мама, как нарочно — ну ничего не спрашивала!

Вовке стало грустно и неприятно. Но тут он вспомнил. Можно ведь узнать кое-что у мамы, раз у папы всё так непонятно.

— Мам! — начал он. — Мам, а жЕНЫ, значит, может быть несколько, да? И её разве можно менять?

Мама замерла с чайником в руке. Потом медленно, аккуратно поставила его обратно на газ, так и не налив кипятка в Вовкину чашку.

— Получается, можно... — ответила она не своим, не цветным голосом.

Помолчала и добавила насмешливо и зло:

— Ну и как тебе в гостях у тётки Светы? Понравилось?

Ага, наконец-то спросила! Вовка обрадовался и заторопился.

— Да, да, очень! Там у неё так красиво! И еще — она очень красивая!

— Да что ты? Ну расскажи... Какая же она.

— У неё такие красивые волосы, руки и ногти, и она очень, очень добрая! Она играла со мной! И пирожки были вкусные! А кашу я не хочу! Почему ты мне пирожки не готовишь? И ещё — у тебя волосы серые, коричневые и короткие! А у нее белые. И зачем ты делаешь вот так? У тебя морщина вот здесь, — Вовка показал себе на переносицу, — а тётя Света совсем гладенькая. И еще она не ругается никогда. И на папу тоже не ругается.

— Ну, вот видишь, как хорошо... Может, тебе тоже к ней переехать? — как-то совсем уж спокойно, даже безразлично, предложила мама.

Но Вовку она не обманула — он заметил тёмную точку у нее в глазах. Он отлично знал, что мама обиделась, но ему было сейчас всё равно, наоборот, захотелось обидеть ее еще сильнее. Что-то с ним такое произошло — это нахлынуло на него внезапно. Такая жгучая ярость, что он мог бы даже сделать сейчас маме больно — физически. Например, толкнуть или укусить. Он ненавидел — не зная, кого, за что, но ненавидел — и всё тут. Ненависть разрывала ему голову, скапливалась на кончиках пальцев, требовала выхода.

— Это из-за тебя всё, из-за тебя! — вдруг закричал он. — Потому что ты — некрасивая! Вот папа и ушёл! А если бы не ты — он остался бы, он со мной бы жил! Сама виновата!

На последних словах он даже взвизгнул. Где-то он это слышал — только не мог вспомнить, где. Может, бабушка так говорила?

Вовка понимал, не мог не понимать, что делает что-то очень плохое, запретное. То, что нельзя делать. Но он делал это нарочно, специально! Ему дико хотелось, чтобы мама сейчас наорала на него, отшлёпала, наказала как следует. Вот тогда бы всё стало понятно, правильно, встало по своим местам, что ли... Тогда не было бы больше этой... путаницы.

Но мама стояла и только растерянно смотрела на него. А потом повернулась к нему спиной, и Вовка уже не мог видеть её лица. Только её плечи и руки странно тряслись — словно её знобило. Но злоба всё еще наполняла его, выплескивалась из него, как брызги из полного закипевшего чайника. Вовка мучился, он не знал, что бы ещё придумать, чтобы сделать похуже. И, наконец, нашёл.

— И Пуська этот старый, противный урод! Он кошмарный, убожеский зверь! Грязнуля!

Вовка схватил Пусю и со всей мочи швырнул в дальний угол, испытал при этом мстительное наслаждение.

— Сам виноват! — крикнул он в упоении и ему вслед.

А мама вдруг резко наклонилась, подхватила Пусю, распахнула окно, размахнулась и... вышвырнула его в темноту. А потом быстро захлопнула форточку. И повернулась к Вовке. На её лице не было ни слезинки. Но оно было белое — как вчерашний снег. Незнакомое лицо. Мама не могла быть с таким лицом.

— Туда ему и дорога, сам виноват, — повторила она за Вовкой жёстким, насмешливым голосом.

И глаза у неё стали совсем черные и неживые. И ещё она дрожала — вся целиком.

Вовка кинулся к окну — они жили на четвертом этаже, — пытаюсь разглядеть, где там Пуся, не та ли крохотная черная точка на снегу — это он? Такого страха и чувства беды Вовка ещё никогда не испытывал. Руки невольно искали Пусю — прижать, но Пуси не было. Он лежал где-то там, внизу, в сугробе, одинокий, никому не нужный, и его сейчас найдут собаки, найдут и съедят. Или порвут мальчишки. А если не найдут — то он так и будет валяться там... всегда, один.

Вовка раскрыл рот и несколько секунд орал беззвучно. А потом его прорвало, и он заорал в голос. Он так рыдал, что мама, как в детской игре, «отмерла» обратно. Испугалась, схватила его за плечи:

— Вовка, Вовочка, милый, бельчонок, пожалуйста, успокойся! Прости меня, дуру.. я сейчас... я найду!.. Сиди здесь, слышишь?

Она бросилась в коридор, и Вовка услышал, как за ней захлопнулась дверь. Он смотрел в окно и увидел, как мама выбежала из подъезда, как она полезла в сугроб, в тапках на голую ногу, как шарила там, и, наконец — о счастье! Что-то достала и принялась отряхивать...

Вечером Вовка, успокоенный, тихий, лежал в своей постели, на привычном скрипучем диванчике и смотрел на чуть отклеившийся кусок желтых, полосатых обоев на стенке напротив. Рядом лежал

Пуся, высушенный феном, такой же, как обычно, даже не видно, что он пережил что-то страшное. Если он и плакал там, в снегу — то, наверно, внутри, никаких следов на его мордочке не осталось. Вовка не стал просить у него прощения, он просто прижимал его крепче и мысленно — Пуся всегда понимал, когда мысленно — повторял: «Да не брошу я тебя, никогда, никогда, слышишь? Я же пошутил просто... И медведя нового я не хочу. Ну не бойся же, дурачок...»

А потом Вовка уже забыл, что говорит с Пусей, он уже мысленно разговаривал с папой. Папа был такой маленький, грустный, лежал на диванчике под светом ночника, а Вовка гладил его по голове и говорил: «Ничего, пап, ничего... ты только не плачь, глупенький... вот вырастешь — и сам всё поймешь».

ПЛАЦЕБО

Разговор оборвался вдруг, сразу, с первых двух фраз. На мой вопрос, как жизнь, Руфина с ходу бросила:

— А что такое наша жизнь? Сны, проданные на телевидение.

Свою тираду она увенчала холодной улыбкой. Чтобы продолжить разговор, нужно было принять ее точку зрения, иначе я ее, кажется, раздражал. В общем, я не нашел ничего лучшего, как заткнуться.

Так мы просидели минут десять. Хорошо — за столиком летнего кафе, каждый при своем напитке. Наконец, она вспомнила, зачем здесь:

— Вот, я принесла. Здесь все, что тебе нужно.

Руфина положила передо мной дневник, надела темные очки, попрощалась и ушла. Конечно, я ее извиняю. Два месяца назад свои же друзья сдали Руфину в «психушку». Хотя она такая же сумасшедшая, как и все мы. Вирахы — так, кажется, называется состояние человека, когда ему невыносимо всё, что не касается его переживаний.

Я переключился на синюю тетрадку, которую она мне оставила.

Аккуратненький дневник девушки. Со вкусом оформленный, при помощи проездных билетов за каждый месяц, этикеток от всего выпитого и выкуренного, есть тут и квитанции денежных переводов, и счета за междугородние переговоры... Вот так «вирахы».

По ее словам, в этой тетрадке — все, что она знает и помнит о происшедшем прошлой осенью. Я переворачиваю с волнением страницы и спиной чувствую дуновение слабого ветерка...

Отец Руфины, ученый-востоковед, изучавший период «зурванизма», погиб нелепо. Ночью его автомобиль, потеряв управление, съехал с трассы и врезался в дорожный столб. На похоронах Руфина не плакала. Я помню этот сырой, дождливый день в начале марта. Так ведут себя дети, которых наказали несправедливо: сжав губки, она смотрела на всех присутствующих, как на обидчиков. Она не верила в смерть. Руфина замкнулась в себе. Потеряла интерес к учебе и не посещала занятия в Архитектурном институте, прекратила общение с сокурсниками и заперлась в своей комнате.

Пати, мать Руфины, с тревогой наблюдала за дочерью — Руфина перестала следить за собой, даже за волосами не ухаживала. На воп-

росы отвечала уклончиво или молчала. Часами сидела без движения на диване, вздрагивая от каждого шороха и оборачиваясь на дверь... Когда дочь совсем отказалась от пищи, Пати забила тревогу. Но Руфина не выходила к врачам. Пати с перепугу пошла к баксы — целителям и гадалкам. Дочь умирала на глазах.

В комнате Руфины сгушался тяжелый дух. Стены были изрисованы карандашом. Силуэты деревьев, облака, повозка, груженная сеном, впряженный в нее осел, на спину которого садится ворона и два портрета. Один из портретов напоминал отца, а второй — портрет незнакомца. Чуть ниже написано: «Неужели я предам тебя?»

Сама Руфина теперь уже постоянно, практически без сна и движения, сидела у двери, словно кого-то ждала.

То, чего Пати так боялась, случилось. Однажды ночью она заметила, что дочь стоит у раскрытого окна. И следующим утром Пати разбудил телефонный звонок. Звонила соседка из дома напротив. Голос ее дрожал: «Пати, дорогая, с Руфиной беда... выходи немедленно во двор».

У дворовых скамеек собрались полусонные люди, без слов указывающие наверх. Обернувшись, Пати напрягла зрение, все еще не понимая, что ей нужно увидеть в разлитом по небу предрассветном мареве... Там, на крыше двенадцатиэтажного дома, стояла ее дочь. Она застыла на самом краю крыши, перед двором, готовая броситься вниз.

Я ждала, пишет Руфина в дневнике, конечно же, я ждала, до последнего момента, когда стояла на краю... Смотрела вниз, видела, как сбегаются люди, видела Пати, но мне было все равно. Хотелось покончить со всем этим. Он не приходил, тот, кто приснился мне во сне, — незнакомец. Он улыбался и звал меня. Поманил движением руки к себе. С трудом разбирая почерк, я читаю дальше. Руфина, стоя на краю крыши, готовая упасть в пропасть двора, услышала за собой голос:

— Не может быть, чтобы выхода не было!

Пати в отчаянии пыталась подняться на крышу через чердак, но железная дверь оказалась закрытой. Ее просьбы и мольба оставались безответными. И тут она услышала голос на крыше. Через некоторое время дверь открылась, и появился человек с Руфиной на руках.

«Откуда он взялся там, на крыше?» — спрашиваю я и представляю, будто Руфина, вместо ответа, попросила у меня сигарету..

Гораздо позже на чердаке нашли деревянный настил и одеяло. Некоторые утверждают, что он был бомжем и жил прямо на золе, рассыпанной по чердаку, о чем свидетельствовали пакеты из-под

молока, бритвенный прибор и пачка старых журналов. Все эти предметы уже не найти, и никто уже не знает, куда они подевались. А одеяло хранится у Пати, наверняка у нее. Во всяком случае, Руфина видела нечто похожее в шкафу, в белой коробке. Шерстяная зеленая ткань с красной полосой по краям. Сама Пати об этом никому не рассказывает и ключ от шкафа не дает. Ведь это все, что осталось от спасителя Руфины, который отказался назвать свое имя.

«Это похоже на легенду о Лоэнгрине», — говорю я осторожно и чувствую благодарный взгляд Руфины. Сказать так — продемонстрировать выдержку. Ясно одно, эта история ускользает от нас, от робких попыток определить случившееся за фигурой Вагнера, облаченного в рыцарские доспехи.

Вспоминаю, что Руфина появилась у нас в агентстве три дня назад. В среду в составе других художников ее пригласили расписывать стены домов на старой площади. Мы никогда не общались с ней раньше, хотя знакомы уже лет семь. Улыбались при встречах в компаниях, а тут вдруг разговорились, как старые друзья. И в этот же день долго смотрели друг на друга через столы информационного отдела. Семь лет назад она была в группе художников «Зеленый треугольник». Живопись их была мне была не понятна, как, впрочем, и сейчас, но само движение казалось симпатичным. Иногда я наткнулся в газете на ее рисунки в колонке исторических парадоксов. У нее сейчас псевдоним, раскрывать его не имеет смысла — это ее прикрытие и щит. Знаю одно: далеко не каждому расскажет она то, что рассказывает мне.

Итак, человек, спасший Руфину, сказал, что не может назвать свое имя по важной причине. Это был молодой человек, прилично-го вида, смуглолицый, нос с горбинкой, что Пати назвала орлиным профилем.

Придя в себя, Руфина попросила его никогда не оставлять ее. Но незнакомец сказал, что будет навещать ее, и часто заходил в гости. Руфина менялась на глазах. Она становилась общительной. Когда он оставался ночевать, ему стелили в кабинете отца.

Любить — значит, подражать. Каждое слово гостя становилось для нее непререкаемым. Она переняла его манеру говорить, слегка заикаясь, и надолго закрывать глаза во время беседы. Однажды Руфина спросила, как же ей все-таки называть его, ведь она ничего не знает о нем, кто он и откуда. Тогда он достал из кармана небольшую капсулу с таблетками. «Это плацебо, — сказал он, — псевдолекарство, которое неотличимо по внешнему виду от обычных таблеток. Их используют в самых безнадежных случаях. И больной, при-

нимающий эти таблетки, должен быть уверен, что это единственное средство, способное ему помочь, и не должен знать, что таблетки эти — пустые внутри. Они ничего не содержат, кроме его веры. Иногда это срабатывает, и больной выздоравливает. Я хочу сказать, что часто для того, чтобы жить, достаточно не знать всей правды».

Пати замечала, что ее дочь все больше привязывается к незнакомцу. Она все сильнее и сильнее растворялась в нем. А неизвестность все больше тяготила Пати. И подозрения оправдались. Как-то ранним утром Пати заглянула в комнату Руфины и замерла в дверях, увидев, что ее дочь спит в постели со своим спасителем. Пати прошла в кабинет, где на тахте была разбросана его одежда. Впервые Пати возненавидела все, что принадлежало ему. Она сбросила на пол одежду, стала топтать, и тут из кармана его брюк выпала бумажка — извещение о переводе значительной суммы денег на имя Кастека Телешева.

Цепь дальнейших событий выстроилась сама собой, без труда, как вырастают сорняки.

Пати потребовала, чтобы Руфина в последний раз спросила у незнакомца его имя. Она показала ей найденное извещение, вспомнила белый «БМВ», на котором дважды приезжал ее спаситель, и водителя, коренастого, коротко стриженного парня в малиновом пиджаке: «такие носят бандиты... видимо, у твоего спасителя есть основания не называть своего имени».

«Винить мне некого, — пишет Руфина, — я сама решила все узнать. На мои вопросы он отвечать отказался. Сказал лишь, что ему нечего делать там, где ему не верят, и с этим ушел».

Пати обратилась в полицию. Так и есть! Кастек Телешев был замешан в крупных денежных аферах, разыскивается властями, имеет жену с ребенком.

У меня вырвался вздох облегчения, поскольку было заметно по сбившемуся почерку Руфины, как она мучилась, заканчивая эту записку, датированную 28 августа. На следующий день...

Посещение дома Телешева не дало результатов. Жена наотрез отказалась говорить о муже.

Глубокой ночью раздался телефонный звонок, продолжает Руфина, это был его голос.

Они договорились встретиться в урочище Алмарасан, у каменной беседки над шлюзами.

Голос его был веселым и беззаботным, как будто он успокаивал Руфину.

Сразу за беседкой начинался горный лес. Был солнечный день, и Руфине хотелось, чтобы он был бесконечно длинным. Ей казалось, что это уже когда-то случилось с ней: и этот лес, и предстоящее свидание. Она шла, совершая то, что должна была сделать, зная, что место их встречи окружено бойцами спецназа. Наконец, появился «БМВ» и остановился на площадке перед аллеей, ведущей к беседке. Он вышел из передней дверцы и выглядел очень счастливым. Руфина успела только вскинуть руку, когда раздались автоматные очереди. Она увидела, как из автомобиля выскочил водитель, и они вдвоем побежали к лесу, под непрекращающимся огнем.

Как объясняли потом солдаты, они выстрелами оттесняли беглецов к опушке на вершине горы. Один из преследуемых был убит. Второй, водитель автомобиля, остановился и сел рядом, не желая бросать его, и не сопротивлялся аресту. Тут же на месте установили его личность — Кастек Телешев. На вопрос же, кто такой убитый, он ответил, что не знает. Незнакомец появился в тяжелый момент его жизни и имени своего не называл.

Пати узнает в портретах, нарисованных Руфиной на стенах комнаты, лицо незнакомца. Он так и остался неизвестным спасителем Руфины. Имярек. Эпоним, чьим именем она могла бы назвать каждый вздох своей жизни.

В кафе я провел еще с полчаса, вглядываясь в лица вполне довольных жизнью людей, открытых для всякой неожиданности и в то же время надежно защищенных от нее. Тут я поймал себя на мысли, что смотрю на них как бы из окна вагона, и мой поезд трогается. Но самое ужасное, я понимаю, что перепутал поезда. И эти прекрасные молодые, под летним солнцем счастливые отдыхающие сидят в вагоне, который отъезжает в противоположном направлении.

Виной всему дневник Руфины. Сейчас он лежит передо мной. Оттягивать больше нельзя. Необходимо приступить к работе и попытаться написать историю, которая сама по себе «не та». История так ничего и не объяснившая в происшедшем прошлой осенью с Пати и ее дочерью Руфиной. Но другой у меня нет. Конечно, я знаю, с какой фразы начнется мой рассказ. В своем воображении вывожу ее на белом листе, как Руфина очерчивает его лицо на стене у старой площади, потому что всякое молчание хуже смерти...

РОЖДЕНИЕ

Снега намело много, очень много. Казалось, вся земля теперь стала до самого ядра снежной, а не земляной или каменной. И океаны замерзли. Белый шар медленно крутился в черном космосе, будто отколовшаяся, громадная часть снежной бабы. Тихо мерцали звезды. Холодно. Но здесь, под пуховым одеялом, было тепло, как в норке.

Соня открыла глаза. За окном шелестел дождь, дрожала и постукивала неплотно закрытая форточка.

Папы опять не было рядом. Место на постели, где он обычно спал, уже остыло. С тех пор, как мама уехала, Соня снова стала приходить рано утром в родительскую постель, хотя, когда была мама, её отучили от этой привычки.

Соня вылезла из постели, сунула ноги в тапочки и как была, в пижаме — уже коротковатой, она из нее выросла, — вышла из спальни.

Отец, как она и предполагала, сидел на кухне спиной к входу, курил и пил коньяк. Несколько пустых бутылок, выпитых папой за последние дни, стояли и лежали на полу. Папа всегда аккуратно в эти дни выносил мусор, подметал в кухне, мыл посуду. Но бутылки не убирал, словно хотел какого-то тяжелого, но нужного ему напоминания.

Соня села рядом с ним, лицом к окну.

— Какой Новый год странный, — сказала она, — дождь идет.

— Мокрый, со снегом, — отозвался отец. Он тяжело, силпо дышал, его глаза и скулы припухли, лицо было нездорового, какого-то кирпично-серого цвета. Хотя папа был еще молод — ему не было и сорока.

— Папа, — сказала Соня, — а когда вы с мамой меня рожали восемь лет назад, тоже была такая погода?

— Нет. Тогда мела метель, и все занесло снегом. Была очень снежная зима.

— Да, как во сне, — кивнула Соня.

Отец повернул к ней голову.

— В каком сне?

— В моем.

— А, понятно... Знаешь, мы с мамой тебя не рожали вместе, мама одна тебя родила.

– Ну, вы же оба мои родители. Значит, и рожали вместе.

– Хорошо, пусть так... – отец чуть заметно, хрипло усмехнулся. Затем отвернулся, залпом допил оставшийся в рюмке коньяк и затушил сигарету в пепельнице.

У соседей включили музыку – что-то пела женщина, и гулко ударял динамик.

– Папа, – сказала Соня минуту спустя, – а мама же умерла, да?

– Да, – раздался его сиплый голос. – Я тебе об этом говорил.

– Нет.

– Нет? Ну прости, забыл...

Отец глянул на Соню, потом на висящий над столом календарь с фотографией венецианского карнавала, увидел там обведенную оранжевым фломастером цифру «6» и нарисованный рядом профиль Буратино. Тяжело вздохнув, он сжал виски ладонями, взъерошил волосы и опустил голову.

– Прости, дочка, прости... – сказал отец, – Я забыл, что у тебя сегодня день рождения. Я все на свете забыл. Прости! Я ужасный, страшный отец. Я...

Соня положила руку ему на колено.

– Ты не ужасный, папа. Ты просто такой папа. Ты же один на свете. Никто не виноват, что ты такой. Подумаешь, родилась? Ну и что.

– Как что... Я обещал тебе... – мотал головой отец, – год назад, я помню... обещал деревянного настоящего Буратино на день рождения, чтобы у него двигались руки и ноги, как в сказке. Думаешь, я не помню? У меня друг детства, Валя, деревянные игрушки делает, и я, и он обещал... Как же все далеко! Как Ира далеко... Боже, как же все стало далеко.

– Папа... – Соня обняла его руку и прижалась к ней. – Ты, не обращай, пожалуйста, на меня внимание. Представь, что меня здесь нет. А если я буду нужна, я тут же появлюсь. Хорошо?

– Да, хорошо... – отвернувшись, он вытер выступившие слезы, сглотнул, и вновь повернулся к дочери, – только ты, Соня, не исчезай так уж надолго. Ладно?

– Ладно.

– С днем рождения тебя, родная.

– Спасибо, папа.

– Сейчас я, немного приду в себя, схожу в магазин и куплю что-нибудь... подарок, там...

– Подожди, папа. Посиди просто так.

– Да, просто так. Хорошо.

Он замер на стуле в не очень удобной для себя позе, ощущая тепло прильнувшей к нему дочери. Ее волосы были такими же густыми и золотистыми, как у Иры, и так же кучерявились. Соня была внешне копия мамы, но внутренне она была все же ближе к нему. «Твоя дочка, твоя!» — нередко со смехом говорила Ира, откидывая назад свои золотистые кудри. С Ирой было сложно. Последний год они почти не жили вместе. То она уезжала к своей матери или в другую квартиру, и забирала к себе Соню, то дочь оставалась с ним. Чаще — с ним. А когда Ире вдруг определили саркому, и она сгорела в две недели, Павел забрал дочь и сказал, что мама уехала в длительную командировку по работе. Он и не врал почти. Ира же часто моталась по командировкам. Кажется, там и подцепила этого, с которым... Впрочем, скорее всего, ему просто хотелось, чтобы все обстояло именно так: она ему изменила, ушла, потом... умерла.

Умерла.

Сегодня был сороковой день.

Совсем не стесняясь дочери, или, действительно, забыв о ее существовании, Павел заплакал. Навзрыд — но тихо, бесшумно содрогаясь. Слезы вытирал валяющейся тут же футболкой; вскоре она стала мокрая.

Соня прижималась к отцу и, закрыв глаза, молчала.

Она видела в темноте свою землю — заснеженный ледяной, болтающийся во Вселенной шар. И молила волшебного короля всей Вселенной, чтобы он смилостивился и зажег снова Солнце, и оно снова начало бы обогревать Землю. А пока что там, в морозных сугробах, занесенные снегом, сидели они вдвоем с папой. И где-то под снегом была еще их мама — умершая, но почему-то живая. Мама смотрела на них широко открытыми, неморгающими глазами, просто смотрела и молчала, будто разучилась говорить.

«Мама!» — немо крикнули одновременно отец и дочь, и от этого крика оба одновременно пробудились.

Отец встал. Стал стряхивать с себя какие-то невидимые крошки.

— Ладно, Сонь... пойду, что ли, в магазин.

— Подожди, папа. Я хотела сказать...

— Да. — Он тяжело опустился на стул напротив и внимательно, опухшими глазами посмотрел на дочку.

— Я хотела сказать, папа, что вырасту и стану мамой.

— Как это? — отец улыбчиво поднял брови.

— Женюсь на тебе и стану мамой. Я же похожа на нее.

– Соня, ну.. – Павел стоически ухмыльнулся, пожал плечами и погладил Соню по мягким пружинящим волосам, – ты все-таки другая.

– Ну и что. Я стану мамой, – Соня смотрела ему в глаза.

Отец бросил взгляд на пепельницу, где лежали серые смятые и сломанные сигареты. Потом скривил губы, издал шелкающий звук и отрицательно качнул головой:

– Так не бывает, Соня.

– Почему не бывает?

– Потому, что есть что-то, что бывает, а есть, что не бывает. Ты моя дочь и не можешь стать моей женой. Как будто ты не знаешь.

– Да знаю, знаю, – с задумчивой улыбкой кивнула Соня, – что я, маленькая? Ладно, па. Тогда я выйду замуж за мужчину, похожего на тебя, и буду ему, как мама. А ты будешь жить с нами. Меня на обоих вас хватит, не волнуйся.

– Конечно, Сонька, выходи замуж за кого хочешь. Только неувязочка. Ты еще не выросла. Тебе всего семь лет.

– Восемь, – поправила Соня.

– Да, восемь уже, прости, – с усталой улыбкой кивнул отец. – Хотя... ты же еще не родилась! Ты родилась ровно в полночь с шестого на седьмое января, то есть в ночь на рождество.

– А, вспомнил, вспомнил? – радостно искрила глазами Соня.

– Конечно, – кивнул папа. От его глаз побежали, словно вспышки лучей, тихие морщинки. – По идее, надо было записать, что ты родилась седьмого. Но в паспорте написано – шестого. Почему?

– Наверное, лучше ближе к рождению, чем дальше от него, – предположила Соня. – Но это же не важно. Все равно я родилась.

– Конечно, не важно. Но все равно, ты еще очень маленькая девочка, и тебе еще рано думать о замужестве.

– А я вырасту мгновенно, папа. Знаешь, есть такое волшебное вещество, которое съедаешь, и бац – сразу становишься взрослым.

– Да? – папа втянул воздух и с шумом, надувая щеки, его выпустил. – Вот как... А дашь попробовать? Я тоже хочу мгновенно снова стать ребенком.

Соня засмеялась.

– Нет, папа. Вещество действует только в одну сторону.

– Гм, скучное какое-то вещество. Одностороннее. Кстати, где ты его взяла?

– У Маленького Мука.

– Какого еще Маленького Мука?

– Того самого, который сбежал от Похитителя Снов и волшебное вещество с собой прихватил.

– От кого, кого он сбежал?

– Ладно, па. Я пошутила. Конечно же, у Маленького Мука есть и обратное вещество, для таких пап-ребенков, как ты. Съешь его и отправишься в детство. Только там тебе будет ужасно скучно, папа.

– Слушай, ну, откуда ты это знаешь? — отец так заинтересовался, что сел перед дочкой на корточки и внимательно посмотрел ей в глаза.

– Да чего тут знать? — пожала плечами, искрясь задумчивой улыбкой, Соня. — Тот, кто уже побывал во взрослых, не сможет быть счастливым в детях.

– Почему?

– Потому что он уже никогда не захочет стать взрослым. А время не останавливается. Да и таблетки от стирания памяти нет.

– Что, даже твой Маленький Мук такую таблетку не изобрел?

– Даже он, папа.

Они помолчали немного, каждый на своем месте и в своем времени. Они оба молчали с какими-то чуть сумасшедшими, блуждающими, словно одинокие астероиды в космосе, улыбками. Потом папа хмуро обвел глазами кухню, вздохнул и с трудом поднялся на ноги.

Соня тоже встала.

Папа подошел к двери в ванную, заметил висящее со вчерашнего вечера на вешалке махровое фиолетовое полотенце, которое оставила его гостья. Он сорвал полотенце, скомкал, и бросил его в корзину для грязного белья.

– Папа...

– Да.

Он остановился, но не обернулся. Свесив растрепанные, невымытые седоватые волосы, Павел хмуро смотрел вниз и куда-то в сторону.

– Я не возражаю, — сказала Соня.

– Против чего?

– Чтобы к тебе приходили женщины.

– Почему?

– Я понимаю. Я же не маленькая. Тебе нельзя без этого.

– Можно.

– Ты только не приводи, пожалуйста, их очень часто. Или сам едь к ним, я же не маленькая. Могу уже сама оставаться дома. Я и ночевать сама могу, ты не думай...

– Соня...

— И только, пожалуйста, не женись очень быстро. Дай мне немного вырасти.

— Сонька....

— Что?

— Ты говоришь так, словно тебе не се... не восемь лет.

— А я сейчас вообще не знаю, сколько мне лет. Я вообще сейчас, кажется, тебя старше, папа.

Отец посмотрел на Соню, жевнул губами, кивнул. Потом, сощурившись, глянул в какую-то точку перед собой — потерянно, хмуро, брезгливо.

— Хорошо... — медленно сказал он и покачал головой. — Я и пить больше не буду.

— Не обещай, — сказала девочка, — просто не будь. А будь со мной.

— Сонька... — отец шагнул к ней, распахнув глаза так резко и широко, словно подпалил их вспышкой огня. Но остановился. Потух. Сжал пальцы в кулаки, потер костяшками кулака по руке, как бы соскребая что-то с кожи.

— Ты ангел? — поднял он голову.

Соня пожалала маленькими плечами и чуть развела в стороны длинные тонкие руки. Глаза ее тихо искрились.

— Все дети ангелы, говорят, папа. Но я же уже большая.

Она еще хотела добавить, что мама сейчас наверняка находится среди ангелов. Но промолчала, понимая, что кожа ее папы сейчас тонкая, как мокрая бумага, она может порваться навсегда, и лучше пусть она хоть немного высохнет.

Отец потерянно смотрел куда-то вперед сквозь стоящую перед ним дочь, и бегущие лучики вокруг его глаз постепенно останавливались, замирали. Соня тоже стояла тихо. Прекратился дождь за окном, перестала дребезжать оконная рама.

Снежный шар замер, перестал крутиться. И даже вечно движущийся звездный свет остановился, застыл молочными нитями в иссиня-черном пространстве.

Подождав какое-то время, тишина закончилась.

За дверью что-то глухо стукнуло. Послышался шорох, гул.

— Дзы-ынь!

Это был звонок в дверь.

Отец медленно, мало что понимая, повернул голову к двери.

— Дзы-ынь. Дзы-ы-ы-ы-нь! — пела песня пилы и колокольчика.

— Странно, кто это? — услышала Соня сиплый голос отца. — Мы никого не звали...

Он подошел к двери, прислушался.

Когда звонок снова дзынкнул, отец негромко, натужно командным тоном, выкрикнул:

— Кто это там?

— Это я, Паша. Открывай, черт, я...

Отец прильнул к глазку, и отпер дверь.

В квартиру ввалился, весь в снегу — даже на меховой шапке застыла пушистая горка — бородач, грохнул чемодан на колесиках на пол.

— Что, не ожидали? А?

И задрожал грохочущим смехом, тряся бородой, с которой сыпался снег и ледяная крошка.

— Валька? Ты? — изумился папа.

— А то кто же? Ну, вы спрятались в нору, звонил тебе, звонил...

Разлапил руки в рукавицах, дернул к себе папу, обнял.

— Да откуда ты тут?

— Откуда, откуда, с Альфа Центавры, из Неспящего Королевства, от великих мужей человеческих. Что, думал, спрячешься, не найду? Ну ты, Пашка, совсем бугаем стал, год не прошел, как виделись, — весело изрыгал бородач.

Потом отодвинул отца, посмотрел на стоящую посреди коридора Соню. Сощурил брови, выдохнул инеем:

— Соня, София, принцесса солнечной долины. С днем рождения тебя от папы Карло, и получи-ка Буратину.

Он вытянул из чемодана здоровенный, с Соню ростом, тряпичный мешок, откуда за ноги выдернул деревянную куклу Буратино и поставил на пол. Буратино был с длинным острым носом, большими оттопыренными ушами, улыбкой от уха до уха и душисто пах стружкой.

— Как, мне? — не верила, искрясь, словно она из снега и на нее падал свет, Соня. — Как в сказке?

— Ну да, без одежды, правда, и без Золотого Ключика, но ты, я думаю, одежду сама ему сошьешь, а папа ключ золотой выкует. Так, кузнец?

— Ну, ты вообще, Валька, ну вообще... — папа с сахарной улыбкой мотал головой и взмахивал руками.

— И руки, ноги двигаются? — спрашивала Соня, глядя Буратино, который оказался чуть ниже ее ростом, по деревянным плечам.

— Ну конечно, принцесса. Полено живое было, когда я его стругал.

– Еще как, сошью одежду, сошью! – Соня вместе с куклой, вся в солнечном инее, подскочила к бородачу, уткнулась в его дубленку и бороду, Валентин нагнулся, поцеловал девочку, обдав льдистыми снежинками.

– Ой, – сказала Соня, – а почему вы весь в снегу?

– Правда, Валя, там что, снег пошел?

– Ну вы, дети подземелья, на улицу, что ли, не выходите? Да там такой снегопадище! Я как с поезда сошел, начал валить. В Новосибирске редкость. А у вас... На такси еле добрался, пробки, заносы.

Валентин, наконец, разулся, повесил дубленку, вымыл в ванной руки и вместе с папой вошел на кухню. Соня взяла Буратино под руку и не спеша отправилась с ним в свою комнату.

– Эх, Валя. Хорошо, что ты нас застал, мы ж могли уехать...

– Куда ты там мог уехать, не рассказывай сказки. Телефон, небось, выключил?

– Да нет, я так это... блин, точно, выключил! Ну, как ты, рассказывай.

– А что мне рассказывать. Давай ты. С Ирой... когда случилось?

– Да...сегодня сороковой день...

– Вот те раз. А мы ржем тут. Ну ладно, Ирка бы на нас не обиделась. Да она и сейчас не обижается, смотрит на нас. Так, сейчас, посидим, помянем.

– Валь, я это, типа, не пью...

– Уже? Да вижу я, как ты «типа». Ну и бардак у тебя! Давно прибирался? Не стыдно? Сонька же видит.

– Да знаю, дурак я...Сейчас в магазин...

– Какой магазин, сиди. У меня все с собой. Сейчас приберемся маленько, стол накроем. Веник у тебя где?

– Валь.

– А?

– Спасибо, что приехал. А то у меня тут, крыша поехала...

– Вижу. Затормозим. Так, одевайся, мусор вынесешь. А я тут пока в наряд. Помнишь, как мы в казарме палочками кровати равняли? У тебя еще лучше меня получалось, я даже завидовал.

– Валь, ну что ты несешь. Кстати, сколько я тебе за Буратино должен?

– Ты что, дурак? Тебе сразу по кумполу надавать или после отбоя?

– Да шучу я, шучу... Э-э, а пить я точно не буду, не наливай.

– Будь спок, я за двоих. Ух! Так, Паш, ты почему еще здесь? Быстро бутылки собрал и пулей всю эту хрень на мусорку.

– Да иду уже, иду..

Буратино сидел в бело-солнечной Сониной комнате на диване. Он улыбался и смотрел куда-то далеко, может быть, даже за пределы Вселенной.

Соня сидела за своим школьным столом и кропотливо строчила на маминой швейной машинке. Она шила камзол, колпак, носки и штаны для деревянного живого человечка. За окном медленно падал снег. Земля оттаяла, зазеленела и тихо вращалась в прозрачном космическом океане, словно круглая со всех сторон рыба, на которой жили люди. Было так тихо и хорошо на многие километры вокруг, что Соня услышала, как кто-то сказал:

– С Рождеством, люди-братья, все-все, кто меня слышит.

Соня услышала, но тут же забыла, как это часто случается во сне. Она продолжала шить.

История одной домбры

Раздражение накапливалось незаметно, исподволь, и выплеснулось совершенно неожиданно, вечером перед уходом.

Мать как всегда сидела за столом, низко склонив голову, и, услышав шаги Даны, спросила бесцветным голосом:

– Ужинать будешь?

– Нет, – сухо отрезала Дана, готовая в любую минуту взорваться и дать отпор.

Мать слегка качнула головой, и взглянула в сторону дочери:

– Ты куда?

– Не твоё дело, – выпалила Дана и выскочила из комнаты, боясь, что мать сейчас заведется и скандал будет неизбежен, и тогда мать никуда ее не отпустит.

Только на улице Дана вздохнула с облегчением, выпрямила плечи и расслабленной походкой независимого человека пошла к остановке.

Встречные прохожие невольно оглядывали Дану, кто с открытой насмешкой, кто удивленно, а кто испуганно.

Густо подведенные черные глаза подчеркивали неестественную белизну лица и сверкающее серебро пирсинга.

Волосы – растрепанные во все стороны – блестели от лака и воинственности.

Грудь агрессивно топорщилась под коротеньким топилом.

А такая же коротенькая юбочка, подчеркивая красоту и безупречность ног, вызывала раздражение у женщин и восхищение у мужчин.

Тяжелые кованые ботинки позволяли двигаться расслабленно, так как ногу оторвать от асфальта было довольно тяжело.

Дана не чувствовала вины, наоборот, она шла и злилась, от того, что мать не понимает ее, что матери некогда поговорить с ней, что мать не одобряет ее стиль и ее дружбу с Игорьком.

Мать работала врачом в больнице, и Дана всегда обижалась, мысленно упрекая мать в том, что ее больные дороже ей, чем родная дочь. И если бы не Игорек, Дана давно бы уже махнула на все рукой, написала бы маме предсмертную записку о том, что она ни в чем не виновата, и однажды шагнула в окно.

Но Игорек дал ей послушать грустную песню, и Дана поняла, что музыка дает ей возможность выплеснуть свои эмоции в крике и яро-

сти танца. Мать дружбу с Игорьком не одобрила и привела совершенно нелепый довод, что Дана только шестнадцать, а ему уже двадцать пять. Но Дана проигнорировала замечания матери, и вот, в первый раз в жизни ушла из дома, на целую ночь, чтобы провести время в компании Игорька и друзей, ценителей тяжелой музыки.

Собрались на пустыре, разожгли на бочках костры и врубили музыку на всю катушку. Игорек предложил какую-то таблетку, но Дана отрицательно мотнула головой. Игорек засмеялся и вытащил сигаретку. А когда Дана снова отказалась, Игорек раздраженно спросил:

– Может, ты еще скажешь, что ты – девственница?

– Да, – прокричала Дана в ответ, – а что, это плохо?

– Ничего хорошего, – прокричал Игорек в ответ.

Дана пожалала плечами и благоразумно решила промолчать.

Утром, уставшая, но довольная Дана вернулась домой, в надежде, что мать уже ушла на работу. Но вопреки ожиданию, мать оказалась дома и ждала Дану. Покрасневшие глаза матери выдали, что она плакала.

– Соберись, – сухо сказала мать, – в аул поедем.

Видя, что Дана попытается возразить, мать пресекла все возражения:

– Бабушка умерла.

...Тетки Алмагуль, Назгуль и дядя Турсынбай беседовали со старшей сестрой, матерью Даны, о разделе имущества.

Разбирали и раздаривали вещи своей матери, и тут взгляд тетки Назгуль упал на домбру.

– А кто мамину домбру возьмет? – вдруг спросила тетка Назгуль.

Тетка Алмагуль отмахнулась:

– А кто у меня играть будет? Один, кроме своего трактора, ничего не видит, другому – компьютер подавай. А Айдана уже на мальчишек смотрит, ей косметика нужна.

Дядя Турсынбай хмыкнул и сказал:

– А нам фортепьянов нужно, две штуки.

Мать Даны, молча, искоса взглянула на дочь и тихо вздохнула. И этот молчаливый взгляд взбесил Дану, она вспыхнула как спичка, и назло матери, назло ее взгляду, сказала, сказала просто так, чтобы досадить:

– Я возьму.

Дядя Турсынбай изумленно посмотрел на Дану и согласно кивнул головой:

– Правильно. Ты у бабушки – первая и любимая внучка. Кому как не тебе домбру взять.

Вечером Асылхан, двоюродный брат Даны, вытащил магнитофон и сказал Дана:

— Пошли к соседям. Покажешь, что у вас в городе танцуют.

Видя удивленный взгляд Даны, нетерпеливо добавил, тоном, не терпящим возражений:

— Пошли, пошли.

В соседнем дворе собрались мальчишки и девчонки от четырнадцати до двадцати лет.

— Это что у вас, дискотека? — высокомерно подняла бровь Дана.

— Типа того, — усмехнулся Асылхан, — покажи нам, что в городе танцуют?

— Музыка нужна, — попыталась отвертеться Дана.

— Есть, есть, — успокоил ее один из парней, — сейчас сделаем.

Парень вставил в магнитофон кассету, и из динамиков хлынул рев «тяжелого металла». Дана оглядела компанию, никто не улыбался, все с сосредоточенными лицами ждали танца. А когда Дана, тяжело дыша, стряхивая капельки пота с челки, остановилась, девчонки восхищенно заплодировали, а один из парней разочарованно сказал:

— Ва, а я думал это так круто.

Дана гневно обернулась, но одна из девчонок заступилась и опередила ее:

— А что, твой танец круче? Дрыгаешь ногами, и все.

Парень не обиделся:

— Этот танец в Москве танцуют.

— Да брось ты, — девушка передразнила, — «в Москве». Это что, показатель, что ли?

Дана заинтересовалась и просто предложила:

— Че спорить? Покажи.

— Без проблем, — ответил парень и сменил кассету.

К парню подошла одна из девушек и, улыбаясь, взмахнула косой:

— Как обычно?

Парень кивнул в сторону Даны:

— Ударно. Покажем горожанам.

Зазвучала веселая техно-музыка.

Дана восхищенно следила за танцорами, а потом присвистнула и признала:

— Круто.

Парень признательно кивнул головой.

...После долгих поцелуев и наставлений друг другу тетки, наконец, выпустили мать и Дану из своих объятий. Мать и Дана сели в машину, и тут из дома выбежал Асылхан с домброй в руке.

– Дана, ты забыла бабушкину домбру, – напомнил дядя Турсынбай.

– Я же пошутила, – воспротивилась Дана, – что я с ней делать буду?

Дядя Турсынбай укоризненно покачал головой:

– Никаких шуток. Это тебе память о бабушке.

Дома Дана поставил домбру в угол – и забыла про нее.

Снова потекла монотонная жизнь, школьные проказы, встречи с друзьями, с Игорьком, постоянные пререкания с матерью, громкий рев тяжелой музыки до одури матери и соседей, а домбра тихо пылилась и старела в углу, за кроватью Даны.

Все изменил один воскресный вечер. Мать ушла на дежурство, а Дана собралась на встречу с Игорьком. Но не позвонила ему, надеясь на сюрприз. Сюрприз оказался монетой о двух сторонах, Игорек не ждал ее, а мило целовался на скамейке у дома с Наташей, одноклассницей Даны, которая сама же их и познакомила.

Дана даже не стала подходить, увидев их, она расправила плечи, развернулась и ушла, надеясь, что Игорек увидит ее и догонит и попросит прощения, объяснив, что это страшная ошибка с его стороны. Дана не замечала, что слезы размазывают ее густую тушь, что черные подтеки залили ее лицо, прохожие испуганно разглядывали Дану, а она все шла, шла и прислушивалась, не раздастся ли позади drobный перестук бегущего, догоняющего ее Игорька. Но ушла она уже на приличное расстояние, а Игорек даже не заметил ее.

Дома Дана включила телевизор, села в кресло и неподвижно застыла, ничего не видя и не слыша. Слезы продолжали катиться из глаз, жалко было себя, жалко было маму, которая – Дана уже придумывала способ ухода из жизни – должна была остаться совсем одна. Весь мир ополчился против Даны, и Дана решила отомстить миру. А Игорек придет на ее похороны, увидит ее – величественную, белую, – и тогда поймет – какую красивую и любящую девушку он потерял. И пожалеет об этом, и заплачет. Но будет поздно. Хотелось бы посмотреть в этот момент на плачущего Игорька. Но как это сделать? Она же будет лежать в гробу. А как присоединиться к большинству? Шагнуть из окна? Фу, это же каша-малаша получится.

Повеситься? А вдруг язык вывалится, и лицо синим станет? А от таблеток, наоборот, зеленым каким-нибудь?

Лучше в ванной, кровь выпустить. Тогда точно лицо станет белое-белое, ни кровиночки.

Ой, как жалко себя, никто не подойдет, не погладит по голове, не приласкает.

Совсем одна Дана на белом свете – такой холодный и равнодушный мир вокруг. Никому нет дела до ее проблем.

Просто даже поговорить не с кем. Мама не поймет. Подруги будут смеяться. Ни сестры, ни брата нет, куклы детские не посочувствуют. Даже кошки нет в доме, чтобы выговориться.

И что, может статья — никто и не заметит ее ухода.

Так же будет светить солнце, так же будут петь птицы, смеяться во дворе дети — а ее уже не будет? Совсем не будет? Никогда не будет? А Игорек будет дружить с этой шалавой? И целовать ее? Да ей же надо просто лицо расцарапать, чтобы не заглядывалась на чужих парней. Да, завтра же в школе, на большой перемене позвать в туалет и плюнуть ей в рожу. И вдруг, словно какая-то неведомая сила заставила Дану повернуть голову в угол, где пылилась бабушкина домбра.

Впервые Дана вдруг почувствовала боль утраты.

— Бабушка, — с нежностью подумала Дана и вспомнила, как они с бабушкой собирали в роще ягоды, как поливали маленький огород, как бегали — старая и маленькая — за непослушным теленком. А когда возвращались домой, то обязательно прихватывали с собой найденные в степи щепки, дрова, и гора дров у стены сарая росла с каждым днем.

Дана встала с кресла и вытащила домбру. Сдула, затем обтерла пыль, села на кровать и устроилась удобнее, перехватив домбру, как профессиональный музыкант.

— Интересно, а бабушка хорошо играла? — и Дана слегка коснулась струны.

Струна отозвалась нежным переливом.

— Да, бабушка, я уже никогда не услышу, как ты играешь, — с грустью подумала Дана и, отложив домбру на место, упала лицом в подушку и горько расплакалась.

Но уходили слезы, уходила боль одиночества, и приходило облегчение.

И Дана заснула, забыв про свои обиды и про свои мрачные мысли.

... Сначала музыку было едва слышно. Так, как будто там, в глубине степного океана зародился ветер и робко шевельнул седую шевелюру ковыля. Но потом осмелел и прошелся сильнее, и вот уже погнал волну перед собой.

И нарастала волна, и склонился ковыль до самой земли, и вот уже кустарники стали трещать и ломаться, а там и деревья закричали, застонали под напором могучего ветра.

И вот уже стукнул ветер по раме комнаты Даны, распахнул окна, небрежно отмахнул тюль-прилипалу и сделал торжественный круг по комнате.

Присел на кресло, пролистал книги, шелкнул по носу любопытное зеркало, и пощекотал пятки Даны.

Дана проснулась и села в кровати, а ветер вспрыгнул на люстру, качнул её с веселым гиканьем, и прыгнул «щучкой» обратно в окно.

Дана встряхнула головой — и не то чтобы удивленно, но с недоверием спросила: эже?*

Бабушка сидела величественно строго, выпрямив спину, и молчала.

Смотрела печальным взглядом на Дану, а потом перевела взгляд на домбру — и просветлело лицо бабушки, и даже морщинки как будто разгладились — и бабушка протянула руку к домбре.

— Ты хочешь узнать, как я играю? — вопрос словно прозвучал в душе у Даны, вслух бабушка не произнесла ни слова, её губы даже не шевельнулись...

... Сначала музыку было едва слышно. Так, как будто там, в глубине степного океана, зародился ветер и робко шевельнул седую шевелюру ковыля. Но потом осмелел и прошелся сильнее, и вот уже погнал волну перед собой.

И нарастала волна, и склонился ковыль до самой земли, и вот уже кустарники стали трещать и ломаться, а там и деревья закричали, застонали под напором могучего ветра.

В разных тональностях ветра Дана услышала, как стонет и поет Казахская степь, как встревоженный топот бегущих сайгаков, прорезает свист стрел и гром ружей, как разливаются реки, грозя смести земляные валы и затопить многодневный труд земледельцев, как хрустит коркой льда отощавшее, немногочисленное стадо овец, умирающих от голода...

Дана слышала, как стонут жители осажденного города, умирая от жажды и ран, как кровь журчит, разливаясь широкими ручьями и не впитываясь в землю, потому что земля, истоптанная тысячами копыт и ног, окаменела от боли.

Дана слышала, как два одиноких всадника — скакали друг за другом...

Один из них с черным знаменем нес мрачную весть — и знамя его шумело как камыш, сквозь который пробирается затравленный тигр, — напролом, без оглядки.

Другой — нес радостную весть о победе, но шум его знамени был похож на тихий жалобный перепев жаворонка — слишком велика была цена этой победы, и слишком мало было людей, доживших до этого дня.

Рев тракторов, надрывный вой авиабомб, глухие раскаты грома, взрывы и огненные грибы, устремлявшиеся в небо, все смешива-

* эже — бабушка (каз.)

лось в этой великой песне ветра, и домбра в руках бабушки выплескивала эту песнь отчаяния и надежды, слез и смеха, горького причитания и первого крика новорожденного — выплескивала как вечную боль обожженной совести.

И послышался Дана в последних аккордах — призыв — не забыть, помнить — все, что пережила многострадальная степь казахов — и Дана заплакала, мучаясь оттого, что в последнее время она стеснялась чувствовать себя казашкой.

— Я научу тебя, — бабушка не упрекала, молчала, и Дана чувствовала — как велико желание бабушки обнять и приласкать внучку, утешить ее и вселить надежду.

— Да, я буду играть, — всхлипывая, глотая слезы, пробормотала Дана, — а ты придешь еще?

— А я никуда и не уходила, — домбра тихо и ласково зажурчала как весенние ручьи, — ведь ты думаешь обо мне!

— Я... я обещаю тебе,... что я буду играть, так, как ты...— Дана вскочила, чтобы обнять бабушку.

Испуганный ветер подскочил с кресла, увидев, как усмехнулось зеркало, успел подскочить и щелкнуть его по носу, ласково коснулся струн домбры и «щучкой» выпрыгнул в окно.

— Бабушка, — удивленно позвала Дана.

Тюль-прилипала легким колыханием показывала, что в комнате только что присутствовал ветер-забияка, но Дана не обращала внимания на жалобные вздохи тюли, она удивленно разглядывала домбру, которая не стояла, как обычно, в углу, а лежала на кресле.

И замороженная Дана протянула руку к домбре и почувствовала тепло, исходящее от струн.

Мать, пришедшая рано утром с дежурства, не поверила своим ушам сразу по двум причинам.

Сначала ее насторожила тишина — из комнаты Даны не ревела тяжелая музыка, усиленная мощными динамиками и тонкими стенами.

Но тишина оказалась обманчивой, и когда мать прошла из прихожей, она услышала, — вот вторая причина, по которой мать не поверила своим ушам — кто-то в комнате Даны тихо, неумело, но настойчиво играл на домбре.

ВЕРОНИКА И БЕЛЫЙ ПАРОХОД

АЗУЛЁЖУ

*«...Перелётные сны и любовную явь
я умел, как учёный, исследовать вплавь,
по-собачьи, державинский мел
зажимая в зубах и довольно кряхтя,
с петушком леденцовым простое дитя,
а ещё — ничего не умел...*

*Нет, любовь, не состарился — просто устал.
Устаёт и младенец кричать, и металл
изгибаться. Как ласковый йод,
время льётся на ссадины, только беда —
после тысячелетий живого труда
и оно, как и мы, устаёт».*

/Бахыт Кенжеев/

...Кто бы там что ни говорил, а отношения с родителями не складывались у Вероники с самого начала. Ну, не с самого, конечно — с тех пор, как она почувствовала себя суверенно думающим субъектом. А с другой стороны, иногда ей кажется, что она такой родилась.

— Оставьте меня в покое! — отмахивается она от донимающих расспросами подружек. — Мы просто чужие люди...

Вот так. Чужие — и точка.

Вероника.

Сидит на подоконнике в обнимку с коленями, смотрит на море и балуется длинной коричневой сигаретой: «метр курим, два бросаем» — так, кажется, говорят о ней шутники. Моя рубашка в красно-синюю американскую клетку ей категорически велика, по всем направлениям. Но это нисколько её не смущает, скорее наоборот — помогает полнее воспринимать свободу. Во всяком случае, так она сама говорит. Складывает губы в трубочку и виртуозно выталкивает из них голубоватые дымные кольца. Раньше я тоже умел это делать. Теперь разучился. Я вообще теперь многого не умею из того, что даётся ей без труда.

У неё острые выпуклые ключицы, сиреневый педикюр на длинных загорелых ногах и настороженная грация дикой кошки, неизменно готовой к худшему из всего, что может произойти.

Почуяла взгляд, скользнула по мне глазами, чтобы оценить возможные риски, опять вернулась к производству колец: ничего опасного, всё по-прежнему, беспокоиться не о чем...

Она всегда возникает внезапно, ни с того ни с сего — без халата, тапочек и зубной щётки. Как будто знает, что всё ей здесь приготовлено. Кто она мне? Не жена, не любовница, в товарищи не годится — молодая, не нашего поля ягодка. В общем, «номинальная человеческая единица», как она сама себя называет. Но почему-то хочется, чтобы этой единице было на свете не холодно. Несмотря даже на то, что она этого, наверное, не заслуживает...

Море лежит, не по-осеннему синее и глубокое, до самого горизонта, и ему хорошо и спокойно в привычных жёлто-коричневых берегах. Лето промелькнуло, как будто не хотело, чтобы его заметили (ещё одно лето, отмечает для себя Вероника, и лёгкая тень пробегает по её тонкому профилю, нечётко вырезанному на фоне окна). Впрочем, это и в самом деле всего только тень — пейзаж меняется, заинтересованно вздрагивают ресницы, и рука с сигаретой застывает на полпути: слева, из-за дальнего мыса, появляется белый пароход. Он приближается, не спеша и неотвратно увеличиваясь в размерах, поворачивается, блистая иллюминаторами, и вот он уже во всей красе — огромный, величественный, невообразимый. Настоящее чудо. Веронике пока ещё трудно поверить, что на свете не бывает чудес. Тем более что взаимоотношения с пароходами и прочими водоплавающими объектами у неё самые сакраментальные.

Белый пароход.

Он и в самом деле оказался огромным, настолько, что даже не поместился у пирса. «Celebrity Constellation» — прочла Вероника чёткие буквы на белом борту. «Созвездие славы».

Пароход протиснулся в бухту, осмотрелся по сторонам и, поскрежетав якорными цепями, остановился у дальнего берега, на чистой воде.

Опираясь на холодный базальтовый парапет, Вероника смотрела, как он выталкивает из своего бездонного чрева шустрые катерочки, деловито подвозящие к берегу пожилых испуганных инопланетян. Покинув сверкающий ненастоящий мирок, где всегда всего вдоволь и нет никаких проблем, они беспомощно оглядывались вокруг в поисках более-менее безопасного места в безграничном чужом про-

странстве и, наконец, пёстрой разнокалиберной стайкой облепили фонтан — маленькие ручные игуаны, греющиеся среди тёплых камней, подслеповато шурясь от нещедрого осеннего солнца. Запыхавшийся экскурсовод спас их от контактов с неизведанной цивилизацией. Они заулыбались, защёлкали фотоаппаратами и нестройной вереницей потянулись к автобусу.

...Под вечер, когда Вероника ещё раз оказалась в порту, пароход уже готовился к отплытию. До безудержного ночного сияния было, конечно, ещё далеко, но первые огоньки уже побежали по палубам, расцвели окна кают и салонов, и заботливые стюарды, принимающие у трапов своих измученных впечатлениями подопечных, казались им добрыми ангелами-хранителями в ореоле света, льющегося с небес.

Прошло ещё полчаса, и «Созвездие славы», дав на прощанье короткий гудок, неспешно двинулось к горизонту.

«С пароходами так всегда, — думала Вероника, склоняясь над уставшей за день водой. — Они уплывают, а мы остаёмся...».

Родители.

С родителями Вероники мы знакомы давным-давно. Не то что бы дружим — скорее, приятельствуем. Вполне приличные люди, неплохо образованные и с известной широтой взглядов. Жизнь приучила их всегда действовать предусмотрительно и в соответствии с обстоятельствами, и поэтому к моменту окончания десятилетки всё, что касается Вероники, было уже продумано и решено. Она поступит в иняз, на восточный факультет, а после его окончания отправится в далёкую большую страну, где почти никогда не бывает солнца и такие восхитительные пейзажи, что от них перехватывает дыхание. Отец ведь неспроста навевается в министерство образования, напоминая об обещанных стажировках по студенческому обмену, да и вообще всё выстраивается замечательно, лучшего бессмысленно и желать...

Вероника вслушивалась в эти заманчивые перспективы, снисходительно наклоняя голову и пряча в чёлку глаза. К тому времени она давно уже научилась принимать свои решения самостоятельно, только родители этого не заметили. Ну, или не захотели заметить — какая, в сущности, разница...

В иняз она, разумеется, поступила, и было это вполне справедливо: на экзаменах не затерялась, в конкурсе медалистов выстояла и вообще была девочкой умненькой и, как бы теперь выразились, с креативом. Тогда ведь в студенты брали не чемпионов по школьным

«угадайкам», а более серьёзных людей... И всё было бы ничего, если б только не одно «но»...

— Португальский?! На кой хрен тебе этот португальский?.. — не смог сдержаться отец. — Что ты будешь с ним делать? Всю жизнь рассказывать глупым туристам об анчоусах и мадере? Или что они там ещё пьют и едят?

«Да много чего ещё...» — подумала про себя Вероника, но промолчала: поняла, что ничего не сможет сейчас объяснить, и просто вышла из комнаты — как будто в другую жизнь. Так оно, по большому счёту, и получилось.

Её, конечно, не выставили за порог, не лишили карманных денег и девичьих побрякушек. Внешне в их отношениях всё осталось по-прежнему. Но внутри что-то треснуло, раскололось, пришло в негодность.

Родители терпели, сколько могли, растерянно переглядываясь при каждом следующем приступе самостоятельности. Но особенно не давили, ничего силком не навязывали. Всё ждали, надеялись — переберется, повзрослеет... Не дождалась. Ну а уж Португалия — это вообще ни в какие ворота...

Португалия.

Вероника была одиноким ребёнком. Вечно занятые и спешащие родители вспоминали о ней по вечерам, после ужина, и в редкие выходные, спохватываясь, тащили в цирк и театр, показывали пальцем на грустных зверей в неухоженных зоопарках и клали у изголовья полезные, на их взгляд, книги. Но Вероника скучала в сутолоке утренников и клоунад, а в книгах её интересовали совсем другие герои. Прирождённые мореплаватели, без труда понимающие птичьи крики и синеву опасных течений, суровые, облаканные королевскими милостями командоры, крепко стоящие на мостике и железной рукой управляющие своими ненадёжными экипажами, искатели приключений и просто всякий сброд, выбирающий между виселицей и шансом сложить голову на чужбине... Вероника всматривалась в их судьбы, причудливой линией прочерченные по водам двух океанов, сверяла по расстеленной на полу карте маршруты их кораблей, искала места коротких стоянок и безжалостных стычек с враждебными дикарями. Проклинала вместе со всеми сгнившую раньше времени солонину, сражалась с беспощадной цингой и плакала от счастья с теми, кому довелось вернуться домой...

Что осталось от безбрежного мира, который сшили когда-то по лоскуткам тяжёлые мокрые каравеллы Магеллана и Васко да Гамы?

Тёплая красно-зелёная бусинка, чудом удержавшаяся на самом краю континента, — пустынные плоскогорья, подпирающие бирюзовое небо, виноградники, наклонно сбегаящие к воде, неразговорчивые крестьяне, с трудом распрямляющие поясицу, чтобы посмотреть вслед проехавшему автомобилю, и лебединое шипенье согласных в стихах, от которых сладко кружится голова:

*Amor é um fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói, e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.*

*É um não querer mais que bem querer;
é um andar solitário entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é um cuidar que se ganha em se perder.*

*É querer estar preso por vontade;
é servir a quem vence, o vencedor;
é ter com quem nos mata, lealdade.*

*Mas como causar pode seu favor
nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmo Amor?**

* Любовь — огонь, пылающий без дыма,
Кровавая, хотя без крови, рана,
Слепая вера в истинность обмана,
Недуг незримый, но губящий зримо;

Любовь — глухая ненависть к любимой
И гнев на то, что есть, но нежеланно,
И жажда, всем владея невозбранно,
Всего себя отдать невозвратимо;

И добровольный плен, и служба той,
Кто губит нас, и всё-таки любима,
И всё-таки в душе царит одна.

Так можно ль сердцу дать единый строй,
Когда любовь сама неотвратимо
Вся из противоречий сплетена.

Луис де Камозэнс
Перевод В. Левика.

А ещё — азулёжу.

Азулёжу, если кто не знает, это такая португальская декоративная техника: изразцовая мозаика, белое с синим. Гордость этой страны. Вместе с портвейном, сардинами в продолговатых железных баночках и анчоусами, от которых долго щиплет язык и хочется пить.

Урмас мог рассказывать об азулёжу часами. А может, и дольше. Пусть медленно, с паузами, волнуясь и с трудом подбирая не дающиеся ему русские выражения — но с какой нежностью его крестьянские пальцы перелистывали страницы альбомов и как вспыхивали у него глаза, когда он находил то, что искал...

Урмас.

Он склонялся над нею, как Полифем, как тень отца Гамлета, как каменный истукан с острова Пасхи, сгребал огромными, как лопаты, ладонями и нёс на кушетку, непонятно каким образом выдерживающую его сто с лишним килограммов. «Сатир... — шептала она в голубоватые сумерки, до сладкой боли закусывая губу. — Чудовище... Изверг...». А потом долго лежала, раскинув руки, слушала, как бьётся сердце, и смотрела на тусклые пятна балтийской сырости, желтоватой паутиной расплзающейся по потолку...

— О!... Та-а... Тшерепиттса... — говорил Урмас, когда Вероника показывала ему сырые пятна над головой. — Она есть старый. Натто менять... Я скашу упрафтом... Оппясательно, та... — и сразу же забывал об этом, погружаясь в свои архитектурные хлопоты, и всё оставалось по-прежнему.

«Да бог с ней, с этой сыростью, — отмахивалась от самой себя Вероника. — Не сахарные, не растаем. В конце концов, есть вещи и поважнее...». Поважнее — это она о детях: ничего у них с Урмасом в этом смысле не получалось. Видимо, что-то было не так в его грузном эстонском теле. А может, Вероника и сама была не готова. Да и собственный опыт её настораживал. «Дети, конечно, цветы жизни. Но лучше, если они цветут на чужих балконах», — всё чаще вспоминала она чью-то не очень удачную шутку... В любом случае, худа без добра не бывает, решила Вероника и успокоилась. Да и что с этим можно было поделаться? Тем более что и Урмас не проявлял интереса к перспективам продолжения рода. Как и ко многим другим важным для Вероники вещам. Он вообще был лёгким человеком, этот Урмас — настолько, что иногда даже выглядел легкомысленным. Если, конечно, дело не касалось архитектуры, о которой он знал всё. Ну, или почти всё. Она и замуж-то за него вышла по этой причине. Из-за азулёжу, если выражаться конкретнее. Так она, по крайней мере, рассказывает.

«Морское облако».

Лето в том году выдалось неудачным, и даже в Ялте, вопреки обыкновению, было холодно и неуютно. Вероника, не готовая к капризам погоды, куталась во что попало, изо всех сил стараясь сохранить имидж и стиль, водила скучающие группы по пыльным дворцам и считала дни до окончания практики.

К вечеру, когда она возвращалась, не чуя ног, в гулкую полупустую гостиницу, ей уже ничего не хотелось. Её иностранные подопечные давным-давно разбежались от скуки и ненастной погоды, она по инерции согласилась поработать с отечественной публикой и теперь жалела об этом, как только могла.

В последнюю неделю её раздражало всё. Особенно туристы. Начинающие ловеласы и стареющие подержанные самцы, чувствуя близкое завершение сезона, без усталости забрасывали свои дырявые сети в надежде хоть на какую-нибудь добычу. В каждой группе обязательно обнаруживался собственный мачо. Расталкивая вчерашних подружек, он пробивался вперёд, задавал Веронике дурацкие вопросы и сверлил её взглядом.

«Как будто раздевает», — с отвращением думала Вероника и презрительно вздёргивала подбородок.

Потом погода сжалась, и вечера перестали быть такими обременительными. Вероника повеселела, привела в порядок свой гардероб и уговорила себя спуститься на набережную.

Внизу было немногочленно. Пустые рестораны сияли бессмысленными огнями, скучающие без дела уличные художники перебрашивались несмешными шутками, а продавцы сувениров, недобрым словом поминая ещё один бесполезный для бизнеса день, разочарованно дребезжали роллетами, закрывая раньше положенного свои тесные пластмассовые киоски.

Вероника прошла набережную из конца в конец, погладила по замшевой холке знакомого пони и уже собиралась повернуть налево, к почтамту, но что-то заставило её оглянуться через плечо. Так она и осталась стоять — вполоборота к вечернему морю.

Поначалу это показалось ей облаком, ненароком спустившимся к самой воде. Но уже через мгновение она поняла, что ошиблась — это был корабль. Сотканный из ветра, из эфемерных воздушных нитей, из ничего, он скользил между небом и морем, и два портовых буксира, почтительно провожавших его к месту стоянки, держались от него вдалеке, как будто боялись нарушить этот хрупкий белоснежный полёт.

Вот тут-то всё и случилось.

– Тэрэ, – по-эстонски сказал Урмас и сам себя перевёл. – Топ-прый тень.

– Скорее уж вечер, – ответила Вероника. – Но всё равно добрый...

– Люпуетесь? Самешателный парусник... Ошен лутше всех, что я виттел, та-а...

– А вы часто их видите?

– Та, шасто. У нас на Палттике есть, потом в Эйроппе мнокко... В Портуккалии их таше на мозаикках исопрашают... Мне ошен нравитса...

Дальше Урмас мог бы и не продолжать.

Он робел и смущался, подавая ей руку при выходе из троллейбуса, дарил нелепые, только что родившиеся хризантемы в хрустящих пластиковых контейнерах и с грацией рано проснувшегося медведя ставил на стол чуть живые кофейные чашечки. И этого ей вполне хватало для счастья. Вместе с азулэжу, южным ветром, перебирающим резную платановую листву, и «Морским облаком», по непонятным причинам задержавшимся у причала почти на неделю...

Потом Урмас с архитекторской скрупулёзностью выяснил все подробности. «Sea Cloud», четырёхмачтовый барк. Год постройки – 1931. Водоизмещение – 3075 тонн. Парусная площадь – 3160 квадратных метров. Порт приписки – Джорджтаун, Каймановы острова... Как будто всё это имело какое-нибудь значение...

Он даже раздобыл где-то глянцевого рекламного плаката – «Морское облако» летит куда-то под всеми своими марселями, стакселями и брамселями, косо разрезая голубую атлантическую волну. Они долго решали, куда его повесить, и в итоге устроили у окна, выходящего на ржавые крыши и серую воду реки. И квартира, в которой они поселились в предвкушении долгих радостных дней, приобрела законченный вид.

Квартира.

Собственно говоря, называть их жилище квартирой было бы, пожалуй, преувеличением: комнатка три на пять в угрюмой «коммуне» под самой крышей да тёмный угол на кухне между раковиной и плитой. Урмасу выбили её когда-то как молодому специалисту после окончания политеха, и надолго задерживаться здесь он не собирался. Ну а потом всё обрушилось в одночасье, и о каком-либо переезде стало бессмысленно даже и мечтать. Но Урмас этого как бы и не заметил. Он вообще мало что замечал за пределами мира, в котором

всё определяется несущей способностью конструкций и коэффициентом сопротивления материалов.

— Фсё хорошо, — говорил он, склоняясь над чертежами и глядя на Веронику поверх очков. — Не натто только нитшеко улошннять... Шиснь — этто такой простой вешш. В нём фсекта есть тва выхота. Как в анекдотте. Помнишь?

Вероника, разумеется, помнила.

Анекдот.

Они рассказывали его вдвоём — и только в русскоязычных компаниях. Чтобы не промахнуться с чувством юмора и реакцией. В Латвии, чтоб вы знали, русские и латыши всегда жили отдельно, стараясь не соприкоснуться без крайней необходимости. И поэтому в рижских троллейбусах висела напряжённая тишина — никто не просил стоящего впереди закомпостировать талончик, опасаясь нарваться на ненавидящий взгляд или услышать пару-тройку словечек на чужом языке, каждый пробивался к компостеру самостоятельно, тычась в спины и лавируя между локтями. Урмас же со своим эстонским менталитетом устраивался, как умел, где-то посередине...

Начинала всегда Вероника.

— В купе поезда Таллинн-Рига едут рижанин и семейная пара: красивый, представительный, фундаментальный, можно сказать, эстонец и его жена, над которой зло посмеялась природа — нос картошкой, щёки обвисли, кожа напоминает печёное яблоко... — виртуозно вела она свою партию. — Рижанин смотрел на такой мезальянс и недоумевал... Наконец, когда они вышли покурить и эстонец разжёт свою элегантную трубку, наш земляк решился: «Послушайте, вы такой видный мужчина. А супруга у вас — извините... У меня есть хороший врач-косметолог. Он тысяч за пять-шесть сделает всё, что нужно — там подтянет, тут подрежет, здесь разгладит...». Эстонец посмотрел на него внимательно, пыхнул трубкой и говорит: «Спасииппо... — контрапунктом вступал Урмас, напуская на себя серьёзный вид. — Нам, эстонсам, такой палшой тенкки нетту... Я стесь ехать отин хуттор, там снакомый старишок за тватсать пять руплей её софсем упьёт к иппёной маттери, та-а...».

Урмас радовался успеху громче всех. Вероника смотрела, как он смеётся, думала, какой из двух вариантов ему самому по душе, и догадывалась — второй. Он всегда выбирал простые решения, этот Урмас, и бесполезно было пытаться его переделать...

Простые решения.

А жизнь, между тем, продолжалась — серенькая и ровная, как Рижский залив в безветренную погоду. Всё в ней для Вероники смешалось и странным образом слилось воедино — золочёный петух на зелёном шпиле собора, терпкий привкус ганзейской свободы, неистребимые запахи чужих объедков и поджатые губы соседок при нарушении графика уборки отхожих мест. Она изо всех сил старалась не обращать на это внимания, корпела над муторными английскими переводами, убегала на морвокзал, подолгу наблюдая из его тёплой стеклянной утробы, как педантично швартуются у причальной стенки скандинавские чопорные паромы, заглядывала в библиотеку, чтоб совсем уж не остаться без португальского, растеряв его восхитительные «ш» и «ж». А Урмас по вечерам всё глубже погружался в свои контрфорсы и архитравы, и Веронике оставалось всё меньше места в их геометрически безукоризненной тесноте.

«А может, нам с тобой в Томашув сбежать хоть на день, мой любимый?..» — страдала томная полька под болеутоляющей корундовой иглой. Вероника слушала её, рисуя пальцем на холодном стекле, и думала о том, что им с Урмасом не поможет уже никакой Томашув...

Её хватило года на полтора, и однажды утром, кое-как побросав в сумку нехитрые дамские принадлежности, она захлопнула за собой дверь и в эту жизнь, так и не ставшую для неё привычной.

Развод оформили по-прибалтийски, без эмоций и проволочек. Делить им было нечего. Разве что только пристрастие к азулёжу. Но такая любовь пополам не делится...

Время идёт, и что-то меняется в нас, а что-то по-прежнему остаётся неизменным. Раньше я часто рассказывал новым знакомым историю о человеке, который любил читать некрологи. Просмотрит в газете соболезнования, откроет телефонный справочник: «Тэ-эк-с... Где тут у нас Иван Петрович? Да вот же он, голубчик... Вы-чер-киваю...». Когда-то эта история казалась мне смешной. Теперь я думаю по-другому. И больше никому её не рассказываю. Боюсь, что меня тоже кто-нибудь вычеркнет.

А то, что время якобы что-то лечит, это ерунда — доктор из него, откровенно говоря, никудышный. Чаще всего оно просто стоит в сторонке, меланхолично пожёвывая зубочистку, и наблюдает, как мы барахтаемся в собственных обстоятельствах. И нет ему никакого дела до наших болячек.

...Теперь у Вероники много новых забот. Мотается по каким-то второсортным круизам, без конца что-то переводит, объясняет, толкуывает. И старается не думать о том, что прошло. «Не люблю вспоминать — не научена. Время — хлеб. Отрезаешь ломоть...» — ну и далее, по тексту. Неплохая, в общем и целом, философия. До определённого рубежа. А дальше?..

— А что дальше? — скидывает она глаза. — Буду жить...

Будет, конечно. Куда от этого денешься...

...Иногда Вероника остаётся у меня до утра. Присядет с книгой, зачитается, да так и уснёт на диванчике в кабинете, как усталый ребёнок с ладошкой под щекой. Я встану среди ночи, подоткну плед, выключу лампу. Мне нравится о ней заботиться. Но только когда она этого не замечает.

В остальном же я стараюсь не вмешиваться — не расспрашиваю ни о чём, не даю советов. Советы — последнее из того, что может ей в жизни понадобиться. Ведь жизнь и в самом деле довольно простая вещь, если, конечно, ничего в ней не усложнять...

...А с родителями Вероника по-прежнему не общается. Так, пересечётся по телефону пару раз в год, на уровне «Как дела?» и «Какая погода?», и всё. Они живут себе, как могут, особо не бедствуют, но всё-таки время идёт, здоровья не прибавляется, да мало ли что ещё... Но они ей об этом «ещё» никогда не рассказывают. А она и не спрашивает. Да и зачем? Чужие ведь люди...

В загоне

Старая брюхастая кобыла Кербие, стоя с краю табуна, дремала. Полусонная, она, однако, все замечала. И то, как унялся снегопад, сыпавший всю ночь, и как улегся ветер, расступилась ночная тьма, заковхтели куры в ауле — все-все слышала, чуяла, знала Кербие. С наслаждением вдыхала она запах свежеснежавшего снега. Табун стоял на холме, возвышавшемся к западу от аула. В той же стороне, на равнине, неподалеку от табуна, темнел загон. Большой огражденный загон. Кербие косится на него с опаской. Ей привычен страх перед куруком* и загонном. Это давний, застарелый страх... Сюда, ближе к загону, табунищик перегнал их косяк еще вчера, перегнал с дальнего склона вон той, поросшей арчой горы. Но не окрики табунищика пугают Кербие. Беззлобные, безобидные его окрики она слышит каждый божий день. Этот голос оберегает их от напастей и бед, от волков. Опасно, когда к его крикам присоединяются чужие голоса. Вслед за этим начинается дикая погоня. Погоня за лошадьми. Двуногие пришельцы отлавливают их куруками, и прочные волосяные арканы затягиваются на конских шеях. Бывает, двуногие окружают табун, вольно пасущийся в степи, сбивают его в кучу и гонят к аулу, в загон. Самое страшное — там. Там — весь ужас. В том тесном загоне почему-то исчезает без вести часть их огромного табуна. Вот чего боится Кербие. Многие жеребята в этом табуне родились из ее чрева. От них пошло потомство. Вот и этот вороной жеребец с белой отметиной на лбу, что стоит с наветренной стороны табуна, — некогда вскормлен ею. Всего-то за три лета превратился Каракаска** в статного жеребца с роскошной гривой и шелковистым хвостом. Теперь он — гордый вожак табуна. Ревностно, как зеницу ока, оберегает его. Ни одна лошадь у него не отобьется от табуна. Кербие это по нраву. Стройный порядок в лошадином стане надобно оберегать, чтобы вольно пасся табун на широких просторах, где вдоволь травы и воды. Лишь бы двуногие чужаки не нарушали эту благодать. Всю свою жизнь старая Кербие опасается их пришествия, боится: не налетят ли вдруг они на безмятежно пасущийся лошадиный косяк, не погонят ли его с гиканьем на край аула... Многие в окружающем мире кажется старой кобыле непонятным, загадочным и чуждым. Все, что ни делают

* Курук — длинный шест для ловли лошадей, с петлей на конце.

** Конь вороной масти с белой отметиной на лбу.

эти всемогущие двуногие, — не под силу ей понять. Может, для того они и созданы, чтобы подчинять своей воле всех четвероногих на этой земле?..

Аул, укрытый одеялом из свежевыпавшего снега, мирно лежал в объятиях предрассветного полумрака, готового вот-вот рассеяться. Молодой журналист Саттар, недавно приехавший в райцентр по направлению из Алматы, проснулся в поту от кошмара и сел в постели. Худой, лохматый, белокожий парень. Хозяйка дома — пухленькая, ладная старушка — возилась в передней, хлопоча над самоваром. Саттар все никак не мог отойти ото сна. Вчера он побывал в совхозе Аршалы. Там ему рассказали про зоотехника, погибшего этим летом. Вот и приснился Саттару покойник Ахан — будто идет он, завернутый в белый саван, по талой неглубокой реке. Идет, широко ступая, прямо на него. Саттару не удается различить черты его лица. Но знает, что это дух-аруах Ахана. Высокий, как Гулливер в стране лилипутов, покойник приближается к нему. И от облика его веет потусторонним холодом. От страха Саттар и проснулся. Сердце бешено колотилось.

Накинув на себя пальто, вышел из комнаты.

— Сынок, видел, какой снег?! Красотища-то какая, по колено навалило! — радовалась старуха-хозяйка.

Вышел наружу — занимался рассвет. Вся округа белым-бела. Наклонился, набрал пригоршню пушистого снега. Поднес к лицу. Первый снег. Вдохнул полной грудью бодрящий утренний воздух. Двинулся на окраину, где за околицей начиналась степь. Отсюда тянулась на запад обширная равнина. Она упиралась в крутой склон. У подножья его маячил, чернея, загон. Там — скотобойня. За нею, поперек посветлевшего горизонта, раскинулся горбатый холм. Он ясно просматривался в лучах зари. На холме пасся табун лошадей. Вытянувшийся на ярком утреннем свету, он почему-то напоминал опустившихся на пастбище журавлей. Саттар повернул голову — взгляд его упал на снежные вершины Алтая. Солнечные лучи зацепились за ледники на их макушках. Откуда-то выскочил пес Мойнак и побежал, раскидывая лапы, к Саттару. Завилял хвостом, заглядывая ему в лицо. Стоит проявить малейшую благожелательность, как собачонка тотчас приметется с благодарностью облизывать его. Осенью, когда Саттар в поисках квартиры зашел во двор дома старушки, первым его встретил этот песик. Саттару он сразу пришелся по сердцу своим дружелюбием. Но, как выяснилось, Мойнак готов заискивающе облизать ноги любому, кто переступит порог их дома. Саттар только дивился: «С чего он так?» Решил порасспросить бабу. Оказалось, у Мойнака целая своя история. Жил он прежде в доме

мясника Копжасара, на дальнем конце улицы. С щенячьего возраста Мойнак рос боевым псом, не знавшим себе равных. Кто бы ни явился во двор, Мойнак, верный сторож, с лаем набрасывался на пришельца. Как-то раз, Копжасар, подвыпив в гостях, вернулся домой глубокой ночью. Покачиваясь и спяну плохо различая в потемках дорогу, ввалился в калитку собственного дома. И тут не признавший хозяина Мойнак, грозно зарычав, вцепился ему в ногу. Тот только было рывкнул: «П-шел вон!» — как кусок штанины его брюк оказалась в пасти Мойнака. А хозяин в тот день впервые надел новехонький костюм. И потому расшвырялся. Выволок пса за цепь на улицу и, кроя матом до седьмого колена, принялся что было сил бить ногами. Несчастный Мойнак взвыл от боли, заскулил, истекая кровью, о пощаде. Но не тут-то было. Вконец озверев, Копжасар пинал и пинал пса. Едва не до смерти забил. Оттащил почти бездыханного Мойнака во двор и забросил в угол. С тех пор, завидев Копжасара, пес в ужасе забивался в конуру. Сидел там и скулил. В глазах его поселился страх. Отныне он боялся не только хозяина, любого человека. Копжасара это приводило в ярость. «Жрет, гад, а не лает! — орал он. — Дармоед!» — и измывался над псиной пуще прежнего. Морил голодом. Как-то раз старушка, у которой поселился Саттар, идя мимо дома Копжасара, заглянула к нему. Мойнак, виляющий хвостом каждому встречному-поперечному, приглянулся ей, и она пристала к Копжасару: «Продай!» Мясник вдруг проявил несвойственное ему великодушие и отдал соседке пса задаром.

Так Мойнак и оказался в ее дворе. Теперь он, виляя хвостом, ползал на брюхе перед Саттаром. В глазах — тоска. Саттар пожалел его, подозвал:

— Мойнак! — Погладил бедолагу по голове. Собака от радости запрыгала вокруг него, заюлила, норовя лизнуть руку.

Распрямившись, Саттар увидел скачущих во весь опор нескольких всадников. В одном из них узнал табунщика Мотана верхом на Каракере. Саттар беседовал с ним в поездке в Аршалы, тот приходился покойному Ахану родным старшим братом. Впервые о погибшем при загадочных обстоятельствах зоотехнике Ахане Саттар услышал от старухи-хозяйки. После ее рассказа и заинтересовался этой таинственной историей. «На другом конце нашей улицы живет один человек, Копжасаром его зовут. Так вот он в прошлом году переселился сюда из Аршалы. Пас там баранов. Минувшим летом пропало у него из отары триста овец. Шум поднялся, приехала районная милиция. Начальство совхозное целую неделю с коней не слезало, повсюду искали. В конце концов составили акт, что триста овец унесло селом. Один только Ахан, покойный, не стал подписывать тот акт. С той поры Ахан и

совхозные начальники оказались по разные стороны. Ну а этим летом Ахан ни с того ни с сего вдруг утонул. Копжасару же хоть бы хны, волосинка с головы не пала. Переехал сюда, в райцентр, домину себе справил, из четырех комнат. Амиржанов, тот, что в районе большая шишка, родственником ему приходится, по материнской линии. Он, должно быть, и помог выкрутиться. У них, у этих всесильных, так: кой-какое место и приподнять-то не удосужатся, а мельница знай муку мелет», — завершила свой рассказ старуха.

С той поры случившееся в Аршалы не выходило из головы Саттара. Вот и в командировку съездил туда накануне. Аул этот примостился меж двух гор. Рядом с ним грохотала горная река. Саттар напрямиком отправился в дом Ахана. Туда как раз заехал старший брат покойного, табунщик Мотан. Был он плотного телосложения, смуглый, с проседью в волосах и бороде. С первых же слов его стало ясно, что человек он сдержанный.

— Так и думал: кто-нибудь этим делом заинтересуется. Так-так... — обронил он, покачав головой, и опустил глаза. — Сомнений-то у нас много, да тягаться не под силу...

Ссутулившись, Мотан глубоко задумался, усталился в одну точку. Саттар откинулся, оглядел скромную обстановку. В углу небольшой комнаты стоял шкаф, набитый книгами. Это были учебники по сельскому хозяйству, художественная литература. На стене висела фотография — портрет Ахана с женой.

Шырай, вдова Ахана, заговорила, разливая чай:

— ...В тот день к нам вдруг заявили Копжасар с Мырзагулом. Прежде в жизни не навевывались. Копжасар был подвыпивший. За столом принялся обнимать Ахана, тост поднял: «Забудем наши обиды! Выпьем за дружбу!» А потом вдруг говорит: «Давай покажу тебе место, где пали овцы. Поехали, садись на коня!» Ахан согласился, и они уехали. Было это в полдень. А пару часов спустя привезли домой уже тело Ахана... — Женщина вздохнула. — Сказали, что Ахан опьянел и упал в воду, ударился головой об камень.

— Да чтоб Ахан напился, да чтоб упал с коня?.. Не верю! — Голос Мотана зазвенел.

— Он ведь мало рассказывал, что там у него на работе делается, — продолжала Шырай. — Разве что частенько поговаривать стал: «Уедем из этого совхоза. Нам с ними не ужиться».

После обеда Мотан повел Саттара за аул, показать место, где утонул Ахан. Побережье со стороны аула густо поросло тальником. Со слов Копжасара и Мырзагула, они, добравшись сюда, отправи-

лись верхом на конях к месту, где погибли овцы. Пробираясь по тропинке между тальником, Ахан будто бы отделился от них и поскакал к реке. На спуске конь вдруг резко отпрянул, и Ахан вылетел из седла прямо в реку, ударившись во время падения об валун. Вот откуда, утверждали они, у джигита рана на голове. Копжасар с Мырзагулом рассказывали, как Ахана подхватил стремительный поток, как его тело то показывалось, то исчезало в воде. Как они всполошились, заголосили, бросились бежать вдоль реки и, наконец, с трудом выловили тело покойного.

...Горная река с грохотом уносила вдале. Немые свидетели того случая — скала на другом берегу реки да густой лес — хранили тайну.

— А теперь покажу, что я подозреваю! — сказал вдруг Мотан и рысью поскакал вперед. Он привел Саттара к обрыву, до сих пор поросшему травой, хотя уже и жухлой. Над обрывом стоял старый загон.

— Посмотри сюда! — Мотан указал на склон. — Разве не протаскили здесь кого-то по траве?! Приглядиесь!..

Саттар впился глазами и разглядел полосу примятой травы, как если бы по ней волочили что-то тяжелое. Мотан отыскал в глубине сарая разбитую бутылку.

— А вот и бутылка!.. Эта наклейка тогда была новенькая. Здесь еще оставались и следы от «Москвича».

— Вы хотите сказать... Кто-то тут, в сарае, ударил Ахана бутылкой по голове?!

— Да! Именно так!.. Здесь, в кошаре, поджидали приехавшие на машине люди Копжасара. Они напали на него, убили, а тело стащили по склону в реку.

Вчера же Саттар выслушал и руководителей совхоза. Они утверждали в один голос: «Ахан умер, свалившись с коня. Об этом имеется соответствующее заключение следователя и врача». А сегодня выпал первый снег...

За чаем Саттар рассказал хозяйке все, что узнал в поездке. Старуха покачала головой:

— Да... Чего только не придумает человек с горя!.. — И тревожно задумалась.

В этот день Саттару предстояло написать о том, как в районе выполняется план по сдаче мяса. А для этого надо было побеседовать с начальником скотобойни Копжасаром. Чтобы встретиться с ним на рабочем месте, Саттар, выйдя из дому, пешком отправился к бойне, черневшей вдали на заснеженной равнине.

Табун на вершине холма пришел в движение. Первой фыркнула стоявшая в полудреме с краю табуна старая брюхастая кобыла Кербие. Она увидела быстро приближающихся со стороны аула вместе с табунщиком двух всадников верхом на гнедых. Все беды исходят от таких вот чужаков на конях. При их появлении сердце у Кербие сжимается от недоброго предчувствия. И на этот раз вид всадников не сулил ничего хорошего. В напряженном беге их коней было что-то устрашающее. Никто в табуне не заметил, как фыркнула старая Кербие. А ведь белолобый Каракаска первым должен был насторожиться. Но жеребец в это время увлекся кобылицей Акбакай — та ненароком прижалась к нему, и он теперь мордой потянулся к ее паху. Кербие, наблюдавшую за всадниками, охватила тревога, и она снова всхрипнула. На этот раз Каракаска услышал ее. Насторожился. Вытянув шею, устремил взор в сторону чужаков. Уши его чутко подрагивали. Заржал. Забил передними копытами. Весь табун встревожился, вглядываясь в ту сторону, куда смотрел Каракаска. Тем временем трое всадников галопом взлетели на склон. Посередине ехал табунщик верхом на Каракере. Двое других, по обе стороны от него, — незнакомцы. Кербие всмотрелась в гнедых, что везли двуногих чужаков. Узнала... Два года назад этих гнедых, тогда еще трехлеток, отловили из табуна куруками. Жеребята эти родились от саврасой кобылицы Торыбие. В тот раз под куруки угодили четверо гнедых жеребят-трехлеток. Все четверо тем летом только-только окрепли, возмужали, превратившись в молодых жеребцов, стали голос подавать. Да только юные их шеи туго обвил волосяной аркан, и как ни пытались несчастные вырваться из него, не смогли избежать куруков этих всеильных двуногих. И вот уже двуногие едут верхом на тех самых гнедых. Белолобый, легко перебирая ногами, выбежал наперерез всадникам. Играя мускулами, он пританцовывал на месте, стриг ушами, угрожающе бил землю передним копытом, всем видом предупреждая: «Прочь от табуна!» Наездники, однако, не обращали на него внимания и продолжали двигаться на табун. Кербие также заметила, что и пара гнедых под чужаками не смотрит в сторону Каракаска. На худой конец хотя бы вздрогнули, всхрипнули — ведь в одном табуне родились, стригунками вместе резвились. Удивляло и то, что, завидев табун, молодых кобылиц, гнедые не оживились, не заржали радостно. Или они не жеребцы?! Никак не понять этого Кербие, живущей по законам своего табуна. Впрочем, для нее это не единственная из загадок в этом подлунном мире. Сбитая с толку, вглядывалась она в гнедых. Почему не ржут они радостно?.. Почему не издают клич при виде родного табуна?.. Кто же они, эти кони, оказавшиеся под чужаками: и не жеребцы, и не кобылицы?.. И тут только старая кобыла

поняла, какая беда случилась с ними. Уподобились они безропотным кастрированным «жабы» — клячам, которым нет ни до чего дела, лишь бы высвободиться из-под седла да тупо щипать траву. Влачащим жалкое рабское существование... Испуганно вздрогнула Кербие.

В этот миг пронзительные крики прорезали утреннюю мглу. Чужаки, огрев гнедых, с воплем ринулись к табуну, подобно голодным волкам. Скакавший в обход Каракаска тоже огласил округу грозным ржаньем. И тотчас безмятежно пасшийся табун всколыхнулся, как взметнувшийся от дуновения ветра пожар, и, словно обрушившийся горный водопад, понесся, лавиной устремляясь за своим жожаком. Слившись воедино с лошадиным табунном, Кербие летела над землей. Ужас обуял ее, и, охваченная им, она неслась прочь, как если бы за ними гнались волки. Голоса чужаков, пронзительные крики, не отставая, преследовали их.

Саттар шел по заснеженной белой равнине к конскому загону. Долговязый белолицый парень с едва пробившимися усиками. На нем болталось широкое темно-серое пальто. Глаза были прикованы к табуну, лавой стекающему со снежного склона напротив. Впереди, на расстоянии стрелы, во весь опор несся вороной жеребец. По обе стороны от него гнались два всадника на гнедых конях. Гнедые рвались сократить расстояние между беглецом и ними. Но вороной не подпускал к себе. Красавец-жеребец, взметая ноги, высоко взвизывался над землей, вытягиваясь в полете стрелой. Он словно дразнил своих преследователей. Каракаска скакал навстречу идущему вдоль равнины Саттару. Тот, замороженный перебором ног летящего скакуна, так и застыл на месте. «Ки-и-и!» — будоражит всю утреннюю округу гиканье преследователей. Эти вопли наводят еще больший ужас на Белолобого, и без того обезумевшего. В невероятном порыве он вырывается вперед. Перед грудью его взвизывается, серебрясь, снег. Подскакав к Саттару, Каракаска вдруг резко рванул в сторону и понесся на запад равнины. Погоня с криками повернула за ним. Саттар продолжал стоять как вкопанный. Очнулся, когда погоня уже перевалила за холм. Вдали появились еще двое всадников — несся вскачь на гнедых конях, они заворачивали путь табуну, устремившемуся на запад. Гнедые у них были крепкие, жилистые. Обогнув табун, они зашли к нему спереди. Шарахнувшись, лошадиный косяк подался назад, к равнине. Наездники стали заворачивать табун в сторону загона.

Саттар, увлекшийся картиной погони, всполошившей утреннюю равнину, двинулся дальше. Однако не отрывал глаз от табуна. Тесня его с обеих сторон, всадники, с гиканьем и улюлюканьем, гнали ло-

шадей к загону. Навстречу им галопом выскочил верхом на Каракере Мотан. Лошади, узнав табунщика, замешкались, закружили на месте. Привычный окрик табунщика «Айт-шайт!» подействовал на перепуганных лошадей успокаивающе. В тот же момент с северной стороны донеслись крики. Показался тот же вороной со своими преследователями. По бокам от него размашистым галопом неслись гнедые. То нагоняя жеребца, то отставая, они приближались к загону. Поднялась суматоха. Джигиты засуетились, забегали взад-вперед. Среди них и Копжасар, здоровенный, как медведь. Подбежал к загонявшему лошадей Мотану, ухватился за узду его коня, выпалил, задыхаясь:

— Аксакал, дайте Каракера!.. Догоню жеребца!..

— Нет!.. — замахал рукой Мотан. — Нет! Не дам! — И, сверкнув глазами, отвернулся от Копжасара.

Тот, злобно глянув вслед вороному жеребцу, выругался:

— Вот сукин сын, всю душу вымотал!.. — И бросился к загону: — Винтовку дайте! Подстрелю его, скотское отродье!..

Кто-то побежал за ружьем. Тем временем подскакавший было к загону Каракаска снова резко отпрянул прочь. Двое всадников на гнедых тотчас бросились в погоню за ним. Те, что преследовали его сначала, остались рядом с табуном.

Взмыленные гнедые тяжело дышали. Из ноздрей валил пар. Каракаска же, как заговоренный, несся на восток, увозя за собой обоих всадников. Жеребец узнал преследовавших его гнедых. Они исчезли из табуна два года назад. Их увели, захватив куруками, какие-то чужаки. Самое худшее — теперь эта пара гнедых не желала признать его, вожака табуна. Теперь он, загнанный, убегает от них, а они преследуют его. Похоже, его строптивость, эта сумасшедшая скачка без продыху только распалает в них злобу. Гонятся за ним во весь опор, вытянув шеи и прижав уши. От них исходит ненависть. Жестокая, беспощадная. Стоит выбиться из сил — и все: обрушатся на него куруки этих двуногих и аркан затянется на шее. И чувствует Каракаска, нутром чувствует: подлым гнедым только того и надо! Теперь остается только полагаться на собственные ноги. Если что и спасет — так это его собственные четыре ноги. Больше надеяться не на что. Умерит свой бег — ему конец. Чужаки зацепят его куруком. И прощай тогда, свобода! Не видать ему вольного простора, благодатного пастбища своего! Враг, идущий за ним след в след, лишит его и пастбища, и табуна, а под конец и жизни. Такое несчастье выпало ему..

Вдруг, откуда ни возьмись, наперерез Белолобому выскочила вторая пара гнедых. Та самая, что осталась с табуном. Эти, что у него на хвосте, тоже вот-вот настигнут. На долю секунды Каракаска застыл —

и резко развернулся в сторону. Но поздно — в тот самый миг со свистом рассекла воздух брошенная с размаху петля, и аркан мертвой змеиной хваткой обвил его могучую шею. Конь рванулся изо всей мощи. Заржал, вскочил на дыбы, взвился вверх. Двуногий, державший курук, от силы рывка жеребца не удержался в седле, кубарем слетел наземь. «Ах, твою мать!» — выругался он. Каракаска, в ужасе лягнув болтающийся у него на шее ненавистный курук, помчался напролом. Гнедой, с которого слетел хозяин, не останавливаясь, упрямо продолжал преследовать вороного. Так и бежал, размашисто раскидывая ноги. Ему и хозяин не нужен был, сам, в одиночку, гнался за непокорным жеребцом. Волочащийся сбоку курук пугает жеребца, и тот шарахается от него, сбиваясь с прямого пути и окончательно теряя голову. В конце концов обезумевшего от страха коня пригнали к загону. Увидев сбившийся табун, Каракаска, раздув ноздри, призывно заржал. Он хотел услышать ответный клич табуна. Но трое гнедых тотчас угрожающе двинулись на него. У вороного, с которого градом катился пот, сжалось сердце. На полном скаку вихрем влетел он в расступившийся табун. Взметнулись крики. Двунogie, размахивая куруками и рогатинами, забегали вокруг лошадей. Поднялся переполох. Широко раздувая ноздри, Каракаска оказался в гуще табуна. Он понимал, что наводнившие всю округу враги охотятся за ним одним. Потому и заметался. Кербие и Акбакай следовали за ним, участливо обнюхивая. Жеребец кружился посреди плотно сбившегося косяка, задыхаясь, словно утопающий. То и дело вытягивал шею поверх лошадиных голов. Гневно вращал глазами. И вдруг заметил входящего в загон незнакомого гнедого коня с куцым хвостом. Толстобрюхая кляча. Таких у него в табуне не было. Однако этот куцехвостый Торышолак был все же лошадиного племени. Похоже, он нашел путь спасения от этих орущих, бегающих вокруг табуна двуногих врагов. Торышолак, отделившись от всех, бочком-бочком продвигался куда-то. И вдруг рысью проскочил в боковую дверь, никем не охраняемую. Следом за ним ринулся весь табун. Устремился и Каракаска. Однако место, куда завел всех Куцехвостый, оказалось ловушкой. Помещение отстойника. Мало того, один из двуногих изловчился и, подпрыгнув по-козлинному, ухватился за курук на шее вороного. Каракаска рванулся было вперед, как на куруке тотчас, угрожающе крича, повисли еще три человека. Жеребец заржал пронзительно, взвился к небу. И горделивую шею туго стянула прочная петля.

Саттар увидел Копжасара, который, неуклюже переваливаясь, поспешил к Каракаске, пытавшемуся высвободиться из аркана. Огрев промеж глаз бьющегося жеребца нагайкой, Копжасар зло выругался:

– Получай!.. Заживо сдеру с тебя шкуру!..

Он не заметил Мотана, оказавшегося рядом.

– Руки прочь, скотина!.. Ты почему бьешь лошадь, угодившую в петлю! – зашелся в крике табунщик. Копжасар в ответ тоже зарычал на аксакала:

– Чего разорался, старый!.. Я тебе... кун* не должен!

– Ах ты сукин сын, да я башку тебе сверну!

– Попридержи язык!..

Пока люди выясняли отношения, Куцехвостый рысцой проскользнул мимо них. Он рвался к кобылице Акбакай. К округлому крупу молодой трехлетки. Желал прижаться к ее лоснящемуся боку. Едва увидев красавицу Акбакай, он вдруг ощутил себя жеребцом. Угодив в петлю трехлетним жеребенком, Торышолак с тех пор все годы не бывал дальше этого загона. Забыл, что такое пастись на просторе, жить в табуне. Если и видел вольных лошадей, то только здесь, запертых в загоне, отчаянно мечущихся. Улучив момент, приставал к чужим молодым кобылицам. Обойдя вороного жеребца, отбивавшегося от людей, Куцехвостый осмелел. Непокорный Каракаска, этот скакун, взмывающий на дыбы, своей благородной статью вызывал зависть в Торышолаке. В какой-то момент ему даже захотелось подобно вороному жеребцу водить за собой по вольным просторам табун. Только мечта эта, вспыхнув, тотчас угасла. Ему больше по душе его сытое безропотное существование, чем беспокойная вольность, полная тревожных погонь. Двунogie вреда ему не причиняли, он им служил, они его кормили. Чего еще желать? Зато сейчас Торышолак – хозяин в этом загоне, где стоит невообразимый переполох, наводящий ужас на табун. Торышолак с важным видом обежал загон мелкой рысцой. Выискал среди табуна красавицу Акбакай. Вот бы пристроиться с громким ржанием к гладкому крупу этой молодой кобылицы... Всхрапывая, Куцехвостый игриво подбежал к статной молодой кобылице. Та, однако, не выказала согласия подчиниться ему. Более того – отпрянула, прижав уши. Каракаска, сражавшийся с двуногими, скосив глаз, увидел эту картину. Она привела его в бешенство. Жеребец заметался с удвоенной силой, заржал угрожающе. Но не мог оборвать волосяной аркан, на котором повисло несколько человек. С каждым разом петля все туже стягивала ему шею, душила, не давая дышать. Старая кобыла Кербие с негромким ржанием кружила подле Каракаска.

Куцехвостый приблизился к Акбакай и нагло ткнул мордой ей в пах. Кобылица шархнула от него. Обежав вороного, спряталась

* Кун – плата за убийство.

за ним. А он тем временем бился в жестоком поединке с людьми, шею его перерезал аркан, и вот жеребец, судорожно хватая воздух, захрипел, глаза его закатились. Продержавшись еще немного, он рухнул плашмя.

— Вяжите его!.. — приказал Копжасар. Парни бросились спутывать жеребцу ноги.

Возбужденному Куцехвостому никак не удавалось подступиться к Акбакай. Снова и снова он устремлялся к вожделенному крупу. Кобылица всякий раз уворачивалась от него.

— Давай, Тореке! Не жалей ее! — закричал один из джигитов. Все вокруг загоготали.

Торышолак, и не смевший мнить себя самцом в этом табуне, с торжествующим видом огляделся по сторонам. Затем, срезав путь, подбежал к забившейся в углу молодой кобылице. Не обращая внимания на неприязнь Акбакай, примерился и снова принялся, коротко вскрикивая, наскакивать на ее круто вздымающийся круп. И опять Акбакай увернулась, и опять невезучий гнедой соскользнул с лоснящегося крупы. «Что за жеребьячество в это время года?! — мысленно удивился Саттар. — Видно, для этого несчастного, не выдавшего кобылиц, что весна, что осень — все одно».

К тому времени весь табун был уже заперт, и суматоха во дворе стала затихать. Джигиты с засученными рукавами потянулись в сторону бойни. Увидев одиноко стоящего во дворе Саттара, Копжасар вразвалку направился к нему. На мяснике была черная короткая куртка, теплая кепка. Брови насуплены.

— По какому делу, братишка? — пробасил он.

— Салам уaleyкум! — поздоровался Саттар. — Я из редакции. Надо написать о мясозаготовке...

— Алейкум ассалам! — Копжасар, пожав ему руку, слегка замешкался. — Ну что ж, идем!

Повел за собой на бойню. В помещении было холодно и сыро. Повсюду горел яркий электрический свет. Деревянные стены и двери. Копжасар вошел в одну из них. За скрипящей дверью оказалось некоторое подобие кабинета. В тесной комнатухе стоял грубо сколоченный грязный стол. На нем — перевязанный сломанный телефон. Обойдя стол, Копжасар плюхнулся на сиденье, застонавшее под ним. Саттару достался стул у входа. Копжасар потянулся к полке в столе, выхватил оттуда лист бумаги и сунул его журналисту.

— Тут все нужные вам сведения!..

Беседа их была короткой. Под конец Саттар задал заготовленный вопрос:

— А что скажете о смерти Ахана?

Копжасар такого поворота не ожидал. Широкое лицо его побледнело, он молча вскинулся.

— Э, так ты и есть тот журналист, что ездил в Аршалы?! — Глаза его сузились. Саттар утвердительно кивнул головой. — И на кой тебе это?.. Дело давным-давно закрыли... Следователь меня допросил. А если так нейдет — добудь это дело и читай сколько влезет!.. — Разговор был окончен.

Саттар тоже поднялся, чтобы попрощаться. Мясник, тяжело ступая, решительно двинулся по двору. По походке Копжасара чувствовалось, что его душит гнев. Саттар замешкался, не зная, то ли уйти, то ли следовать за Копжасаром. Однако решил: коли уж пришел по журналистскому заданию, то стоит собственными глазами посмотреть процесс мясозаготовки.

В бойне кипела работа. Двое парней, засучив рукава, сдирали шкуру с подвешенной к железному крюку конской туши. Они ловко орудовали ножами. Это была туша молодого жеребца-трехлетки. Чистое, розовое мясо исходило паром.

— Открывай! — прокричал Копжасар.

— Стойте!.. — отозвался кто-то. — Где Торышолак?!

— Здесь он! — прозвучало в ответ.

— Открывай тогда!

Громыхнув, распахнулась дверь. Там, за нею, топтался табун. Здесь, перед дверью, пространство было огорожено с боков железной решеткой — этот стальной проход упирался в противоположную стену. К решетке была приставлена лестница. На ней висела винтовка. Старая, выдавшая виды винтовка. Зачем она здесь, Саттар в тот момент не понял. С другой стороны стальной клетки открыли еще одну дверь. В ее проеме виднелась покрытая снегом степь. Все засуетились. В отстойнике раздались крики: «Чу!.. Чу!» Люди засновали взад-вперед. Один Копжасар не всполошился — хранил холодное спокойствие. Сдвинув брови, засунув обе руки в карманы, он стоял, уставившись на клетку. «Точь-в-точь как бык!» — мысленно отметил Саттар. «Чу!.. Чу!» — нарастали возгласы. И вот из загона появился куцехвостый Торышолак. Ровной рысцей вбежал он в железную клетку, не сбавляя бега, пересек напрямик проход и исчез на воле, в распахнутой настежь двери. При виде этой картины среди табуна поднялось волнение. Стена бойни сотряслась. Раздался топот людских ног. «Выходит, Каракаску освободили!» — догадался Саттар. И в самом деле — гордый вожак уже стоял в дверях. Глаза его, готовые выскочить из орбит, горели, по телу пробегала дрожь. Вскрапывая и на-

вострив уши, он слегка подался назад и напряженно замер, как перед прыжком. Казалось, вот-вот — и жеребец сметет собой всю бойню. Вот-вот — и взвывается, как стрела, выпущенная из тетивы.

Все, что видел сейчас Каракаска, — это дверь, открытая дверь перед ним, в проеме которой сверкала раздольная степь. Там, снаружи, еще виднелся безмятежно убегающий Торышолак. И вдруг Белолобый понял: Торышолак проложил им путь, путь к этому вольному простору! И в тот же миг Каракаска с грохотом сорвался с места вскачь. Он вихрем влетел в проход, как вдруг и спереди и позади него с лязгом рухнули, преградив ему путь, тяжелые железные решетки. Жеребец со всего размаха налетел грудью на стальные прутья. Кости его едва не переломились. Все вокруг зашумели. От мощного удара коня откинуло назад. И теперь удар пришелся ему по крупу. Люди загоготали. Из глаз жеребца посыпались искры. Однако не сдался неукротимый конь. Удар был сокрушительным, но не время еще было смириться. Дикое желание не оставить здесь камня на камне охватило Каракаска. И, дав волю вселившейся в него чудовищной силе, жеребец безудержно заметался по клетке, стремясь разгромить ее своим телом. Окружавшие оживились, загалдели еще громче. Копжасар тоже увлекся, разгорячился. Схватив железный прут, крадучись приблизился к клетке. В руках — прут с привязанной к нему консервной банкой.

— Я тебе устрою концерт!

— Давайте, Кобеке! — закричали ободряюще джигиты. — Покажите нам концерт!

Каракаска в этот момент тяжело переводил дух. Из его широко раздувающихся ноздрей валил, клубясь, пар. Он не знал, что ему делать с этой ненавистной клеткой, которой все было ни по чем. И тут ему в пах вонзили консервную банку. Гремящая ледяная банка обожгла его разгоряченную потную плоть. Каракаска сроду не испытывал такого надругательства над собой. Взбешенный, он подпрыгнул на месте, взмыл на дыбы. Толпа вокруг зашлась в хохоте, заржала. Шум, гвалт, свистопляска. Копжасар торжествует, гогочет во все горло. Гремя жестяной банкой, скачет вокруг клетки, орет: «Кш-кш!..»* Скачет с гогом и орет: «Кш-кш!..» И снова вонзается банка. И снова: «Кш-кш!..» — и гогот, гогот, гогот. Из последних сил держится Каракаска. Всякий раз, как тыкают ему банкой в пах, взвывается на дыбы, судорожно бьется о прутья. Снова и снова взвывается, падает на прутья. Взвывается — и падает, взвывается — падает...

* Держа грудного ребенка над горшком, приговаривают: «Кш-кш».

Саттара, наблюдавшего за дьявольской потехой этих безумных, стал охватывать страх. Он оглядывался на дверь, готовый ринуться прочь отсюда. Только какой-то внутренний голос удерживал его: «Стой-стой, не уходи! Не уходи!»

Наконец, вдоволь повеселив парней, Копжасар отшвырнул прут с консервной банкой.

— Ну хватит, «концерт» окончен!.. А теперь — за работу!..

— Как тебе, понравился наш «концерт»?.. — осклабясь, обронил Саттару какой-то низкорослый парень, прошел мимо него к лестнице, приставленной к клетке, и стащил с нее старую винтовку. Копжасар рывкнул на него:

— Стой!.. Дай сюда!..

Низкорослый передал винтовку. Мясник взобрался по лестнице наверх. Остановился там, огляделся.

Каракаска стоял внизу, в клетке. От его потного тела валил пар. Глаза гневно сверкали. Он ждал, что в него снова будут вонзать прут с банкой. Двухногий его враг, тот, что устроил посмешище над ним, теперь стоял наверху и, держа в руках короткую палку, смотрел на него в упор. Строптивный жеребец не знал, что на уме у врага, но, чуя недоброе, ощутил тревогу. Заметался. Отступив назад, прыгнул было, но ударился боком о прутья. Стал биться по сторонам, но тщетно. Двухногий, стоявший наверху, изготовился к какому-то враждебному выпадку. Лязгнула короткая железка в его руках, и один ее конец устоялся в лоб Каракаске. Жеребец, собрав последние силы, ринулся было на прутья, как вдруг яркий огонь вспыхнул перед его глазами. Короткая железка гроыхнула. Что-то ударило вороного в лоб. Невыносимая боль разлилась по его телу. Ноздри учуяли запах горелого. Остального Каракаска уже не чувствовал.

После выстрела в бойне воцарилась полная тишина. Шумевшие до сих пор мясники затаили дыхание. Потрясенный Саттар смотрел на Каракаску, которому выстрелили прямо в лоб. Конь, накренившись, все еще держался на ногах. Он содрогался всем телом, как если бы его ударило током. Глаза закатились. Уши плотно прижаты. Живот глубоко втянулся. Жеребец изменился до неузнаваемости: вся красота его, вся благородная стать улетучились. Вытянув голову вперед, сотрясаясь в предсмертной агонии, он спустя мгновение с грохотом рухнул на бетонный пол.

— Ну вот, теперь «концерт» точно окончен! — объявил Копжасар, слезая с лестницы. Низкорослый парень открыл взвизгнувшую дверь клетки. Второй джигит поспешил спустить трос с петлей на конце.

Оба мясника, сноровисто двигаясь, просунули в петлю болтающуюся голову Каракаски. Затем нажали на рычаг какого-то механизма, раздался скрежет, и бездыханное тело Каракаски, болтаясь на тросе, потянулось вверх. Оно медленно поплыло в сторону уже освежеванной туши жеребца-трехлетки. Саттар стоял ошалевший от чудовищности всего увиденного им. Не прощаясь ни с кем, как в тумане, он побрел к выходу.

Редакция районной газеты находилась в двухэтажном доме на краю аула. Заметка о ходе мясозаготовки получилась короткой. Он успел с нею в завтрашний номер. В конце дня сел писать статью под названием «Загадочная смерть молодого зоотехника». Время пролетело быстро. Только когда женщина-уборщица, звякнув рядом с ним ведром и расплескав воду, принялась мыть полы, Саттар собрал бумаги и устало поднялся из-за стола. Сунув под мышку папку, вышел на темную улицу и вздрогнул. Кто-то метнулся от угла дома и бросился наутек. «Кто бы это?..» Топот ног убежавшего уносился в даль улицы. Квартира, которую он снимал, — на окраине аула. Туда можно добраться по центральной освещенной улице. Улица прямая. Снег. Холодно. Но светло. Прохожих мало, только в центре аула, рядом с клубом, темнеют чьи-то силуэты. Мороз настоящий, промозглый. Пока доберется до дома, пожалуй, продрогнет. Приподняв воротник пальто, неуверенно двинулся по заснеженной дороге. Вспоминая события этого страшного дня, незаметно дошагал и до клуба. Там шел кинофильм. Доносились звуки автоматных очередей, крики «Ура-а-а!..». Перед клубом стояла молодежь, его ровесники. Один из них куда-то рвался. Остальные его удерживали. «Пьяные!» Когда он проходил мимо, кто-то вытолкнул на дорогу шумевшего парня. Тот с размаху налетел на Саттара. Саттар поддержал его, не дав упасть. У парня в зубах была сигарета. Он криво ухмыльнулся. Саттар пошел было своей дорогой, но парень подставил ему ногу — Саттар споткнулся и подлетел. Когда падал, хватаясь за землю, его черная папка покатила по серому снегу. Рука, на которую он оперся, соскользнула, и Саттар ударился лицом об заледеневший снег. Уличный свет погас и вспыхнул. Пока поднимался, стоявшие окружили его. Вскочив на ноги, Саттар зло обернулся к парню, сбившему его с ног. Встретился с ним взглядами. Из-под кепки набекрень на него смотрели дерзкие глаза. «Извинись!» — потребовал парень, вынув сигарету изо рта. Саттар продолжал в упор смотреть на него, словно пытаясь понять, что он за человек. Тот, в кепке набекрень, издал какой-то звук, внезапно ударил Саттара по лицу. Снова погас и вспыхнул уличный

свет. Мир, только что казавшийся утонувшим в тишине, вдруг наполнился звуками. Саттар уже прицелился в лицо парня в кепке, как кто-то перехватил его руку. Другие уже выкручивали вторую. Этот, с наглыми глазами, опять смазал Саттара по лицу. Скула горела. Кто-то пнул Саттара по ноге. Он отлетел на лед. Двое или трое наступили ногами ему на руки.

— Паренек! — произнес один из них ровным тоном. — Ты знай, где находишься!..

— Теперь не забудет!.. — ухмыльнулся кто-то.

— А забудет — напомним!.. — И захохотали в один голос.

Затем кто-то, дернув его за локоть, поднял на ноги.

— Так-то, джигит. Запомни покрепче!..

Саттар молчал. Что толку говорить! Во рту стоял кислый вкус. Сплюнул. На снегу, слабо освещенном фонарем, осталось черное пятно. В груди у него kloкотало. Наклонившись за валяющейся в стороне папкой, сплюнул еще раз. На белом снегу опять темнело пятно. Вышел на дорогу. Двинуться сразу не смог, постоял, застегнул пуговицы на пальто. Поправил шапку и пошел. Все звуки были приглушены. В ушах стоял сплошной гул. Это шумела кровь, прилившая к голове.

Добрался до дома. Навстречу выбежал Мойнак. Как обычно, принялся ластиться, путаться в ногах. Бедный пес привычно выпрашивал, чтобы его приласкали. Махал хвостом, ползал, заискивая, на брюхе. Саттар, глядя на Мойнака, застыл на мгновение. На память пришел прежний хозяин пса — Копжасар.

Лежа уже в постели, не мог уснуть: в душе — сплошное смятение. Снаружи свистел ветер. Сквозь этот свист время от времени доносились лошадиное ржание. Прерывистое ржание.

Это ржала старая брюхастая кобыла Кербие, с захода солнца кружившая вокруг бойни. За нею следовали с десятков тощих лошадок, осиротевшие годовалые стригунки да жеребьи кобылы — все, что осталось от тучного еще утром табуна. С заката солнца Кербие неотступно бегала кругами подле загона в поисках своего табуна. Она искала своего жеребенка Каракаску. Когда солнце село, Кербие с призывным ржанием обежала несколько раз аул. Но ни единой весточки ни от Каракаски, ни от табуна. На окраине аула ей, бежавшей с громким ржанием, повстречалась группа безмятежно пасущихся гнедых. Один из них, со спутанными ногами, оказался куцехвостым Торешолаком, остальные — те самые гнедые, что поочередно преследовали нынче Каракаску, загнав его вконец. Завидев их, Кербие не-

громко заржала, подбежала к ним, ведь как-никак лошадиного роду-племени были они. Однако гнедым не было дела до Кербие. Резвясь, они продолжали пастись. Ничем не проявили своего родства, не повернули шеи в ее сторону. Не заржали ласково. Кербие и сама не задержалась рядом с ними. Не их она искала. А искала она — величавый, стройный табун во главе с гордым Каракасской. Долго-долго бегала кобыла, призывно покрикивая, в поисках родного табуна. Покружив, снова вернулась к загону, поглотившему днем табун. Что-то недоброе почуяла она. Догадалась: если и случилась беда с табуном, то здесь. Загон в равнодушном безмолвии возвышался в ночном мраке. Кербие, держа нос по ветру, неспешно зарысила вокруг загона, принюхиваясь к запахам. И вдруг, с подветренной его стороны, в нос ей ударил знакомый запах — запах табуна. Прядая ушами и тихо заржав, замерла она на месте. Вглядываясь в ту сторону, откуда донесся ветерок, заржала отчаянно. Запах! Родной, знакомый запах табуна!.. Запах выношенного ею в собственном чреве жеребенка — Каракаски! Кербие в предвкушении радостной встречи с табуном заликовала, пританцовывая на месте, нетерпеливо перебирая ногами. Догоняя запах, тяжелой рысью побежала туда, откуда он донесся. Запах привел кобылу к яме снаружи загона. Кербие остановилась рядом с ней. Протянула голову к зияющей в темноте яме — в ней полным-полно было лошадиных копыт. Кербие вздрогнула, задрожала. Выкатив глаза, наклонилась, опасливо принюхалась к копытам. По запаху разыскала среди них копытца Акбакай, копыта Каракаски. Прекрасные, родные запахи. Но это было все, что осталось от Каракаски и Акбакай, от многочисленного табуна, — яма, полная пахнувших копыт. И тогда поняла старая брюхастая кобыла, что за беда стряслась этим утром. Поняла, почему вдруг потерялся табун. Испуганно заржала она, закружила на месте. Забила копытами оземь. Захрипела. Снова вернулась к копытам Каракаски, принюхалась. Снова отбежала... И снова вернулась...

...И заржала тоскливо старая Кербие. И лягнула копытом землю, понеслась вскачь в темную степь. И голосила она, бедная кобыла, вспарывая ночную немоту своим ржанием. То кричала, если хотите, ее душа.

*Перевод
Гаухар Шангитбаевой*

ВОТ И СКАЗКЕ...

1. РОЗА ГРЕХОФФ

Бывшая артистка, когда-то прима оперного театра одной солнечной республики Роза Грехова очень не любила свою комнату в московской квартире, куда ее несколько лет назад переманила жить дочь.

Роза Оразовна боялась фикуса.

Это паркетное деревце с жирными листьями шевелилось по ночам, щупало теньями подоконник и приставало к фарфоровой кукле, которую зачем-то посадили рядом.

В свете уличного фонаря глаза испуганной куклы теряли цвет и стекленели, а темные парикмахерские локоны вспыхивали желто-бурыми пятнами.

За фикусом и куклой понуро следила рябина за окном. Кивала им, как выжившая из ума старушка, часто и мелко трясла тяжелыми серьгами. И ветер ныл неприятно и бормотал что-то, будто грозил, и — внезапно, рывком — бился в стекло.

Неестественные блики, тёмные обрывки теней двоились, троились, сливались, кружились хороводом и расползались по комнате — на гофре собранной столбцом занавески, на стенах, на потолке, на светлой равнине огромной старухиной постели.

Как под гипнозом, Роза Оразовна смотрела и смотрела на них. Она боялась закрыть глаза. Знала: стоит только открыть их снова — и те с подоконника, подкравшись, нетерпеливо застынут прямо возле её подушки.

Чтобы не слышать проклятых ночных шёпотов, старая Роза часто ворочалась и время от времени надсадно кашляла. Чтобы не видеть, как двигаются фикус и кукла, она, в конце концов, потянулась к выключателю.

Комната мгновенно раздвинулась вверх и вширь и тут же сжалась в большую прямоугольную коробку. Резкий электрический свет постепенно мутнел и желтоватыми дымками струился из яркого круга на потолке.

Неузнаваемые, растворенные в темноте тени обретали привычную тяжесть вещей. Сетка собранной занавески потускнела и огрубела. Кровать вернулась в свои берега, победоносно поправ щерба-

тый паркет. На тумбочке выросли расставленные в строгом порядке разные аптечные пузырьки и упаковки с таблетками.

Роза Оразовна взяла одну из них. Вооружилась очками, прочла название. Четко артикулируя, произнесла его вслух. Подумала. Кивнула сама себе, выдавила из шелестящей пластинки большую таблетку и привычным движением поместила ее под язык.

Бережно закрыла картонную коробочку, вернула ее на математически выверенное место и потянулась за следующей. На всякий случай — слишком часто билось сердце — следовало выпить еще одну таблетку для понижения давления.

Спустя какое-то время ей показалось, что пальцы ног похолодели. Из очередной упаковки была извлечена очередная таблетка: теперь требовалось давление повысить.

Следом — из серебристого блистера на сухую ладонь вылутился гладкий ромбик новомодного успокоительного, за ним — скатилась белая горошина снотворного.

Ломило виски. Всё-таки пренеприятная штука это давление... Роза выпила еще одну таблетку. Размеренный ритуал приёма лекарств отвлек её от фикуса с куклой и успокоил.

Темнота напала из коридора. Густо сопя, что-то наваливалось на дверь маленькой комнаты. По затемненным углам вспархивали шорохи. Тогда старуха запела.

Начала из контральто, глухим низким гулом старательно растила гундосое «ы-ы-ы-ы-ы». Потом ее голос запал и затрясся — вибрато — на одной средневысокой ноте, часто прерывался, хромал на полутона, ныл и ныл, и метался над верхней губой.

Звук множился, расходился короткими волнами, стихал и разрастался снова, пока певице хватало дыхания, и — взметнулся вдруг противным комариным писком.

— Завыла, — с каким-то злым удовлетворением хмыкнул в соседней комнате зять Розы Оразовны, Алексей Михалыч, будто сверил часы.

Он был младше её на двенадцать лет: ей — восемьдесят семь, ему — семьдесят пять. Эта разница теперь была совсем незаметна, и выглядели они как ровесники — только один бодро бегал, а другая почти разучилась ходить.

Алексей Михалыч звал тещу «бабка», тихо и безнадежно честил ее по матушке, будучи трезвым, громогласно и яростно — когда был пьян.

Однако все капризы привередливой старухи исполнял, по мере своих возможностей, в точности. Роптал, и как еще, но не отказал — ни разу, а уж капризничала бабка с выдумкой!

Раз, в тридцатиградусный почти мороз, в десятом часу вечера пришлось ему обежать все ночные аптеки от Сухаревки до Рижской. Он искал какое-то очередное разрекламированное в глянцеве лекарство (красивые названия Роза Оразовна, аккуратно представляя порядковые номера, выписывала из журналов и газет на салфетку, которая после царственным жестом протягивалась зятю).

Завершая свой безнадежный марафон, Алексей Михалыч для проформы заглянул в самую последнюю, давно захиревшую аптеку, которая находилась прямо в соседнем доме.

Сонная молоденькая провизорша, нырнув под прилавок, достала вдруг искомую коробку — «восемьсот двадцать рублей».

Он долго выскребал из кошелька — отмерзли пальцы — тысячную купюру. Забыл сдачу, вернулся, забыл на прилавке покупку, снова вернулся (примета!) и, мысленно поругиваясь, с нехорошим предчувствием потрусил домой.

— Что-о-о-о эт-а-а?! Ну, что-о-о эта-а?! Что это ты купи-ил мне-е-е? — музыкально вскричала старуха, и на каждом акцентированном «о» взлетали высоко почти не выцветшие азиатские старухины брови.

У Алексея Михалыча затрясся подбородок. В тяжелой зимней куртке, на которой мокрыми россыпями таял снег, с шапкой в руках, не сняв сапог, оставляя за собой рельефные лужи, он ворвался в тесную кухню.

Выхватил у старухи из рук коробку. Резко стучал горбатым пальцем по огромным буквам, тряс лекарство у нее перед носом: это — то! То!! То!!!

— Что-о ты купи-ил мне-е-е?! — стонала Роза Оразовна, и грациозно — спина прямая — исполняла легкий крен к стене, одновременно касаясь своего невысокого белого лба тыльной стороной маленькой сухой ладони. — Это табле-е-етки! Это табле-етки! А мне нужно — ампулы!!!

Временами, когда витиеватые тещины поручения особенно ему досаждали, старик мстил. К примеру, неделю подряд заваривал ей на завтрак «быструю» гречку в пакетиках.

— Что-о-о это?! Что-о-о это?!

— Зажралась! — с пафосом отвечивал зять и сбегал от неповоротливой тещи в свою комнату. Со свистом хлопала дверь...

Он громко включал свой любимый спортивный канал и падал на низкий диван, стиснутый двумя облезлыми креслами цвета старой детской игрушки. За одним из них его дожидалась открытая банка

выдохшегося джин-тоника (водку ему, пообещав немедленный развод, запретила жена).

Алексей Михалыч жадно пил из банки большими глотками и сам себе горько, громко жаловался, что вот пенсия у него обычная, не как у некоторых, и что сварил он то, что может купить, и что кто-то — т-тварь неблагодарная, и в следующий раз — сама ползи в магазин! — после чего хихикал, представляя себе тещу, то есть, как она целую вечность шаркает на негнущихся ногах к магазину через дорогу.

Вот она, покачиваясь из стороны в сторону, битый час добирается от двери до прилавка... Вот даже у видавшей виды продавщицы подергивается левое веко... Вот, уже уложив покупки на самое дно неряшливо проклеенной клетчатой сумки, тещинька вдруг обнаруживает, что кошелек-то — нет! А?! Нет кошелька! А кошелек-то — доченька родная отобрала у нее, жёнушка его родная! Потому что кто-то его вечно прятала, тряслась всё, своруют, своруют! А кому воровать, если дома и нет никого никогда?! А сама найти не могла потом кошелечек свой черепаховый, и все, конечно же, ворами ходили...

Горьковато-приторная жидкость из металлической банки незаметно оглушала Алексея Михалыча. Ему очень хотелось спать, однако пару раз он еще вскинулся и, передразнивая тещу, громко запел козлиным голосом, странно сбивая ритм:

В роще моей пел...

Соловей!

Спать не давал...

Теще моей!

Возьму я ружье, убью!

Соловья...

Спи спокойно, теща!

Моя...

Растерянная Роза Оразовна всё это время отрешенно сидела над размазанной по высокой тарелке гречкой.

Стоило только открыть холодильник, и весь позавчерашний набор продуктов из ближайшего супермаркета «24+» вывалился бы с полок прямо на её вытянутые руки. И пирамиды готовых салатов, уже булькающих майонезными пузырями в прозрачном пластике, и вздутое молоко минимальной жирности, и засохший сырный слепок, и три поседевших колбасных батона, и овощи — целый пакет бурой слякоти, и даже розовые чирьи семги в рваной вакуумной упаковке — чего там только ни портилось зря!

Но Розе с её легким диабетом — почти всё было или нельзя, или можно только после особого приготовления, а зять — кушал мало, всё больше пил, готовить же, хотя и умел прекрасно, — не любил вовсе, и каша в пакетиках для быстрого приготовления его очень выручала.

Продукты, ещё свежие, раз в неделю-две в огромных пакетах при- таскивала бабкина дочь и жена Алексея Михалыча Люба, когда была свободна.

Она работала у своей старшей дочери нянкой своего старшего внука, еще у неё же — домработницей, и — неделя через неделю — продавцом в аквариуме одного из десяти шмоточных магазинчиков, которые в начале девяностых, удачно сыграв на обмене денег, один за другим открыл в подземных переходах её предприимчивый зять.

Платил он щедро, кое-что втайне от него подбрасывала дочь, так что на содержание стариков Любе, между прочим, тоже официальной пенсионерке, вполне хватало.

Как-то раз — всего лишь полгода без выходных — ей даже удалось подзаработать на небольшой ремонт в их общей старой квартире (она уже давно не жила там, а жила у зятя — так всем было удобнее).

Денег хватило и на стеклопакеты на кухню и в мужнину комнату, и заменить изъеденный желтизной (курит, зараза, а окурки — не смываются!) унитаз, который что-то потёк, и даже на коридорную плитку.

В розиной комнате переклеили обои, наконец-то, правда, очень плохо; но всё посвежее.

Еще пару месяцев работы — и Люба смогла бы даже вставить себе зубы. Стыдно уже, и сколько же можно рот рукой прикрывать: год назад еще обточили в тонкие острые треугольники, под керамику, а сделать — то времени нет совсем, то денег жалко. То бабу надо в платную клинику свозить, что-то зрение у нее (в её почти девяносто!) стало портиться, то срочное, опять же, подавай ей обследование, потому что ведь опухоль, «совершенно точно, в этот раз — опухоль»...

Люба справилась, отпахала, заработала, и ведь уже собралась было к частному протезисту, и даже телефонную трубку сняла — записаться. Если бы не младшая дочь!

Лилечку, поздною, очень уж с детства баловали. Ни в чём отказу не знала. А теперь что, теперь вот: деньги считать она так и не научилась. До офиса, например, две станции метро — только на такси! Или вот кто ни попросит — хоть пять тыщ, хоть десять займы — на, пожалуйста, сейчас маме позвоню...

А недавно новый телефон ей захотелось. И компьютер поменять. Влипла дочка с кредитами: там долги, здесь долги, везде долги, одни долги!

Да ещё сумку с зарплатой в частном такси оставила, номер, конечно, не помнит, а там, мало того, что деньги, там документы были, теперь наморочишься... Оставила мать без зубов.

Бедной Лильке вообще не везло. Всем удалась: породистая, высокая, синеглазая, красавица и умница тоже – а непутёвая. Только выскочила замуж, за дурака какого-то рыжего, родила от него и – развелась: загулял.

И слава Богу, кому он нужен, а вот свахе, той спасибо – с младшей внучкой очень помогала: одевала-обувала, кормила-поила, в школу водила, в кружки, и вообще – занималась.

Лилька ж – с работы да на работу порх-порх, домой в квартиру с попивающим отцом и противной Розой только ночевать приходила, часу в четвертом ночи, а в семь – уже снова вставать...

– О, Господи! – испуганно басыла бабка, когда в полумраке длинного коридора проносилась мимо нее тонкая Лилькина тень.

– О, Господи! – с досадой выдыхала, скользнув за дверь своей комнаты, Лилька. – Бродит, бродит... Как привидение...

Вот уже почти целый месяц Роза Оразовна находилась в квартире одна. У Алексея Михальча неожиданно обнаружилось прободение язвы, и бабка всё не могла забыть, каким белым было лицо зятя, когда его на носилках несли из квартиры в машину «скорой».

Ему-то хорошо, он в больнице... А она – здесь. Одна.

Всё приходилось делать самой. Это было даже на пользу: лучше слушались руки, резво крошили острым ножом овощи для салата; Роза с удовольствием заглядывала под крышки кипящих на плите кастрюлек. После долго и тщательно, до блеска, намывала тарелку, кружку и ложку.

Бабка теперь даже уверенно уворачивалась от острых выступов квартирной утвари: стала чаще и быстрее двигаться. Роза придумывала себе как можно больше дел.

А дочка, Люба, всё не шла и не шла, хотя каждый день обещала, и вчера не звонила даже, так только, пару слов, и не слушает, и перебивает так грубо, и сегодня – всё не звонит.

И от Лильки – по утрам – только лёгкая табачная дымка над столом и грязные стаканы в мойке...

Роза Оразовна долго сидела на кухне у телефона. Листала старые журналы, пыталась читать, но не понимала: слова все как будто знакомые, по отдельности ясные, но в строчки никак не складываются.

Она вздохнула, сняла очки, с трудом выбралась из-за стола. Часто и мелко покачиваясь, совсем как спятивший маятник, засеменила в свою комнату к спасительной тумбочке с лекарствами.

В комнате не так давно появился новый жилец: после очередной перестановки от Лильки к ней перетащили огромный, под полоток, шкаф-купе. Его тут же забили старым хламом.

«Сейчас приму таблетки и полку себе посмотрю», — решила Роза Оразовна, оглядываясь на зеркальную поверхность шкафа.

И тут она увидела её!

Маленькая, прямоугольного вида старуха с поредевшими, неаккуратно стриженными волосенками, в сизых рейтузах крупной вязки, перепоясанная пуховым платком, она стояла прямо у розиной прикроватной тумбочки и уверенно копошилась в лекарствах! Как у себя дома!

Незнакомая старуха смотрела с вызовом и даже как будто сердилась. Розе Оразовне на секунду почудилось, что это именно она, Роза, каким-то странным образом оказалась в чужой квартире.

Она быстро осмотрелась по сторонам: занавески — те, кровать — та, вещи на стуле — те. Фигус и кукла на подоконнике... Да что же это такое?!

Нахальная старуха в том углу и не думала убираться. Стояла, руки в боки, и пристально разглядывала Розу.

— Кто-о-о ты?! Кто-о ты такая? — требовательно обратилась к ней Роза. — Как пробра-алась сюда?!

Незнакомка молча кривлялась, повторяя движения розиных губ.

— Я в милицию сейчас! Откуда взялась ты? Зачем же ты вещи мои нацепила? Что ты повторяешь за мной?!

Роза Оразовна решительно двинулась в сторону двери. Скорее добраться до телефона!

Чужая старуха шла за ней. Не боится! Удрать не пытается...

— Кто ты? — еще раз попробовала выяснить недоразумение Роза. — Я — Роза Грехова, а ты — кто?!

Незнакомка уверенно объяснила, что это она — Роза Грехова.

Вот так они и познакомились, и стали жить в одной комнате. Та Роза вела себя спокойно, на хозяйку смотрела приветливо и всегда здоровалась. А еще — завела себе кровать напротив.

Бабки ложились спать одновременно, и Розе Оразовне отлично спалось даже без таблеток: ни фикуса, ни куклы, ни пятен на стенах больше не было. То есть были, конечно, но вовсе — не те, а просто — фикус и кукла.

Когда из больницы вернулся Алексей Михалыч, тёща решила ему ничего не рассказывать. Всё-таки к Розе она привыкла, а узнают свои — выгонят её, чего доброго, с кем тогда поговоришь?

В одну из зимних субботних ночей, когда все обитатели квартиры были дома, каждый в своем углу, из старухиной комнаты раздались гневные выкрики. Она с кем-то бурно ссорилась. Гремела вещами, топала ногами, что-то роняла, гремела дверью, шаркала по коридору и долго не могла успокоиться.

Дело было в том, что Роза без спросу взяла у неё валидол и на замечание наругала. Розу такая неблагодарность очень расстроила — до того даже, что, в сердцах хлопнув дверью, она демонстративно ушла из комнаты в кухню.

Утром Алексей Михалыч и Лилька застали Розу Оразовну спящей за столом. Когда ее растолкали, бабка сообщила им, что вчерашний день так и не кончился, и утра — не было.

— Видите?! Темно! Как было вчера полпервого, так и полпервого. Спать легли, а утро и не наступило. Я ждала-ждала, следила-следила — нет утра, ночь и ночь, ночь и ночь! А вы не знаете...

Дед с дочкой переглянулись. Одновременно посмотрели на часы на стене. Алексей Михалыч встал в семь, почти в это же время и Лилька поднялась. А на этих — пожалуйста: половина первого. Стоят. А зимние утра — тёмные, мутные. Долго ли бабке выдумать? Объяснили ей.

Роза упрямо молчала. Потом выбралась из-за стола и понуро поплелась в свою комнату, глядя прямо перед собой, будто никакого Алексея Михалыча и никакой Лильки — не было.

Зазвонил телефон. Алексей Михалыч схватил трубку и с досадой сказал в нее, что бабка — «того». Двинулась. Трубка вскричала Любимым голосом — «Да ты что!» — и пожелала немедленно слышать мать.

Услышав голос дочери, Роза Оразовна будто очнулась.

— Люба! Когда же придешь ты? — всхлипнула бабка. — Совсем не нужна тебе... Никому.. а тут ночь и ночь...

Люба неожиданно рассердилась и долго кричала, что сколько же можно над ней издеваться, и Люба туда, и Люба сюда, и всем должна Люба, и денег дай, Люба, и как же ей все надоели, неблагодарные!

Всё для них, всё! А вместо спасибо — и ноют, и ноют, и жалуются, и жалуются — это им не так, и то не этак!

Роза Оразовна дочку не слушала. Она всё плакала и твердила кому-то:

— Никому не нужна... никому не нужна...

Люба бросила трубку.

Старуха опустила на стул. Закрыла лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, всхлипывала и повторяла своё «не нужна...»

Алексей Михалыч попытался всунуть ей в руку стакан воды. Лилька быстро набрала мать по мобильному и вышла из кухни.

Когда Люба ворвалась в квартиру, дед и дочь сидели возле Розы Оразовны и что-то ей вполголоса приговаривали. Лилька гладила бабушку по руке...

— Мама! Мамочка! Ну, что ты?! Ну, что ты... — Люба быстро открыла какой-то ящик стола, достала из белой коробки тонометр, жестом прогнала родных. Измерила Розе давление. Быстро принесла из бабкиной комнаты таблетки. Ещё через минуту на кухонном столе появился ещё один медицинский прибор.

Люба уверенно взяла мать за руку, зажала палец, проколола его чем-то похожим на шариковую ручку и прилепила к проступившей бордовой точке какую-то полоску.

— Я так и знала! Ну, что же ты сахар себе не проверила? Ну, Лильку бы попросила или деда...

— Их нет! Их нет никогда! Где вы все ходите? — все еще всхлипывала бабка, но уже тише, пока совсем не успокоилась.

Потом, впервые за много лет, они все вместе сидели на тесной кухне за столом и долго пили чай. И вспоминали. Как Лилька была маленькая, как сюда переехали, как муж, большой республиканский начальник, вывез жену в Париж на какой-то оперный фестиваль, и Роза Оразовна пела в Париже «Снегурочку».

— И помнишь, они тебе кричали, французы?

— Не помню...

— Хлопали и кричали: «Rosa! Bravo! Rosa Grehoff!»

— Не хлопали. Не хлопали. Аплодировали!

— Где-то и фотография была...

Достали с антресолей пакет со старыми снимками. Перебирали, перебивали друг друга... Нашли: в белом концертном сарафане, в невысоком кокошнике с узором а-ля рюс, с накладными белыми косами исполняла своё «Ау! Ау!» черноглазая и чернобровая Снегурочка с широкими азиатскими скулами... Красавица была!

Роза Оразовна вдруг призналась, что в её комнате живет посторонняя женщина, и пригласила оторопевших родственников с ней познакомиться.

— Мама, это зеркало шкафа. Это ты! Ты — в нем! — выдохнула Люба секунду спустя.

— Да?! — удивилась бабка. — А мне показалось... Точно, я!

Роза даже несколько раз очень смешно пересказала свои беседы – с той. Злополучное зеркало решили закрыть старым пледом. На всякий случай.

Рано утром Люба, заночевавшая у своих, уже в пуховике и сапогах, задержалась у выхода. Она очень торопилась, но дослушала подробный рассказ Розы о принятых лекарствах и вчерашнем сне.

– Ну, и молодец. Замечательно... – автоматически произносила Люба, в который уже раз нажимая на ручку двери. И вдруг вспомнила. – А та, из зеркала? Нормально?

– Нормально, – ответила Роза, замолчала и опустила глаза.

Возникла странная пауза.

– Ну?

– Ты знаешь... Нормально. Я проверила. Приподняла одеяло...

– И?!

– Краешек только приподняла я... заглянула...

– ?!

– А она – там! – улыбнулась чему-то Роза, повернулась и медленно пошла в свою комнату.

2. МАША И МЕДВЕДИ

Дед веселый сегодня, брови танцуют, небось, трёшку у бабки выпросил. Айда, внученька, в цирк свожу – подмигивает.

Мы – в Цирк! На медведей смотреть! Хорошо, никуда не свернем! Прослежу! Расскажу! В Цирк! На медведей, они на самокатах ездят, в юбочках пляшут и кланяются, мне подружка рассказывала... А нам хватит на Цирк-то, дед? А на лимонад останется? А куда это мы идем, на автобус-то ведь в другую сторону... А-а-а, это через железную дорогу...

Иду, шпалы пересчитываю. На каждую наступать – смешно, заплетешься, а через одну – ног не хватит. Дед же под ноги не смотрит и всё спотыкается, курит свой «Беломор» и кашляет.

Свернули. Остановились. Всё? Так близко? Не может быть! А-а-а, ещё не Цирк, ну, ладно... Белый магазин с вывеской. «Че-бу-речна-я». Я зайду на минутку, говорит, ты обожди. Ну, конечно!

Ой, какой кот рыжий-прерыжий! Толстый. На голубей не смотрит. Вон они, вон они, туда смотри! Не смотрит. Ну, какие же машины смешные – написано – КРЯ! Это для уток машина. Ха-ха! Кря...-Солнце, ты не старайся, у меня панамы новая – не запечешь!

Ну, что он там, потерялся?! Де-ед! Деда-а!

Выходит. Как не работает Цирк?! Кто тебе сказал?! Как заболели медведи?! У-ух, жалко! Бе-е-едненькие! А ты точно узнал? Точно-точно?! А может, они уже выздоровели? У-у-у... Нет, домой не хочу. Конечно, с тобой. Бабушке не скажу. Лимонаду хоть купишь?

Моего деда знакомые пьют пиво. Оно как тухлый лимонад. Дед с ними пьёт. Долго как. Пена на громадной пустой кружке спеклась. Газета под селедкой мокрая и продырявилась. А они все сидят. Разговаривают. Я домой хочу!

– Ну, что Цирк? – бабушка спросит потом.

– Да, так... Медведей? Не было. Заболели они. Кого видели? Ну, так, дурацких клоунов...

Вечером дед на диван уляжется, не раздеваясь. Свет выключен. Чего палить-то, когда с железной дороги все окна фонарем просвечивает. Он будет курить и кашлять, и рассказывать про войну.

Одно и то же по десять раз: сначала про мглу на небе, не помню как, а потом помню – «выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей». Он говорит, что это про войну...

Я совсем тебя не помню, дед. На камне ты хмуришься, говорят, не вышел памятник. И еще говорят, редко ходим, вот и сердисься.

Ну, разве не понятно?! Просто солнце – прямо в глаза, и поэтому нам друг друга плохо видно...

3. АЛЬ Т МЕПХЕН ЕОГНУ (очевидное)

Что?! Не нравится?! И ведь неважно было... теперь никогда и не вспомнить – где скулы-то девичьи, острые плечики, ямка между лучами ключиц?

Где-где... А вот блинка тебе рыхлого вместо личика, а вот и задницу как луна – бледно-голубую, неохватную, текучую, как часы на жвачном Дали, то ли часы, а то ли яичница, если подумать как следует – всё Божий дар.

Говорили: не надо зеркал. Ни на кухне, ни в уборной, ни в спальне. Жизнь прожрёшь, проспшишь, про... П-ш-ш... п-ш-ш... Ха-ха! Без зеркал – куда как лучше. Просто так жрёшь, спишь, п-ш-ш... Смотри, смотри, как страшно: кто это с твоими глазами? Что это с твоими глазами?

Паутина под полкой с книгами, в небеленом сизом углу, очень плохо, где-то был веник, и даже пылесос. Тёплый носок с дырой остался от позапрошлой зимы, а другой целый пока, и бесцветные

джинсы с расстегнутой молнией: брюхо вздвинуто, больно ему, режет его железной пуговицей.

Кофе в грязной кружке остыл. Кофе. Черный порошок из черной банки, белый порошок из белой склянки. Чайник на плите вечно, выкипает, выкипает, заглянешь под крышку — а там пузыри на дне, чуть не прогорел опять. Пойду поставлю, пока не забыла.

Я что-то забыла...

Была-была. Было-было. И забыла. Изабелла... вино белое... нет, красное, терпкое... пахнет колбасой краковской. На столе колбаса, я так и забыла убрать в холодильник, никто не напомнил. Никто не обязан. Обязаны, связаны, связно, вязью, вязну-у-у-у...

Это я так ною, когда все спят. Кашляют до рвоты, во сне говорят, взрывают храпом тишину мою. Мне — только синее мерцание в темноте, электронное зеркало, да и то не хочется: каждую ночь смотреть — жизнь про... что?

Где мои брюки, где моя шапка, где моя ручка, где мои очки, где магазин, где деньги, где отец, где сын, где мои, где ставить, где материал, ты где? Где?! Где?! Катя, мама, Катя, мама, мама, мама, катя, катя, кать, кать, тикать, тик-так, текут часы столетней давности.

А знаете что?! А ну-ка, к чертовой бабушке!

Распрямлю плечи с хрустом сладко, вдохну да выдохну, да вспыхну, да почернеют и заблестят глаза, и — ввысь, и — ввысь, ввысь — со стула этого вечного, из каменных стен, прочь, сквозь потолок, сквозь крышу дырявую до самых до звёзд встану и руки раскину над вами, как небо — что?!

— Мама, мама, у тебя глаза чужие, нездешние, страшно!

— Приснилось тебе, не бойся...

Вот и съёжилась.

Так просто. Какой пыльный экран, синий в темноте. Стерты буквы, слепы клавиши. А зачем: знаю их, знаю где, помнят пальцы.

Ослепну лет через двадцать, буду просить: поставьте руки на клавиатуру правильно. **ФЫВА ОЛДЖ**. Знаю, где каждая буква. А кто-то из внуков подшутит, и, хмурия облезлые жалкие брови, о серьезном думая, сосредоточенно выбью узловатыми пальцами — **АЛЬ Т МЕП-ХЕН ЕОГНУ**. «Вот и сказке конец». И ошибусь.

Клубничка

...и даже устроена была во дворе публичная казнь грешницы.

Правёж по-старинному. Полусумасшедший свёкр, мстя за сына, истязал неверную сноху, застуканную при любовном свидании в полыни, за дровяными сараями. Так и осталось загадкой — каким образом блаженненький, с вечно ребячьим личиком сынок склонил к браку весёлую бабенку. Или помог папаша?..

Он бил её, привязав руки к никелированной кровати, бил страшным сырмятным ремнём: со свистом, рассекавшим комнатный полумрак, хлестал её, голую, при распахнутых настежь — на погляд двору — оконных створках, и весь двор, столпившись у низенького окошка, наблюдал за расправой. Концерт на халявку, не откажешься...

Старое поколение подбадривало ката, входившего в раж. Старички покрякивали при особенно высоких взвизгах истязуемой, перемигивались со значением, подбрасывали приговорочки: «Так её, так!.. Будет, стерва, знать, учи, пока молодая...»

Но воспитательная часть затягивалась, урок становился тошнотворным. С женской стороны потянулись предупредительные сигналы: «Ну будя, будя однако... Ну поучил, и будя...»

Женщины перестроились первыми, почували — вопли изменницы утрачивают первородную чистоту и полнозвучие. Их сменяет утробное мычание... Уже лишь стоны доносятся из глубины комнаты... А ремень свистит и свистит... А разъяренный «педагог», уже не столько не желая, сколько не имея воли остановиться, творит расправу...

Видно было в прозрачных сумерках, как смертельно побелел его шрам, разрубивший наискось лысоватый, налившийся кровью череп, как вспотело перекошенное не яростью даже — чёрной дурниной лицо. Он бил всё сильнее и, самое страшное, все размереннее. Коренастая фигура с пропотевшей майкой на волосатой груди работала сама по себе...

Запахло преступлением.

Мы, пацанята, сбившись в кучку, подрагивая, смотрели на взрослых — они-то что?..

Первой не выдержала маленькая Нелька, дочка дворничихи, — тихонько заныла. Потом завыла, заревела в голос и ткнулась в подол матери.

И та очнулась.

«Люди! Люди!.. Он же убивает!..»

Точно прозрев и найдя корень зла, схватила за жёлтые патлы безмолвного совиновника — обманутого мужа, выставленного на время правежа из дома. Он притулился рядом, на камушке под окном. Молча плакал, закрыв личико рукавом пиджака, утирал бесшумные слёзки.

«А ты, идол проклятый, чего рассопливился? Останови отца, он же ненормальный, контуженный он!.. Жену убивает!..»

Толпа ожила, понеслись выкрики:

«Милицию вызывайте!..»

«Какую милицию? Скорую надо!..»

Кто-то побежал к телефону. Кто-то пытался выломить дверь. А несчастный муж, пробившись к окну, канючил:

«Папа, не бейте... Хватит, папа... Папа, она больше не будет...»

А потом, в окровавленной простыне, выносили тело с голыми, выбившимися из-под простыни ногами, вталкивали в карету «Скорой помощи».

А потом милиционеры уводили безумного свёкра со связанными руками.

А потом — через час с небольшим — свёкр-эксекUTOR вернулся и с победным видом, нацепив на выцветший китель орденские колодки, разгуливал по двору, охотно обсуждая происшедшее. Он, не скрываясь, гордился. И находил поддержку в отмякнувших соседях.

А потом, через пару неделек, молодуха вернулась из больницы. Сноровисто, со стыдливо опущенными глазами, хлопотала по хозяйству, развешивала бельё на аркане, выносила помой...

А ещё через недельку, быстро поглядывая на родимые окна, хохотала с молодыми мужиками на дворовой скамейке...

И что за наваждение такое? Что за сласть, от которой ремнем не отвадить?..

Тьма, липкая тьма обволакивала тайное тайных. И ничего нельзя было разобрать в этой тьме, пронизанной нервами. Обрывочные догадки роились в коллективном сознании.

Родители жили упорядоченной жизнью, делиться с детьми было не принято. Добытые в одиночку полужнания тиражировались соответственно коллективной басне. И вырисовывался дебильный эрзац, карикатурный штамп свальных представлений об Этом...

Мы вламывались в рисковый возраст — переваливали из седьмого в восьмой класс. Настоящих женщин, могущих научить всему, не

было. На сверстниц до поры до времени не обращали внимания. А когда обратили... Боже мой! Что же это с ними произошло за лето? Вчерашние замухрышки, визгливые плоские щечки, росточком ниже нас чуть не на голову, они стали другие.... Они непоправимо преобразились! Округлились формы.

Настырные грудки тираняще попирали школьные блузки. Добела налившиеся икры не мелькали теперь игральными кеглями на переменах, а выписывали плавные, покачивающиеся фигуры при валяжной ходьбе, — парами, троечками, под локоток дружка с дружкой — вдоль кабинета завуча и директора!..

...мне всегда казалось, да и поныне не могу отделаться от странной фантазии о том, что их, вчерашних девочек, в эту пору обязательно куда-то увозят. Чаще всего к морю. И там формируют «полуфабрикат», доводят до совершенства. Выпекают на солнце. Шлифуют, обливают южной глазурью. И потом эти готовенькие, позванивающие от предстоящего счастья игрушечки выставляют на главное торжище — жизнь.

Так ли, нет ли, но, во всяком случае, в эту пору они почему-то всегда исчезают. Не видно их во дворах, в подъездах. И только ранней осенью, как слепящий взрыв, они возникают — преображенными, готовыми. Чужими!..

Теперь неммыслимо было дернуть вчерашнюю малышку за косичку, обхватить в игре. Они отплывали, навсегда отплывали в неведомый нам (сразу притихнувшим, уменьшившимся даже в размерах) таинственный мир. А нас, теперь уже в сравнении с ними недоростков, сжигал зной.

Мучительный разрыв между мечтой и реальностью, между жгучим, с недавних пор дичающим хотением и невозможностью его утолить. А они...

У них появились т а й н ы!

Вот что смущало и мучило. Уже нельзя хлопнуть по плечу, позвать соседку в кино, прогулять урок, поболтать на брёвнах за школой.

Самых симпатичных и рослых из вчерашних подружек теперь поджидали после уроков старшеклассники, а то и студенты. Девочки, небрежно важничая, не без затаённого торжества вручали избранным портфели. И портфели уплывали вместе с красавицами...

В том мире царили, непременно царили какие-то высшие законы!

Иначе откуда взяться ленивой спеси в утренних глазах? Загадке и тайне во всем облике, в рассеянных ответах у доски? Божественной безучастности ко всему на свете, и, в особенности, — к нам?

Ходили слухи.

Бродили смутные, корёжащие душу слухи о том, что некоторые из наших девочек не только гуляют со студентами, но забредают на взрослые вечеринки, а некоторые — даже целуются...

Бессонными ночами, корчась в постели, сгорая от стыда за себя, за них, за весь мир, представлял я невозможные, восхищающие картины...

Картины — чего? В том-то и дело, не отчётливо выписанные картины, а жгучее, тошнотно подслащённое месиво — соитие всего и вся...

...допотопные хвощи, раскалённые зноем, распаренные тропической гнилью...

Доисторический хаос...

Кипение крови...

На поздний взгляд, всё это можно обозначить единственным словом — н е у о л е н н о с т ь. И беспомощность...

Сказано ли где об этом периоде в жизни мальчишек, будущих мужей, любовников? Не знаю. У каждого, наверное, свой был период. Неповторимый, но и схожий, конечно же, схожий со всеми другими. Иначе зачем просаживали вечера в мучительном пережёвывании этой, одной только э т о й темы?

Впрочем, у каждого своя история. История первой любви, первого стыда и освобождения от него. Была история и у меня.

Да, была и у меня тайная любовь — пионервожатая, комсомолочка Аллочка из десятого класса. В самом имени словно бы перекликался, перемигивался остроконечный образ алого пионерского галстука с более серьёзным образом багряного комсомольского значка. А шумящий кумач первомайских знамён и полотнищ одухотворял волнующий карнавал — карнавал по имени Алла.

Красавица, комсомолка, спортсменка... Что ещё сказать, кроме того, что влюблены в эту героиню «Кавказской пленницы» были все пацаны?

О глазах надо сказать.

Зеленовато-карие, затаённо-озорные и словно вечно удивлённые, они говорили Божьему и пионерскому миру неукоснительное «Воистину готов!» Всегда и везде.

...вот она стоит под школьным штандартом в беленькой прозрачной блузке, вся вытянутая в струнку, нацеленная в ослепительно развострое грядущее...

...стоит и выкликает непостижимые для меня, непререкаемые в своей законченности уставные слова...

...увещевает волшебными заклинаниями комиссию, а пионерский галстук — пышнее и алее наших «ошейников» — ложится заострёнными кончиками на грудь и время от времени обнажает багряный комсомольский значок на восхолмии вздрагивающей от ритмизованных призывов груди...

Слов не понять.

Да и моих тоже.

Потому что я никогда их не скажу. Я просто люблю её. А она старше меня на целых три года! И пропасть вряд ли сократится осенью, когда пойдём в восьмой, всего лишь восьмой класс.

Но до осени далеко. Каникулы в разгаре, и день, о котором хочу рассказать, только-только занимается...

Не было ни имён, ни фамилий, ни наций. Они проявятся потом. А пока только клички. Хлёсткие, обидные и не очень, — всякие. Возникали стихийно, но преследовать могли долго, едва ли не всю жизнь. Чаще всего по букве имени, с учётом, конечно, поступков.

Имя на «К»? Пожалуйста, Киря. Он теперь взрослый мужик, пить завязал, а всё — Киря. Вот что значит похвастаться в детстве, как после ухода гостей допивал со взрослого стола вино, а потом дрыхнул сутки!

Имя на «Б»? Бен. Бренчишь на раздолбанной гитарёшке блатной романс о трех аккордах?

*...есть в Баварии маленький дом,
Он стоит на утёсе крутом,
Ровно в полночь, в двенадцать часов
Старый Бен открывает засов...*

Мурлыкаешь целыми днями песенку? Замётано. Быть тебе Беном. И возможно надолго. Пока живы твои друзья, во всяком случае. Те, кто и дал эту кличку.

На «Ч» имя? Хорошо. Будут учтены воспоминания о речке Чилик, где прошли ранние годы. Жизнь сама, не без нашей, естественно, помощи, определила тебя — Чилик.

Вот и всё. Ни имён, ни фамилий, ни наций.

...томил июнь. Золотые каникулы были в разгаре. О новом учебном годе думать не хотелось. Два с лишним месяца балдеть, изнывать от скуки...

Вообще ничего не хотелось.

Успели накупаться в пруду, нажраться зелени, и сумасшедший июнь все жиге растапливал открепленные от обязанностей молодые мозги. Пустота была совершенная. Даже в футбол играть не хотелось, такая жара стояла...

Мы сидели на сваленном тополе у журчавшего арыка, болтали ногами, прикидывали, чем бы заняться. Выходило опять — в парке самое то. Там и качели, и чёртово колесо. И главная жемчужина парка — пруд. Вонючий, избульканный сотнями пацанов и девчонок, он дарил иллюзию свежести. Побултыхавшись полчаса в тёплом бульоне, не хило плюхнуться на распаренный асфальт и ощутить судорожное блаженство, быстро просыхая. И не обращать внимания на шлёпанье босых пяток возле уха...

Но этим занимались уже три недели. Парк с заводными чудесами и гнилым озерцом надоел. Впрочем, не появившись Чилик со свеженьким искушением, скорее всего, двинули бы по маршруту.

Но теперь, когда Чилик стоял перед нами в полуспортивных синих трусах, в жёлтенькой маечке, и расписывал земляные сокровища учёной тётки, отбившей в командировку (а клубника пропадает на сказочном ранчо!), мы преисполнились важности.

Убирать чужую клубнику? Ага, всё бросили, шнурки погладили... Своих дел хватает!

И Чилик сдался. Чёрт с вами, хоть наедимся, не пропадать же клубнике!..

Дача была образцовая. Недаром тётка агроном. Ровенькие клубничные грядочки тянулись через сад между стриженных, странно низкорослых яблонек. Сад пальметный — объяснил Чилик. Настоящие яблоки на игрушечных деревьях... Ловко! Лестниц не требуется, собирай прямо в корзину.

На одном конце дачи двухкомнатный домик, солнечная веранда, на другом — дощатый туалет с очком от унитаза. Садись, как дома, и газетку почитывай, подставляя страницы под бьющие сквозь щели лучи.

Хорошая дачка. Тут клинышек малины, там квадратик крыжовника, а по солнечной полосе — клубничные рядки. Кайфушник! Совсем не то, что запущенный Склявин сад, огородившийся от нашей трёхэтажки колючим забором. Домок со слепенькими окнами, чудом не снесённый при корчёвке квартала, зимой слабо курился, выдавая присутствие жизни, теплившейся в согбенной, ворожейного облика старушке. А летом с трубой утопал в зелени.

Сад требовал осторожности, гибкости рыси — знаменитый костыль Складывы имел непостижимую особенность опускаться с размаху на хребты в самый сладкий момент.

Старуха была хитра и безобразна. Не кричала, не призывала соседей. Подкрадывалась к воришкам и молча, без предупреждения, лупила обалденным своим костылищем. Словно мстила потомкам за разор, несомый отцами — инженерами, проектировщиками, бульдозеристами...

То ли дело тёткина дача!

Правда, и азартом здесь не пахло. Всё готовенькое, и всё — можно! Это плохо укладывалось в миропорядок, в сложившийся образ Сада, Добычи. А где риск? А предварительный план набега? А заветная планочка в заборе, загодя расшатанная и наметившая лаз, приметный только тебе?..

Ничего подобного.

Только стройные ряды сортовой клубники, и никаких тебе преград. Шикуй, бродяга!

Самая обольстительная, конечно же, «Комсомолка».

Самая мясистая — «Бомба», дорогой, редкий сорт. Алый, сахарно сверкающий разломленной мякотью плод величиной с картофелину опрокидывал представления о ягоде, культивированной из крохотной земляники. И росла «Бомба» не как дикая родственница, покрытая шершавым листом, опутанная травой, взблескивающая искоркой из укрытий.

«Бомба» жила на широкую ногу.

Вольготно, не таясь, красовалась на коричневой грядочке, прогретой лучами. Она было хорошо прорежена, и каждая, как бы отдельно повисшая ягода, клонящаяся на прозрачной жилке к земле, так чудесно, пряно пахнувшей, — каждая ягода, чуть отклонённая от сочного ствола, отлично просматривалась издали. Даже странно, что соседи не поживились в отсутствие хозяев...

А присутствие соседей было несомненным — гремели кастрюли, позвякивали стаканы, курился дымок из мангала. Незримые соседи готовились к пиру.

Нас, вернее, Чилика, признали сразу. Высмотрели в угловой перископ, в листованное окошечко, промываемое ветровым потоком.

Ласковый был день, зной ровно струился над землёй, и было не разобрать, где таится первопричина сладости, растекающейся по клеточкам. Не то клубника, разогретая солнцем, расточала аромат, не то солнце проступало из земли кровавыми каплями.

Жёлтые осы, выписывающие прозрачные эллипсы над клубникой, деликатно уступали место — кушай, дорогой, мы отлетим, а ты кушай... Мы маленькие, нам достанет и тысячной дольки...

Ещё бы! Десяток «Бомб», и сыт. А уж для ос, и даже шмелей, чёрно-золотыми тяжеловозами налетавшими из угрюмых оврагов, опоясавших дачный массив, уж для них-то какой пир!..

Рядок мы быстренько обожрали. Но не оставлять же остальное! Впереди рдяными поплавками подрагивала самая заповедная, самая сладкая грядка. Сладость крылась уже в названии — «Комсомолка». И не только молодость, не только свежесть исходила от него...

...Аллочка, я тебя съем!..

...алые клювики, нервно вздрагивающие от прикосновения, истаивающие на губах... Налито-выпуклые, с крохотными пупырышками по нежнейшему ареалу.. Они просятся в рот, хочется ещё, ещё...

Комсомолка... Одно слово чего стоит! Ничего, подрастём, и сверстницы наши будут комсомолками, и все мы будем комсомолками... Или нет, комсомол... Ах, да, — комсомольцами...

Я разомлел от сытости, солнца, а пальцы всё цепляли ягоду за ягодой, пока не кончился ряд.

Мы растянулись на траве, разлеглись на прогретой солнцем лужайке. Чего еще желать в летний, напоенный светом и сладостью день? Так, помечтать кой-о-чём...

Не признаваясь друг другу, с некоторых пор мы стали испытывать тревогу. Ломота выворачивала тело, растягивала, как на пыточном станке, и тело росло не вместе с тайным, скрытым внутри, а — медленнее, мучительнее.

Девчонки, наши подружки, непоправимо отплывали — и отплыли! — в свой мир. Им было легче. Не похоже, что их мучили те же проблемы. Наверно, личностное начало у них созревало вместе с животным. Они были защищены осознанием себя. Во всяком случае, внешне.

Вот ещё вчера была девочка, а сегодня... Девушка. Почти сложившаяся женщина. И как же не думать про это? И не выплескивать фантазии в болтовне, хоть ею освобождаясь от муки, стыда?..

Лежали мы на травке, молчали... Кто первый начнёт? Самый циничный — Бен. От него и ждали затравки. Он ещё в детстве нас предал... Мы тогда рассорились с дворовыми девчонками и поклялись друг другу, что не только дружить с ними не будем, не женимся никогда. А Бен предал. В разгар клятвенных заверений, ошарашил: «А я женюсь!» И на все укоры и позоры твердил:

«Женюсь, женюсь, женюсь!.. Вырасту и женюсь!»

«И с позорницами дружить будешь?»

«Дружить не буду...А потом всё равно женюсь!..»

Мы помнили, Бен вероломный. Он и с девчонками из соседнего двора вечерами куда-то исчезал, а мы не спрашивали... Но об этом готовился разговор.

Разговорчик такой.

Кирия — молчун и тёмная штучка. От него всего можно ожидать, даже подвоха, но первый опасную темку не тронет.

Тронул Чилик.

«Слушай, чуваки... А правда, что когда это... Ну, в общем, когда это...

«Трахаются, что ли?» — Подмогнул Бен.

«Ну да... Правда, что больно бывает... В первый раз?»

Бен был в курсе:

«Фуфло! Больно девчонкам бывает, а тебе что?.. Хотя (искоса глянул на Чилика), хотя если больной — заплачешь, к мамочке побежишь... А вообще-то — кайф полный!»

Бен подложил руки под голову, сладко потянулся, и мечтательно завершил — кайфы та-акие покатыт!..»

Не выдержали и мы с Кирей. Не до конца веря, но уже с невольным уважением вскинулись:

«А ты что, пробовал?..»

«А когда, с кем?»

Бен почувствовал себя героем, хозяином положения. И — погнал:

«Так я и доложил... Было с кем. И ещё будет!»

«Расскажи, Бен, расскажи... Жалко?»

«Расскажи-и... Сами не маленькие, знать должны»...

Но тут Чилик, почуяв неуверенность Бена, решил отыгаться:

«Нет-нет, давай. Сказал А, не будь Б. Давай, чувачок, давай, а то за трепло проканаешь...»

Бен упустил ситуацию.

«С кем, как... А вот так — сунул-вынул, сунул-вынул... И вся любовь!..»

«А где кайф, когда самый кайф?» — стонал глупый Чилик.

«Всегда! С самого начала и до конца!»

«А ей не больно было?» — рвал жилы Чилик.

Мы с Кирей наблюдали за схваткой. Бен скучал. Можно даже сказать, хандрил, недужил. Тербил пуговку на рубашке, высокомерное выражение сменилось апатией. Ещё недавно маслянисто поблескивавшие глаза уходили в сторону, блуждали по веткам, по сиявшим в голубизне облакам. И вообще — мы ему надоели. «Сами должны знать, а не глупости спрашивать» — читалось во взгляде. Бен скучал...

Но наседали Чилик, и Бен потянул:

«Да не-е... чего там больно, если умеючи... Она же тоже кайф ловила...»

«А сколько ей лет?» — не унимался инквизитор.

«Лет?... Лет тридцать, наверно... — Секунду посомневался и добавил непоправимое — она, вообще-то, честная была...»

И вот тут уже грохнули все.

Битва была завершена, Бен повержен. Чилик мог торжествовать, как и мы с Кирей.

Но торжествовать не хотелось. И думать про это тоже.

Хотелось чего-то чистого, ясного... А где его взять? Кругом грязь, пакостные рассказы дворовых дылд. Девчонки нами не интересуются...

А тайная любовь, Аллочка...

Честно признаться, она была в о о б щ е девушка, а не моя собственность, пусть даже мечтаемая. И не столько интересовало то, что волшебным образом волнуется под её комсомольскими доспехами, а то, что такое она сама? Что же она такое — эта активистка, недоступная ни для кого, — просто идеал?

Идеал бесполезен...

Мы лежали на траве, лучи косо прохлёстывали сквозь деревья, подкатывал вечер. Пора было собираться. На соседней даче распускалась пирушка. Разворачивала меха гармонь, лились веселые наигрыши.

И грянул куплет, перекрывший женские голоса:

*В роще моей
Пел соловей,
Спать не давал он
Тёще моей...*

Второй голос подхватил:

*Тёща моя
Хуже соловья,
Спать не давала мне
Тёща моя...*

И — эх, эх, эх — понеслась, покатилась пирушка! Умеют же веселиться люди. А мы?..

Пора было собираться.

Чилик для порядка набрал пластмассовое ведро. Не «Комсомолки», не «Бомбы» — их мы вчистую обожрали, — а самой заурядной клубники, которая хороша с куста, а дома без сахара не очень-то и захочешь.

«Мать варенье сварит» — сказал, словно оправдал сам себя.

Километра два предстояло пилить по проселку до большака. Мы не очень спешили, и решено было передохнуть на полпути, в березовом колке.

На краю дорожки, у самого спуска в рощицу, одиноко стоял рыжий пацан наших лет и методично, искоса поглядывая в нашу сторону, сгибал-разгибал прут с верёвкой на конце. Похоже, мастерил силок для птиц.

Поравнявшись с ним, мы заметили ещё двух пацанов, ящерицами кравшихся по траве к чаще.

«Птиц ловите?» — спросил я рыжего.

«Не-е...» — неопределённо промямлил тот и повернулся к друзьям. Тихонько свистнул. Те обернулись, замерли. Пошептались меж собой, и вдруг замахали руками, прикладывая пальцы к губам — мол, айда к нам, но только тихо, тихо.

И мы все, уже впятером, на цыпочках, как заворожённые, двинулись и залегли в траву — рядом с пацанами.

«Вы что, птиц ловите?» — шёпотом опять спросил я... Спросил так, для наведения контакта. Длинноносый чёрный пацан метнул презрительный взгляд и процедил с насмешкой:

«Каких пти-иц?.. Там...» — и указал рукой в тенистую глубь.

«Что, что там?» — мы заелозили, пытаясь что-то высмотреть в травянистом овражке.

«Да тише вы! — прищыкнул другой, как две капли воды похожий на первого (близнецы! — почему-то испуганно отметил я про себя), — какие, на фиг, птицы?.. Гребутся там!.. Подползём поближе, увидим. Только тихо, поняли?»

Приказной тон и загадочность происходящего сработали. Мы поползли.

Перевалив овражек, залегли за травяной бордюром.

«Гре-ебуться!.. — довольно захихикал командир — во кино! Смотрите бесплатно, где ещё дадут? Смотрите, смотрите!..» — И они с братцем тихонько поползли дальше, огибая рощицу, а мы, ошеломлённые, замерли на бугорке.

...чуть внизу, метрах в пяти от нас, разворачивалась картина. Посреди поляны, сверкая великолепием никеля и чёрного лака, стоял трофейный мотоцикл с коляской. Он был изукрашен блестящими кокетками, подфарниками, зеркальцами на выгнутом руле, кожаными нашлёпками, провисавшими с ободов, точно клёши щеголеватого матроса.

Он сиял среди зелени и белизны стволов как иноземное чудо, приземлившееся в травяном кратере. Таких мотоциклов немного было в городе, они всегда привлекали внимание. Хотелось потрогать, погладить, походить вокруг, цокая языком. А как легко они заводились, несмотря на свою, в общем-то, древность — с первого раза!

Сейчас представлялась возможность хорошенько рассмотреть этого «германца». Но куда там! Мотоцикл... Это было не самое значительное из того, что происходило на полянке.

А на полянке происходило вот что — на полянке дюжий мужик раздевал женщину. Он даже не раздевал, а нелепо приплясывая, срывал ярко-красное платье. И что самое странное, женщина не противилась, как это вроде бы положено по законам жанра. Но и не помогала. Просто стояла, отвернув от мужика лицо, и позволяла себя обнажать.

А другой, ещё более дюжий мужик, голый по пояс, в тёмно-синих наколках, похаживал рядышком с бутылкой пива в руке, примериваясь к сучку покрепче — сорвать крышку. Рядом с мотоциклом, на траве была расстелена клеёнка: бутылки и закусь.

Мужик тянул, стаскивал платье вниз, но не мог. Женщина, обречённо вздохнув, воздела руки:

«Куда тянешь, чёртушка!.. Сымай через верх...»

Мужик сообразил.

Потянул платье за рукава, загоготал — поддавалось! Он стянул его с электрическим треском, скомкал в громадной жмене и закинул в кусты. На лету платье развернулось, жар-птицей опустилось на прутьи берёзовой поросли, которые мягко качнулись и положили его на траву.

Разглядев на женщине нижнее бельё, мужик взвыл:

«А-а, издеваисси, паскуда!.. Не знала, зачем едешь?..»



Женщина прикрыла лицо, закачала головой. И вдруг, точно на что-то гибельное решившись, сняла комбинацию, под которой оставались два самых последних предмета, почему-то необходимых даже в зной...

А была она довольно красива, эта немолодая уже, лет сорока женщина с измождённым лицом, с глубокими, впалыми, последним отчаянием горящими глазами.

В отличие от лица тело выглядело молодым, не потерявшим упругости. Казавшаяся в одежде шупленькой, гляделась теперь чуть ли не полноватой — большая грудь и широкие бедра восполнили и отте-нили сухощавость лица, шеи.

Мужик крикнул, когда удалось расцепить крючочки на бледно-жёлтом лифчике. Скинул на кусты и, как бы в поощрение, приласкал, обнял женщину. Он обнял её сзади и ручищами стал подбрасывать высвобожденные, тяжело просевшие дыни грудей с большими пунцовыми сосцами, с голубыми устьями вен, широко растекавшимися под белую кожей.

Он лапал, давил всеми своими корявыми пальцами нежно-спелые, незагоревшие, свободно колыхающиеся груди, а она полустоном-полушёпотом что-то говорила ему, спрашивала...

И он, вдруг резко присев, ткнулся в пышную ягодицу небритой, иссиня-чёрной щекой. С идиотской улыбкой потёрся, пошоркал, как щёткой, заставив женщину сжаться и отпрянуть на шаг.

Но тут же поймал, схватил за резинку и сдернул последнее, что ещё оставалось на ней — одиноко желтевшие на белом теле трусики. Он зашвырнул их, как и остальное, в кусты, а женщину повалил спиной на траву.

Себя раздел оперативно. Брюки и рубашку аккуратно сложил и пристроил на седло мотоцикла. Голый, во весь рост, красавец поиграл мускулатурой, демонстрируя бугры мышц и «ожившую» татуировку на груди, изображавшую любовную сценку русалки и чёрта, рогом тычущегося в несуществующую промежность.

Набычил плечи, зарычал и, держа в руках свой возбужденный «рог», опустился на колени. Игриво-грозно выпятил звериную челюсть, и с урчанием, означавшим, по-видимому, прилив страсти, стал надвигаться на женщину. Подползла вплотную, разодрал её ноги, повозился у себя в паху, примерился и с силой вхлюпнулся в багряно-разверстое лоно. Он втиснулся туда, в неё, сдавленно вскрикнувшую, и после тяжкого вздоха облегчения засопел, выделявая нелепые в своей неправдоподобности телодвижения...

Другой мужик уже открыл бутылку. Сидел, прислонившись спиной к березе, потягивал пиво, и деловито, с юморком комментировал:

«Да-а, Вась, давненько ты баб не таптывал... Изголодался, поди, истомился... У кума-то не разжиться было бабешкой, а, Вась?.. Да ты не суетись, не на пожаре... Ослобони себя, отдохни, а потом возьмёшь своё по-настоящему... У нас, брат, за всё плачено, за все удовольствия... А там, глядишь, и я подспею...»

Ответа он и не ждал. «Вась» мычал, входил в раж, покусывая подружку, а она молчала, отвернув голову, лицом зарываясь в траву. Раскоряченные, неестественно белевшие в сочной зелени ноги, точно судорога сводила — она то сгибала их в коленях, упираясь ступнями в земляные бугры, то безвольно распластывала по траве...

Нельзя было смотреть на это. Почему-то я знал — нельзя! Но и оторваться от зрелища — как, как?! Словно кролик перед удавом, вытаращив зенки, повис на бордюрике и смотрел, смотрел, смотрел...

И это то, о чем столько говорено? Столько предположений и самых фантастических догадок ходило про великое ЭТО!.. Вот тебе и светлая девочка, вот тебе и Аллочка-комсомолочка...

Пыльные вихри пронеслись в помутившейся голове, и я не сразу сообразил что происходит. Бен ткнул кулаком в бок, испуганно шепнул: «Бежим!».

Чилик и Киря уже выбирались на дорогу, рыжего и след простыл, а на полянке — параллельно увиденному — разворачивалась иная драма: один из долгоносиков подкрался к мотоциклу и, спрятавшись за него, палкой с верёвочной петлёй подтаскивал к себе женскую сумочку, беспечно оставленную на краю клеенки.

Благополучно подгрёб, сунул за пазуху и, таким же незамеченным, тихонько пополз обратно. Хрустнувший сучок — едва слышно хрустнувший — вдруг всполошил его, точно подбросил от земли. И он, уже не скрываясь, раздирая ветви кустарника, кинулся сквозь чащобу...

Женщина сообразила первой — задыхаясь под мужиком, закричала:

«Держи, держи гадёныша, сумочку украл, там де-еньги!.. Деньги там!..» Она засучила ногами, коленками и руками силясь спихнуть тушу.

А туша рычала и не хотела сползать, отрываться от сладимого. Но доперло и до него. Взревев на всю округу, вскинул себя, заметался по поляне — потный, осатанело вопящий:

«Иван!.. Иван!.. Па-ала!.. Ты что со мной вытворяешь?.. Пасть порву, пала!..»

Но Иван уже нёсся по следу. Сдёрнуло и меня — подкинуло ввысь и понесло. Я ринулся в сторону от Ивана, кружа через рощицу, догонять своих. Они неслись в пышной проселочной пыли по направлению к большаку.

Сзади, вослед нам, доносились женские вопли:

«Скорее, скорее!.. Ч чего копаешься?.. Заводи мотоцикл — деньги, деньги!..»

Последним бежал Чилик. Он, перепуганный, всё никак не мог осознать

идиотизма ситуации и расстаться с проблемной теперь клубничкой. Верхние ягоды шлёпались в пыль, расплзались в кровавые пятна, прокладывая следок для погони. Обходя на вираже, я успел крикнуть:

«Брось, дурак, попадёмся!..» — и выскочил на большак.

Кирия и Бен уже стояли на трассе и, трясясь от страха, высматривали беспросветную даль. Пустынной была дорога в этот предвечерний час. А вот со стороны рощицы уже отчётливо слышался треск мотоцикла.

Мы глянули друг на друга и, не стовариваясь, понеслись дальше по просёлку, перерезанному безнадёжной, безавтобусной трассой.

Мыслей не было. Плана тоже. Местность пересечена балками, овражками, клиньями овса-самосева, но мы, как зайцы, обезумев, неслись лишь по прямой. До города километров двенадцать, путь незнакомый... На что надеялись?..

Широченный овраг перекрыл дорогу. Мы заметались. Овраг был глубок и в этом месте явно непроходим. Бен кинулся первый — вдоль оврага, к темневшим кустам, а я остался с Кирей, который сильно задыхался. От страха, от бега, от невероятности происходящего с нами. Заполосно вращая глазами, твердил, обращаясь ко мне, к оврагу, к миру:

«Что делать?... Что делать?... Что делать?..»

Он впился мне в плечи окостеневшими пальцами с такой силой, что вспыхнувшая боль на миг отрезвила. Я оглянулся и вдруг рассмотрел темневшее неподалеку, под одним из холмов, что-то похожее на пещеру. Мы подбежали к ней и почти облегчённо вздохнули — это и впрямь была пещера! Она таилась в глиноземе холма, занавешенная ползучей травой. Мы поочередно втиснулись в неё. Пещерка, словно специально кем-то рассчитанная, способна была вместить лишь двоих!

Мы прижались друг к другу в полукруглом прохладном убежище и, слегка отдышавшись, стали прислушиваться. Треск мотоцикла,

доносившийся со стороны большака, резко смолк. И уже через минуту-другую мы услышали приближающийся топот и страшный рёв вслед.

Топот был не настолько грузный, чтоб принадлежать дюжему мужику, скорее всего это был Чилик или Бен, которых загоняли чудовища. Вот уже топот пронёсся над нами, и я даже расслышал сквозь шумное задыхание бегущего что-то вроде жалобного подвывания — «а-а-а-а-а...» — подрагивающая, перемежённая хрипами мольба вырывалась из недр хотящего жить...

Я ещё крепче вжался в пещерку и притянул к себе Кирию. А он, подавленный приближающимся рёвом, вдруг предательски взвизгнул и кубарем выкатился из нашей дыры, вниз по короткому скату. И побежал вслед за Беном — это его нагоняли.

Укрытие было раскрычено, ничего не оставалось, как только ринуться вслед за Кирей...

Мы из последних сил неслись по овражистой местности, неизвестно куда — впереди Бен, за ним Киря, и самым последним я. Шансов уйти не оставалось, мы были как на ладони. А сзади, извергая угрозы, нагоняла расшвирипевшая махина...

И вдруг меня словно током прошибло — да чего ж мы-то бежим? Мы-то здесь при чём? Пацаны решили грабануть весёлую компанию, выследили и грабанули. А мы — я только теперь это понял — понадобились для отвода глаз. И они не ошиблись, погоня пошла за нами...

Но зачем нам-то бежать? Надо остановиться и попытаться всё объяснить. Тем более что бежать, похоже, некуда...

И я остановился.

Я остановился и, собрав остатки воли, задыхаясь, развернулся навстречу несшемуся на меня полуголому, в одних штанах, мужику. И пошёл. Пошёл прямо на него. Меж нами оставалось метров тридцать, и я заметил, что он, наверняка изумившийся такому обороту, сбавил скорость.

Я шёл ему навстречу, ничего не соображая, не заготовив объяснений. Просто шёл сдаваться судьбе. Шёл безнадежно, на подкашивающихся от напряжения и ужаса ногах, которые не сгибались в коленках — чужие, свинцово-ватные чурки...

А он приближался, дыша со свистом прокуренных лёгких — мощный, атлетически сложенный, загорелый, как дьявол, сорокалетний мужик...

«У-у-у, сучара!..» — было последнее, что я услышал перед ударом с налета. Я ничего не успел сказать, не стал даже уворачивать-

ся, — всё было бессмысленно. Кулачище с размаху врезался в моё лицо. Сколько метров я пролетел — три? пять?.. Удивительно то, что, словно не ощутив удара, тут же встал с пыльной тропы. И ещё один удар — чуть послабее — сшиб с ног. И я снова встал. Мужик, удовлетворённый раундом, немного расслабься, схватил за шиворот и прохрипел в лицо:

«Где деньги, падла?»

И тут ко мне вернулся дар речи. Я скороговоркой стал выкладывать позорные козыри:

«Вы же видели, я не виноват... Я же не бежал, я сам пошёл... Это не мы, это деревенские... Мы думали, они птиц ловят, а они...»

«Что?.. Какие ещё деревенские?.. Так вы не из одной шоблы?..» — Крепкорылое, высеченное из глыбы лицо с выпирающими скулами на секунду замерло. Какие-то кубы или квадраты заворочались в его черепе — мужик соображал.

«Тэ-эк... — глубокомысленно протянул он — а ну, идём!.. Быстро!..».

И, стиснув запястье чудовищной лапой, поволок к темневшему вдали мотоциклу. Только теперь я почувствовал свинцовую тяжесть в скуле. Не боль, а именно тупую свинцовую тяжесть. И — пошатывание в голове. Но резко сжатая, вывернутая рука отозвалась сильнее. Я взвыл, и с неожиданным чувством правоты, точнее правомочности маленького бунта, закричал:

«Пусти!.. Отпустите руку... Я никуда не убегу, пойдём куда надо, только я сам, сам...»

Любовник Вася, а это был он, обернулся. Остановился, прищурился, оценивающе оглядел с ног до головы, медленно сплюнул в пыль и, не отводя глаз, отпустил запястье. Предупредил только:

«Ну, гляди же... Ты и теперь на волоске, фокус выкинешь — кранты... А ну, вперёд!..»

И мы пошли по пыльной просёлочной дороге — недавний герой любовник, не успевший надеть даже майку, и я, растрёпанный, извланый в пыли тощий пацан, попавший под безраздельную власть.

Солнце низко висело над землёй. Уже не лучи, а тёмно-красные брусья тяжело ложились на мягко повитую пылью дорожку. И такая тишина воцарилась в мире, будто не было в округе ни посёлка, ни дач, раскинувшихся окрест, ни большака с рейсовыми автобусами. Лишь кузнечики пронзительно потрескивали в сухом ковыле по обочинам, да мерно бившие пыль наши шаги глухо отпечатывались в тишине.

И стоял впереди, как влитой, охваченный поздним солнцем чёрный мотоцикл, перегородивший собою просёлок. И восседал на нём ещё более мощный, чем Вася, мужик в серой рубаше с закатанными рукавами.

Он сидел, погрузив одну ногу в коляску, вторую втащив на седло и упершись подбородком в колено, поигрывал желваками на устало и мрачно покривившемся лице. Он молча следил за нашим приближением.

Я встал перед ним, глядя в лицо, и он медленно, как бы раздумывая, отвёл руку для удара. Отвёл, покачал на уровне плеча по-кошачьи расслабленной лапой. И вместо удара потянулся двумя когтисто загнутыми пальцами к моему подбородку.

«Не надо, Иван — равнодушно кинул ему «мой» Вася — я этого уже приласкал... Да он сам мне дался, встречу пошел... Не тех мы словили. Он шас нам поведает... Он шас всё-о нам поведает... Ну, валяй, сучонок, что на деревенских катил?..»

И, только я приготовился к ответу, как что-то пискнуло, мыкнуло в недрах мотоцикла. Из-под пыльной рогожи, накрывшей коляску, из-под ноги громилы стало выпрастываться кошмарное нечто, оказавшееся в итоге живым, но избитым в кровь, бледным, как смерть, Чиликом...

Вначале показалась его голова с вытарашенными глазами, с разбитой губой. Затем худые плечи в грязной маечке стали протискиваться в узкое пространство меж боковиной коляски и могучим столпом волосатой ноги, поневоле задирая закатанную штанину верзилы.

«Ку-уда, змеёныш!.. Сказано было — нишкни, мёртвый уже!» — прикрикнул Иван и заломил Чилику такой шелбан с оттяжкой, что отдалось и загудело даже в моей, изрядно повреждённой голове.

Такая увесистая лапа, такие толстенные были пальцы у долбилы, такой силы шелчок, что головенка Чилика, казалось, расколется сейчас, как орех, на две половины, и он умрёт на глазах!..

Но, видать, это была не первая проба, потому что Чилик, схватившись за голову руками, лишь заплакал и умоляюще запричитал:

«Не бейте, ну, не бейте меня, дядя, мы же не виноваты, пусть он подтвердит, только не бейте больше, я же могу умереть...»

«А ты что, ещё сомневаешься? Уж ты-то точно умрешь. С ним, — Иван ткнул в меня пальцем, — мы еще подумаем, коли сам сдался, а тебя по земле размажем, ежели деньги не укажешь... У-у, мокрицы, у воров воровать надумали!.. Чего прятался? Чего прятался, говорю, овечка невинная?.. Ну, дерьма кусок, где сумка? Куда заныкал?..»

И он вновь страшно прищёлкнул Чилика, вколотил его в глубь коляски.

И опять загудело у меня в голове.

Надо было что-то срочно предпринимать, — они и вправду могут прикончить, а потом замуровать где-нибудь в овражке. И я, как имеющий здесь хоть какое-то право голоса, крикнул:

«Не трогайте, не бейте его, я покажу вам всё, может, ещё догоним тех пацанов, они не наши, мы их впервые в жизни видели, мы сюда на дачу, за клубникой приехали...»

«За клубни-икой... — с ледяной насмешливостью протянул Иван, — за клубникой они приехали... За клубникой приехали, а попали в малину!.. Ай-яй-яй, чему вас в школе учителя учат? За людьми подглядывать, чужие кошельки таскать у трудящихся? Ай-яй-яй, нехорошо... Ныряй в коляску, падла!.. А ты, Вась, сзади сидишь, пригляди...»

И вновь затолкали Чилика на дно коляски, накрыли рогожкой. А меня впихнули на сиденье и заставили ногами припереть друга. Мотоцикл взревел, мгновенно завёлся (трофей! — успел я восхититься), и мы понеслись к той самой роще, откуда и выползли, как из вулкана, наши несчастья...

Где искать пацанов? Что будет, если не найдём?..

Я лихорадочно перебирал варианты, но все они никуда не годились. От этих гадов не вырваться, даже если вот сейчас, на безлюдном большаке попытаться спрыгнуть и бежать к остановке. Догонят. Тогда точно, пощады не жди. Спротивляться смехотворно, учитывая разницу весовых категорий.

Оставалось облегчить участь Чилика, ворочавшегося на дне. Он трепыхался в моих ногах, задыхаясь в пыльной глубине раскалённой коляски, сложенный напополам, как овечка, под грязной рогожей. Ещё и я добавлял мучений.

Я незаметно разводил ноги, подтягивал их к животу и, наконец, нашёл оптимальный вариант — Чилик перестал ворочаться и прекратил поскуливания. Что ещё оставалось? Надежда на Чудо... Только на него. Разум бессилён...

И Чудо было явлено.

Оно явилось, точнее, выдралось из той же рощицы в виде распатланной женщины в ярко-красном платье. Она побежала навстречу, прижимая к груди драгоценную сумочку, и подбежав, облегчённо плюхнулась широкой задницей в коляску, точно меня там не было.

Тут же завизжала, вылетела на дорогу — взвыл и без того задавленный Чилик. Она остановилась в нескольких шагах от мотоцикла, прижимая сумочку двумя руками к груди, и с ужасом смотрела на выползающего из чёрной люльки избитого пацаненка.

Она была напугана и счастлива. Глуповатая улыбка блуждала на желтоватых обескровленных губах, на измученном миловидном лице. Во всем её облике крылось что-то несчастное, горькое, со следами неудач. И в то же время сохранил её облик дивную, недоуменную доверчивость... Вопреки всем откровениям и гримасам судьбы.

Вот и сейчас стояла, меняя дурашную полуулыбку на всепобеждающую бабью жалость.

«Что это?.. Боже мой, кто это такие?.. Вы же не тех поймали!.. Там наши, поселковые с фермы, одного я признала, — вроде Дуськин... Вот я уже потолкую с этой поганкой!..»

Женщина оказалась посообразительней кавалеров: она пошла по верному следу, и в кустах отыскала сумочку. Долгоносики поняли, что их накроют и, Слава тебе, Господи, бросили добычу. Это было спасением!..

Но ликовал я рано.

«Деньги пересчитала? Все на месте?» — угрюмо спросил «мой» Вася.

«Все здесь, четыре сотни... Да что же вы так детишек излущивали, изверги?»

Она, придя в себя, прихорашивалась, встряхивала рукой сваявшиеся кудряшки волос, оправляла платье. Из сумочки торчали бретельки от лифчика, белели кружева нижнего белья, второпях затолканного туда же...

«Ну, ты, — перебил грозный Иван — своё не отработала, а туда же, рассуждать лезешь... Она у нас добренькая, она у нас хорошая... Не то что некоторые дяди... Мокрохвостка дешёвая! Тебя тут нет, поняла? И слова тебе никто не давал. Как-нибудь сами рассудим — по-нашему, по-воровскому, по-честному...»

Женщина замолчала. А судный Иван как-то очень уж пристально, тяжелым взглядом принялся рассматривать нас с Чиликом. Хорошо усмехнувшись, сказал мне:

«Ты вот что, герой... Считай, что правильный пионерский поступок я оценил... Ты мне больше не нужен. Он ведь нам больше не нужен, Вась, я правильно понимаю?»

«Правильно, Ваня, правильно, — поддержал его «мой», — ступай себе, веночек дружку закажи, в участочек постучись...»

«Ну, ты, Вась, зве-ерь! — восхищённо протянул Иван, — однако, убивать уж совсем до смерти сейчас не станем... Аккуратненько за

ножки возьмём и во-он там (корявым пальцем указал вдаль, в сторону пустующего тока) на плотненькую землицу опустим. Разок опустим, другой опустим... А ливер сам опустится. Зачем мокрушничать понапрасну? Поживёт маленько, прочувствует от души, как оно — у воров воровать, кайф людям ломать...»

Задушевный монолог он произнес глядя Чилику в обезумевшие, ничего не соображающие глаза... И зачем дурак связался с ведёрком, с никчемной клубничкой? На кой дьявол убежать и прятаться невиноватому? — терзался я. А сам всё равно чувствовал как подленько, как сладенько подкатывает к сердцу тепло, как облегчение разливается по всему телу. Я это отчётливо в себе чувствовал. И ненавидел себя...

«А ну, пошёл! — встряхнул меня Иван и ногой выковырнул из коляски.

И добавил вослед. — А насчёт участка забудь. Пошутили. Никакая милиция не найдёт. На гастролях мы, понял? И мотоцикл у нас напрокат. Пёс не ведаёт, где через час будем... Ну, вали отсюда!..»

Но уйти я не мог. Стоял у мотоцикла, глядел в умоляющие, чернотой обведённые глаза Чилика, и не мог помочь. Ничем. Кроме того, чтобы до конца разделить участь. Женщина стояла рядом со мной и, прикрыв трясущейся ладошкой рот, переводила взгляд с одного кавалера на другого. Она была лишена приговором Ивана, старшего здесь, даже совещательного голоса. И не могла помочь.

А помочь хотела — я это чувствовал нутром!..

Не выдержал Иван. Схватил меня за ворот, подтащил к себе.

«Ты что, гадёныш, русского языка не понимаешь? — прохрипел в лицо, обдав перегаром, — ты здесь не нужен, ясно? Места персонального нету. Извини, не припасли... А ну!..»

И, развернув, надал ногой в спину. Я упал и от бессилия чуть не заплакал. Не только избили, хотят предателем выставить...

Я не предавал! Спасал жизнь — и свою, и Чилика. Его в особенности. Он ведь теперь даже сказать ничего не способен... А меня за что? Предателем за что?.. «А за то, что попался! — отвечал внутренний голос. Хочешь сладкого — рискуй, умные не попадают. Попадают дураки, вроде тебя, раскатавшие губу на чистое, да ещё и сладкое вдобавок... Нет уж, надо платить!..»

...нежная девочка... клубничная комсомолочка...

Медленно, спешить уже некуда, я поднялся. Встал на ноги и, отряхивая пыль, стал следить за удалявшимся мотоциклом. В коляске сидела женщина, по-матерински прижав Чилика к груди. И ше-

вельнулась надежда — может, и обойдётся, не сотворят с ним того, что так страшно наобещали...

Когда я прибыл во двор, из беседки выскочили Бен и Киря. Они ушли оврагами и уже час томились, ломали голову в поисках спасения. Мы затосковали вместе. Как рассказать? Кому?..

Мысль о милиции не выходила из головы, и Киря уже собрался звонить старшему брату, лейтенанту милиции...

Но вдруг — в проёме двора показался бледный, нервно улыбающийся Чилик.

Мы вскочили со скамейки, встревоженно обступили его и...

И уже очень скоро, надрывая животы, хохотали.

Вспоминали, прокручивали ситуацию, требовали друг от друга всё новых и новых подробностей, казавшихся теперь такими смешными...

Чилика отпустили в рощице, куда воры приехали довершать неоконченное. Пиршественный стол был нетронут. И, вероятно, вид его, да ещё полураздетой женщины смягчил сердца. Чилик стал неинтересным, излишним теперь.

Может, он и приврал нам, что его лишь угостили напоследок шелбаном и пинком, но то, что не опустили задницей на ток — этому можно было поверить. Человек с отбитым нутром не стал бы веселиться.

Особенную, прямо сумасшедшую радость вызвало то обстоятельство, что моя, самая лучшая во дворе лавсановая рубашка разорвана по боковому шву — до самых шорт! Это обнаружилось только теперь, и мы счастливо хохотали...

Ладно, по этому поводу можно дома наврать, разрыв по шву дело поправимое. Синяки, которые наверняка проступят, объяснить посложнее. Но и с этим вывернемся, не впервой. Главное, что всё обошлось. Главное, отмыть пятно, пропитавшее воротник — не то кровь, не то раздавленная клубничка...

СОРОКА-КИЛЛЕР. Глазоед

Птица, отрекшаяся от всего беззаботного существования, — это хитрая сорока...

А он же — человек, подчиненный сознанию этой сороки. Проживал, будучи алчным к наживе, во власти вождения. Но эти чувства, похожие на птичий помет, выброшенный сорокой, стали неуправляемыми, а сознание, мутное, как тот же помет, словно высохло.

А сколько воды утекло с тех пор, как пестрошея, с белесым хвостом сорока начала охоту на живых и мёртвых?! Ей было совершенно недостаточно и мертвой падали, и живой твари.

И сегодня на коротком полене во дворе стрекочет одинокая сорока. Зоб у нее пустой. Полевая птица, вынужденная приспособить полено под насест, подпрыгивает, вытягивая короткую шею, и покачивает длинным хвостом. Её взгляд пристально устремлён на хозяйна, смуглого старика, отдыхающего в тени.

В действительности же, ее глаза жадно наблюдают не за костлявым черным стариком, а за лежащими перед ним копчеными головами. Но прошло уже много времени, как сорока-воровка караулит головы, жадно съедая глазами горячую еду... Все-таки птица хоть и назойливая, но прирученная, когда еще была птенцом.

Обе головы, лежащие перед угрюмым стариком, дочерна загорелым под солнцем, сырые и кровавые. Одна — с громоздкими, серповидными рогами, принадлежит архару. Другая — с торчащими ушами, серому волку. Не разделаны. Целые. Видно, что отрублены топором прямо в месте стыка шеи с затылком.

Обе головы иссохли, стиснутые белые зубы оскалились, верхний тонкий слой кожи подсох от соли. Глаз не видно. Безвинно молящие у архара, искрометные у волка глаза исчезли, а на их месте зияют темные впадины. Вид голов, наводящих страх и заставляющих вздрогнуть сердце, вызывает чувство испуга. Но старик никак не реагирует на это, кажется, что он неживой.

Когда старик, выйдя во двор, бросил тяжелые как свинец головы на землю, сорока, сидевшая на широком полене, застрекотала... Сейчас, давая знать о том, что голодна, она громко застрекотала и начала подпрыгивать на поверхности короткой чурки. Ду-

мая, чем бы «заморить червячка», тряся пустой зоб, смотря безумными, питающими надежду глазами на хозяина, размахивала крыльями, как сокол, приготовившийся к взлету. Так и хотела полететь стремглав к этим головам, но знала, что привязь с железным кольцом на конце не отпустит ее никуда. Надувшаяся птица знает это и стрекочет старику горькие гневные звуки, как бы желая показать, как она голодна. Но старик словно твердый камень. Со вчерашнего дня стал равнодушным к птице... А птица с пестрыми крыльями, сильно проголодавшись, безнадежно пытаюсь добраться до голов, находилась в беспокойном состоянии. Хозяин же, присевший в тени, вытирая пот от жары, накрыл побритую наголо голову тонким платком.

Для бедной сороки такие голодные зябкие дни были еще впереди. В основном, это было глубокой осенью и зимой. Сейчас знойный июль. Обычно желудок был сытым, выбрасывал жирный помет. Да и старик в лето красное ничего не жалел для нее. Ела только глаза: бараньи глаза, собачьи, глаза... в общем, проглатывала всякие глаза зрячих. Чтобы она не стала плоскостопной, ленивой на взмах крыльев, хозяин по вечерам отпускал ее полетать, привязав на лапку тонкую волосяную веревку длиной в шесть взмахов руки. И сорока могла побегать по земле и размять крылья.

Массивная, как холмик, голова архара и лежащая, как опрокинутая чашка, голова волка служили для сороки блюдом, куда ей подкладывали корм. Любые глаза, попадавшие в блюдо, проглатывала сразу. Это головы питали ее, с их глазных впадин она ела иногда и кровавое мясо, и разные мясные деликатесы, и даже утоляла жажду налитой туда водой... Со вчерашнего дня всё это исчезло, она никак не может утолить голод и жажду.

Хитрая сорока, прекратив стрекотать, начала икать беспокойно. Но хозяин, кажется, и не думает шелохнуться. Заглядевшись на засоленные в тени головы, задумавшись о прошлом, разрезает на куски кровавое мясо. Заталкивает его пальцами в зияющую глазную впадину черепа матерого волка.

А сорока-воровка, понимающая без слов, что собирается делать ее хозяин, лебезит на насесте из чурки. Вокруг измазанного птичьим пометом насеста разбросаны крупные и мелкие кости. Хотя сорока и обглодала их, как будто соскребла ножом, но всё же, птица, питающаяся падалью и не обладающая такими острыми когтями, как у сокола, не смогла ни раздробить их, ни проглотить целиком. Это же лицемерная проститутка, привыкшая на всё готовое... Жадно смотрит на головы архара и волка, стрекоча без конца, еще и важничает

ет нарочито, будто хочет сказать: когда же, наконец, набьешь мой желудок дармовой пищей.

Но старик и не думает торопиться. Куда ему торопиться?!

Ваул Думан, рядом с Алматы, он переехал буквально недавно. Разве у него было желание переезжать под старость лет? Но все же был вынужден спуститься с вершин Хан-Тенгри. Это долгая история... Ещё и ради единственного сына Кайрата, ради двух внуков. Сноха, оказывается, беременна еще одним ребенком. Как только переехали, она легла в больницу. Он остался присматривать за внуками, которые уже ходят в школу. Вчера ночью сноха родила благополучно. Но ребенок родился без глаз. Лицо родившегося без глаз, без бровей младенца кажется гладким, безжизненным. Говорят, что врачи сказали его сыну, что «подобное загадочное явление встречается раз в сто лет».

Когда сын, придя домой за полночь, с плаксивым выражением лица начал:

— Что теперь нам делать, папа?! — то он прервал его:

— Цыц! Что значит, что будем делать? Для младенца, вмещавшегося в утробе матери, найдется место и в этой жизни. Ах ты, слабый! Чтобы сноха не видела этого твоего вида...

— Ей еще даже не показывали ребенка...

— Уйди и не мели чушь! Дети на земле не валяются. Принесите домой, каким бы ни был этот ребенок!

Караш сказал, как отрубил. Невольно вспомнил свою старуху. Богу было угодно, что все дети у нее рождались мертвыми, и, после всех мертворожденных выкидышей, единственный сын был как «гостинец от смерти». Хорошо, что старуха ушла рано из жизни, и ей не довелось пережить этот ужас. Если бы она была жива, то обвинила бы во всем своего старика. «Ты! Ты виноват!..» — сказала бы в отчаянии и гневе, как и раньше бывало.

Да, она бы взмолилась Богу и на этот раз прокляла бы его. Свидетелем всему этот белый свет! И эта проворная, наглая пестрокрылая сорока! И вина и грех ложатся на эту сороку с шуршащими крыльями...

А тем временем, ненасытная сорока, жадно глядя на две округлых головы, служащих ей блюдом, стрекотала, будто говоря: «Кровопийца, давай сюда».

Упрямый Караш пребывал в затруднительном состоянии... Ввели его в затруднение этот жестокий мир, в котором правят «сороки», короткая обманчивая жизнь, которую проживает человек. Это пестрое, разноликое, лицемерное общество, обманчивое как мираж... И

он тоже не был без греха. Если не так — зачем было ему испытывать мытарства с лицемерной сорокой?!

В то время Караш был молод... Был опьянен увлечениями и задором молодости. Удалой молодец, едва достигший тридцати лет, занимался барымтой* от Великой Китайской стены до горных массивов Алая**, менял гривастых скакунов одного края на быстрых коней другой страны, уходил от многих ужасающих, смертельно опасных погонь. Выбрал путь одинокого разбойника с большой дороги. Спал в загонах для скота, бодрствовал от зари до зари и, таким образом, испытал на себе суровую жизнь странника.

Приучил его к такой жизни чужеземец Косман, проживавший по соседству с алайскими казахами, среди которых жили его родственники по матери. С чужеземцем, который не слезал с коня, хотя ему уже было под шестьдесят, он встретился во время своих походов. Встречались среди гор, в отдаленной безлюдной степи, на заснеженных и ледяных горных перевалах, передавали из рук в руки узды скакунов на поводьях, и каждый уходил своей дорогой.

Его спутниками были туман, окутывавший горные ущелья, снежные бураны, прочесывавшие, как шерсть, пустынные степи. Походы, в которых было больше невзгод, чем наслаждений, мучений, чем радостей, утомляли сильно. Но такое благородное животное, как лошадь, придавало энергию, вожделие в глубине души умирало ужас смерти, возбуждало задор и подпитывало суровое мужество и страстное упорство. Им овладевало какое-то страстное чувство ненасытности, и оно же подталкивало его. Э-э-эх, былые привольные, счастливые времена!..

Походы в одиночестве сблизили его с чужеземцем Косманом, у них была общая судьба среди гор. Это были два разбойника, орудовавшие без усталости на звериных тропах могучего Алатау, где проживают по соседству казахи и киргизы, а также в высоких полосатых вершинах Памира, где, как горные козлы, обитают афганцы и бадахшанские таджики.

Они оба боялись лишь одного. Это — власть... Для них не было другой опасности, кроме власти. Они были степняками, обитавшими вместе со степными птицами и зверями. Два разбойника, совершавшие нечестные поступки по отношению к другим, превратив собственные души в рабов своих же вожделий, занимались грязными делами, но были честными между собой. Косман знал, что

* Барымта — захват, угон табунов лошадей.

** Алай — Памир.

рано или поздно, но будет задержан. И Караш чувствовал, что скоро будет положен конец этому. Но никто из них не раскрывал и рта об этом. Наоборот, рыскали с еще большим упрямством и ожесточением. Отбрасывая такие нежелательные мысли, считали барымту и сырымту* делом неуловимых избранных судьбой людей.

Тем не менее, через год алаец Косман показал хантенгрианскому разбойнику Карашу свое постоянное жилище. Только тогда он увидел страшное ремесло сороки и поразился коварной хитрости Космана, содрогнувшись от ужаса. Но вначале испугавшись, потом сам страстно захотел занять такую птицу. В нем пробудилось ненасытное вожеление и им овладело кровожадное чувство.

Косман, обитавший в забытой не только людьми, но и птицами и зверями, всем живым миром, горной долине Кулжат в Доланкарайском крае, оказался пастухом, который пас козлов. Жена — памирская молодая женщина, а сам оказался чужестранцем неизвестного происхождения. Безродный. Видно, Бог не одарил его родственными связями. И не казах, и не кыргыз, и не таджик, и не бадахшанец, и не афганец, даже не перс — представитель некоей древней нации, может быть, народа... Поговаривали, что его предки пришельцы, прибывшие невесть откуда. Говорили, что он скитающийся «сибиряк» из русской земли, перебежавший с китайской стороны «китаец», сбежавший из иранских степей «перс». А в действительности было известно, что это человек, не оставляющий после себя следов. Известно, что человек, но загадка — кто он?

Когда они с Карашем остановились перед землянкой и надворными постройками, молодая женщина, выйдя из дома и посадив на плечи пеструю сороку, поклонилась и приветствовала их. Слезший с лошади Косман пересадил сороку с плеча жены на свой локоть, погладил от маленькой черной головы до обкорнавшегося длинного хвоста и позвал как-то по-своему. А сорока, ласкаясь к хозяину, стрекоча, нагнула голову и начала тереть ею зажатый кулак Космана.

На голени птицы были привязаны ножник и тонкая веревка из конского волоса, завязанная узлом, с кольцом на конце. Хозяин дернул за веревку и, взмахнув рукой, выпустил сороку в полет. Когда, белогрудая, пестрокрылая птица, порхая вокруг, нагуляла аппетит, женщина прошмыгнула в дом и вынесла какую-то шерстистую голову. Голова эта — пятнистого барса. Ловкими движениями рук женщина положила голову рядом с двумя пнями, на которых была натянута

* Сырымта — угон скота.

перекладина из жерди. Заметив это, чуткая к падали птица начала рваться к ней, но стоявший неподалеку Косман тянул за веревку и не давал ей долететь до головы барса.

Только тогда заметил Караш: земля под натянутой жердью была наполнена птичьим пометом и костными отбросами, всякого рода шерстью животных, птиц и зверей... И понял, что не зря сорока прорывалась туда. Тем временем, женщина вынесла из дома миску с обедками и вылила содержимое в зияющую глазную впадину барса. Только тогда хозяин освободил птицу от привязи и с ножником на голених подпустил к миске из головы барса. Хищная птица подлетела с легкостью и начала жадно клевать пищу.

Караш впервые видел подобное. Вместе с тем он и сильно испугался. Безошибочно узнал и кровопийцу, жадно глотавшего глаза из глазной впадины головы барса... «Глазоед» — эта мысль пронзила его сознание. Он с испугом смотрел на птицу, жадно клевавшую безжизненную голову без глаз, растерялся и заморожено наблюдал за зрелищем. Эта грубая страшная правда жизни навеки запечатлелись в глубине его сознания, как будто клевали его глаза...

Опасения Космана оказались не беспочвенными. Вскоре оба были задержаны кыргызами и осуждены в Карабалте на семь лет. Одного отправили в Сибирь, а другого на шахты на север. Аллах сотворил человека живучим! Отсидев семь лет, вернулся в Хан-Тенгри. Вернулся и создал семью. Чабаном стать сам не захотел, — лошадей ему не доверили, взялся пасти коров. Прожил жизнь, зимуя в глинистом Караше, и проводя лето на джайляу в возвышенностях Каркаралы. Время утекало как ртуть. Быстротечное время изменило всё вокруг.

Надменное советское государство потерпело крах и рассыпалось. Казахский народ возродил свое древнее государство. Как раз в это время единственный сын поехал попытать счастье в городе и они, вдвоем со старухой, остались сторожить порог. И старуха, приказав долго жить, нашла покой, уйдя из жизни.

А он же остался один, как чучело на месте старой стоянки. Тогда его спутником оказалась издревле кружащаяся возле человека сорока... Они вдвоем опять остались одни на месте старой стоянки. Не от безделья, а от скуки Караш с тревогой вспомнил давнее занятие разбойника Космана... Только юркая сорока не дала ему испытать чувство одиночества.

Так же, как и стремительно летающая сорока, уходило время, и ему быстро перевалило за семьдесят. Но и тогда он не переставал устраивать охоту с сорокой. И глазоед не прекратил выклевывать без-

винные глаза зверей и животных. Ведь вчера только выел глаза серому волку. Он не может быть недовольным своим глазоедом. Ради хозяйина она ходила не только на архаров и лис, но и на волков и барса! Это же хваткий глазоед. Как он может без жалости отпустить его? Да и куда? На что не идет палач без томаги?! Кого он не берет?! Кого не уничтожит?! Кого не подкараулит?!

Старик опять посмотрел на сороку. А глазоед, стрекоча, пронизывая чистым взглядом, подпрыгивая на чурке, как быстроногий верблюд, глотает слюнки, не зная куда деваться... Но головы перед хозяином, превратившиеся в миску для пищи, никак не подвинутся к чернокрылой воровке.

Для смышленной сороки у каждой головы есть своя история: есть особая мрачная судьба...

Вот ту голову волка глазоед грыз на берегу Или. Был пасмурный день. На небе, обволакиваемом темными тучами поздней осени, разлилась буря. С севера дул легкий прохладный ветерок. Время было послеполуденное.

Хозяин, ехавший тропом на сивом коне, смотря то на небо, то изредка поглядывая в сторону запада, время от времени вырывался вперед, подготавливая сороку. Птица, сидя на подставке для ловчей птицы, понимая, что не сможет ускользнуть от хватки варезек на привязи, подпрыгивала в нетерпении. Смышленная птица чувствовала, что Чарынский каньон это — ее родина. Лет пять тому назад старик снял ее с дерева еще птенчиком с неокрепшими крыльями... Теперь вот когда-то пленная птица, превратившаяся в палача, вышла на охоту между густыми ивовыми зарослями на склоне небольшого рукава Чарына, впадающего в Или.

С тех пор как старик охотник забрал ее из гнезда, клюв глазоеда устраивал немало кровавых сцен в степи. Сорока превратилась в птицу, хищную как тигр, хваткую как сокол. Хозяин, приучавший ее с маленького возраста к зайчатам, тренировал ее до тех пор, пока она не научилась выклевывать глазное яблоко лисы и горного козла. Когда она, стремительно подлетев, слету садилась на голову, какой бы ни был зверь, не успевал учуять опасность со стороны пестрой сороки. После того как птица с хитрыми уловками и быстрым клювом, ткнув два раза, выкалывала глаза, бедная добыча, мотая головой, дрыгая ногами, оставалась в полном мраке. В один миг, обрушив несчастье на голову беспечного животного, довольная своим мастерством, отлетала в сторону.

В этот момент к ослепленной жертве устремлялся хозяин. В бескрайней степи наедине оставались трое — охотник, ослепленный зверь, сорока. Глазоед, преследовавший ослепленную жертву, старался изо всех сил. Мертвые, безжизненные глаза, для которых померк белый свет, проскальзывали через ее глотку. Проскользывали... Кого только нет в этой степи, кому сорока не выкалывала глаза, не уничтожила: горный козел со склонов крутых утесов, косуля из пустынь, хитрая лиса, раскачивающий крупом лось... — все стали пленниками слепоты.

И сегодня сорока, желая ослепить еще одного дикого зверя, не выдает себя. В обычные дни в Чарыне было шумно, но сегодня стоит полная тишина. Под пасмурным небом печально и мрачно. В воздухе ощущается влажный пронизывающий холод со стороны Или.

В этот раз хозяин не стал натравливать сороку на фазанов, порхающих в ивовых зарослях Чарына, где попеременно растут вербы и тальники. Да и сорока особо не стремилась. Проявляя выдержку, зорко глядя в ивовые заросли, намертво сидит на подставке-рогатине.

Сорока и хозяин, обогнув ивовые заросли на расстоянии в один аркан от себя, наткнулись на плетущегося волка. Хозяин внезапно выпустил голодную сороку. Сухопарая птица, размахивая крыльями, полетела наискось. Сиво-бурый волк, ничуть не боясь охотника, зашагал быстрым ходом. Сорока бесшумно летела с северной стороны зверя. Молодой матерый волк оставил без внимания пестрокрылую птицу. И хозяин охотник, внутренне поклявшись себе «Сейчас раздерем твою кровавую голову!», последовал за ними.

Хотя сорока и имела уже множество ослепленных и была достаточно ловкой для изуверства, но в этот раз она побаивалась волка. К тому же, она была молодой и еще ни разу не брала волка, но голод и выдрессированная хозяином жестокость пробуждали в ней хищника.

Выждав удачный момент, когда волк повернул голову к всаднику, ехавшему с южной его стороны, плавно шуршащая в полете сорока ухватила когтями за его голову. Натренированным движением, выкалывающим глаза даже у самой хитрой лисы, не дав опомниться неосмотрительному волку со строптивым сердцем, с молниеносной быстротой птица успела выколоть его глаза. Зверя, трясущего головой как пустым мешком, метавшегося в бесполозном рычании и укрывающего передними лапами впадины глаз, хозяин, приблизившись с усмешкой, без труда добил дубинкой, не слезая с лошади...

А вон ту голову архара сорока завалила на вершинах Бартогая. В тот раз ослепленный самец стал очень легкой добычей. Самец с серповидными рогами, отпустив косяк пастись на северной стороне

горы, искоса поглядывал по сторонам, застыв как чубарый куст на склоне утеса. Заметив его издалека, хозяин, как можно высоко подняв глазода над лошадь, с криком «Оуп, оуп!..» выбросил его с горной теснины.

Заметив издалека архара, пестрокрылая, твердо решившись не пожалеть сил, участила взмах крыльев. Поднявшись высоко, втиснувшись, села между серповидными рогами беспечно и величаво стоящего у подножья скалы, притягивая к себе взор самца. Вмиг проглотила обгаренные кровью темные глаза и, подброшенная рывком испуганного самца, улетела.

Беспечный самец, оказавшись ослепленным в один момент, прыгнув всего лишь два раза с косогора, упал у подножья. Умер, свернув шею. С самой весны старик хозяин, кормя ее с глазной впадины этого высохшего черепа, заставил подстраиваться под себя эту кровопийцу.

Озорная птица, проявляя нетерпение, мерно вышагивала на коротком чурбане. Для чуткой сороки поверхность чурбана кажется голой степью... и поэтому нетерпелива кровопийца.

Зашедший в тупик Караш тосклив... А изменчивый мир не постоянен. Да и что скажешь на то, что и человек, быстро забыв свое прошлое и настоящее скопидомство, вдруг, хлопая сонными ресницами, просыпается с криком, как будто его душит некий демон! Человек, загнанный в угол, хочет парить в небе как сокол!

Ведь табуны лошадей, угнанные алайским барымтачом Косманом, проходили через руки алатауского Караша, далее передавались барымтачу Ошману и, пройдя через Кызылжар, исчезали, не имея выбора пастбища, в далеком Сибирском крае. Загоняя лошадей верховой ездой, от которой у тех уставали ноги и не просыхали потники, меняли их на ходу и, как выносливые быстроногие, верблюды уносились в безлюдной степи, обуреваемые чувством азарта, посаывая курт*. Но и этим богатства не приобрел.

И вот, наконец, сидит в окрестности Алматы, подкидывая корм пестрой сороке, превратившись и сам в одинокий пень, в ожидании потомка, родившегося без очей, и покоровшись судьбе со словами «так угодно было Богу».

Появившийся неведомо откуда слепой младенец и коварная со- рока именно сегодня затронули его сокровенные мысли...

* Курт – сушеный творог.

Слепой младенец — слепой человек. Слепой человек не увидит белый свет. Слепой потомок пришел в хаотичное общество. Слепое потомство — это слепое общество. Слепой... слепые... на что не подтолкнет слепота?!

А что можно ожидать от этого мира, заселенного слепыми людьми и слепым обществом? Беспомощен и человек — инвалид. Безбожно и общество — инвалид. Что только не сделает безбожное общество, что только не заставит говорить...

Но какое дело до этого старику? Он же ведь тоже беспомощен и безбожен... Немощный человек. Стоит одной ногой в могиле. Кому он теперь может стать опорой, быть поддержкой? У него есть ответственность только за эти отрезанные головы, что лежат перед ним. Но его потомок, этот слепой младенец, и слепое общество не подвластны ему. Потому что это — великая Божья воля. Этот беззаботный мир только в Божьих руках.

Только недостойное общество не верит в Бога. Недостойное общество в человеческих руках... И создали его упрямые люди. А общество будет шататься, качаться из стороны в сторону, как рогоз от ветра, пойдет, как уносимая непогодой отара овец, туда же, куда повернет упрямый человек. Склонится только перед упрямой волей этого человека.

А для головы, у которой песенка уже спета, он хозяин. И то не он, а сорока — хозяйка слепых голов. Потому что без этих голов дни у сороки сочтены... Эта пройдоха настоящая хозяйка слепых голов. Не только для слепых, но и для всех еще не ослепленных тварей.

Эти угнетающие мысли не покидали Караша, как будто спутали его волосистой веревкой.

Было уже за полдень... Изголодавшаяся сорока, прыгающая на поверхности полена, застрекотала. Караш, подняв ввалившиеся глаза, впился в нее еще ясным взглядом из-под седых бровей. «Негоддяйка, головорез!» — пробормотал он. Чуткая сорока ответила стрекотом на его бормотание. Птица — головорез, чей зоб был давно пустым, так давала знать о том, что она готова на всё.

В этом брэнном мире Караш вскормил уже многих зорких сорок — воспитывал, приучал их, испытывал во многих выездах на охоту. Все они были послушными и не подводили его. Алчные чудовища, юркие как Баба—яга, выкололи глаза многим зверям и животным, высосали мозги через глазную впадину. Те жертвы, которые смогли убежать, оставшись ослепленными в пустынной степи, погибали, блуждая во мраке. У тех, которые убежали с одним глазом, ослепленное глазное яблоко затянулось мышцами.

Разбойник Косман, напуская на себя важность, говорил: «Вы не умеете охотиться с сорокой. Ваше происхождение не позволяет, вы чересчур знатного рода, дорожите своей честью. Это – наш обычай... Она у нас не то что зверю, но даже и человеку выколет глаза и высосет мозги! Ваши древние предки, посчитав «ослепление – ужасное дело, тяжелая ответственность», запрещали вам делать это».

Слова этого коварного человека оказались истиной! Из-за его грешных поступков, невинный потомок родился слепым, без глаз. Аллах наказал своего алчного раба на земле, не признававшего Бога и пророков, лишив его потомка глаз.

Боже, слепой не только его внук, а он и сам прожил жизнь вслепую. Прожив слепую жизнь, доказал, что на всем свете нет никого мудрее человека. Оказались слепыми и этот мир, и душа.

Прямо сейчас, даже его тяжелая черная голова всего лишь корм – для сороки... У той же ведь бельмо на глазу и сознание помутнело? Сорока сделала для него этот мир крошечным адом. Чем он отличается от тех зверей, которые ослепли в один миг?! Все будущее во мраке?!

Силы начали покидать Караша. Все вокруг обволокло темной тенью. Вдруг сорока вновь застрекотала. Старик быстро пришел в себя.

Открыв железную калитку маленького двора, с внуком на руках, завернутым в белое одеяло, входил сын. Караш сделал попытку встать с места. Но старик сделал две попытки и не смог встать. Слезы потекли из глаз.

На поверхности полена застрекотала голодная сорока, караулившая с раннего утра...

ПОБЕДИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «ГОРОДУМОРЯ» – 2013.

*Первая премия в номинации «Поэзия»,
вторая – в номинации «Проза».*

Ника Батхен (Феодосия, Россия)

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

Было душно. Сонное утро обещало жару, неподвижный воздух пах морем и шашлыками. Разнеженные курортницы, колыхая зонтами, текли вдоль бульвара – на пляж. Их краснощекие мужья расстегивали пуговики полотняных костюмов, жадно пили холодный квас и целебную минеральную воду. Лениво проезжали извозчики, спешили по своим делам потные коммерсанты и подтянутые офицеры, вразвалочку прогуливались молодые люди неопределенных занятий. Стоя в жидкой тени подле входа «Астории», беспризорник Митяй скверно играл на скрипке. Занятие это вызывало в мальчишке тоску, но другого способа заработать на хлеб он не знал.

Ему хватало трех песен – жалостливой «Раскинулось море широко», блатной «Мурки» и «Марсельезы». Однообразно вода смычком по струнам, Митяй мечтал: как напьётся холодной, аж зубы ломит, воды из Кринички. Посидит на теплой траве башенного пригорка, поглазет, как торопятся в порт заграничные корабли и спуют у длинного мола рыбацкие лодочки. Поймает кузнечика, зажав в кулаке, будет слушать, как тот трещит. И отпустит – всякой твари нужна свобода...

Чудной долговязый фраер остановился у тротуара, прислушиваясь к хромоногой мелодии. Не товарищ – одет шикарно, ботинки начищены, усы щеткой. Но и не господин – лицо старое, мягкое, кулачищи как у грузчика, плечи ссутулены. На иностранца похож. И взгляд тяжёлый, пронизывает насквозь, словно крючок червяка. Чего уставился?

Сделав жалобное лицо, Митяй усердней запиликал смычком – может, фраер захочет башлей отвалить. Тщетно. Долговязый дернул усами, скривился и пошёл себе прочь. Ну и пошел он!

Шли часы, солнце грело все громче. В голосах продавцов появилась дремотная хрипотца, бродячие псы, чайавшие поживы, разлег-

лись под акациями, подставив мухам репястые животы. Поток курортников оскудел — полдень. А денег в картузе, почитай, не прибавилось. Не хватит даже откупиться от вредного Бачи, взрослого парня, которому Митяй «служил» с весны за право ночевать в подвале на Галерейной. Голод не так страшил — в июне можно и наловить рыбы, и выпросить у торговки залежавшийся пирожок, и пробежаться по садам, от пуза налопаться шелковицы, черешни и абрикосов. Это зимой в городе страшно, а летом ништо, жить можно. Подумаешь, Бача сунет пару раз в зубы или возьмётся «Москву показывать». Или вовсе не появится в подвале, пойти поплескаться в море, а после заночевать на пляже под старой лодкой?

Посмотрев на ленивые лица прохожих, Митяй решил — до первой монетки играю, а потом на Карантин. Можно кликнуть с базара однорукого Алабаша — вдвоем купаться веселей, цыганенок хороший товарищ, не подлый, не жадный. Прошлой зимой он выучил Митяя пикивать на скрипке и отдал ему свой инструмент. Алабаш был из даудджи, его отец и братья играли на свадьбах, и до сих пор играют под Ялтой. А калека отбился от табора из-за увечья, чтобы не быть обузой большой семье.

Блестящий гривенник шлепнулся в картуз, умиленная дама в платье, похожем на пестрый торт, слащаво улыбнулась Митяю. Её сыночек, розовый пузырь в матросском костюмчике, показал беспризорнику язык. Дело сделано! Облизнув пересохшие губы, Митяй в последний раз завел заунывное:

— Тарай-рай-тарай-рай-тарай-райрайрай...

Его ждал летний день, заросший упругой травой теплый пригорок, ледяная вода и темный сок шелковицы. Ноги уже карабкались по отполированной временем мостовой, перескакивали овражки, цеплялись за камешки Круглой башни, разбрызгивали соленую пену. Руки трогали шершавые бока раковин, гладкую гальку, скользкую чешую бычков и мягкую, словно кожа, кору черешни. Над вихрастой, нечесаной головой хлопали крылья чаек...

— Значит, ты музыкант?

На Митяя свирепо смотрел давешний долговязый фраер. В одной руке он держал потертый черный футляр, другой ткнул прямо в грудь мальчишке.

— Ты смеешь играть, не зная ни одной ноты! В твоей пикиалке нет голосов моря и ветра, грома любви и крика отчаяния, она мертва и смердит, как дохлая кошка. Неужели тебе не стыдно?!

Гонит, что ли? На всякий случай Митяй выронил инструмент, захныкал:

— Я больше не буду, простите дяденька! Отпустите сироту бесприютного...

— Будешь! Ты посмел выйти на улицу, показать людям своё искусство и поэтому будешь играть, мальчишка!

Щёлкнул футляр, на свет явилась потёртая скрипка с прорезями на деке.

— На, владей! И играй, сейчас же. Изо всех сил, как только можешь, понял? Ты музыкант, а не гниль канавная. Ну!!!

Большие ладони незнакомца дрожали, как у заправского пьяницы, капли пота катились по бледному лицу. Бешеные глаза просверливали насквозь, доходя до самой середины души. Перепуганный насмерть Митяй думал порскнуть к бульвару, затеряться среди толпы, но руки сами собой протянулись вперед, и на грязные ладони беспризорника опустилось легкое дерево.

Первый звук оказался гулким и долгим, как «боммм» вокзально-го колокола. Покорные струны отозвались смычку, истосковавшись от немоты. Что-то внутри мальчишки откликнулось и зазвенело вслед. Пальцы вывернулись, будто чужие, застонали растянутые сухожилия, сухое дерево корпуса больно прилегло к подбородку. И полилась музыка.

*... Товарищ, я вахты не в силах стоять —
Сказал кочегар кочегару,
Огни в моих топках совсем не горят,
В котлах не сдержат мне уж пару...*

Какой-то матрос вполголоса поднял песню, за ним подхватили рыбаки с «Афродиты», на фальшивой физиономии торговки бубликами показались настоящие слезы. Мелодия кружилась над толпой огромной тяжкокрылой птицей. На маленького музыканта смотрели во все глаза — изумленный Митяй вдруг вспомнил, что ещё год назад так же пялился на скрипача из городского оркестра.

Последние ноты сбились, но люди этого не заметили. Они озирались, терли глаза, прокашливались, какая-то дамочка в круглой шляпке крикнула «браво». Фраер исчез, оставив у ног мальчишки раскрытый чехол, куда тут же полетели монетки. Митяй стоял как потерянный, прижимая к груди скрипку. Четыре прорезных значка на деке, похожие на маленьких чаек, гладкий завиток на конце грифа, мелкие трещинки красноватого лака, чернота — инструмент был очень старым. ...А руки грязные, в цыпках — стыдно-то как. Платоч-

ком бы хоть обтереть... Митяй вспомнил, что последний раз вытирал нос платком дома, когда батя был жив, и всхлипнул.

— Эй, собачка, как делишки, как доходишки?

Противный Бача имел изумительный нюх на деньги. Горка монет в чехле настроила его на добычливый лад.

— Славная собачка, рабочая. Все по-честному — восемь долей мои, две твои. Ну-ка сколь там бренчит?

Бача дважды пересчитал монеты и отделил четыре гривенника поплоше.

— Вот твои денюшки, — слово это выходило у парня приторно-липким. — Ничего не припрятал? Ух ты!

Поймав жадный взгляд «хозяина» Митяй хотел спрятать скрипку за спину, но опоздал. Бача был искренне восхищен.

— Слямзил, что ли? За ум взялся, хорошая собачка. Вот тебе ещё гривенник на леденцы. А скрипулечку эту мы продадим и поделим. Не обижу — три доли отмерю. Давай-ка её сюда!

Митяй помотал головой. Лицо Бачи сделалось ласковым, узенькие глазки прищурились.

— Забыл, сопля белобрысая, кто твой хозяин? Я твой хозяин, захочу — грязь лизать станешь. Дай!

— Нет, — набычился Митяй.

Бача шагнул вперед. Митяй поднял инструмент над головой:

— Убью! Подойдешь близко — убью! Хочешь денег — бери деньги, всё забирай. А скрипку я тебе не отдам.

Тощий Митяй был самым мозглявым пацаном в подвале и никогда не дрался. Не задумываясь, Бача сделал обманный хук левой, а правой попробовал выхватить инструмент. Что-то острое вонзилось ему в грудь. Отшагнув, беспризорник увидел — по грязной рубашке расплывается кровь. Нож?

— Убииииили!

Перепуганный Бача плюхнулся на мостовую. Митяй, забыв о футляре с деньгами, побежал вверх по улице, через сквер выскочил на Итальянскую и нырнул дальше на гору — в переулках слободок его не найдет сам черт.левой рукой он прижимал к себе скрипку, правой держал смычок. Когда Бача поймет, что отделался простой царапиной, виновнику не поздоровится. Дыхание скоро сбилось, давешняя жажда напомнила о себе. На ходу Митяй обрывал и жевал теплые ягоды черешни. Взбираясь на Митридат, он изрядно взопрел, пот катился по лицу, оставляя грязные дорожки на загорелой коже. Вот и Криничка! Мальчишка с трудом дождался, когда две толстых тартарки, лопоча и пересмеиваясь, наполняют кувшины, и вдосталь на-

пился сладкой воды. Потом вытер ладони о штаны и бережно взял скрипку. Какая она красивая!

Митяю расхотелось идти на море. Совсем рядом был крутобокий, заросший зеленью холм, из которого выступала старинная башня. Иногда после дождей из холма вымывало монеты с непонятными надписями, наконечники стрел, пестрые черепки. Счастливчик Никос однажды нашел тусклый золотой перстень, на котором красовался лев с крыльями, и продал добычу антиквару в городе. Но Митяю это место нравилось из-за другого — с вершины просматривался весь город. Как неторопливые корабли ползут по морю, как бредут с Карантина старые клячи, покорно тащат телеги, как рассыпается по холмам пестрое стадо овец. Как большие облака накатывают на город, бросают тень на беленые домики и ползут дальше к желтым выступам крепостной стены. Взрослые обходили крутой холм по тропкам, поэтому на вершине можно было невозбранно сидеть хоть до ночи.

Легко преодолев склон, Митяй растянулся на упругой сухой траве, глядя в небо. Скрипку он положил рядом с собой и время от времени дотрагивался до грифа пальцами. Словно кто-то живой рядом — кошка, щенок, младший брат.. Светлоголовый крепыш Федька умер от инфлюэнцы. Отец с мамкой об этом не знали — когда большевики взяли город, он служил на «Марии», она стирала бельё офицерам. Истошно дымя, пароход отплыл в Константинополь и не вернулся. Дядька Макар распродал мамкины шали, отцовы сети и другой скарб, и до времени кормил сирот. А потом Федьки не стало, дядька стоворил дом татарам, дал племяннику две рублевки и напутствовал подзатыльником. С тех пор Митяй мыкался, как Бог пошлет. В сыром подвале, рядом с приятелями, было тепло. Осенними вечерами мальчишки разводили огонь, пекли в углях краденую картошку и рассказывали, отчаянно привирая, байки из прошлой жизни.

Митяй сел, потянулся, чтобы размять затекшую спину, взял в руки инструмент. Он не умеет играть, точнее не умел до сегодняшнего дня. Жалкий писк прежней скрипки, не входил ни в какое сравнение с мощной приборной волной подарка. Но этого было мало, ничтожно мало. Раньше он был уверен — не выйдет, как ни старайся музыка не зазвучит, только милостыню просить получится. А теперь... Пальцы сами легли на гриф, ухватили смычок. И мелодия полилась — не так гладко, как у «Астории», но полилась, а не похромала базарным нищим. Инструмент не прощал неточных, резких или слабых движений, зато откликался послушно. Под аккомпанемент птичьего хора и стрекотанья кузнечиков Митяй на слух подбирал старый вальс, который раньше играли на набережной:

*Тихо вокруг,
Ветер туман унёс,
На сопках манчжурских войны спят
И русских не слышат слёз.*

Последний припев мальчик повторил трижды — для него вдруг открылось, что один и тот же мотив можно играть по-разному. Каждый фальшивый звук резал уши, каждый удачный проход мелодии радовал как хороший прыжок с волнореза. Но ведь раньше он никогда так не чувствовал музыку!..

— Митя-я-яй! Это ты там? Я тебе башли твои принес!

Голосистый Алабаш топтался внизу под горкой, держа под мышкой скрипичный футляр. Дружище!

— Лезь сюда, — крикнул Митяй, и, осторожно опустив скрипку, спустился, чтобы помочь приятелю.

— На базаре дела не шли, бабы ведьмы, дядьки чуть что драться. Говорят, совецкие пошли всех шерстить. Я поглазел-поглазел и побег купаться, хотел тебя позвать — а тут вижу, люди шумят, Бача верещит, тебя на чем свет кроет. Мильгон свистит-заливается — хипеш полный. И Данька-Жук отирается. Я к нему. Он звонит — дружок твой Митяйка перо под ребра Баче пустил, из-за башлей. А я ж тебя знаю — не было у тебя пера. Хапнул футляр, свою скрипочку подобрал — и на гору! Знаю, где тебя искать!

Довольный Алабаш погрозил другу пальцем и расплылся в улыбке.

— Спасибо, выручил! Я боялся — без футляра скрипка пропадет, под дождем промокнет.

— Так я её и припас, старушку!

— Нет, другая.

— Какая?

— Гляди!

Митяй протянул дружку свою новую скрипку. Почему-то ему стало неприятно. Присев наземь, Алабаш положил инструмент на колени, ощупал, щипнул струны:

— Ойфовая, барская вещь! Откуда?

— Дай приберу, — буркнул Митяй, вынул старую скрипку, выгреб из футляра горсть мелочи, убрал инструмент на место и лишь потом начал рассказ — о странном фраере, чудной музыке и жадности дурака Бачи. Тяжелый взгляд незнакомца, его пронзительный голос и чудные слова врезались в память.

— Ты музыкант!... Алабаш, он меня словно околдовал, понимаешь?

– Нет, – покачал головой посерьезневший цыганенок. – Хуже дело. Крест на твоём фраере был?

Митяй поскреб в затылке – под костюмом особо не разглядишь.

– Не знаю.

– Не было на нём креста, – уверенно заключил Алабаш. – Мы, цыгане, всё знаем.

– Да кто он?

– Шайтан, Аллахом клянусь, черт по-вашему! Он и скрипку придумал – не слышал разве?

– Нет.

– Так слушай. Жил на свете цыган, из русска рома. Хороший цыган, богатый – и кибитка у него новая, и табун большой, и молот крепкий. Жена умерла, осталась дочка красавица. Ножка легкая, в глазах огонь, брови вразлет. И певунья, и танцовщица и отца уважала. Никому её старый ром отдавать не хотел.

Явился в табор польский пан. Песни послушать, как девки пляшут поглядеть, с парнями на кулачках помериться, со стариками трубочку выкурить – добрый был пан. Раз заглянул, второй заглянул, на третий говорит рому – глянулась мне твоя дочь, отдай. Отец и слушать не стал. Рассказал барону, в ту же ночь поднялся табор и ушел куда глаза глядят. Только стала цыгана дочка-то чахнуть, все ей не в радость. Отец к ней – что за беда? Девка молвит – люб польский пан, пуще жизни люб.

Взял старый ром кибитку, взял дочь и назад поехал. На полдороге пана встретили. Тот поклялся крестом, что обвенчается, а до свадьбы позвал погостить у него в поместье. Старый ром пожал плечами – пусть. День они живут в усадьбе, другой, третий. Пан невесту свою разodel в шелк да бархат, глаз с неё не сводит, тешит, как может. И однажды в недобрый день затеял покатать цыганку в коляске. Запряг резвых коней, усадил красавицу, щелкнул кнутом – и понеслись воронье.

Вдруг, откуда ни возьмись, заяц через дорогу порскнул. Лошади на дыбы. Коляска набок. Девка вылетела да и виском приложилась о камень. Насмерть. Поглядел пан на невесту, ничего не сказал, пошел в дом и тотчас застрелился.

Старый ром никого к телу не подпускает, плачет. Душу, говорит, продал бы, лишь бы с дочкой ещё раз поговорить. И вдруг, откуда ни возьмись, гаджэ – как ты рассказывал, глаз тяжёлый, звонит чудное. Хочешь продать душу – айда. Вот тебе нож булатный, режь им руку, а потом у мертвой косы тяжелые отсеки – и услышишь свою дочь. Обезумел старый ром, сделал всё, что ему чужак говорил. Дымом тут потянуло, серой запахло – и исчез гаджэ.

Семь дней ром не ел, не спал. А на восьмой вернулся чужак — и скрипка в руках у него. Так поет, что душа плачет, девичьим голосом выводит: юбки нет, рубашки нет, ты, отец, купи их мне. Отдал чужак рому скрипку — вот тебе твоя дочь, говори с ней, покуда жив. А как смертный час придет — не обессудь.

Пошел старый ром по свету бродить — и в таборах гостевал и в поле ночевал и в больших городах по театрам играл перед богатыми барами. Пели струны человеческим голосом, смеялись девичьим смехом. Плакали люди, заслышав музыку, забыть её не могли. Золотом цыгана обсыпали, умоляли у него скрипку купить — а он с ней на день не расставался. Потом сгинул. А скрипка с тех пор по свету ходит — черт её людям подсовывает, чтобы с пути сбить, душу украсть...

Ошарашенному Митяю показалось, что туча скатилась с Тепе-Оба, принеся с собой сумрак и холод. Чёртова скрипка — мыслимо ли? Выкинуть? Сжечь? Ни за что!

— Дай ещё поглядеть, — жалобно попросил Алабаш.

Скрепя сердце, Митяй щелкнул футляром. Пристроив скрипку на коленях, цыганенок погладил деку, потрогал пальцами струны, перебрал, пытаясь собрать мелодию, подкрутил ослабевший колок.

— Мне бы шайтан явился — души бы не пожалел, лишь бы сыграть как ты. Ладно, айда купаться!

Посовещавшись, они решили не соваться на «Чумку» — беспризорники часто ошивались на берегу, рассчитывая на остатки ужина рыбаков или грузчиков и под шумок тибря забытые вещи. Дорога до маяка была дольше, крупногалечный пляж городские не жаловали, зато там удалось бы раздобыть и ночлег и пищу. В камнях у берега водились рапаны, так аппетитно пахнувшие в котелке с кипятком. А смотритель маяка, угрюмый очкарик из «бывших», за охалку хвороста пускал пацанов ночевать в сарайчик и, ворча, наливал по стакану свежего молока.

Дорожная пыль приятно грела босые ноги. Мальчишки болтали о ерунде — на какую наживку лучше ловить бычка, кто кого соборет — слон или кит, как вернее выводить бородавки — жабьей слюной, дохлой кошкой или цыганским наговором. Алабаш стоял за цыган, но вяло. Поглядев на его осунувшееся лицо, Митяй испугался, не заболел ли тот. Но на пустынном пляже приятель стал прежним. Они сбросили нехитрую одежонку и, оскальзываясь на камнях, вошли в волны. Плескались до синих губ, брызгались, ныряли и кувыркались, не забывая, впрочем, об ужине, — выкидывали поочередно на берег блестящие раковины. Сохли тоже нагишом, подставив мед-

ленному солнцу чесоточные болячки. Обуреваемый любопытством, Митяй поглядывал на вздутый, розовый обрубок, торчавший из плеча цыганенка. Приятель наловчился и одеваться, и колоть орехи, и даже драться одной рукой.

Когда закат тронул красным круглые стекла маяка, приятели поднялись. Вместо хвороста они разыскали на пляже пару просмоленных досок — чем не дрова? Мокрые ракушки завернули в рубашку. Скрипку Митяй нес сам. За игрой и добычей он отвлекся, теперь же темное дерево, спрятанное в чехле, заполняло мысли. Не терпелось снова прикоснуться к нему, убедиться, не ушел ли из рук дар.

Беспризорники долго стучали в двери, прежде чем смотритель маяка нехотя приоткрыл их. Угрюмый очкарик на доски даже не посмотрел и молока не предложил, только ткнул в сторону сараюшки и пробурчал что-то грубое. Мальчишки переглянулись — не привыкать. Главное — есть крыша над головой, есть огонь, есть какой-никакой горшок, в котором можно сварить еду. А без молока слова обойдемся.

Когда последняя ракушка была высосана дочиста, Алабаш тотчас зарылся в сено и уснул. А Митяй всё ворочался с боку на бок, то кутался в клифт, то скидывал с себя тряпки — сараюшка казалась ему вонючей, сено грубым. И скрипка звала — словно слышалось, как вливается ее голос в шорохи ночи. Устав, наконец, от бессмысленной маеты, Митяй взял футляр и вышел во двор. Тучи ползли над горами, светил маяк, где-то в низенькой башне бродил взад-вперед смотритель.

Осторожно раскрыв футляр, Митяй приложил инструмент к плечу. Он не знал, что играть. И скрипка решила за него. Звуки полились серебром, то мчался вслед за ветром, то вторя цикадам — скрипачу ли не узнать скрипача. Время смывают волны, берег встречает воду, люди разрушат берег, время сметет людей. Пальцы колдовали над струнами, мальчик слушал, не веря — это играет он.

— Bravo! Bravo, молодой человек! Для ваших лет вы прекрасно импровизируете. Только темп плоховато держите. Позвольте я покажу.

Безразличное лицо смотрителя маяка преобразилось, худые руки, протянутые к скрипке, дрожали. Взбешенный тем, что его прервали, Митяй слотнул бранное слово — что теперь, всякий будет лапать инструмент? Но жалость возобладала — смотритель глядел на скрипку, как он сам порой пялился в витрину колбасной лавочки.

— Nate, — пробурчал мальчик.

Достав из кармана платок, смотритель привычным жестом расправил лоскут под подбородком, приладил скрипку, взмахнул смыч-

ком — и неумелая мелодия Митяя распахнула чайачьи крылья, наполнила двор, отразилась от пыльных стекол. Колесо времен закрутилось, разбрызгивая года — что ему революция, что война и потери — лишь бы море плескалось о вечный берег, лишь бы звезды зажигались над головой. Митяй слушал — он понимал музыканта, и только это понимание останавливало от бешеного желания отобрать инструмент, спасти от чужих рук.

Завершив пьесу, зритель не стал возвращать скрипку — подслеповато щурясь, он долго разглядывал деку.

— Пойдемте-ка в дом, молодой человек, откушаем с вами чаю.

Пить Митяю не хотелось, ему нужна была только скрипка. Как некстати Алабаш спит — ещё тукнет его по голове этот очкастый да ограбит как есть! Но зритель вражды не проявил. Он действительно поставил перед мальчишкой хрустальную вазу с давно засохшими сладостями, налил крепкого чаю, зажег две лампы, достал лупу и стал разглядывать инструмент заново. Завязнув зубами в каменной пастиле, мальчик смотрел, как подрагивают острые ноздри зрителя, шевелятся тонкие губы.

— Батюшки! Вот так встреча!

Чужие жадные пальцы снова прошлись по скрипке, ощупали её как живую, осторожно приподняли, взвешивая.

— Отдайте! — не выдержал Митяй.

— Погодите-ка, молодой человек! — глаза зрителя заблестели, словно тот глотнул водки. — Расскажите-ка лучше, из какой дворянской усадьбы вам удалось стащить раритет? Расскажите правду — я не пойду в ЧК.

— Я не вор, — обозлился Митяй. — Скрипку мне подарили.

— Ах, подарили, — обидно фыркнул зритель. — Вы ещё скажете мне, будто вы выживший цесаревич, вечная ему память. Такие скрипки дарят царским детям, а не оборвышам.

Митяй в двух словах рассказал историю с незнакомцем. Зритель со вздохом протянул ему инструмент.

— Похоже, вы человек необычной судьбы. Не знаю, кто сделал вам подарок, но надеюсь, он сделал это не зря. У вас очевидный талант, молодой человек. Главное, занимайтесь побольше. И по возможности найдите себе приличное место — на улице скрипка скоро погибнет, ей нужна сухость, тепло, покой. К сожалению, не могу предложить вам мой скромный дом — поверьте, в любом подвале вам будет лучше, чем у... — зритель замаялся, затем продолжил. — Я покажу упражнения.

Из пыльного шкафа на свет появилась другая скрипка — большая, гладкая, гулкая. Зритель, прикрыв глаза, сыграл небольшую пьес-

ку, затем подозвал Митяя и начал «ставить руки», больно давя на костяшки пальцев, растягивая сухожилия. О децимах, квинтах и терциях он рассказал вскользь, ощущение музыки было важнее. До рассвета продолжался урок. Затем зритель порывшись в комод и достал оттуда черный костюм на мальчика — прямые брюки, короткий пиджачок, белую сорочку, завернутые в газету блестящие штиблеты:

— Возьмите, это вещи моего сына. Переоденьтесь и уходите вместе с вашим товарищем. И не возвращайтесь сюда, слышите! Я нынче не самое почтенное знакомство.

Сонный Алабаш сперва не узнал дружка в гарном паныче, забормотал что-то жалостное, потом озлился. Митяй поднял его за шиворот.

— Нам уходить велели, тотчас.

— Что ты такого натворил, Митька, пропащая твоя душа, — взрослому вздохнул цыганенок и зябко передернул плечами. — Ну, пошли, раз велели.

Закрывать за мальцами ворота никто не стал. Митяй видел огонек в кабинете зрителя, но хозяин не вышел попрощаться. Начал накрапывать дождь — сначала мелкий, задорный, потом где-то над башней Криско разверзлись хляби небесные — и полило. Мальчишки укрылись в полуразваленной мазанке, притулившейся к холму, и, прижавшись друг к другу мокрыми спинами, смотрели, как сереет небо, проступают из сумрака тугие струи воды. Оба клевали носом, но сон не шел. Когда рассвет тронул мягкой ладонью спины холмов, со стороны города показался патруль — трое красных бойцов с винтовками, а за ними — неприметный человек в штатском. Перепачканный глиной отряд прошел к маяку, мальчишки переглянулись — и дали деру, едва солдаты исчезли из вида.

На Карантине погасли окна. Сонные жители копошились во дворах, жены поливали мужьям из кувшинов и подавали шитые полотенца, лениво гавкали псы, орали запоздалые петухи. Надо было решать, что делать дальше. Воровато оглянувшись, Митяй приоткрыл чехол убедиться, что дождь не повредил скрипке. Потом хлопнул себя по карману и неумело выругался, вспомнив, что оставил все башли в старом клифте. Небось, за ними теперь не сходишь! Для очистки совести Митяй провел руками по всем карманам и нащупал продолговатую пачку. Это были деньги — больше, чем оба мальчика видели в жизни, больше, чем оба могли сосчитать. У Митяя екнуло в животе — вдруг купюры фальшивые, но в ранней булочной оборванным покупателям продали горячую булку и насыпали медяков сдачи. После короткого, но жаркого спора, половину нежданного бо-

гатства мальчишки припрятали в потайном местечке Круглой башни, вынув приметный кирпич. На остальное Алабаш предложил угостить всю братву с Галерейной и откупиться от Бачи. Кутеж Митяй отверг — пацаны не успокоятся, пока не разденут вчистую. У него появилась другая идея...

Вдовая тетка Ганна приходилась отцу дальней родственницей, была одинока, неразговорчива и при том скуповата нутрянной крестьянской скупостью. Она жила на Горе, в аккуратненькой мазанке, держала небольшой огород, приторговывала ягодами, козьим молоком и, случалось, подкармливала сироту «за спасение души». Бесхозным, грязным мальчишкам тетка не обрадовалась, но напиток дала и выслушать согласилась. Сделав жалкое лицо, Митяй рассказал, что отец «оттуда» передал ему гроши и настрого наказал не вязаться с подлецом дядькой, разорившим имущество, а велел идти к добренькой тете Ганночке и просить у неё приюта. Хитрость сработала — тетка считала, что по совести ей полагалась хоть толика от наследства. Да и деньги в хозяйстве не лишние. Для виду баба ещё ворчала, корила вшами и грязью, обещала выгнать взащей, если хоть ягодка пропадет с грядок. Алабаш божился и клялся, что «ни-ни», Митяй помалкивал. Устав браниться, Ганна протянула руку, трижды пересчитала рублишки и суетливо спрятала их под передник. Потом велела им раздеваться, самолично вымыла обоих в корыте, обстригла догола, и отобрала одежду прокипятить. Митяй похвалил себя, что припрятал деньги в скрипичном футляре.

Разместили их по летнему времени на чердаке, на сене. С балок свисали сухие травы, связки старого лука, за стрехой гудело осиное гнездо — но по сравнению с гнилым подвалом новое обиталище было райским. И кормили мальчишек щедро. Молока и хлеба тетка им не жалела, варила борщи и наваристую кукурузную кашу, позволяла вволю рвать вишни. Искать беглецов не искали — Бачу забрали мильтоны, на беспризорников объявили облаву, и те из мальчишек, кто уцелел, попрятались кто куда. Живи — не хочу! Вот Алабаш и не захотел — он мрачнел, цеплялся к приятелю по пустякам, и, наконец, объявил, что уходит:

— Скрипка твоя мне всю душу выела. Сам знаешь, Митяй, люблю тебя как брата, и был ты мне братом. Но как подумаю — ты играешь и будешь играть, у тебя музыка в пальцах пляшет, а я ни единого разочка больше смычок не возьму — и яд к сердцу подступает. Шайтан мутит — сожги скрипку или в колодец брось или брату своему названому перережь во сне горло. Не могу терпеть больше. Прости!

Ушел и денег не взял. Митяй скучал без единственного друга, но на время летняя дрема приглушила тоску. По утрам, когда тетка уходила торговать на базар, мальчик отправлялся пасти коз. Пока рогатые упрямыцы щипали травку, играл на скрипке — по несколько часов кряду, до кровавых мозолей и бессильных слёз. Вечеру иногда уходил купаться, посмотреть в «Спартаке» приключения Гарри Пиля или просто прошвырнуться по пыльным бульварам. Работать в теткинском огороде он наотрез отказался после того, как повредил палец и неделю не мог играть.

От покойной жизни Митяй подрос и раздался в плечах, дареный костюмчик стал ему впору. Раньше он и помыслить не мог о кафе на набережной, горячих шашлыках, лимонаде в прозрачных бокалах и «чего изволите-с» от услужливых «человеков». Уличные бродяжки тянули к нему ладони — «помогите на хлебушек». И Митяй помогал, выворачивал все карманы.

Гуляя по многолюдной Итальянской и нарядной Земской, мальчик совершил неожиданное открытие — причудливые закорючки вывесок стали складываться в слова. «В-о-к-з-а-л», «Х-л-е-б», «Мо-ло-ко», «Ры-нок». Это было чудесно — Митяй, запинаясь, перечитывал надписи, рисовал буквы прутиком на песке, наконец, обзавелся азбукой и завяз в тенетах грамоты. Ему вдруг захотелось учиться. Но музыка все же оставалась важнее. Мысли о чертовой скрипке никогда не покидали его. Часами Митяй стоял на бульваре, слушая, как играет городской оркестр, часами просиживал в ресторанах «Ассунта» и «Адмирал», наблюдая за музыкантами, часами валялся в роще, запоминая голоса певчих птиц. Как-то раз даже купил билет на музыкальный вечер в «Антресоли» и жестоко разочаровался — обещанный виртуоз оказался фальшивым тенором.

Митяй привыкал слушать и слышать, оттачивал слух в городской суете, покое холмов и пастбищ, как точильщик правит нож на шершавом камне и кожаном ремне. Много лет спустя он хвалился, что способен различить не меньше трех десятков оттенков шума воды — дождь ли это, капель, град, фонтан, прилив, протекающая труба, ручеек или родничок. Мальчик узнал, что даже тишина бывает разной — ожидающей, давящей, блаженной, бархатной словно ночь. И все это он пробовал перевести в звуки. Ему казалось, что переполняющие душу мелодии невыразимо прекрасны, что струны, наконец, покорились ему, старое дерево радуется, отвечая каждому требовательному прикосновению.

Старая Ганна редко слушала его музыку, но всякий раз жарко хвалила и награждала то пряником то яблоком, обещая, что «пле-

мяш» выбьется в люди. Пацаны на пляже, загорелые рыбаки, вечно пьяные грузчики и их веселые подруги, перед которыми он изредка соглашался сыграть, дружно ахали «как душевно», в особенности если Митяй выводил популярный мотивчик или старую моряцкую песню. Но такого успеха, как в первый раз, когда «Море широко» подхватили десятки глоток, больше не случилось, и Митяй отчаялся понять причину. Недетская, сатанинская гордость копилась в нем, сила переполняла пальцы, и он жаждал отыскать ей применение.

Тем временем лето перевалило через зенит. Знойный август раскинул над городом желтый плащ, зашуршали сухие листья вдоль пыльных бульваров, налились соком виноградные гроздья. Курортников стало больше, они веселились жадно, стараясь до последней секунды использовать жаркие дни. По городу процветали карманники и фотографы, за любую мелочь просили втридорога, чаще дрались и реже понимали друг друга.

...В ресторане «Ассунта» всегда царила живительная прохлада. Хозяин, хитроглазый красавец Ефет Кефели, позаботился об удобстве взыскательной публики — плетеные кресла с вышитыми подушками, низкие столики с неизменными живыми цветами, старинные бокалы, в которые так вкусно наливать молодое вино. И живая музыка — на маленькой круглой эстраде по будням задавало тон фортепьяно, по субботам играл дуэт, а воскресенья отдавали приходящим гостям. Не покладая рук, господин Кефели поставлял все новые инструментальные деликатесы — то разыщет в поселке татарина-скрипача, который играл когда-то для самого... тссс!!!, то зазовет на огонек проезжую знаменитость из Ленинграда. Посетители смаковали хорошую музыку и понимали её как никто. Все любители и почти все профессионалы Феодосии сиживали за столиками «Ассунты», а желающие — и поднимались наверх, подыграть исполнителю.

Обжившись в новой судьбе, Митяй захаживал туда не раз, облюбовал столик в глубине зала и старался держаться тихо. Обычно он побаивался разряженных шумных дам и девиц в чересчур открытых платьях, солидных господ в золотых очках и строгих костюмах, пестро одетых непонятных парней. Но в этот вечер кураж кружил ему голову. Шел восьмой час, посетителей было немного — компания офицеров, шупленькие супруги, коротающие вечерок за бокалом муската, крашенная, хищная старуха в бисерном платье не по возрасту, и пара-тройка завсегдаев за первым столом у сцены. Все курили, от запаха табака у Митяя першило в горле, он злился. Впрочем, не петь же.

Когда заезжая скрипачка — некрасивая, толстая девушка несколькими годами старше, чем сам Митяй, — поднялась на эстра-

ду, волнение улеглось. Первая пьеска, которую сыграла гостья, добавила уверенности — заунывное дребезжание, то скачущее, то протяжное, со скрипучими переборами и редкими нежными нотками. Инструмент в руках девушки всхлипывал, будто истеричная барышня, смычок то порхал, то дрожал. Митяй не понял, чему так бурно хлопали зрители — скукота же. Щелкнул замочек, скрипка явилась на свет — пора.

Второй мелодией оказался чардаш — медленный, сладкий, дразнящий как кофе, чардаш. Сжав до скрипа зубы, гордо выпрямившись, Митяй поднялся и шагнул к эстраде, на ходу вплетая свой голос в радостную мелодию. Смычок касался струн уверенно и легко — кто кого, а? Потанцуем? «Потанцуем» — улыбнулась девушка, блеснула зубами, её большая грудь колыхнулась под платьем. «Айда!» Она удвоила темп, Митяй едва поспевал за ней, потом замедлилась, расплываясь в невыносимой томности — так цыганка тянет ладони, колышет пеструю шаль, бряцает монистом, прежде чем вспыхнуть пляской. Зрители зааплодировали. Митяй видел, как сияют их глаза, вспыхивают огоньки сигарет, отсверкивают очки и драгоценные кольца. Дама в бисерном платье не сводила взор с маленького музыканта... или с его скрипки?

«Айда!» Бешеная девица утроила темп, белые пальцы запорхали над грифом словно кузнечики. Силясь поспеть за ней, Митяй сбился с такта, захлебнулся в попытке нагнать. С отвратительным скрежетом на скрипке оборвалась струна... вторая... третья. Чертова дрянь! Сжалившись над неудачей горе-музыканта, девица сбавила скорость, и Митяй кое-как доиграл свою партию, выжал все звуки из последней целой струны. Вот и выступил. Опозорился, как только мог. Возомнил. Со свиным рылом в калачный ряд. Дурак. Засранец. Огузок стриженный... Митяй рванул галстук-бабочку, отбросил его, как тряпку, и спустился в зал. Щелк — и проклятая скрипка скрылась в футляре. Хлоп — распахнулась дверь.

Скрипачка выбежала за ним.

— Не расстраивайся, мальчик!

Она говорила смешно, картавя и шепелявя, как иностранка — «гасстгайвайся», «мальтшик», и сама была потешной, похожей на круглощекую куклу.

— Подумаешь, струны порвались. У Паганини тоже рвались, так он плюнул на всех и на одной струне целый концерт сыграл!

— Это кто такой — Паганини? — сварливо спросил Митяй. — С Караимской будет или с Форштадта?

— Вот глупый... Ты самоучка?

Митяй кивнул и покраснел до пота.

— Знаешь, — девушка задумалась, потом продолжила. — Ты хорошо играл и способности у тебя большие. Езжай в Одессу, к Столярскому Пейсаху Соломоновичу. Скажешь, от Этли, он тебя и послушает и пристроит. Запомнил? Повтори.

— Столярский, — хмуро сказал Митяй. Больше всего на свете ему хотелось оказаться за сто верст отсюда.

— Этель Михайловна, просим, просим! — раздался льстивый басок.

Сам Ефет Кефели, сверкающий запонками и кольцами, в парадном своем костюме похожий на прогулочную яхту при полной иллюминации, вышел на улицу, зыркнул на наглеца, протянул руку скрипачке. Та улыбнулась, послала мальчику неуклюжий воздушный поцелуй и исчезла за кованой дверью ресторана «Ассунта». Соблазнительно сверкнул темный бок брошенной кем-то пивной бутылки — зашвырнуть бы в окно, посмотреть, как забегают, гады. Фу, позор! И ещё ведь с девчонкой связался.

Шмыгнув носом, Митяй поплелся куда глаза глядят. Едкая злоба мешалась в нем с горькой обидой. Скрипка, чертова скрипка. Она одна во всем виновата. И друга из-за неё потерял и на посмешище себя выставил, и сыграть как люди не смог. Не порвалась бы струна... а и не порвалась бы, не вытянул, нет в руках нужной сметки. И таланта нет никакого, жалела меня толстуха, от дури бабьей жалела. Паганини-Паганини... поганец он был и другим заказал. «Шайтан мутит», вспомнились слова Алабаша. Так пусть и идет к шайтану дурацкая деревяшка, предательница!

Ноги сами вывели мальчика к городскому пляжу. Там шлепали о волнорез редкие волны, в темноте хихикали и взвизгивали женщины. Митяй разулся, оставил на песке нарядные штиблеты, аккуратно сложил костюмчик. Запустил «блинчик», посмотрел, как расходятся круги по воде. Взял футляр со скрипкой, высоко поднял над головой и вошел в теплое, как молоко, море, оступаясь на гальке. Зайдя по грудь, оттолкнулся и поплыл так далеко, как хватило сил. Потом отпустил гладкую ручку футляра, толкнул посильней, и, отфыркиваясь, повернул назад. С меня хватит. Снова купаться начну, рыбу ловить, с мальчишками якшаться. Может, в школу пойду или в детский дом подамся?

Выбравшись на сушу, мальчик долго лежал на камнях, глядя в беззвездное, низкое небо. Когда он снова сел, то увидел знакомый футляр, выброшенный на берег прямо у его ног.

После третьей попытки утопить скрипку, Митяй отчаялся и просто-напросто бросил её на берегу — бери, кто хочет. Там же оставил

штиблеты, пиджачок и сорочку с жестким воротником. И штаны бы оставил, но идти до дому голышом было стыдно. Тетка всплеснула руками, когда «племяш» явился под утро, полураздетый, босой и грязный. Но браниться особо не стала — платил он пока что в срок.

Трое суток Митяй дурил напропалую. Привязал красный бант на рога соседскому козлу Мотьке, разлив того до потери невеликого соображения. Подрался с братьями Аджибековыми и побил обоих, даром, что Равиль был его на два года старше. Попробовал пива, выкурил первую сигарету и до вечера блевал за сараями. Сходил в море с младшим Сатыросом, приволок пеленгаса и корзину мелкой рыбешки. На четвертое утро в дом тетки постучался незнакомый грузчик, большой, загорелый и запинаящийся от застенчивости.

— Я того-этого... струмент вашу сыскал разом. Давеча на пляже мы с артелью того... отдыхали в обчем, а как светать стало — глядь, воришка пожаловал! Приблудился, стервец мелкий, да по вещам ковыряется. Я за ним, он от меня — и футлярчик-та урони. Я тут и вспомнил, что ваш парнишка нам бывалоча на отдыхе-та пиликал, и струмент на его похож. Вот принес.

Оторопев, Митяй не нашел что сказать, предоставил тетке благодарить доброго человека, подносить тому стаканчик наливки и ломоть соленого кавуна. Мальчик забрал футляр к себе в сараюшку, воровато открыл — проверить — жива ли скрипка. Инструмент нисколько не пострадал, чехол не пропустил воду. Оставалось только поменять струны. Мальчик чувствовал — пальцы ноют, руки сами тянутся взять смычок, тронуть деку, заставить упрямое дерево заговорить. Нет уж, черту чертово!

Дождавшись, когда тетка уйдет на базар, Митяй умылся, пригладил волосы, решительно взял футляр и отправился на улицу Троцкого. Первый этаж каменного дома недалеко от церкви занимал Иван Наумыч Морозов, пожилой, вежливый антиквар, скупавший у мальчишек монеты и прочие древности. ...Наверняка он возьмет и старую скрипку. А нет, так на толкучку снести можно, рынок недалеко. И баста — рыбаком буду, или механиком как батька. Нечего воображать — музыкант!

Антиквара дома не оказалось. Что ж, подождем. Скрестив татарски ноги, Митяй сел у порожка, бездумно забарабанил пальцами по футляру. Отчего ж не сложился тот танец? Можно ж было взять чардаш, удалось бы догнать девчонку, если б струна не лопнула. Или нет? Достав скрипку, Митяй вывернул пальцы над грифом, вспоминая, как хватисто, ловко работала руками соперница.

— Подайте на хлебушек! — задрезжал старушечий голос, отвлекая от мыслей.

По привычке Митяй пошарил в карманах, собрал копеек и, не глядя, сунул в протянутую ладонь.

— Вот спасибочки! Добрый мальчик. Хороший мальчик, а так мучаешься — ай, как жаль.

Удивленный Митяй посмотрел на просительницу — хромая нищенка в туго завязанном черном платке, сама длинноносая, словно ведьма, узкий рот, внимательные, птичьи глаза. И какая-то несурязица в облике.

— Проклятье на тебе лежит, милый ты мой, страшное, смертное. Некому тебя защитить, некому мудрое посоветовать. А я знаю... все знаю!

Откуда? Как? Митяю стало не по себе.

— Что вы такое гуторите, бабушка?

— Дурачка не крути! — огрызнулась старуха, показав неожиданно белые зубы. — Дьявол тебе скрипку принес, а ты не знаешь, как от неё избавиться. Думаешь, Паганини стать? Так и он не осилил.

— Да кто такой этот ваш Паганини? — обозлился Митяй.

— Самый лучший скрипач на свете. Николо душу продал за инструмент, чтобы играть лучше всех. Дьявол повсюду за ним ходил, а после смерти утащил в ад. Старик Паганини тысячу тысяч лет будет жариться на сковородке и слушать, что делают с музыкой казенные скрипачи. Эх ты, глупый, невоспитанный мальчик.

Митяй и вправду почувствовал себя маленьким, беззащитным глупцом. Влип по самые уши, хуже чем в голод, хуже чем в грязный подвал.

— Ты не знаешь, что такое эта скрипка? — голос нищенки налился силой, стал властным. — Что такое темный ужас начинателя игры? Какой мастер создал инструмент, послушный как женщина и капризный как женщина?

Кажется, это он уже слышал. Митяй попробовал ответить, но во рту пересохло.

— Лучшие свои скрипки Джузеппе Гварнери творил из ничего — из створки старого шкафа, из корабельной скамьи, говорят, даже из гробовой доски. Он стучал по дереву умными пальцами, слушал, как то звучит, а потом резал, выглаживая каждую линию. Видишь птиц, украшающих деку? Это его знак! Чтобы лак получился отменным, мастер добавлял в него горное масло, слезы матерей, потерявших ребенка и кровь, запекшуюся на брачных простынях. Глупец дель Джезу потом раскаялся — инквизиторы пообещали, если он не при-

дет в лоно церкви смиренным рабом, то сгорит на костре, а дровами станут его инструменты. Мастер стал работать для попов, продавать глупым людям жалкие подделки. Но лучшие скрипки он делал в молодости. Понимаешь?

Побледневший Митяй помотал головой.

— Дьявол бродит по миру, разыскивая смятенных душ. Он дарит скрипки однажды и на всю жизнь, ставит в душу клеймо — проклятие музыканта. Думал выбросить или продать? Мальчишка! Ты обречен на смятение и одиночество, маленький дурачок, ты приносишь несчастье, друзья покинут и предадут тебя, любимые женщины бросят, не в силах соревноваться с музыкой. Для тебя станет важно лишь одно — совершенство, недостижимое совершенство звука. И когда старость скует твои члены, болезни ослабят силы, ты умрешь в страшных муках, томимый неутоленной жадной!

— Это навсегда? — спросил, наконец, мальчик.

— Да, милый, — с неприятной улыбкой подтвердила нищенка. — Проклятие не оставит тебя и после смерти — если, конечно, ты не отыщешь помощи. Красивый мальчик, такие большие глазки... жаль, стриженный. Золотая парча будет тебе к лицу, камзол с пуговками, чулочки и башмачки. И паричок, белый пудренный паричок. Пойдем со мной в мою лавочку, я сварю тебе чудного шоколада, угощу сладостями. Давай руку, мой славный.

Узнал! Хищный серебряный скорпион с перламутровой спинкой, украшающий безымянный палец, ногти, покрытые ярким лаком, чистая кожа — он видел эти ладони у дамы в кафе, дамы в бисерном платье, с длинным витым мундштуком.

— Из-з-звините, — Митяй запнулся. — Я не хочу сладостей. И с вами никуда не хочу.

Старуха приблизилась к нему, наклонилась, почти касаясь лица длинным носом. От неё пахло сладкими благовониями, пахло так сильно, что голова закружилась.

— Тебе нечего бояться, малыш. Госпожа Вероника любит детей и позаботится о тебе, уберет все напасти, все тревоги. Ты будешь играть, играть вволю! Погляди, что у меня есть!

В ловких пальцах возникли фигурки солдатиков. Даже сквозь страх Митяй успел удивиться — до чего же здорово сделано! Офицер Виленского полка в окровавленной форме машет маузером, поднимаемая в атаку. Раненый матрос стоит на одном колене, опираясь о пулемет. Татарский воин в лисьей шапке натянул лук. У Митяя никогда не было своих игрушек. Он потянулся к фигурке рыцаря в шлеме — разглядеть, что у того за герб. Глаза старухи жадно блеснули.

— Шла бы ты отсюда, убогая!

Неторопливый Иван Наумыч спешил так, что начал задыхаться, худая грудь антиквара ходила ходуном, усы грозно встопорщились, пенсне слетело и, подрагивая, повисло на шнурке. Старый интеллигент, он называл на «вы» даже кошек, и Митяй страшно удивился.

— Явился, защитник обиженных и несчастных. Думаешь жить вечно? — прошипела старуха, выпрямляясь во весь рост. Она показала страшно высокой рядом со шуплым антикваром, но тот не отступил.

— Нет, и время, отпущенное мне, почти вышло. Но зато я живу свои годы. А что лежит у тебя в шкатулке? Резной, из слоновой кости, с тремя ликами Владычицы Перекрестков на крышке?

— Ты и это пронюхал, шпион проклятый? — лицо старухи искажилось, казалось, она вот-вот набросится на врага, начнет рвать ему волосы, выцарапывать глаза крашеными ногтями.

Наваждение спало. Митяй не стал дожидаться конца беседы и выяснять, что за старые счета связывали Иван Наумыча с этой ведьмой. Он подхватил футляр и порскнул вниз по бульвару, сверкая пятками.

С неделю после того мальчик не выходил на улицу, не купался и не смотрел фильмы в синематографе. Ночами снились кошмары. По всем бульварам гнался за ним разъяренный скрипач Паганини, потрясая огромными кулаками, кричал «отдай мою скрипку, мерзавец». Сотни одинаковых девочек с розовыми бантами ядовито смеялись, когда он выходил на сцену и у него одна за одной — «дзынь! дзынь!» — лопались струны. Рогатый дьявол, похожий на вокзального мильтона Плевако, являлся, чтобы отобрать инструмент и утащить душу прямиком в ад. И самое страшное — повесившийся Алабаш ухмылялся мертвым лицом, показывал синий язык — что, добился моей смерти, брат названный? Но обошлось — ветер переменился, жара спала, дурь из головы вышла. Митяй снова стал заниматься, сперва нехотя, потом истово. Он понял одно — играть он сейчас не умеет. Но раз ему суждено быть музыкантом, раз он проклят, то выбора не остается. Вопрос лишь во времени — сколько придется учиться.

В сентябре подошел срок уплаты за прожитьё. Денег на кармане оставалось негусто — щедрая жизнь выходила дороже, чем мальчик думал. Ранним утром, убедившись, что его никто не заметил, Митяй сбежал к потаенному месту на Круглой башне. Приметный кирпич так же верно прикрывал выемку, но тайник оказался пуст. Может

быть, Алабаш передумал и забрал свою долю добычи? Или кто-то чужой пробрался? В любом случае передышка, отпущенная судьбой, завершилась. Надо было что-то решать со своей жизнью. В начале весны исполнится тринадцать, отец в эти годы уже работал. Возвращаться к бездомью, грязи и нищете — ни за что! Играть на улице — так подавать не будут, здоровому обормоту. Податься в порт? Ловить рыбу? Стать батраком у тетки — она одинока, немолода. Или?.. Детдомовскими порядками, крысами в супе, воровством, побоями и злыми надзирателями пацаны пугали друг дружку зимними вечерами, но болтовня болтовней, а школа школой. Опять же, крыша над головой, харчи. Глядишь, и с музыкой помогут.

В тот же день Митяй попрощался с теткой, объяснив ей, что денег больше не светит, а на хлебником он сидеть не намерен. Для приличия Ганна повозражала, удерживать всерьёз не стала — она хорошо относилась к мальчику, но родственной любви между ними не завелось. На прощанье она спекла пышный курник, подарила племяннику почти новую вышитую рубаху и мужние порты, подкоротив кое-где. Громко сходила в лавочку за ботинками и картузом — пусть люди видят, не босяком отпускаю. А потом отвела к скучным серым воротам и объяснила чахоточной барышне-воспиталке: «так, мол, и так, не могу прокормить сироту, документов никаких нет, пишите: Митрий, Васильев сын, по фамилии Бориспольский, родился аккурат под Пасху, двенадцать годков назад». Под неласковым присмотром Митяй разделся, сдал шмотки, кое-как вымылся, стесняясь голого тела. Старичок-парикмахер догола обстриг лохматую голову, добродушно ворча, мол, об такой волос зубья машинки сломать недолго. Казенная одежда оказалась колючей и неудобной, непривычное бельё давило на тело. Воспиталка, презрительно щурясь, предупредила — второй выдачи не будет, порвешь или на базар снесешь, будешь ходить, в чем хочешь. Митяй чуть заметно пожал плечами — главное, что разрешили оставить скрипку.

Полтора десятка разновозрастных мальчишек, населявших общую спальню, приняли новичка без особой радости. Зная обычаи пацанов, Митяй приготовился к неприятностям и, при первой попытке домотаться, дал сдачи. Он никогда раньше не дрался всерьёз, но подвальная школа его многому научила — бить больно и страшно, напугать не только противника, но и зрителей, чтоб уважали впредь. С первого удара он расшиб противнику нос до кровавых соплей, со второго уронил с ног. Пацаны завопили «лежачих не бьют», но Митяй ухватил врага за волосы, стукнул об пол и волтузил, пока тот, захлебываясь слезами, не попросил пощады. А потом пообещал, что

искалечит всякого, кто попробует тронуть его самого или его скрипку. Зрители смотрели на представление, раскрыв рты — пожелай Митяй, он вполне мог бы помериться силой с главарем этой шайки звереньшей и занять его место. Но он не искал ничьей дружбы. Занял «дачку» на отшибе, собственноручно собрал хитрую шеколду на тумбочку и зажил сам по себе.

Первые недели он тяготился строгим режимом, необходимостью спрашиваться, чтобы сходить до ветру, скудными порциями невкусной еды, придирками воспиталок и постоянными мелкими сварами пацанов. В школе его, как малограмотного, отправили в первую группу, и сидение рядом с сопливой малышкой бесило невероятно. Все свободное время Митяй посвящал скрипке, пиликающая до судорог в пальцах и приступов головной боли. Импровизировать, вторя ветру, волнам или городскому шуму, здесь, конечно же, не выходило, но ставить технику и быстроту удавалось вполне. Гордый Митяй чувствовал — все проворней перескакивают по струнам пальцы, все реже сбивается с такта, режет фальшивым звуком мелодия.

На одаренного мальчика обратили внимание учителя. К десятой годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции по городу прошли митинги и концерты. Митяй выступал трижды — на утреннике для детей погибших революционеров, на сборном концерте в первой школе и в портовом клубе для дружественных иностранных матросов. Он выучил неизбежный «Интернационал», пионерский гимн «Взвейтесь кострами синие ночи», обновил в памяти «Марсельезу» и наконец-то справился с клятым чардашем. Выступить оказалось совсем не страшно, Митяй не боялся ошибок, понимая, что зрители просто их не заметят. И сыграл хорошо, так хорошо, что потом улыбался во сне. Матросы с английского корабля подарили «вундеркинду» коробку настоящего шоколада, Митяй щедро разделил лакомство между товарищами, и они перестали чуждаться хмурого новичка.

Директор, вскоре заметил, что в детдоме появилась новая звездочка, и немедленно осознал, сколько выгод принесет одаренный ребенок. Выяснилось, что воспиталка старших в молодости играла на фортепьяно — ей и поручили ежедневно заниматься с Митяем, заодно заполняя пробелы в школьной программе. Нельзя сказать, что мальчик возненавидел эти занятия — они были всего лишь скучны. Зато энергичные политинформации, которые раз в неделю проводили пионеры, неожиданно заинтересовали его. Гром Днепрогэса, звон чапаевских сабель, происки Антанты и коммунизм, кото-

рый вот-вот наступит, очаровали Митяя, как чаруют волшебные сказки. Едва научившись бойко читать, он взялся за «Правду» и вскоре сам начал делать небольшие репортажи о положении дел в стране. «Торжественное обещание пионера» Митяй выучил наизуток и надеялся, что к Первомаю ему под барабанную дробь перед лицом дружины повяжут ослепительный красный галстук. Но все обернулось иначе.

К Первомаю ожидался большой концерт. На одном из занятий воспитателка попросила маленького музыканта проявить политическую сознательность и позволить ещё троем мальчикам из детдома сначала репетировать, а потом и выступить с его скрипкой. Денег на новые инструменты в детдоме не было. «А если я не хочу?» осторожно поинтересовался Митяй. «Не дашь — экспроприруем, и поедет твоя скрипка на концерт без тебя» — воспитателка визгливо засмеялась своей шутке. Митяй представил, что его инструмент станут лапять чужие люди, грубые пацаны с немывтыми руками, дождался ночи, подхватил свой нехитрый скарб и сбежал.

До Симферополя он добрался на тряском душном автобусе, выложив за дорогу последние гроши. На толкучке загнал школьный костюм, ботинки и дурацкий картуз, переночевал на вокзале, сбрехнув мильтонам, что ждет дорогую бабушку, и отправился дальше. По малолетству Митяй никогда раньше не выезжал из города, мир показался ему огромным, шумным и великолепным, он громыхал и гудел, свистел и щелкал, бормотал и стонал во сне. В Севастополе мальчик отправился в порт поискать удачи — жизнь среди грузчиков и моряков кой-чему его научила, к тому же спрятаться в многолюдной суматохе кипучей работы казалось проще. С неделю он ошивался в доках, спал где ни попадая, ел, что найдется, не отказывался от любой работы и старался услужить матросам — сбежать за пивом или папиросами, купить семечек или вяленых бычков, опустить письмишко в почтовый ящик. На восьмой день он поднялся на борт «Коммунара». Отговориться байками в этот раз не удалось, капитан парохода был старым революционером и легко раскусил беглеца. Пристыженному Митяю пришлось сказать правду. Его не выгнали.

Все плавание и всю разгрузку мальчик работал на камбузе, не покладая рук, чистил картошку, резал лук, мыл котлы и слушал нескончаемую болтовню длинноносого кока. Красавица Одесса равнодушно встретила очередного маленького босяка, ей хватало своих оборвышей. Город оказался и богаче и беднее, чем Феодосия. Никогда в жизни Митяй не видел таких роскошных дворцов, как на набережной, таких разодетых господ и нарядных дам, таких оборван-

ных нищих, тощих извозчичьих кляч, шикарных витрин, шеголеватых военных и наглых рыжих котов. Ещё не отцвели акации, по бульварам несло белые волны лепестков, звенели трамваи, гудели и пыхтели автомобили, играла музыка, из окон и репродукторов кричало на разные голоса радио. Торговали «саххарным мороженым», квасом, лимонадом и бубликами, папиросами и газетами, апельсинами из Константинополя, золотыми часами с самым точным парижским механизмом. Эх, гуляем! Митяй два раза прокатился на дребезжащем трамвае, прогулялся по городскому парку, съел тающий во рту шарик крем-брюле. И, наконец, набрался смелости — подошел к первому встреченному мальчишке со скрипичным футляром в руке:

— Привет! Ты не знаешь случайно, где мне найти Столярского?

Веснушчатый кучерявый пацан поправил очки и посмотрел на Митяя, как на идиота:

— Тебе какого Столярского? Моня Столярский таки сел за грабеж, Шая Столярский уехал с мамочкой в Жмеринку, Мордехай Абрамович у рейде, Боба и Ицик с ним, Лейзер Наумович принимает с девяти до пяти в кабинете на Греческой, у Хаима захворала кобыла так он ходит за ней как за родной дедушкой и на Дерibasовскую носа не кажет.

Зачесались кулаки, но Митяй сдержался:

— Мне того Столярского, который учит играть на скрипке!

— Ишь ты...- на подвижной физиономии пацана проступило недоумение, в тёмных, как вишни, глазах читалось «и этот босяк туда же».

Ожидая ответа, Митяй оглянулся вокруг в поисках других советчиков. Но веснушчатый смилостивился.

— Пошли, отведу куда следует.

Изнывая от предвечерней жары, они ждали трамвая, потом мучительно долго ехали, тормозя на каждом перекрестке, пропуская каждый автомобиль, каждую бабу с корзинами. Пацан оказался неразговорчив, смотрел в окошко, что-то мурлыкал задумчиво, потом махнул рукой: айда выходить. На тенистой узенькой улочке он показал нужный дом и, неожиданно покраснев, попросил:

— Передай Пейсаху Соломоновичу, что Муся Гольдштейн больше не придет заниматься. И скрипку мою верни.

— Почему? — удивился Митяй.

— Потому, что кончается на «у». Скрипач из меня, как из гуся аэроплан. Надоело, понял! И вообще не твое дело!

Митяй пожал плечами. Он не мог понять, как по доброй воле отказаться учиться играть. Двадцать восемь шагов до входа показа-

лись удивительно длинными, бронзовая ручка с головой льва — тяжелой, кнопка звонка тугой, ожидание невыносимым. Ему никто не открыл. Митяй долго колотился в двери, потом в ворота, прежде чем вызвать дворника, грубого бородатого мужика.

— Нету никого, мальчик, занятия кончились. В школу сейчас не записывают. В сентябре приходи с мамкой, слышишь?

— Меня Муся Гольдштейн попросил скрипочку передать Пейсаху Соломоновичу лично в руки! — нашелся Митяй.

Дворник недоверчиво осмотрел грязные ноги мальчика, его обтрепанную одежду, обветренное лицо:

— Дай-ка я отнесу, малой!

— Велено лично в руки, иначе нельзя.

— Покажь инструмент!

Митяй послушно распахнул чужой футляр, не приближаясь к дворнику. Тот прищурился, потом махнул рукой:

— Ладно, ступай! Третий этаж, кабинет налево у лестницы.

В здании было прохладно и очень тихо. Каждый шаг отдавался эхом от высокого потолка. Мраморные ступени парадной лестницы охладили босые ноги, а паркет коридора оказался удивительно теплым. Пахло старой бумагой, деревом, пылью, смолой и ещё чем-то незнакомым. Митяй поставил скрипки на пол и перекрестился перед тем, как постучать в дверь.

— Войдите!

Кабинет был заставлен шкапами, полными книг. Его хозяин, пухленький человечек с совершенно белыми волосами, казался особенно маленьким рядом с большим столом. Приличный серый костюм делал человечка похожим на дорогого врача, доброе лицо украшали очки с выпуклыми стеклами. А вот голос оказался сердитым:

— И не надо вам здесь стоять! Никаких пересдач, Шурочка, хватит. Придешь в августе, детка, и сыграешь не хуже самого Паганини. ...Он что, слепой или дурной?

— Муся Гольдштейн попросил передать вам скрипку и сказать, что он больше не придет заниматься.

— Что?! — человечек подпрыгнул в своем кресле, очки слетели, он зашлепал ладонями по столу, подцепил дужку и снова надвинул их на нос. — У Муси концерт в воскресенье, половина Одессы соберется слушать этого шейгица, а он не придет. Моцарт ему не дается — вы такое слышали? Рано ему за Моцарта разговаривать. Нет уж, я бекицер поеду побеседовать с его мамочкой, пусть объяснит своему гениальному мальчику — ещё один такой балаган и я сам велю ему не приходиться. Ой-вэй!

Из кармана шикарного пиджака на свет божий явился огромный неопрятный платок, человек утер потное лицо, ещё раз горько вздохнул — и наконец-то разглядел Митяя как следует.

— Что тебе нужно, мальчик?

— Пейсах Соломонович, я приехал учиться музыке, — пробормотал Митяй.

— Ты опоздал, — виновато улыбнулся преподаватель. — Сейчас лето, детка, год вот-вот кончится. Скажи маме, пусть приведет тебя в сентябре.

— У меня нет мамы.

— Хорошо, скажи папе, скажи бабушке, кто-нибудь же за тебя смотрит?

— Никто, — ответил Митяй. — Я сирота.

— Ай-яй-яй! — Пейсах Соломонович сочувственно покачал головой. — Ай, какая беда, когда нету мамы и папы. Издалека ты приехал?

— Из Феодосии... Этля! — Митяй наконец вспомнил имя. — Этля сказала, чтоб я поехал в Одессу к Столярскому.

— Давненько мы с ней не виделись, — вздохнул Пейсах Соломонович. — Загордилась девочка, гастролирует, замуж, видите ли, собралась, а о старом учителе и не вспомнит, трех строк не напишет. Телеграмму прислала на день рождения — смех и грех... Итак, ты хочешь учиться музыке? Покажи, что ты умеешь, детка.

Замок футляра словно заело, Митяй отщелкнул его с четвертой попытки. Чертова скрипка лежала спокойно, настройка струн не слетела. Ну, не подведи! Задорная мелодия чардаша полилась легко и свободно, год занятий не прошел зря. Ускорить темп, снизить, замедлить, взять паузу, как брала та девчонка, и снова рухнуть в отчаянный пляс — всё. Смычок опустился, Митяй открыл замуренные было глаза.

— Хорошо. Вот хорошо, вот молодец! — лицо преподавателя разгладилось, улыбка тронула мягкий рот. — Учили плохо, а играешь просто великолепно. Руки бы оторвать тому, кто ставил тебе руки, и ровнее надо стоять, и скрипку держать гордо, понимаешь? Это ж не метла. Вот смотри!

Взяв в руки инструмент Пейсах Соломонович преобразился — откуда-то появилась осанка, черты лица стали тверже, даже росту в преподавателе словно прибавилось.

— Берешь нежнее, голову выше, плечо развернуто и раз-два-три!

Да, Столярский был мастером. Глядя на него, слушая тот же чардаш, Митяй схватывал на лету, как стоять, как держаться, понимал свои промахи и ошибки.

— Значит, ты сирота, приехал из Феодосии, знакомых в Одессе у тебя нет. И денег нет. У кого ты учился?

— У скрипки, — ответил Митяй.

— Самоучка? Похвально, детка, похвально, ты подлинный вундеркинд, — покивал головой Столярский. — Что же нам с тобой делать?

— Я учился у скрипки, — повторил Митяй. — Черт принес мне проклятую скрипку работы мастера Гварнери, на которой играл этот ваш... Паганини, и сказал, что я музыкант.

Очки Столярского снова съехали с носа, блеклые карие глаза широко раскрылись:

— Черт, говоришь? Паганини? Присядь-ка, золотко, выпей водички, и расскажи-ка мне этот сипур!

Ерзяя на кончике обитого бархатом табурета, Митяй добросовестно рассказал всю историю от начала до конца. Про усатого фраера и его странный подарок, про сказку Алабаша, про зрителя маяка, про то, как сатанинская музыка в одночасье овладела его душой и заставила мир вокруг переливаться разноцветными нотами. Про кошмарную старуху с её проклятьем, про мастера Гварнери, который резал скрипки из гробовых досок, про сны, в которых всклокоченный Паганини гнался за ним по Адмиральскому бульвару и верещал «Отдай! Отдай мою скрипку!»

Рассказ прервали клокочущие, глухие звуки. Митяй поднял глаза — Столярский смеялся, покатывался от хохота, тщетно стараясь сдержаться.

— Вот глупство! Божечки мои, мальчик, какое невероятное глупство! Ду бист а идише ингеле?

Не поняв вопроса, Митяй покачал головой.

— Слава богу! Если б ты был евреем, то непременно сошел бы с ума, имея таких фантазий. Цыгане, старухи, сказки, дьявол, диббук — подумать только! Гварнери в провинциальном городе, Гварнери, которого дарят нищему мальчику просто так. Впрочем, революция, бегство — все может быть... Дай-ка сюда нашу скрипочку!

Вздвогнув, Митяй протянул преподавателю потертый футляр. Все ещё всхлипывающий от смеха Столярский достал инструмент, бегло ошупал его, заглянул внутрь, потом положил на стол и достал из второго футляра скрипку Муси Гольдштейна — точно такую же, покрытую темным потрескавшимся лаком, с редкостными прорезями по деке, похожими на разлетающихся в стороны чаек.

— Посмотри вот сюда, видишь? «Страдивари, 1801 год».

Иностранные буквы на маленькой этикетке Митяй разобрать, конечно же, не сумел, но тонко выведенные цифры были те самые.

– Это подделка. Удачная копия, золотко, понимаешь? Сто лет назад немецкие мастера стали делать копии великих скрипок – Страдивари, Гварнери, Амати. Выходил у них честный, добротный инструмент. В десятом году одесские миллионеры, дай им Бог здоровья, закупили партию таких скрипок, чтобы дети учились. Кто-то решил подшутить над тобой, детка, и шутка хорошо удалась.

– То есть это простая скрипка? Самая-пресамая обыкновенная? И Паганини тут ни при чем, и никакая судьба мне не суждена? – Митяй не знал, радоваться ему или плакать.

– Сложный вопрос, – хитро усмехнулся Столярский. – Коммунисты говорят, Бога нет, и судьбы тоже нет. Но раз ты, нищий мальчик, сумел добыть себе скрипку, выучиться играть, добраться до Одессы и найти единственного человека, который сделает из тебя настоящего музыканта – значит, кто-то на небе крепко за тебя молится.

Достав из кармана круглые золотые часы, Пейсах Соломонович, посмотрел на циферблат, пошевелил губами, что-то подсчитывая, и взял в руки скрипку упрямого Муси.

– Полчаса у нас есть, детка. Даю первый урок, потом отвезу тебя к нам с Фирочкой, переночуешь, поешь, а там как судьба выведет, да?

Довольный Столярский хихикнул и потрепал мальчика по стриженной голове. Митяй тоже расхохотался – он не думал и даже мечтать не смел, что кошмар обернется всего лишь страшной сказкой для малышей.

– Давай, золотко, слушай первый куплет, а потом попробуешь подыграть. И не делай тут личико – Моцарт для новичка слишком просто.

Митяй ожидал от Столярского чего угодно – но никак не блатной песенки, да ещё с вариациями, проигрышами и совершенно издевательской интонацией. Скрипка у старого музыканта заговорила бархатным голоском уличной этуали, закружилась, дразня:

*Раз пошли на дело, выпить захотелось,
Мы зашли в фартовый ресторан.
Там сидела Мурка в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.*

Дождавшись конца куплета, Митяй встроился вторым голосом. «Мурка» плавно перетекла в какой-то незнакомый Митяю залихватский танец и завершилась неожиданным гопаком. Вспотевший от усилий Столярский оборвал игру и посмотрел на ученика уважительно:

— Из тебя выйдет толк, детка. Главное, пользуй своих фантазий в музыку, только в музыку. Договорились?

Счастливый Митяй кивнул.

Профессора Столярского в Одессе знали все, от биндюжников до депутатов. Потратив пару дней на беготню по комитетам, Пейсах Соломонович устроил Митяя в неплохой детский дом с правом посещения музыкальных занятий, а спустя четыре года перевел в интернат при созданной им же музыкальной школе. Д. Бориспольский, как писали на его первых афишах, действительно стал музыкантом, талантливым скрипачом. Если его имя не вошло в первый десяток имен выпускников — причина была исключительно в том, что у Столярского занимались гениальные дети. Митяй даже не пробовал оспаривать превосходство братьев Гольдштейнов, Семы Фурера или Лизочки Гиллельс. Ему хватало того, что у него получалось, а любую искру зависти к чужой славе музыкант гасил нещадно, помня большие глаза Алабаша, первого друга, потерянного из-за пустой ерунды. После школы Митяй поступил в Одесскую консерваторию, окончил её перед войной, но диплом получить не успел — в сорок пятом пришлось восстанавливать документы.

22 июня Дмитрий Бориспольский пошел на фронт добровольцем, отслужил два года, получил три награды и один осколок в живот. Выжил чудом. О войне он не рассказывал никому, даже сыну, медали прятал в ящик стола и надевал лишь на день Победы. В сорок пятом скрипач вернулся в Одессу, в том же году женился на Розочке Тененбойм, младшей сестре товарища по скрипичному классу, потерявшей в оккупации всех родных. Следующей весной Бориспольский стал отцом, нежным, трогательным, но и строгим — Розочка трепетала перед ним, как полевой цветок, приучая детей к покорности. С сорок шестого по семьдесят пятый музыкант служил в Одесском симфоническом оркестре, выступал в городе, гастролировал по стране и не имел нареканий, не считая пары дурацких причуд — играл только на своей старой скрипке и наотрез отказывался братья за Паганини, даже имени его слышать не мог. С возрастом его отношение к музыке не менялось — не довольствуясь репетициями и концертами, он музицировал дома, уходил поиграть в парк или на пляж, импровизировал вволю. Сын, дочери и внуки не рисковали нарушать уединение скрипача или (опаси Боже!) слушать в доме те записи, которые он почему-то не одобрял.

Выйдя на пенсию, Дмитрий Васильевич быстро сдал, стал жаловаться на сердце, потерял интерес к прогулкам, кинематографу и даже к изумительно вкусной стряпне жены. Казалось, дни

его сочтены, но хлопотливая Розочка провернула многоходовую комбинацию и обменяла родовое гнездо на двухкомнатную в Федосии. Возвращение «к отчим берегам» придало скрипачу жизненных сил. Обвыкшись в уютном, нешумном гнездышке он снова начал ходить пешком, показывать милой Розочке уцелевшие улицы и тропинки, по которым гонял мальчишкой. Понемногу рассказал жене детство — про засыпанную Криничку, подлый поступок дяди, голодный быт беспризорников. И про скрипку — не все, но многое. Тем же летом он купил жене шаль и золотое кольцо, наряжал её, баловал на старости лет. Засыпая рядом с сухонькой женщиной, едва заметной под большим одеялом, слыша, как она тихо дышит, скрипач думал, что безмерно богат. В его жизни есть два сокровища, скрипка и Роза. И немного времени для любви.

Дом Офицеров, куда Бориспольский по старой памяти заглянул, кишел кружками и студиями, мастерство старого скрипача там пришлось как нельзя кстати. На закате жизни Дмитрий Васильевич начал давать концерты, делать сольные номера по мотивам популярных мелодий и задорных народных танцев — небольшие, в меру оставшихся сил. Он стал пользоваться популярностью, уважением, а затем и любовью горожан, неизменно бывал приглашаем на отчетные концерты в двух городских «музыкалках» и даже вел уроки музыкальной культуры в том самом детском доме, который однажды чересчур поспешно покинул.

В свободное время он любил прогуляться по развалинам генуэзской крепости Кафы, помолиться у стен заброшенного армянского храма, посмотреть с высоты холмов на безмятежное море, поиграть тихо-тихо — для кузнечиков, бабочек и хлопотливых пчел. Покой заполнил усталую душу, как свежий мед заливает соты. Детство и старость сплетались в книгу причудливых воспоминаний, долгих, подробных снов, полузабытых мелодий. Обветшалое тело перестало пугать музыканта, слабость ног — раздражать. В «Богом данной» все шло своим чередом — зерна ложились в землю, давали ростки, плоды, рушились под ножом, и снова падали в рыхлое поле.

Когда пришла перестройка и стихийный Арбат художников, музыкантов, поэтов и прочих безумцев выплеснулся на улицы, Бориспольский тоже решил вспомнить детство. В хорошие дни сезона, ухмыляясь про себя, он становился у входа в «Асторию», клал на землю футляр и играл часовой концерт, завершая его неизменным «Раскинулось море широко». И нельзя сказать, что было важнее для старика — неплохая прибавка к пенсии или молодое, шkodное

удовольствие от работы с «курортной» публикой. Вспоминая уроки Столярского, скрипач заставлял инструмент мяукать и кукарекать, изображать ссоры влюбленных и тернистый путь пьяницы к дому. Впрочем, классическими произведениями он не пренебрегал — к семидесяти годам Бориспольский счел, что дорос, наконец, до Моцарта, и мог играть его вечно. Пронзительная печаль и молодая беспечная легкость композитора пришлись скрипачу особенно по душе.

Седая Розочка все вздыхала: «с этой улицей тебя не будут уважать люди». Дмитрий Васильевич гладил её по нежным кудрям и целовал в щеки — не о чем волноваться, золотко. За два года он стал своим на набережной, его узнавали, здоровались, называли на «вы», приглашали сыграть в кафе, клали в футляр цветы и порой аплодировали не хуже, чем в филармонии. Если скрипач о чем и мечтал — умереть вовремя, до того, как откажут ноги и голова. Но до смерти ещё оставалось время — как и многие здешние старики, занятые делами, Бориспольский был вполне бодр и даже силен.

...В этот день его место подле гостиницы оказалось неожиданно занято — длинноволосые парни из Коктебеля попросились подзаработать на набережной. С ними была беременная флейтистка, поэтому скрипач не стал возражать. Он прогуливался в тенечке подле музея древностей, ожидая своего часа, и небрежно разглядывал работы городских живописцев. Рисовальная школа в Феодосии за последнюю сотню лет потеряла немного, писали мастера здорово, в особенности пейзажи и натюрморты. Разнообразие не поощрялось, но заурядными картины тоже не выглядели — то там то здесь вспыхивали искры подлинного таланта. Но, увы, не у всех.

Тощая и угрюмая, словно помоечная ворона, девочка-портретистка рисовала прескверно. Жесткий штрих рвал бумагу, гуляли пропорции, уныние так и ползло с листа. Две-три готовых работы не годились даже для пляжных кафе. Исцарапанный грязный мольберт внушал жалость, бумагу, похоже дергали, из альбома, обкусанные карандаши брали в ближайшем киоске «Союзпечати». На глазах у скрипача расфуфыренная дама профсоюзного вида скривилась, разглядев свой портрет, и наотрез отказалась платить. Хмурая девочка ничего не сказала нахалке, только сильнее съежилась на своем переносном стульчике. Ей было стыдно и гадко, однако она продолжала сидеть, поглядывая на проходящих туристов голодным взглядом. Совсем школьница, хорошо, если пятнадцать стукнуло. Школу небось не кончила, а думает, что художник. Думает? Что ж.

До «Эрмитажа», лучшего в городе магазина товаров для художников, десять минут на такси. Если у девочки есть талант, подарок поможет ей встать на ноги – не даром Столярский давал дорогие скрипки даже самым тупым новичкам. Если таланта нет, пусть хотя бы порисует хорошими красками.

...Скрипач отпустил машину и медленно поднялся вверх по Галерейной. Скрипичный футляр казался ему тяжелей обычного, увесистый желтый ящик, набитый доверху, оттягивал плечо. У музея Грина Бориспольский остановился, глотнул воды из заботливо припасенной бутылочки. Он был потен как мышь, но присесть отдохнуть было негде. Деревянные скамьи заняли самостийные экскурсоводы, обещая прогулки на море, в горах и по самым таинственным уголкам Крыма. Между деревьев ютился лоток с книгами, облепленный покупателями. Восторженный мальчик в джинсах взял светлый томик, раскрыл не глядя и тут же прочел подруге: когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо. С оборотной стороны томика хмурилась фотография – писатель с мятым лицом и большими, как у грузчика кулаками.

«Глупство какое, – улынулся старый скрипач. – Делать чудеса – все равно, что делать детей, – никогда ведь не знаешь, получится или нет».

**ПОБЕДИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА «ГОРОДУ МОРЯ» – 2013.**

Первая премия в номинации «Проза».

Виктор Лановенко (Севастополь, Россия)

ПО ДОРОГЕ НА ПАРНАС

Я собираюсь заделаться крупным писателем и надеюсь, рано или поздно это произойдет. Лучше бы, конечно, пораньше. Ведь сейчас я сижу на шее у бабушки. Она кормит меня, одевает, оплачивает Интернет. Правда, и пенсия у бабули – будь здоров, как-никак участник боевых действий. К тому же мы хаваем очень умеренно, в основном картоху с селедкой, а летом нажимаем на овощи-фрукты, благо они у нас копейки стоят. И одеваемся скромно. Бабушка донашивает старые душегрейки и тапочки, а я прикупил в «секонде» турецкие джинсы, сорочку и кроссовки а ля «Пума». Бабушка говорит:

– Костик, ты стал похожий на жениха. Пора жениться.

А что – и женюсь. Вот только в писатели выйду и женюсь. Тут один мой кореш, Андрей Иванович, культурный, в общем, мужик, учился в Литературном институте, а нынче работает в школе завхозом, как-то заявляет:

– Братан, ты, главное, не торопись, вынашивай в себе писателя бережно и положенный срок. Обществу не нужны выкидыши и недоноски.

– А сколько надо вынашивать? – интересуюсь я.

– У каждого по-разному, – говорит он, – все зависит от того, какой ты зверь. Если хомячок, это случится скоро. Если слон, придется подождать.

– Хочу быть крупным писателем, – признаюсь я.

– Тогда это надолго, – уверяет он. – Наберись терпения.

Прежде, чем взойти на Парнас, я должен преодолеть череду высоких заборов. Думаю, Всевышний специально чинит мне препятствия, это вроде ходовых испытаний. Перегрузку доводят до критического уровня, чтобы потом изделие под названием «писатель» работало надежно и долго. Сегодня мне за двадцать, а с голо-

вой творится что-то неладное. Дома я окружен стеной умолчаний. А, когда еду на птичий рынок, бабушка кладет в мой карман записочку с нашим адресом, как будто боится, что я не найду обратной дороги.

Я ведь не дурак, вижу, как бабушка, ее племянник Борис и жена Бориса Полина Осиповна смотрят на меня с затаенной тревогой, как будто я недавно совершил какую-то пакость. Ничего не говорят, но обращаются, словно с карточным домиком. А мне их спрашивать тоже ломы. Так и живем, играем в молчанку. Самое мерзкое в том, что после их подозрительных взглядов не могу вспомнить, что происходило час или два назад. Такие фокусы случаются раза два в месяц, а то и три.

В четверг мы заказываем по телефону «такчу». В свои 86 бабушка сделалась маленькой, кругленькой, что колобок. Артроз искривил ее ноги колесом, поэтому она ходит с алюминиевой палкой, будто танцует с ней вприсядку, раскачиваясь из стороны в сторону. Морщины на ее лице напоминают маленькие волны. Я люблю проводить кончиками пальцев по ее щекам, ощущать рельефы кожи. В таких случаях бабушка закрывает глаза и говорит — шас замурлыкаю. А когда распахивает очи, в меня выстреливают черные молнии. Вот это энергия, думаю я, ничего себе старуха. Хотя, конечно, она уже пахнет нафталином и пылью, той самой пылью, что годами оседает на наших коврах и шифоньерах.

Едем в районную больницу, куда бабушка заляжет на обследование. Мы тут одну аферу затеяли. Сейчас бабуля «участник боевых действий», а недавно я вычитал в газете, что инвалидам войны к пенсии будет прибавка. Стали думать, как выхлопотать статус инвалида войны. Руки-ноги у нашей старушки целы. А кокс-артроз не тянет на ранение, полученное в бою. В конце концов, выработали следующую тактику. На теле бабушки имеется один-единственный операционный шов — следствие внематочной беременности. На счастье ту операцию в 1949 году делал какой-то коновал. Шов получился рваным, ни дать, ни взять — осколочное ранение. Если вдруг спросят — а где осколок? Ответим — нету. Удалили на скорую руку в полевом госпитале. Короче, подготовились мы основательно. Осталось обвести вокруг пальца ВТЭК.

Пока мы чухаем в эту долбанную больницу, я смотрю в окошко и ловлю момент, когда в разрыве кварталов, между деревьями, мелькнет море. Оно выкроено таким волшебным узором, что бухты проникают в самое чрево города. Иногда я думаю, что эти бухты являют-

ся внутренними органами Севастополя, может, его кровеносной системой, наполненной голубой кровью.

А в голову лезут мысли о писательстве. Я, конечно, время зря не теряю, пишу роман, который должен взорвать литературное болото. Это будет роман на все времена, похлеще, чем «Война и мир». Главное — преподнести эту штуку так, чтобы любой гражданин, прочитав однажды мою писанину, захотел снова вернуться к тексту и еще раз испытывать душевный оргазм. А потом еще и еще. Человек, что бы там ни говорили, скотина. На первом месте для него жратва. На втором удовольствия. А удовольствия, как плотские, так и духовные, замыкаются на какой-то единый центр. Центр, который делает нам кайф.

Когда начинаю писать очередную сценку романа, я всего лишь притворяюсь писателем. На самом деле я никто, пустое место. Без опыта, без умения, без необходимого знания. Мне кажется, я принимаюсь за дело, к которому абсолютно не готов. Как, если бы закатал рукава, взял скальпель и встал перед больным, изготовившись к сложнейшей операции. При этом, не имея медицинского образования, не зная, как называются органы внутри человека и как они выглядят. Чего там резать, как удалять? Без понятия. Более того, подозреваю, что от первой капли выступившей крови могу упасть в обморок. И, тем не менее, сажусь в куточке, открываю тетрадь с фотографией Анжелины Джоли на обложке и грызу шариковую ручку. Почему? Да потому что уверен — сейчас оттуда, сверху, мне будет диктант, и слова этого диктанта сразу проникнут в голову, в какое-то полушарие. Только успевай записывать. Желательно, без ошибок.

Но есть одна чертовщина, которая не дает покоя, постоянно грызет мозг, мешает сосредоточиться на литературе. А чертовщина такая. Я давно обратил внимание, что Полина Осиповна то и дело превращается в свою собаку, Кассандру, а Кассандра становится Полиной Осиповной. Это совершенно очевидно. Непонятно другое, почему домочадцы закрывают на это глаза. Здесь недолго угодить впросак. Перепутаешь, двинешь под зад облезлой сучке, а попадешь в Полину Осиповну. Не подумайте, что я наговариваю на Полину Осиповну от обиды, ну, из-за того, что она мечтает упрятать меня в дурдом. Нет, я просто констатирую факт. Кстати, видел бы кто эту дамочку. Глаза бесстыжие, а губы маленькие и тугие, как узел суровой нитки.

Время от времени я записываю бабушкины рассказы. Она талдычит одно и то же по сто раз. Ладно, думаю, может, кое-что пригодится, вставлю в роман. Бабушку зовут Валентина Николаевна, но так повелось, что все ее кличут Фарой. Она пытается вспомнить, откуда взялась эта Фара, но всякий раз придумывает новые версии.

В сентябре 40-го Фара отправилась в 9-й класс.

Отец вкалывал с утра до вечера, зарабатывая сапожным ремеслом, а мама болела. Поэтому хозяйственные заботы лежали на плечах Фара. Она бегала в лавку за керосином, таскала воду из колонки за четыре улицы, поднимала пудовые выварки на примус и жарила картошку в чугунной сковородке диаметром с тележное колесо.

Но порой дьявольская сила отрывала ее от трудов праведных и толкала на «подвиги». В такие дни Фара ставила под ружье младшую сестру Любочку и шестилетнего Шурку, маминого любимчика. Как пружину будильника заводила сестру и брата, заряжала их пиратским духом. Все трое летели вниз, в Делегардову балку, взбивая пыль босыми ногами. Проскальзывали в узкое отверстие, проделанное для собак в каменной ограде хлебозавода. Из пекарни по всей слободке растекался дух горячего хлеба. Сторожевые собаки, завидев юных грабителей, радостно виляли хвостами. Фара ложилась на землю и заползала в кусты ажины, разросшиеся вдоль забора. Отсюда хорошо просматривался фанерный тамбур, откуда выносили противни с готовой продукцией. Хлеб укладывали на телегу, в деревянные лари. Любочка тем временем стояла на стреме за углом конторы и готовила торбу к приему трофеев. Шурка же нырял под деревянное крыльцо пекарни и, затаившись, ждал, когда Фара подаст команду. У них была такая норма — стырить две буханки хлеба, а бубликов столько, сколько можно нанизать на левую Шуркину руку, от пальцев до подмышки. Родителям Фара говорила, что хлеб из булочной. На сэкономленные денежки купила себе шикарный берет. Фетровый. Потом стала копить на золотую фикса. Она спала и видела эту сверкающую золотую фикса в верхнем ряду зубов, на втором зубе слева.

Что с нее возьмешь? Молодая, ветер в голове. Ей бы только на танцы, в клуб железнодорожников. И — погнажи наши городских:

*В парке Чаир голубеют фиалки,
Снега белее черешен цветы.
Снится мне пламень весенний и жаркий,
Снятся мне солнце и море, и ты.*

Да, пока не забыл. Как-то захожу в бабушкину комнату, вижу, она сортирует свое реликтовое барахло, разные там фотографии, почетные грамоты, медали. Раскладывает по картонным коробкам для обуви. Подметил такую закономерность — только-только человеку перевалит за шестой десяток, он тут же открывает шкатулки, альбомы с фотографиями, лаковые сумочки с потрескавшейся от старости

кожей, короче, все эти пыльные хранилища, где спрятаны свидетельства того, что жизнь прошла не напрасно.

Я спрашиваю:

– Бабуль, ты чего это затеялась с утра пораньше?

– Сон, – говорит, – приснился. – Будто мой Миша покойный стоит в конце нашей улицы и зовет: приходи, Фара, плохо мне здесь без тебя. Вот, решила подготовиться.

– Тебе страшно? – спрашиваю я.

– Страшно, – признается Фара.

– Но, ведь, там Боженька. Ты будешь жить у него за пазухой.

– За пазухой, – усмехаясь, повторяет бабушка. – А вдруг Его нету?

– Как так? Ты же сама говорила.

– Мало ли? Вдруг там это... Торичелева пустота, – Фара обхватывает ладонями рукоять палки и, сгорбившись, кладет подбородок на высохшие кисти рук. – Если Бога нет, – произносит она задумчиво, – остается земля. Этот проклятый известняк. Зароют на пятом километре, и буду вонять, как дохлая кошка.

– А если Боженька есть?

Бабушка распрямляется, смотрит на меня испытующе, а потом говорит:

– Если Он есть, тоже страшно. Я ведь грешница. Поглядит на меня Господь и скажет: ну и ну, только этой сучки здесь не хватало. Иди-ка ты, Фара, к чертям свинячим.

Ну, вот, опять в голову лезет эта дура. А дело в том, что я все чаще замечаю, как псина Кассандра, подмаргивает мне левым глазом. Недавно не выдержал, посадил ее на колени и спросил напрямую:

– Полина Осиповна, что же вы, голубушка, нам компостируете мозги. К чему весь этот маскарад?

И она отвечает:

– Глупый человек, посмотри вокруг. Видишь, мужики у нас то пьянь, то рвань, то убогие, как мой муженек, а я дамочка субтильная, раба наслаждения, мне нужен регулярный секс. Чтобы морщин не было. Превратившись в Кассандру, я всегда отыщу на соседней улице кобелька, в меру упитанного и зажигательного, как ракета.

Тьфу ты!.. Ну, вот, наконец, приехали. Я расплываюсь, а бабушка говорит:

– Ты этому говнюку лишнего не давай, всю душу вытряс по дороге.

– На что жалуетесь? – спрашивает доктор.

– На старость, – отвечает бабушка. Прямо так и ляпает. Все наши репетиции летят коту под хвост.

Доктор почесывает бледным мизинцем переносицу, а потом тихо произносит:

— Не расстраивайтесь, это тоже пройдет.

Мы торчим в больнице вторую неделю. Днем я вожусь с бабулей, с другими больными, а ночью сплю на диване, недалеко от сестринского поста. Фара чувствует себя все хуже и хуже.

Вчера вызывает меня в кабинет заведующий отделением и говорит:

— Костя, твоя бабушка серьезно больна. Очень серьезно. При таком диагнозе мы обычно выписываем пациентов. Но сейчас я прошу вас остаться. Знаешь почему?

— Ну, наверное, бабуля, ее заслуги... — пытаюсь угадать я.

— Какие заслуги, — отмахивается заведующий. — Из-за тебя. У нас напряженка с младшим медицинским персоналом. Тут, понимаешь, все как-то по-дурацки сложилось — отпуска, сокращения, то да сё... А ты ухаживаешь за больными лучше всех, кого я знаю. Нет, честно, лучше всех. Мне кажется, это твое призвание. Самое настоящее.

Я не возражаю. Пусть думает, что мое призвание — не сочинять великий роман, а выносить какашки за стариками, подмывать их задницы, перестилать кровати, выгребать мусор из тумбочек, бегать за «Бонаквой» без газа и заваривать им крушину, чтоб дристали вовремя. Пусть думает. Я и взаправду делаю это без всякого напряжения, даже готов признать — мне это нравится. Но, главное, Фара будет под присмотром. Кормят здесь не очень, но меня все угощают, особенно старобаны. Я такую вкуснятину пробую, какую в жизни не едал. Вот, например, сегодня во время тихого часа усаживаюсь за столик возле столового блока и начинаю переписывать четырнадцатую главу романа. Дело в том, что мой друг Андрей Иванович, прочитав эту главу, говорит:

— К чему такие кружева? Дело писателя переводить заумную философию жизни на язык подворотен. Не надо пудрить людям мозги и делать вид, будто тебе известна конструкция мироздания. Ты не господь Бог, поэтому описывай комнату, стол, картошку на столе и то, как муж и жена едят эту картошку и спорят о том, кого они будут клепать сегодня ночью — мальчика или девочку.

Я сопротивляюсь:

— А вот Иосиф Бродский утверждал, что главное — это величие замысла.

— Поэт, — невозмутимо констатирует Андрей Иванович. — Им лишь бы выстроить воздушный замок из буковок, а можно в нем жить или нет — по барабану. Ты послушай, что говорил один неглу-

пый француз, политик, между прочим. Звали его Жан, а вот фамилию забыл, то ли Саварен, то ли Брильен, не важно. Так вот он говорил, что изобретение нового блюда делает человека более счастливым, чем открытие новой звезды. Вот настоящая истина.

Ага, сиюю я, значит, переписываю главку, и тут выплывает Агнесса Васильевна из шестой палаты, бывшая училка. Эта старушонка похожа на прозрачную инфузорию-туфельку, обитающую в воздушной среде. Дунь — и улетит в конец коридора. В руках у нее литровая банка, которая наверняка тяжелее хозяйки.

— Костик, наконец-то я вас догнала, — говорит Агнесса Васильевна и ставит банку на стол. — Это вам за ваше доброе сердце. Здесь голубцы из телятинки с черносливом и авокадо. Сверху виноградный лист, так что не пугайтесь.

А чего мне пугаться. Я благодарю училку и волоку чудо-голубцы в нашу палату, угостить Фару. Бабушка лежит лицом к стене. Мне вдруг становится страшно. Я трогаю ее за плечо:

— Костик, что тебе?

Фуу! Слышу, как в ушах колотится мое сердце.

Вспоминаю, как бабушка каждый месяц названивает своим подружкам, и те начинают искать для меня невесту. Находят. Я влезаю в турецкие джинсы, прусь на свидание. Но после одной-двух встреч становится ясно — мы не созданы друг для друга. И дело не в том, что у меня завышенные требования, нет, просто никто из девушек не понимает, на кой черт мне понадобилось становиться крупным писателем? И почему я не обращаю внимания на другие ценности, как все нормальные люди?

— Не знаю, что с тобой делать, — говорит бабушка после каждого моего провала на любовном фронте. — Может, позвонить Виктории Абрамовне? У нее замечательная внучка — Евочка.

— Бабуль, — отвечаю я, — ты пятый раз подсовываешь эту Евочку. Она абсолютно фригидная женщина.

— Может, как-нибудь расшевелишь? — с надеждой спрашивает бабушка.

— Ага, расшевелишь. Скорее возбудится гранитная плита на могиле дедушки Миши.

Бабушка вздыхает:

— О то ж.

Бабушка никак не может приспособиться к здешним условиям. На второй что ли день делает страшные глаза и говорит:

— Костик, где уборная? Я, кажется, обделалась.

Пока я чешу репу, является нянечка и наводит порядок. Так я знакомлюсь с Еленой Прекрасной. И вскоре приглашаю ее на первое свидание.

Жара. Я иду по городскому кольцу, стараясь укрыться в тени деревьев. Листья, опаленные летним солнцем, еще плотно держатся на ветках каштанов. Только некоторые из них опали, свернулись в хрустящие трубочки и лежат на зеленой траве, как елочные украшения. На небе ни облачка. Горячий ветер сушит потные лица горожан и треплет флаг России над зданием Матросского клуба.

Я расстилаю газету и сажусь на бордюр, окаймляющий цветочную клумбу под сенью деревьев. Складываю ноги по-турецки. Два часа пополудни. Время свидания с Еленой Прекрасной. Я разворачиваю фольгу и надкусываю шоколадный батончик. Приторная сладость обволакивает рот и соскальзывает в горло. Откашливаюсь и достаю из портфеля книжку своего тезки «Черное море». У меня такая привычка — если книга понравилась, перечитываю ее по нескольку раз, пока вся эта история и персонажи не встанут у меня поперек горла. Я и музон так же слушаю. Одну песенку кручу дня три, не переставая, за что, конечно, получаю по башке от своих домочадцев.

Я так увлекаюсь, что не сразу соображаю, кто это дергает меня за волосы? Господи, да это же Елена Прекрасная!

— Ты что, по слогам читаешь? — спрашивает она.

— Почему так решила?

— Мы с тобой знакомы восемь дней, и ты все время таскаешь эту маленькую книжку.

Я спешу переменить тему разговора:

— Хочу угостить тебя пивком. Не возражаешь?

Елена ростом с пятиклассницу, кругленькая, как уточка, и каждые тридцать секунд поправляет грудь ладонями, как будто перекладывает парус на швертботе.

— Лучше угости вином, — говорит она.

Я пересчитываю деньги.

— Ладно, — говорю. — Бокальчик холодного «Алиготе» мы себе можем позволить. Куда рванем?

— Знаешь, — загадочно улыбается Елена Прекрасная, обнажая редкие зубы, — лучше купи в гастрономе портвейна «Три семерки». И поднимемся на Исторический бульвар. Надо жить по средствам.

У нее над верхней губой растут колючие волоски. Обычно она их сбрасывает, а сегодня, видно, не успела, и я это чувствую, когда она целует меня в щеку.

— Не забудь пластмассовый стаканчик! — кричит она вслед.

В магазине прямо ледник — работает кондиционер. Может, от этой прохлады у меня случается лихорадка. Сердце бешено стучит, и начинают дрожать руки. А то место на щеке, куда поцеловала Елена Прекрасная, разгорается, как доменная печь. Наверное, уже половина морды в свекольных разводах.

Мы выбираемся из помятых зарослей, опускаемся на травку под кустами сирени. Елена томно потягивается. Я стою перед ней на коленях, наливаю вино.

— Ответь честно, — прошу я Елену Прекрасную, — размер мужского... ну, этого самого, ты понимаешь, он имеет значение для женщины?

Она принимает стаканчик, отводит глаза в сторону и тихо произносит:

— Еще какое.

Мне хочется выяснить, какой именно размер является оптимальным и какие иные качества ценятся в мужчине-любовнике больше всего, но что-то меня останавливает. Наверное, боюсь узнать, что не соответствую ее ожиданиям.

Елена Прекрасная опрокидывает в себя вино одним махом. Сминая стаканчик. Тонкая пластмасса хрустит в ее кулаке. Я вина не пью, я откуда-то знаю, что мне нельзя. Наблюдаю исподволь за своей дамой. Морщинки на ее лице расправились, сейчас она выглядит совсем молоденькой. Ее зрачки сбились с фокуса и съехались к переносице, на лице блуждает глупенькая улыбка. Она немножко пьяна. Это придает мне смелости. Но я никак не могу подобрать нужные слова, все время путаюсь. И понес же меня черт выяснять — подхожу ей или нет?

Но что значит — женщина. Глаз, как рентген. В любом состоянии они видят наше нутро и знают про нас больше, чем мы сами.

— Не морочь мне голову, — говорит Елена. — Мы не железные шестеренки в часиках. Мы живые люди. Нам нужно время, чтобы наши зубчики притерлись и начали совпадать, — она притягивает меня за плечи и жарко шепчет в ухо. — Ты мне нравишься.

— А что нравится конкретно? — тороплюсь узнать я.

— Ты похож на мягкую игрушку. На большую мягкую игрушку. А каждая девушка желает иметь своего плюшевого медвежонка.

Где она такое откопала?

Потом мы спускаемся на Большую Морскую, чинно прогуливаемся под ручку, как семейная парочка. А вот и наш драматический театр.

— Смотри, — говорю я, — премьера «Вишневый сад». Может, сходим?

— Прямо! — возражает Елена. — У меня в больнице свои артисты, не соскучишься.

Здание театра напоминает римский Сенат. Широкий портик с семью колоннами венчает треугольный фронто́н. Колонны мощные, как плотина Днепрогэс. Монументальные лестницы из гранита ведут на террасу, откуда можно любоваться просторной аллеей, расстеленной в сторону Приморского бульвара. Вдоль стороны, обращенной к морю, тянется галерея с балюстрадой. Если бы не решетки, по этой галерее можно было бы прогуляться к нашей центральной гостинице. Когда-то решеток не было, и дворничиха каждое утро выметала ведрами из этого уютного местечка окурки, презервативы, бутылочные осколки, среди которых нередко попадались выбитые молодые зубы.

Вот такой наш театр. Драматический. Я даже не удивлюсь, если там замочат очередного Юлия Цезаря и тот, умирая, неприятно удивится — елки-палки, и ты, Брут!

На Приморском, у самой воды, ветерок освежает лицо. Море гладкое, но поверхность его слегка раскачивается. От этого мохнатые камни на дне колышутся, как живые. Ведь мы рассматриваем их через толщу морской воды, через это увеличительное стекло, у которого всякое мгновение изменяется фокусное расстояние. Стайка маленьких рыб неспешно движется вдоль берега. Я вглядываюсь и не могу понять — то ли рыбок я вижу, то ли их тени, скользящие по дну.

Вообще-то наш город тупиковый во всех отношениях. В железнодорожном депо заканчиваются рельсы российско-украинских железных дорог. И, кажется, что обрывистые скалы Голубой бухты — это последняя пядь земли. Вернее, не так, а с большой буквы — Земли. Дальше — море, бездонное небо, космос. Правда, некоторые утверждают, что за морем лежит Турция. Стамбул, дескать, Константинополь. Может, брешут. Короче, у нас не город, а южный тупик. Маленький, провинциальный, жителей меньше четырехсот тысяч. И половина из них — пенсионеры, как моя бабуля. Это люди из прошлого. Бабушка помнит то время, когда на рейде стоял линкор «Севастополь» с изогнутой трубой, помнит городские улицы, белые от матросских бескозырок, и чинный флотский патруль. От офицера обязательно пахло одеколоном. Она помнит топот яловых ботинок, когда без пятнадцати полночь матросы корабельных экипажей мча-

лись под нашими окнами в сторону Минного причала, чтобы успеть на последний катер.

Сейчас подобного нет и в помине. Я привык к нашему городу, к такому, каким он стал теперь. Я нигде больше не был. Может, поэтому не понимаю, что в нем особенного? Чем он так важен, чем дорог, и почему за наш город, защищая его, сдавая и снова отбивая у врага, погибло огромное количество людей. В глубине земных пластов, под моими ногами, лежат солдаты, которые когда-то были греками, римлянами, турками, русскими, татарами, французами, украинцами, англичанами, немцами, румынами. Да всех не перечислишь. Я думаю, ни один город на планете не может сравниться с нашим по числу людей, погибших за него.

А, может, его просто любят, как любят великолепную женщину. Любят и бьют морды друг другу, чтобы владеть ею.

Перед войной родители бабушки живут на Зеленой горке. Сегодня здесь солидный жилой массив, а тогда — жалкое образование, прилепившееся на северо-западном склоне. Улицы напоминают террасы, вырубленные одна выше другой. Дома плотно прижимаются боками. Возле калиток возвышаются горы прошлогоднего шлака. Зловонная земля, влажная от помоев, обильно зарастает бурьяном.

С первых дней войны прекращаются веселые набеги на хлебозавод. Фара идет работать на завод, но вечно опаздывает и едва не залезает под сталинский указ о переходе на семидневную рабочую неделю. Но знакомый капитан устраивает ее шифровальщицей в особый отдел. Приходится платить натурой. 30 июня 1942 года оба, Фара и капитан, стоят, взявшись за руки, в районе 35-й батареи.

— А как же я? — спрашивает Фара.

— Ты оставайся здесь, — говорит капитан. — Держись ближе к воде. За вами придут корабли.

Я открываю Интернет, читаю бесстрастные строчки: «План эвакуации предусматривал вывоз только командного состава армии и флота, эвакуация остальной части военнослужащих в т.ч. и раненых не предполагалось». И дальше: «Немецкий генерал Курт Типпельскирх заявил о захвате на мысе Херсонес 100 тыс. пленных. Однако по советским архивным данным число пленных не превышало 78 230 человек. В период с 1 по 10 июля 1942 года из Севастополя всеми видами транспортных средств было эвакуировано 1726 человек Севастопольского оборонительного района, остальные защитники города либо погибли, либо попали в плен».

– Корабли придут обязательно, – говорит капитан. – Чуть позже. Он сутулится, как старик, идет к самолету, потом не выдерживает, возвращается. Обнимает Фару и шепчет ей на ухо:

– Домой тебе надо. Слышишь, домой. Документы уничтожь. Форму – долой. Останься в чем попало, хоть в исподнем, и тикай домой. Постарайся добраться этой ночью. Завтра будет поздно. Когда все закончится, я найду тебя. Слово офицера.

– Иди ты в жопу, – говорит Фара и отталкивает капитана что было сил. Думает, что навсегда отталкивает этого гнусного предателя. Ан, нет. Он таки держит слово офицера. Они гуляют свадьбу в сентябре 44-го года. На своей свадьбе капитан, извиняюсь, уже майор Миша танцевать не может. К тому времени протез ему еще не приделали. Он сидит на венском стульчике, спрятав обрубленную осколком ногу под столом. Зато пьет и орет песни, похлеще, чем здоровые гости. Шурка и Любочка садятся одновременно на его правую и на левую ладонь, и он раскачивает их в воздухе, как будто взвешивает на тарелочках весов, еще и папироской дымит.

Я протягиваю бабушке голубцы с авокадо, но она ни в какую. Вторые сутки у нее и крошки не было во рту, только воду пьет по глоточку.

– Видишь, как оно? Хотели сделать инвалида войны, а вон чего получается. Умирать мне пора, Костик. Я как-то позабыла про это. Жить привыкла. Такая дурная привычка.

– Бабуль, может, потерпишь еще, а?

– Да я не против, – соглашается она, – но, видишь, куда поворачивает? На пятый. Как ты будешь один? Мы вроде сиамских близнецов. Раздели и каждый по отдельности тут же умрет. Хотя... Может, я ошибаюсь. Вон, Леночка – круг твой спасательный. Ты Леночку из рук не выпускай. А я подскажу, как с тобой управляться.

У Елены Прекрасной четыре выходных. Она едет к родителям в Мелитополь. А я не нахожу себе места, в голову лезет всякая чепуха. Вспоминаю, как однажды под вечер Фара садится в плетеное кресло на балконе. На небе горят две или три звезды. Не знаю почему, но я вдруг говорю:

– Мой друг, Андрей Иванович, посоветовал – если хочешь, чтобы тебя заметил Бог, подпрыгивай.

Целую минуту бабушка молчит, потом тяжело вздыхает и произносит:

– Ты уже подпрыгнул. И разбил голову о небо.
Не понял. Что она имеет в виду?

Сегодня возвращается моя Дульсинея Тобосская, вернее Мелитопольская. Я выхожу из больницы ни свет, ни заря, чтобы встретить ее. Ночь не тропится уползать за Центральный холм. Я иду по Троллейбусному спуску вниз, к железнодорожному вокзалу. А город не спит, машины одна за другой летят навстречу, ослепляя галогеновым светом. Море в Южной бухте черное, как застывший гудрон. Редкие фонари на противоположном берегу, словно маленькие луны, чертят на воде огненные дорожки. Я, кажется, опаздываю. Ну да, так и есть. Слышите перестук вагонных колес по рельсам? Это из Петербурга прибывает «семерка». Значит уже без двадцати пять. Я почти у цели, уже миновал здание холодильника, заправочную станцию, но придется поторопиться. Жму во весь опор, и мне кажется, что я бегу вровень с поездом, замедляющим свой ход на втором пути. Мне надо успеть на перрон до того, как проводники отворят двери вагонов и начнут вытирать с поручней дорожную копоть. Поезд уже остановился, но я тоже не промах, я лечу по мосту над рельсовыми колеями, скатываюсь по лестнице на перрон. Дышу, как загнанный пес, грудь вздымается и щемит, мне кажется, что туда насыпали толченого стекла. А ночь между тем отступает. Буквально с каждой секундой делается светлей. У меня такое ощущение, словно далеко, где-то в районе Мекензевых гор, разыгрывается нешуточный ветер. Сначала он разгоняет черную пелену над Петровой слободкой. А потом сдувает остатки легкого пепла, обнажая свежее небо. Но вот чмокают, открываясь, двери вагонов, заспанная проводница толстыми руками поднимает лючок над сходнями – клац! Форменная блузочка вот-вот лопнет на ее необъятной груди. В который раз удивляюсь – до чего удивительно пахнут поезда дальнего следования. Это запах странствий, аромат пересеченных степей, дух больших городов, в которых живут другие люди, совсем не такие, как в моем захолустье. Еще секунда-другая, и они начнут спускаться на нашу грешную землю. Посланники иных цивилизаций, люди из другого мира, совершенно недоступного для меня, ну, например, такого мира, как шикарный Голливуд или райский сад Эдем. Летом у пассажиров счастливые лица, ведь они приезжают за экзотикой, как, скажем, я слоняюсь за той же экзотикой по птичьему рынку или как Хемингуэй мотался в Африку, поохотиться на львов. Сейчас я похож на аккумулятор – стою на перроне и заряжаюсь энергией, которую излуча-

ют пассажиры «семерки». И даже «бомбилы» меня не отвлекают, хотя вертятся перед самым носом — «Такси! Такси! Куда едем, господа?» Одной из последних на перрон спускается Елена Прекрасная.

— Как я скучала по тебе, — говорит она и прижимается так сильно, что у меня начинает кружиться голова.

С той стороны, откуда пришла «семерка» прохладный ветер приносит запах моря.

Я провожаю Елену в общагу. Мы чухаем пешком, медленно-медленно, идем, разговариваем и не можем наговориться. Я счастлив, как никогда.

В больнице первой меня встречает инфузория-туфелька Агнесса Васильевна и говорит:

— Костик, ваша бабушка умерла.

Я заявляюсь домой, пытаюсь вставить ключ в замочную скважину, а он не лезет. Та-ак, все ясно — Полина Осиповна сменила замок. Звоню. Слышу, как за дверью заходится лаем Кассандра. И чего она так разошлась, раньше запросто меня узнавала. Налегаю плечом на дверь. Доски трещат — сил-то у меня немерено. А собака прямо таки заливается в истерике, визжит, как резанная. И тут до меня доходит — а ведь это не Кассандра, это Полина Осиповна превратилась в собаку и сходит с ума от злости, что я вернулся домой. Ладно, сейчас разберемся. Я отхожу на четыре шага, разбегаюсь и плечом высаживаю дверь. Бори нет, он дни напролет просиживает в шалмане напротив. Полина Осиповна забилась в какую-то щель и жалобно повизгивает. А Кассандра в образе Полины Осиповны размахивает руками и орет благим матом, слюни летят мне в лицо. Она хватает мой старенький монитор и швыряет его в стену. Я спокойно достаю из шкафа Борин флотский ремень, наматываю на руку. Потом закручиваю дугой Кассандру, задираю ей юбку и охаживаю ремнем. От души. Она кусает меня за палец, чем еще раз подтверждает свою собачью сущность. Дальше не помню.

Прихожу в себя в палате буйных. Сначала я этого даже не понимаю. Просто лежу, намертво стиснутый «конвертом», и смотрю в потолок. Из всех движений остается возможность моргать и шевелить пальцами ног. Меня душит какой-то отвратительный запах. Я вижу только включенную лампочку ватт, наверное, на 200. От ее ослепительного сияния и от мерзкого духана на глазах выступают слезы. Приходится все время смаргивать, чтобы разгонять мутную пелену. Ведь я должен отслеживать и запоминать всё происходящее. Для писателя неважно, в какой ситуации он пребывает — в драматической

или в комической. Ему важно одно — запоминать детали и мерить внутренним вольтметром напряжение чувств и эмоций. А что касается запаха, то вскоре я узнаю его происхождение. В нашей палате лежит крепкий мужичок лет сорока, по имени Жора. Он все время что-то копает. То в углу, за тумбочкой, то под кроватью. Воображает, что в его руках лопата или заступ. И копает, копает и копает. Когда Жору пытаются остановить, он набрасывался на человека и раскраивает бедулаге голову воображаемым орудием труда. Но, поскольку лопаты на самом деле нет, а рука у Жоры весьма тяжелая, оппоненту в любом случае достается по мордам. Нашего кладоискателя тут же вяжут санитары и впендюривают укол аминазина. Но здоровый организм Жоры на дух не переносит препарата-тормоза. Тут же выблевывается весь рацион дурковской кухни. В отвал идут и пирожки с ливером, которые Жорику таскает жена полными сумками. И все бы ничего, если бы вовремя убирали этот срач. Однако нянечка баба Лиза категорически отказывается заглядывать в палату для буйных. Проходит два, а то и три дня, прежде чем у кого-нибудь из наших поселенцев наступает просветление разума, и тогда этому счастливицу вручают ведро и тряпку, и начинается генеральный шмон.

Но я не псих. И не дурак. Я писатель. Вскоре доктора это понимают. Меня переводят в обычную палату, позволяют выходить на прогулки. А потом и свидания разрешают. Первым является Андрей Иванович. В этот раз он какой-то печальный, что-то дома не ладится, но толкует со мной о литературе:

— Писатель — профессия штучная, — объясняет он. — Я ржу, когда про чувака говорят: он второй Толстой или второй Чехов. Зачем нам второй Чехов? Нам нужен какой-нибудь Тюлькин-Килькин, но обязательно первый.

А потом про себя:

— Я не знаю, что такое вдохновение. Нет, слово мне, конечно, знакомо, я понимаю его этимологию, но утверждаю, что оно обозначает пустоту. Вдохновения не существует. Его придумали, чтобы оправдать дни творческого простоя. Ребята, понимаешь, квасят, распутничают, а то лежат на диване и смотрят, как наши продувают шведам, а потом ноют — нет вдохновения, не пишется. А с какого ляду тебе в башку придут мысли, если ты с утра накачался «черниговским»? Или намылился на случку с подругой своей жены. Ты уже в мечтах своих там, в ее квартире, развязываешь шнурки в прихожей и дрожишь, охваченный блудом. Ну? Попробуй в таком состоянии написать сложноподчиненное предложение из двенадцати слов. Черта с два! У профессионалов с этим делом проблем нет. Они не

обращают внимания на обстановку, на болезни, на личное настроение, они, как игральные автоматы, в которых всегда выпадают три семерки. Дерни за ручку — и монеты посыпались. Я был профессионалом. Поэтому и не стал настоящим писателем. Крупным, как ты.

— А разве сейчас вы не пишете, — спрашиваю я, — хотя бы для себя?

— Для себя? — удивляется Андрей Иванович. — Зачем? Для меня пишут другие. Знаешь, Костик, один умнейший старикан сказал: если можешь не писать, не пиши. Я попробовал. Прошло одиннадцать лет, и ни одной строчки художественного текста. Я горжусь собой.

После смерти бабушки всё полетело вразнос. Боря слег. Елена Прекрасная говорит, будто у него отнялись ноги, но мне кажется, он намеренно отказывается ходить, в знак протеста. Еще бы, какой идиот выдержит под боком такую фурию, как Полина Осиповна? Кстати! У меня имеются достоверные сведения, что Полина Осиповна снова превратилась в Кассандру. Причем навсегда. Да, превратилась и дрыгнула из дома. Ее видел Андрей Иванович. Полина Осиповна в образе Кассандры бежала трусцой по перрону железнодорожного вокзала в окружении огромной стаи бездомных кобелей. Вот уж разгуляется, дамочка. А в доме бал правит собака, обратившаяся Полиной Осиповной. И Борина жизнь соответственно сделалась собачьей. Что касается меня, то я теперь работаю в больнице, на хуторе Пятницкого. Убираю палату для буйных, подметаю во дворе, подкрашиваю, подмазываю, иногда помогаю санитарам успокаивать пациентов. Кормят прилично. Иногда выдают гривен по тридцать, а то и по пятьдесят. Ночую в палате № 17. Здесь чисто и тихо. Всего шесть коек. Андрей Иванович меня удивляет. Вот вчера приходит с бутылкой пива. Пиво выдул, а потом говорит:

— Знаешь, Костик, сдается мне, только ненормальный, вроде тебя, может жить в согласии с этим миром. Но иногда я задаю себе вопрос: а что, если именно ты и есть нормальный, а мы все — того, с приветом? Потому не находим покоя и гармонии. А ведь место нам досталось замечательное. Прекрасное место. Земля. А на Земле — этот город, Севастополь. Чего нам недостает для счастья? Почему мы всё время ноём, жалуемся, ходим с недовольными мордами? Возможно, нам не хватает твоей ненормальности. Хотя бы чуточку. Сто грамм. Принял и сразу примирился с жизнью, простил себя и своих врагов, простил свою жену-курву, свое начальство, свое правительство. Освободил сердце от горечи. Живешь и радуешься морю и солнцу, и даже этой выжженной траве, короче, всему-превсему.

Два-три раза в неделю меня навещает Елена Прекрасная. Она садится напротив и, улыбаясь, смотрит, как я намазываю форшмак на «донецкую» булочку. У Леночки замечательный форшмак получается. Потом я чищу апельсин и делю на две части. Мы раскусываем сладкие дольки, капельки сока скатываются по нашим подбородкам и падают на грудь. Мы вытираем друг друга ладонями и смеемся. Потом, если позволяют обстоятельства, мы занимаемся любовью в туалетной комнате. Все приходится делать стоя, но, оказывается, в этом есть своя прелесть. Здесь висит небольшое зеркало, и я просто схожу с ума, когда вижу, как зрачки Елены Прекрасной закатываются под веки, будто она теряет сознание в тот момент, когда мы достигаем апогея.

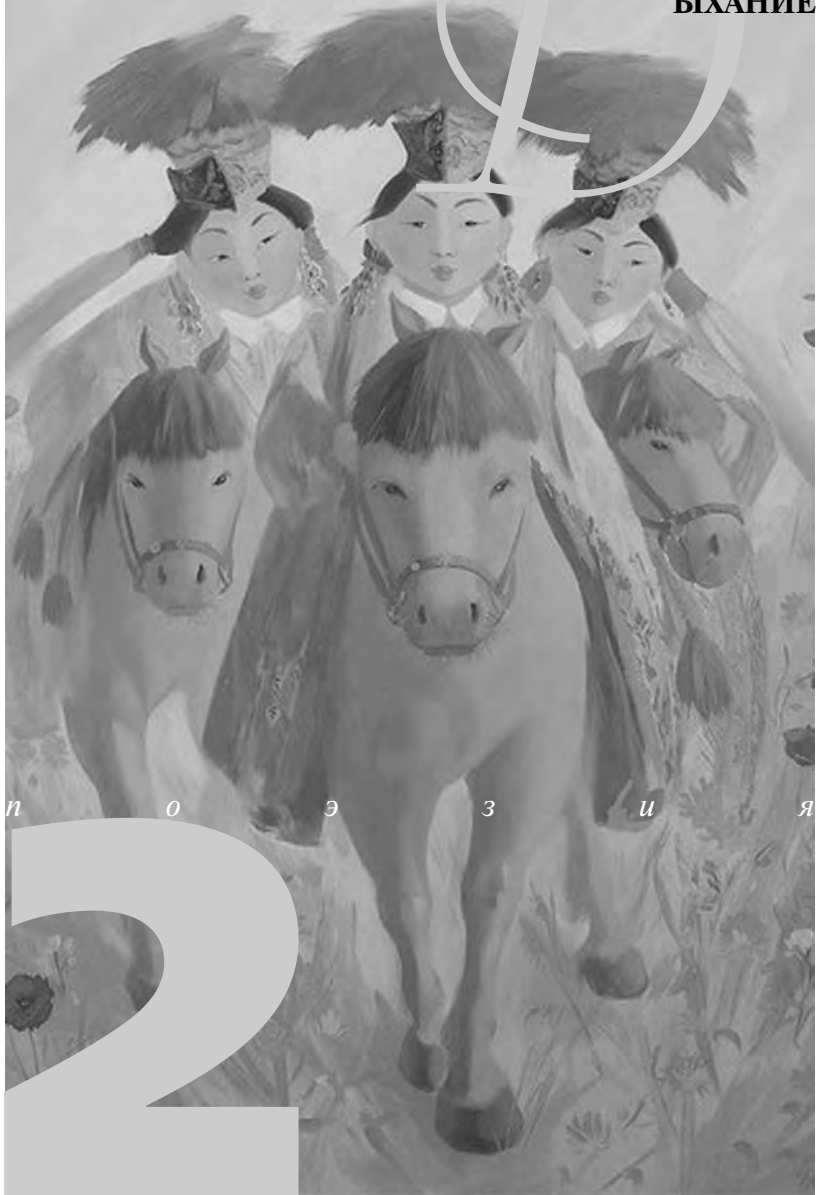
Все время вспоминаю слова Фары о том, что мы с ней вроде сиамских близнецов, если нас разделить, мы тут же умрем, наверное, потому, что некоторые жизненно важные органы у нас по одной штуке на двоих. Ее нет, а я-то живу. Интересно, она знает, что ее сердце бьется в моей груди?

Я продолжаю писать свой роман. Правда, отсутствие компьютера прилично тормозит работу, но я прошу Елену Прекрасную, и она приносит книги по списку, берет в библиотеке Толстого. Она же снабжает меня шариковыми ручками и тетрадями с фотографиями Анжелины Джоли на обложке. Надеюсь закончить роман в ближайшее время. Так что вы еще услышите обо мне. Клянусь небом над головой.

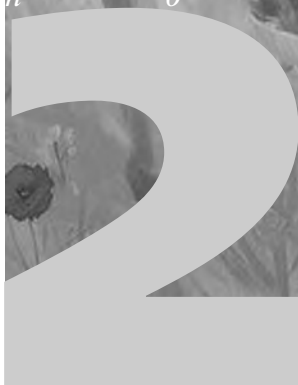
Чтоб никто не сомневался, я беру в кладовке две старые простыни. Надеюсь, старшая сестра не заметит их исчезновение. Сшиваю простыни вместе. Получается огромный экран, примерно, 1500 дюймов по диагонали. Забираюсь на крышу больничного корпуса, она плоская, залита гудроном. Расстилаю экран между трубами вентиляции. Вторым заходом поднимаю на крышу трехлитровую банку полового грунта. Макаю в него кисть и пишу на простынях огромными буквами БОЖЕНЬКА, Я ЖИВУ В ПАЛАТЕ № 17. ПОМОГИ СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ.

ОГНЕННОЕ

БЫХАНИЕ



п о э з и я



Обходя пропускные заставы

СИРОТА

По заказу Ирода-царя
И меня искали, только зря.
Дон меня не выдал, спас камыш.
Прошептала звездочка: «Малыш...»

А вдоль берега скакали кони, кони
злые кони в цезарской попоне,
Стражники вздымали копия,
На тревожны шелесты былья...

Но везеньем Боже не оставил,
Товарняк на рельсы Он поставил,
И уехал я, упав в песок,
На восток, братишка, на восток...

40 лет кочую в захолустьях,
Воду пью в холодных русских устьях,
Черный, Христа ради, у мамаш
Русский хлеб выпрашиваю наш...

Я не раб, не вор, не росомаха —
Огород вскопаю в три замаха...
Погремуха — Стёпка-Огонек;
А крестили?... вроде бы Санёк...

БУДДА

Не был в Индии, теперь уж и не буду,
Но однажды, когда был я пьян,
Видел я загадочного Будду —
Ох, как он охаживал баян!

В прошлой жизни был он виртуозом,
Лысоват, и носом шибко сиз,
В контрапункте так продрал морозом —
Даже опер на лагпункте скис.

Он играл с закрытыми глазами,
Лысый череп под луною тлел.
Мы свои треухи сняли сами —
Будто кто-то помер, улетел.

А ведь был он гад, нарядчик, сука,
Но умел же сердце расколоть!
Мать родна... сторонка и разлука...
Лучше прибери его, Господь...

И прибрал. Как раз после обеда,
Мир блатной вогнал ему перо
В каменное сердце людоеда,
Прямым под левое ребро...

Новой жизни он достиг, паскуда —
Там он не нарядчик и не гад,
Там он баянист по кличке Будда,
Да еще хреновый, говорят...

ЛЕСОПОЛОСА

Я всегда пребывал на последних ролях
В шумных пиршествах, в обществах жрущих.
Я всегда умирал на бескрайних полях
Где совсем уж не видно живущих.

Я шатался по травам, свободен и бос,
Обходя пропускные заставы
По тропинкам, вдоль сталинских лесополос,
По окраинам хлебной державы.

И теперь я лежу посредине земли,
Где бессмертники дремлют хорами.
Жду с востока зари, чтобы ноги несли
К безмянным домам за буграми.

Со штанин снимаю сухие репы,
Добреду кое-как до сельмага...
Оживу за измятые эти рубли
И воскресну в траве у оврага.

Простучит за пригорком «Саратов-Москва»,
Просвистят реактивные звуки,
И склонится к России моя голова,
В ледяные отцовские руки.

РУФЕР

Подо мной пространство без огранки,
Мутный страз, искусственный рубин:
Вижу мир в разрыв телепрограммки,
В трещины расстрелянных витрин;
Там, во мгле стеклянной полусферы,
Исторгая боль, свинец и мат,
Двигутся в атаку офицеры
На седьмой хрустальный каземат.
Сколько их погубло в этих битвах,
Не сочтет мой старый ноутбук -
Столько мегабит в бейсбольных битах
И в костях непримиримых рук...
Времена сбежались облаками.
Далеко от людных площадей
Я столетья трогаю руками,
Словно карусельных лошадей;
Мир гудит, вращаясь и качаясь;
Я беззвучно открываю рот:
Я пою, я искренне печалюсь
За ходящий по земле народ.
У ночных полетов нет мотива,
Спрыгну там, где выше и темней,
Где фокусировка объектива

соблюдает правила огней.
Ветер мне, как друг последний, дорог,
Распахнись, рубаха, в паруса —
Я тебя снимаю, враг мой город,
Удаляясь точкой в небеса.
О, как дорога мне эта призма!...
Черный Сапон врос в меня как свой.
Я последний зритель урбанизма
В метре от бульжной мостовой.

Солнце Ван Гога

ДОМАШНИЕ ГУСИ

Волшебные крыла подрезаны...

К тополию прижмусь щекою.

Летающий измывается, хохочут резвые:

«Гуси-пешеходы,

гуси-пешеходы...»

И даже перо уже не годится поэту,

Полету фантазии вечные перья нужны...

И гуси шагают вслед уходящему лету,

Сложив на спине крыла минимальной длины.

Но древний инстинкт полета все-таки требует...

Птенцы уже подросли, взлетать не пытались...

Гаркнул вожак, и стая затрепетала,

И побежала,

и понеслась,

махая крыльями, в небо!..

И, оторвавшись от тяжелой планеты,

С криком, гиком, песней-рыданьем

Домашние гуси

белою лентой

Вылетели в мирозданье.

Перемахнув через соседний забор,

Они прокричали:

«Прощайте, мы с этих пор,

Как чайки!..»

Пролетев метров сто пятьдесят,

Опустились в горькой полыни.

Над ними в лазоревые небеса

Свободные стаи плыли и плыли.

Листья, как прыгуны с трамплина в воду,

слетали с упругих веток,

Воздух был резок, прозрачен и свеж.

Соседка сказала мужу, заведующему районной библиотекой:

«Слышь, Вася, дуреют гуси, ты им крылья еще подрежь».

СОЛНЦЕ ВАН ГОГА

Набросков более ста,
К картине идти еще долго.
Влепи в середину листа
Красное солнце Ван Гога!
Когда ты придешь, устав,
К другу после дороги,
Глянет в лицо с холста
Мощное солнце Ван Гога.
И стопка уже налита,
Но это веселье убого,
И дразнят тебя с листа
Подсолнухи Ван Гога.
Все годы жизни подряд
Ты будешь к сволочи строгим,
Так бил фашистов отряд
Имени Ван Гога!
Искусство — не страсть — огонь,
Любовь без конца и пролога.
И будит тыщи окон
Честное солнце Ван Гога.
И чья-то, кто с тыщей личин,
Шикарнейшая берлога
Сгорит, попав под лучи
Опасного солнца Ван Гога!

ВЕРБЛЮДЫ

Проходили верблюды мимо села,
Караванные, неземные...
Их дорога на юг песчаный вела
От недобрых машин, от зимы ли...
Класс наш высыпал посмотреть, поглазеть
На огромных, пыльных и мощных.
Шляпы сделали из районных газет
Караван-баши и помощник.
Через Целиноград на Караганду,
А потом к Балхашу и далее
Шли верблюды у времени на поводу,

Мы впервые вблизи их видали.
Их горбы, как вершины степных тополей,
Чуть покачиваясь, мягко плыли.
На окраине, у пшеничных полей,
Из колодца верблюды попили...

ВЕЧЕР

Была дорога не длинна,
Светила скромная луна,
Ботинок наступал на щебень,
В кустах чуть слышен птичий щебет,
В траве, осыпанной росой
Вечерней, как крупинки соли
Блестели звезды. И сверкнула
Кошачьими глазами фар
Машина на краю аула.
Такую б тишь вам на бульвар,
Чтоб после суеты и сплетен
Ваш лик стал (это ж лето!) светел.
Исчезли б кашель и катар.
Есть солнечный удар, а вы
Хотя б однажды испытали
Такой спокойный и печальный
Удар луны или травы?

Есень-река

ГОЛОС

Тёплой свечкою в белом тумане
Голос девичий песню поёт
И по речке в предутренней рани
Словно чистый кораблик плывёт.

Что за песня? Напева и слова
В белом омуте не разгадать,
Только кажется: сердце готово
Всю-то жизнь этой песне внимать.

Мир туманом затянут, как рана,
Тёплой млечною тишью дыша...
Как из белого сна, из тумана
Выплывает навстречу душа...

ОКЕАН

Странно это было, очень странно —
Берегом ночного океана
По песку брести в густом тумане.
Душно, жарко, влажно, словно в бане
Непомерной — под открытым небом.
Было это всё в стране Омане
(О которой не слышал я ране),
На Индийском, что ли, океане,
На таком парном, таком нелепом...

Солнцем истомлённые арабы
Заполночь на берег выползали,
Телевизор на песке врубали,
Кофе пили, ни о чём болтали,
Словно жить лишь только начинали

В это время бесконечных суток,
Видно, прохладя свой рассудок...

Шевелились кособоко крабы
У воды — и каждый смел, но чуток:
Чуть чего — бежит, шурша клешнями, -
Глядь, уж под волною он укрылся...
И отблескивал песок огнями,
И туманом океан клубился
Так, что ни звезды над головами,
Будто весь он в небо испарился...

Надо ж, где тогда я очутился!

Ну, добро бы, музыкой упился
Тёмного могучего прибора...
Нет как нет!

Чуть слышимой волною
Океан поигрывал лениво,
Равнодушно, сонно, незлобиво.
Но я чуял: чудище всё ближе!
Преогромно, обло, видит, дышит.
Сквозь туман всю душу мне колышет,
Обволакивая вязким паром...
Ох, не даром это всё, не даром...
Ну а как качнётся, ворохнётся?

Вот тогда-то всё-то и начнётся!..

По берегам Есень-реки туманы длинные,
А в них горят, как светляки, огни рябинные,
В горниле стилом октября темнеет золото,
Об эти солнышки моя душа исколота.

Чуть слышно плещется во мгле вода холодная,
Светлым-светла, темным-темна, как кровь свободная,
И кто-то из ладони пьёт судьбой единственной
То ли черемуховый лёт, то ль мрак таинственный.

Стариков-шахтёров, что к деду когда-то пришли на поминки, снова я вспомнил...

Совсем немного их было, трое иль четверо, как братья друг на друга похожих...

И молчали они, будто выработанные штреки где-то там, глубоко-глубоко под землёю,

А глаза... как в суровые смотришь колодцы потаённой пустыни,

И морщины на обугленных лицах им шахта рубила кайлом...

Они водку безучастно вливали в себя из гранёных стопок, не интересуясь закуской,

И прямые сидели, незримо держа на плечах непомерную тяжесть судьбины,

Что в степя загнала их чужие на долгую муку, под горькую землю...

Им сердца преисподняя чёрная кровля навек придавила,

Подземельные близкие своды, в мерцании жирном и тусклом пластов антрацита,

Немота многотонная камня и толщи нависших пород...

Все слова на поверхности после безмолвья подземного — лживы.

Все могилы людские под небом на кладбищах — мелки.

На-гора когда выйдешь, вся водка — не крепче водицы...

А «прощай» говорит одна только душа — не язык.

Эти гнёзда грачиные, что корявой сквозят пустотой,

Эти сизые дали, в которых бессмысленны числа,

Не расстанутся ввек с присносущей своей немотой,

Никому не придав растворённого в воздухе смысла.

Станный ветер напрасно почернелые вязы сечёт,

Да и в мёртвом бурьяне ничего он себе не отыщет...

Меж холодных ветвей лишь незримое время неслышно течёт,

По сугробам лишь вечность рукою рассеянной рыщет.

Одинокую галку ерошит порывами и сдувает с пути,

Но она безоглядно ныряет в тугие и рваные струи,

Всё летит и летит, будто знает куда, будто свет и покой впереди,

Будто ангелы птичьи бросают ей встречу поцелуи...

Какой большой ветер!..

Ветер

Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домишек сдул крыши,
Как с молока – пену,
 И если гвоздь к дому
 Пригнать концом острым,
 Без молотка, сразу,
 Он сам войдёт в стену.

Сломал ветлу ветер,
В саду сровнял гряды -
Аж корешок редьки
Из почвы сам вылез
 И, подкатясь боком
 К соседнему саду,
 В чужую врос грядку
 И снова там вырос.

А шквал унёс в море
Десятка два шлюпок,
А рыбакам - горе, -
не раскурить трубок,
 А раскурить надо,
 Да вот зажечь спичку -
 Как на лету взглядом
 Остановить птичку.

Какой большой ветер!
Ах, какой вихорь!
А ты глядишь нежно,
А ты сидишь тихо,
 И никакой силой
 Тебя нельзя стронуть,

Скорей Нептун слезет
Со своего трона.

Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домов сорвал крыши,
Как с молока - пену...
И если гвоздь к дому
Пригнать концом острым,
Без молотка, сразу,
Он сам войдёт в стену.

Поэты

Памяти Тудора Аргези

Когда потеряют значенье слова и предметы,
На землю, для их обновления, приходят поэты.
Под звёздами с ними не страшно: их ждёшь, как покоя!
Осмотрятся, спросят (так важно!): «Ну, что здесь
такое?»

Опять непорядок на свете без нас!»

(Кругом суета:
Мышь ловит кота,
К мосту рукава пришиты...
У всякой букашки просит защиты
Бедный великан!
Зелёный да алый
На листьях дымок:
Их бархат усталый
В жаре изнемог...)

Вступая с такими словами на землю планеты,
За дело, потрянув головами, берутся поэты:
Волшебной росой вдохновенья
кропят мир несчастный
И сердцам возвращают волнение,
а лбам — разум ясный.
А сколько работы ещё впереди!

НЕСЛЫШИМАЯ СИРЕНА

Гибель «Титаника» — это не мистика.
Но, к сожалению, документалистика!
Ужас доподлинный. Ночь — настоящая.
Прорвенно и не по мелкому льдистенко.

Но, перед линзой, за чашечкой йогурта
Млея, улыбку тая сумасшедшую, —
Что ж ты так жадно глядишь
на дорогу-то,
Стольких людей никуда не приведшую?!

Да, стариканы, девицы и отроки,
Ран вы уж больше ничьих
не встревожите;
Было, — да кануло в Лету. А всё-таки,
Что ж вы никак
НАГЛЯДЕТЬСЯ не можете

На беспокойное, на безысходное?
В чём-то и с нашими бедами сходное?
Что распялаете Киноимперию —
Множить и множить за серией серию?
«Гибель Титаника» — это не мистика.
Не развлекаловка. Не беллетристика.
И одного бы хватило сценария —
Вспомнить невымышленные стенания

В море...
Но множится «Гибель Титаника»;
Не иссякай, пассажирская паника!
Чаще тоните, ребята! — для зрителя
Крик ваш последний —
заманчивей пряника!

От сострадания давно ль исцелились мы
к бедной планете,
столь многое вынесшей?
Лучше слезой обольёмся над вымыслом,
чем над реальностью:
прошлой ли, нынешней...

Михайловское

В омут ночи Звёздный Ковш опущен.
Как песок, ко дну его пристали
Маленькие звёзды.
Едет Пущин
К Пушкину — из тёмной зимней дали.

Скрип да звон...
Светает понемногу.
Гривы у коней заиндевели.
Заморозок выдубил дорогу.
Снег на стороне завил деревья.

Вот он, двор!
Окошки в полумраке,
Но внутри как будто свет мелькает...
Без плаща, в расстёгнутой рубаше,
На крыльцо хозяин выбегает;

Две руки (одна — с пером гусиным)
Путника обхватывают туго,
Кудри с блеском седовато-синим
Жарко примерзают к шубе друга...

Звук дрожащий, пьяный быстрым бегом,
Весь из колокольчика не выпал...
Молча поцелуями и снегом
Зимний гость хозяина осыпал,

Между тем, дрова роняя громко,
По дому Арина суетилась
И слеза (старинная знакомка!)
По щеке морщинистой катилась...

Мы падали с неба...

Теперь на душе и темней, и тоскливей,
А прежде — от света слепило глаза!
Мы падали с неба, мы были, как ливни,
Как высверки молний, как в полночь гроза.

Мы падали с неба, как ливень.

Осколки

Крутились в воронках, потоком неслись.
Река пузырилась, и мусором колким
Её наполняла и мучила Жизнь.

Река умирала. Мерцала. Так око
Мерцает у зверя. И вот поутру
Сияющим облачком взвилось высоко
Дыханье потока,
искрясь на ветру.

Промытый огнём и небесною синью,
Он ливнем родится, дождём проливным,
И снова прольётся над горькой полынью,
Над клевером сладким, над срамом земным.

А небеса — без берегов
И облаков легки кочевья.
Нет ни друзей и ни врагов —
Одна трава, одни деревья.

Вода весёлая в реке
Не знает, что зовут Исетью.
Играет камешком в песке,
И пахнет жизнью, пахнет смертью.

Тихо. В тени перелога
Дремлет уставший табун.
Только дыхание Бога
Чутких касается струн.

Тех, что натянуты светом,
Тех, что пронзают насквозь.
Птицам, певцам и поэтам
Их разглядеть удалось.

Но ослепляет сиянье,
Ярче и солнца, и лун,
Кто прикасается к тайне,
Кто дотянулся до струн...

Есть чувство, что прекраснее любви,
Оно и страсть, и ревность пересилит,
Оно огнём не выгорит в крови,
Не ослепит, как все любви слепили,
Не искорежит болью естество,
Глухим проклятьем вслед не отзовется —
Души с душою близкое родство,
О, как нечасто дар такой даётся!

СТЕПНОЙ ХУТОР

Это хутор степной. Это море и скалы.
Это дикий шиповник,
от солнышка алый,
И библейского тёрна зелёная мгла.
И пастух на скале. Он поёт, что слагает.
И смеётся над песней Наяда нагая,
Что под синей скалой отдохнуть прилегла.

Это предков моих и заливы, и рифы,
И дурманная степь.

Кто они, вспоминай!

Может, это кентавры – летучие скифы,
Что за краем земли вновь увидели край?
Может, греки, узнавшие горечь гордыни?
Может, половцы Поля, что мчались гуртом?
Всё песком утекло, растворилось в пустыне,
Всё осело морским позолоченным дном.

Надо камни читать, видеть строки прибоя,
Слушать музыку ветра и шум травяной.
Всё поёт о тебе – колыханье любое
Ковыля,
 незабудки,
 полыни степной...

Нет, не от счастья так бывает –
Я это знаю наперёд:
Душа в печали прозревает,
От боли – Господа зовёт.

А в суете весенней, летней,
Когда цветут и луг, и бор,
И тяжки тыквенные плети,
Что повалили мой забор,
И каждый стебель мёд роняет,
Надломишь – брызнет молоко,
Ликуя, Жизнь к греху склоняет
И убивает так легко...

Над рисовым полем отца

На Дальнем Востоке,
В районе Посьета,
В местечке, где море
Просунуло острый,
Соленый язык,
Был хутор
С корейским названием,
И домик, в котором
Родился мой дед.
Как странно, —
Взросло уже
Два поколения
В степях,
Роднее которых
Уж, кажется, нет...
Но к памяти деда
Я вновь возвращаюсь,
В Посьет...
И лижет мне рану
Моря кусочек,
Похожий на чай-то
Шершавый язык...

Не задумываясь,
Мы учили в школе
Родную речь.

Через тринадцать лет,
Склонившись над анкетой,
Я мучительно раздумываю
Над графой:
«Родной язык»...

Сужается горло реки.

Не видно, не слышно
Теченья воды...

Мальчишкой пустил я
Кораблик бумажный,
Но выросла тень
Из песчинок тоски...

Осенний дождь
Роняет капли...

Чернеет точками дорога...

Еще немного
Дождь следы размочит,
И как искать тебя -
Ума не приложу...

Школьный звонок
Сквозь годы прорвется
Нежданно —
Из сада, где только
Недавно
Шиповник отцвел...

Гляди!

На лицах счастливых
Девчонок из нашего класса
Улыбки еще
не сошли...

Над рисовым полем отца
Кулик летит одинокий.
И крик пронзительно-сердитый
Качнет мерцание сна...

А в дамбу хлынет
Теплая волна.

И звезды двинутся со дна.

Нам не дано
Безоглядно сказать —
Родная земля!
Непросто ответить —
Кто мы?
К югу и к северу
Тянутся наши следы,
Гнезд родовые начала.

Время пришло,
И хочется нам разгадать
Таинства наших фамилий.
Золото — Ким,
Ли - тонкая, белая слива...

И померещится нам
В неоглядной степи
Рокот далекий
Морского прилива.

В том селенье
Осталось два дома
И тысячи прежних домов.
Две вдовы - Соня и Аня
Вас печально проводят...

Я иду по земле одичалой,
Где под пылью - трава...
Вот и камень
Лежит у порога,
Только некому выйти из дома,
Как и некуда больше войти.

Эта крыша сравнялась с землею.
Эти окна не знают границ.

Будто кто-то из близких мне умер...
Я ладонью лицо закрываю.

Задержу, задержу
Уходящее солнце
Ладонью...

Верхи камышей
Осыпаются пеплом,
Сгорая...

Теплеет рука,
Но смутно на душе
От прошедшего дня.

Сквозь желтые шторы
Так нежен октябрьский свет...
Мне чудится легкая поступь,
Хоть знаю, тебя уже нет.

Внизу, под окном,
В положенный срок
Отцвели хризантемы.

И пчелка печально
Лежит на ладони...

За вечными приметами...

За вечными приметами слежу:
мгновенно утром вспыхивают маки,
а вечером сияют в синем мраке.
На даче по второму этажу
гуляют тихо сквозняки ночные.
Судьба порою хороша всерьёз,
и звёзды низко-низко, как ручные,
спускаются по веточкам берёз.

Слов солнечных оранжевая вязь
и лёгкий шелест: рядом бродят тени.
Хвост ящерики мелькнёт среди растений —
и дождь ослепший налетит, смеясь.

Как изумрудных ящерок глаза,
сверкнут и скроются в траве высокой капли.
Мы все участвуем в трагическом спектакле,
судьбу за горечь упрекать нельзя:

горчит полынь, горчит листва берёзы,
но рядом роз медовый аромат,
и флоксы пьяной сладостью дразнят,
дождя слепого слизывая слёзы.

Родится свет из сонной темноты.
Там, где дожди печаль упорно лили,
бутоны нежных лилий приоткрылись,
раздвинув стебли сорняков густых.

Слов солнечных щекочущий ожог,
крик кречета и ящерок скольжение
чуть замедляют времени движение —
и слышно, как спокойно дышит Бог.

Хлопал дом потихонечку ставнями
под счастливое пенье весны.
На расхристанной улице Сталина
родилась я после войны.

Дед домой воротился с подарками:
- Отстрелялся! Добрался живой...
Орденами позвякивал яркими
и крутил патефон заводной.

По ночам он хрипел да постанывал:
ран открывшихся мучила боль,
вновь за Родину и за Сталина
порывался отчаянно в бой.

В низком доме за синими ставнями
трепетал керосинки огонь.
На безрадостной улице Сталина,
заливаясь, смеялась гармонь

над бедой, над саднящими ранами:
- Что нам пуля? А смерть нипочём!
Жизнь — весёлая баба, желанная,
обнимает меня горячо.

Дед отпел свои песни протяжные,
улыбаясь, навеки заснул.
И в последний путь принаряженный,
в рай отправился в караул.

На груди моей — кошка, на коленях — собака:
можно век не печалиться, но
занимают деревья законное место барака —
в прах минувшее медленно обращено.

Зеленеют деревья на месте жилища,
между веток плывут облака,
словно стены, снесённые временем, ищут,
приплывая потерянно издалека.

Ветер в сумерках тучи округлые катит.
Кошка шею обнять норовит.
Из барака уехала девочка Катя.
Не подруга. Но место пустое болит.

Смех и ругань неслись из окошек барака.
Пьянь да рвань, да ещё нищета.
Разудалая жизнь вырывалась из мрака —
и шаталась полночи в кустах.

«Солнцедар» всем бараком неделями пили,
под хмельком поучали детей.
Годы детства поспешно от нас отступили —
И бараки снесённые стали милей.

Нарезали хозяйки тазы винегрета,
и была для соседей распахнута дверь:
по двору разлетались мгновенно секреты.
Все сердца затворились теперь.

Всё же, в доме напротив огни зажигают
и подолгу раздольные песни поют.
Словно свет, голоса отыскать помогают
свой подъезд, свой порог, свой приют.

Никуда не надо торопиться,
никого не стоит догонять.
Тихо вечер над водой струится,
дно реки глубокой не видать.

Веет чуткий ветерок востока,
облака прозрачны и легки,
но доходит запах горьковатый
от реки.

Никуда не стоит торопиться:
жизнь настигнет, если быть тому.
Солнца золотая колесница
рассекает давящую тьму.

По дороге в Дамаск

Дождь по лицу наловчился хлестать
Плётками мокрыми.
Здесь они жили, отец мой и мать,
За этими окнами.
Как бы сейчас забежала я к ним —
С воплями, каплями,
Самым непонятым, самым родным,
Самым оплаканным.
В пышную, стройную, строгую ель
Выросло деревце.
Люди чужие живут здесь теперь,
Только не верится.
Плянуть ли в прошлое? Стёкла чисты.
Вот они, рядышком.
Мать молодая стоит у плиты,
Жарит оладушки.
Молча носивший терновый венец
Времени жуткого,
Сидя у печки, читает отец
Маршала Жукова.

По дороге в Дамаск

По дороге в Дамаск
он уверенным был и карающим.
Но увидел Того, Кто нас всех обессмертил и спас.
И не вынес зрачок
этот огненный свет опаляющий.
Савл ослеп
по дороге в Дамаск.
Он ослеп и прозрел.
Ужаснулся своим злодеяниям.

И не ждал от врагов и друзей ни пощады, ни ласк.
Но вся жизнь озарилась
небесным Христовым сиянием,
осветившим его на дороге, ведущей в Дамаск.
По дороге в прекрасный Дамаск
все мы странствуем, Господи!
И апостола Павла слова вспоминаем не раз...
Просвети, вразуми, поддержи
над родными погостами,
не оставь нас на вечной дороге,
ведущей в Дамаск.

Остров

Ларисе Новосельцевой

Не сравнивай с нашими бедами
Вот эту большую беду:
Собака по острову бегаёт,
Сюда пробежала по льду.
И что там случилось, не ведаю,
Да ночью весь лёд унесло.
Собака по острову бегаёт...
Эй, кто-нибудь, дайте весло!
Но лодка дырява на пристани.
Никто не рыдает пока...
А может быть, выдержит, выстоит,
Дождётся она рыбака?
...Я тоже осталась на острове,
Растаял спасительный лёд.
Толкается льдинами острыми,
Чужое столетье плывёт.
Но я не кричу и не бегаю,
Я с книгой сижу у огня,
И век — золотой и серебряный —
На острове греют меня.
Прохожий? Потомок? Ну кто ещё —
Пошлёт понимания весть,
Оценит со мною сокровища,
Которые спрятаны здесь.

Прыжок

Он знал, он знал про путь неблизкий
И жуть, и мрак, и ад колымский,
Про злой нетающий снежок...
Проём окна. Рывок. Прыжок.
...И вот передо мной больница,
Где Мандельштам решил разбиться,
Сбежать, в небытие нырнуть
И «волкодава» обмануть.
Сгущались страхи — в колбе, в кубе...
И он лежит на свежей клумбе —
Комочек, трус, герой, поэт.
Свободы нет. Спасенья нет.
А те, в тюрьме, страшны, как черти.
Но успокаивала Чердынь,
И не пугал его потом
Мужик суровый с топором...
Судьба смягчилась, да не сильно.
На месте, где упал, — осина.
И ветер шепчет стих листам,
Бормочет, словно Мандельштам.

г. Чердынь

Ура, Урал!

«Ура, Урал!» - воскликнул Арагон.
И я кричу «ура» ему вдогон,
Кричу, ору, пою, не уставая.
Он излечил от хвори и хандры,
И свежи чувства, и глаза остры.
Ура, Урал! Ты видишь — я живая!

Ты выпрямил, ты хвоей надышал,
Ты показал историю, Урал,
Как будто мной период этот прожит.
Ты подарил кусочек горных сил,
Сваял, слепил, в дороге закалил —
И прочным оказался этот обжиг!

Теперь любое горе – не беда!
Я загадала, что вернусь сюда –
И в Каму угольком звезда упала.
Душа России ты, а не «хребет»!
Горит монастырей нетленный свет
В немеркнущем созвездии Урала...

ПО КРУГУ

Малыш

Ты тоже полюбишь искусственный лес,
карманных собак и антенны на крышах —
карьерные выступы офисных лестниц
ты тоже полюбишь, малыш.

Ты тоже захочешь читать между строк
и жить между дел и душисть тех, кто дышит.
Идти со звенящими золотом в ногу
ты тоже захочешь, малыш.

Ты тоже захочешь увидеть себя
на стене
в орденах
с волевым подбородком —
и чтобы служивые мира сего
тебе поклонялись погонями с водкой
и думали вслух благородную зависть
и дружно клялись воспитать поколение
точно с такими же вот подбородками —
и чтобы на стену,
и чтоб с орденами.

Ты тоже получишь однажды поддых
и станешь с тех пор генеральствовать тише.
И тише. И тише. И тише. Так тихо,
что станешь неслышным, малыш.

Любовь

Теплый и близкий, которого нет,
поселился в стране, о которой не знаю
ни строчки из книги, что в детстве читала
мне самая близкая женщина. Мама
на завтрак
приносит, приносит, приносит, приносит, приносит —
не помню —
какие-то блинчики-гренки-яичницу,
в школу пешком, это близко, всего-то
одна остановка, зима, шарф по самые уши,
торопимся - нужно успеть на работу,
а вечером дома на ужин вареное что-то
в семейном тепле истеричной усталости.
Музыка стонет застеночной фальшью,
девчонка соседская режет смычком
безответную скрипку. Мечта: поселиться над этой
девчонкой, девчонкой, девчонкой, девчонкой, девчонкой,
купить барабан и рояль, и гобой, и гитару
и каждую ночь собираться с друзьями —
терзать инструменты и нервы соседей.
Но все это в прошлом, а в будущем нет
ни гобоя, ни скрипки - есть только тоска
по соседской девчонке, которая вскоре
с семьей переехала то ли в Италию, то ли в Испанию.
Мы же остались - в соломенном доме,
в соломенном доме, в соломенном доме, в соломенном доме,
в соломенном доме,
в соломенном доме с гудящими трубами,
дохлыми мухами в стеклопакетах.
И долгие годы мы, как в Мавзолее,
смотрели на этих сухих старожиллов
и ждали, что, может быть, завтра случится
волшебное что-то - и мухи проснутся
и скажут «спасибо».
За то, что мы были настолько ленивы,
что просто смотрели на грязные окна
и верили, верили, верили, верили, верили, верили
в то, что когда-нибудь, может быть,
стекла опять станут чистыми-чистыми.

Дом наш снесли.

Вместе с мухами, детством и старой соломой...

— Вы уверены, что хотите забрать его домой? Вы должны понимать, что здесь мы имеем дело с тяжелым случаем ОКР в сочетании с довольно необычной формой шизофазии. Я прежде с таким не сталкивался с таким случаем. Подумайте еще раз.

— Нет, мы с мужем решили, что сын будет жить с нами. Спасибо вам за все, доктор.

...и все, что осталось, вместилось в мою черепную коробку - как будто бы золотиносная жила, но только без золота и без старателей. Сколько рабочих тележек на рельсах, ведущих по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, скрипящих друг другу о цели конечной, о ценности груза, о смазке, о долге. Я помню тоннель с миллионом дверей — и за каждой толпились какие-то люди. Любили, рожали, искали ключи и когда находили их, то вырезали все новые двери — живые, с глазами, морщинами, мыслями. Мама меня в эту дверь — я не помню, не помню, не помню, не помню, не помню, не помню, какую, столешница цветом неправильным, стулья обычные слишком, на полках нет книжек с картинками, мама, ты стала чужая, чужая, чужая, чужая, чужая, чужая!

— Пойдем, сынок. Папа ждет в машине. Все хорошо. Пойдем, сынок. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем.

В СКОБКАХ

Финансовый вальс

А.П.

Весна пришла. Расцветают деньги,
Вот уж фунты пустили мелкие почки,
иены запутались в ветках,
как в волосах феньки,
и на каждой банкноте — мелкие чмочки.

Мой друг заходил в купюру, равную трем рублям.
хотя мечтал о червонце, но умер как человек —
еще до крантов эпохи нарубленного бабла,
гниющего под ногами, словно вчерашний снег.

Он умер, а мы вписались
в тоталитарный коллапс.
Небо как будто то же, и облака не серей.
Люди как будто те же, и каждый из них — таз,
если в него ударить, он зазвучит бодрей.

Мы вписались в то, чего не берет вода,
и оно всплывает, как боевой танк.
Песо летают стаяй. Индексы — кто куда.
А человек высыхает, как водяной знак.

Я рос в клопиной норе, сам на себя шарж,
учился плакать и тырить по пустякам.
Мечтал о напалме, чтоб он изменил пейзаж.
Выкуривал гири из скрученного косяка.

Рядом жил Ресин, постарше меня и рус.
Однажды я с ним подрался по глупости дурака.
Я и не знал в те годы, с кем именно я дерусь,
а он и сейчас не знает, кто дал ему по рогам.

Для золота нужен всего лишь
кусоч говна,
алхимик не понял, за то и горит в Аду.
Для золота нужно, чтобы мычала страна
и кто-нибудь бляял или же гнал пургу.

Я думаю, смерть для друга, сгоревшего ни за что,
возможно, монетный двор, а, может быть, банкомат.
В нем деньги срока мотают, и он для них, как сизо.
Христос набирает пин и распускает Ад.

Я пожимаю банкноту, холодную, как магнит.
«Мы веруем в Бога», - написано, как пароль.
И ни одна из шапок на улице не горит,
то ли идет дождь, то ли никто не вор.

То ли никто не тать, да и ангел зазря
мусолит небо, не зная, кого спасти.
Так разменяй же деньги и положи на глаза
кружок из меди, чтоб не пропасть в пути.

Еще одна память

Я жил в летающей Трое - нации
расширенной авиации
и нервного срыва. Тот,
Кто не был надушен одеколоном «В полет»,
был не Гагарин, который ушел на старт.
В мавзолее лежали двое,
причем, лежали подряд.

Бокс уважали, но стриглись под полубокс,
если дадут по морде и башня, как колобок,
в сторону отлетит... Что можно сказать про это?
Будешь похож на святого, что нес в руках свою репу.

Если отрубят голову, будешь кабриолет,
это крутая тачка, в ней откидной верх.
Но в Москве тогда не было
ни летних шин, ни кабриолеотов.

Зато каждый, кто не постригся,
смахивал на поэтов,

Каждый, кто не родился, смахивал на врага,
поэтому все рождались и брили себе рога.
Мир платоновских Эйдосов стал похож на пустырь -
все воплотились в Трое и нюхали свой нашатырь.

Мы – части археологии, зачем уезжать в Тамань?
Можно, как Шлиман, в штанах раскопать карман.
Там динарий кесаря в компании пятаков:
один – на метро, а другие - в копилку для дураков.

За горизонтом живут быстрее, там нюхают кокс.
Я поглядел на икону, - на ней был нестриженный Бог
И я сделал скобку в отместку за полубокс,
которым детей пытали, и Троя пошла в закос.

Все оказалось в скобках. Я получил аттестат
условный и в скобках. Начал держать удар.
В скобках завел семью, внимательный госкомстат
мне сообщил, что в скобках я - последний мудака.

Свобода явилась нагая,
бросая под ноги костер.
Мы все в ней сгорели, предполагая,
что у нее – сутенер.

«Воду с лица не пить», - сказала Офелия, поднырнув.
Троя распалась
на шасси, лонжерон, закрылки...
И те, кто свободу еще не успел глотнуть,
начали брить под бокс свои прямые затылки.

Я понял, что в бое стрижек выигрывает, кто лыс,
его не схватить за репу, не приложить в асфальт.
В Трое с петли на штопор меняется наша мысль,
которая раньше старта попробовала фальстарт.

И если б я встретил кого-нибудь из вождей
будущей светлой жизни, то я бы его спросил:
«Зачем ты бросаешь в это говно дрожжей?»
Мы же и так не знаем, что делать с ним».

...Я думаю эти строки у очень большой воды.
Море штормит, дерется, лишая себя дверей.
Их отпирали греки и плыли бы до Москвы,
если б там было море, - не порт для пяти морей.

Изучал анатомию Каин по Авелю
Он ударил камнем, вышло не правильно
Из головы побежали стаи протоовец
Половина – на шерсть, половина – на холодец.

В груди, где должна была жить душа,
Каин увидел клетку, в которой не было ни шиша,
Одна лишь сукровица и что-то, похожее на вино,
Оно вылилось на песок и ушло на дно.

Позже у греков в землю лег Дионис,
Умер герой, а виноградник изрядно подкис.
Из него догадались и выдавили всю кровь,
Поднесли Гомеру, сказав, что троянских вдов.

..Я сижу у Киевской лавры и пью поддельную Алазань
Грузины оставили все себе, а хохлам замутили дрянь,
Демократию, солнце и прочее – все себе.
Я пью и готовлюсь к новой грузинской войне.

Мы отвоюем у них пару прутьев,
и несколько жен положим в свою корзину,
Если среди них Медея, ее заберет Путин,
а она в отместку родит ему двух грузинов.

И если я выпью вина, причащаясь здесь,
То я хочу, чтоб его не разбавили тем, что есть.
Крепость Завета отчасти зависит от крепости вин,
Только армяне не разбавляют, а мы — не в церковь, а в магазин.

Лавра дружит с ракетами, и, значит, ракетодром
напоминает Лавру, хоть брошенный, как детдом.
Любой настоятель рискует, как космонавт,
Выйдя в открытый космос без заповедей и монад.

Там только ветер и радиоактивный шум.
Каин ударил Авеля, зная, что тот простит.
С тех пор мы храним во Аде свой первобытный ум,
ну а душа, что в пятках, жалуется и дрожит.

Последний антрополог

УМЕЮЩИЙ ЗАДУМАТЬСЯ

Умеющий задуматься – умен.
Мысль, молния, которой нет возврата,
Держи ее, не жди ее заката
На небе знаков, чисел и имен!..

Чужим уроком разум пробужден,
Внимание открытием чревато.
Платон старался изложить Сократа,
В итоге появляется Платон.

И мы беремся повторять Платона,
Чтоб в хаос наш внести заветный лад
И Логосу не нанести урона.

В нас демоном вселяется Сократ!
Ученики нам внемлют благосклонно,
И нечисть заготавливает яд.

Мир наполняют жуткие фантомы,
Угрюмые дельцы, за татем тать.
На службе их рабов лихая рать,
Кто драму дней не отличит от дрёмы.

И нечестивым снова благодать –
Калечить храмы, наживать хоромы.
И мы, порой уже не зная, кто мы,
Под их дуду пытаемся плясать.

Востанут ли прилежные потомки,
В отцов швыряя школьные котомки
С науками, которые не впрок?

Звучит над миром музыка упрека,
Да сбудется речение пророка:
Последней яви наступает срок!

Солнце восходит над нашей пустыней.
Как растерялись его лучи!
Солнце устало, солнцу отныне
легче живется в кромешной ночи.

Как мы привыкли к приходу мессии,
след его в каждом потерянном дне.
Похороните солнце в России,
здесь ему места хватит вполне.

Землю покинем и звезды заселим,
чтобы упрочить свое бытие.
Чем ненасытнее землю мы делим,
тем невозвратней уходим в нее.

Как безотрадны дали пустые,
храма не высветит благодать.
Похороните землю в России,
здесь ей просторнее будет лежать,

здесь, на месте пустом и высоком,
где отстояться отчаялся свет,
здесь, между западом и востоком,
где ни востока, ни запада нет.

Голос переходит в шепот.
Час еретикам и сектам.
Сумерки проводят опыт
Над проклятым интеллектом.

Слышен вечный плач народов,
Что ушли, в скитаньях сгинув.
Столкновенье антиподов.
Разлученье андрогинов.

Время в шрамах и разломах.
Век запутался в мгновеньях.
Лишь недостаток насекомых
Явлен в их поползновеньях.

В безобразии безверий
Молим у небес наживы.
На развалинах империй
Попраны императивы.

Всячина не хочет всякой
Быть, а только суверенной,
Между волком и собакой,
Между печкой и вселенной.

В электрической чашобе
Размножаются химеры,
Словно приняли микробы
Очевидные размеры.

Через город лег проселок.
Я иду в разломе некоем,
Как последний антрополог
За последним человеком.

СТЕПНАЯ АЛЛИЛУЙЯ

тяга к вечности

Человек,
Не дойдя до горизонта,
Передает эту мысль птице.
Птица,
Не долетев до горизонта,
Сгорает в лучах заходящего солнца,
Надеясь,
Что солнце исполнит завет
Человека и птицы.

Страна юности и детства

Мы все еще прошлым живем,
Романтикой бывшей страны.
В час оный все также вдвоем,
Но с этой уже стороны.

Не знали, что там, наверху,
Не рвались на бал сатаны.
Душой уходили в строку
На гребне сердечной волны.

Порою с весельем был страх,
Вернее, лукавым он был.
Но что-то дышало в стихах,
Как будто бы ангел кружил.

Стихами помянем страну,
Покуда мы живы, она
Из памяти тянет струну,
И звоном стоит тишина.

Это пепел святых
Проступает сквозь почву – не иней;
Это пепел святых
Все кружит и кружит – не снег;
Это пепел святых –
В нем твое зарождается имя
И твое ремесло,
И твой поэтический век.
Это пепел святых
Сединою в твоей шевелюре.
Это пепел святых
На страницах сквозь строки сквозит.
Это пепел святых
Сквозь все эти де-факто, де-юре
Проступает в судьбе
И судьбу нашу ставит на вид.

Осень

Песчаный берег у реки,
Я в краски осени вступаю.
Прозрачные стоят деньки
Вон теми яблоньками с краю.

И дышит тканью полотна
В закатный час неторопливо
Речная эта глубина
В том образном наклоне ивы.

И на зиму хозяйка в дом
Все не находит квартиранта.
Тропинка наша за холмом
Под снегом будет ждать до марта.

За дверь схоронится душа
Неумирающего лета.
Колодезной воды с ковша,
Последний мой глоток – за это.

Владычица былых племен,
Ушедших,
Как песок сквозь пальцы,
Историей твоей пленен,
И в ней тавром твоим клеймен.
Ниже ключиц
В две чаши панцирь.
В них билась жизнь под звон мечей.
Твои —
И воля, и отвага —
Легли стихами на бумагу,
Гравюрами глядят с камней.
Пусть этот миф из той страны,
Где остров Лемнос,
 дух гречанки,
Увижу я со стороны —
На помощь скачет половчанка!
И там,
Где ныне древний путь,
Все тянет тетиву к заплечью,
Стрелой предвосхищает встречу,
Да правая мешает грудь.
Ах, как желала молоком
Она налиться в ночь покоя.
В нее впивались детским ртом,
Но лишь во сне, и было сном,
Да, сном все было после боя.
Исповедальный шепот твой
Из-под холма выносит ветер:
— Встань, путник жизни, предо мной,
Владычицу
 признай в скелете!
Входи же в склеп, в земное лоно,
Степная здесь почитет дочь,
Не повидавшая, поверь,
Мужского вражьего полона.
Входи же, коль пробита дверь.
В загробный твой вошел шатер,
Последний камень отодвинул.

И черепа безглазый взор
Во мне раба, быть может, видел.
Стрелу,
Лежавшую с тех пор,
Раб из межребрия не вынул.
Вообразив твои черты,
Твой голый череп поцелую.
И – взвоят надо мной кусты,
Споют
 степную
 аллилуйю.

Воля — камень, сердце — глина

Мы встретимся в другие времена,
Когда не будет летоисчисления,
Когда падёт Китайская стена
И всех династий кончится правленье,

Когда плотину каждая река
Прорвёт насквозь, губя свои народы.
По краю раны — рана глубока —
Пойду к тебе, совсем не зная броду.

И перейду в потусторонний край,
Где смерти нет, где так невинны страсти,
Где кого хочешь в жёны выбирай:
Всё буду я — какой угодно масти.

Какой кордон нелепых заграждений!
Я и без них не смею подойти.
Мне б в поле-перекатном настроенье
бегучий след вычерчивать в степи.
Мне б одолеть земное приращенье,
горячей пылью сжеживая страх.
Мне б выучить твоё произношеньё
и песней поселиться на устах.
Мне б время задержать до недвиженья,
переплывая Леты водоём,
Мне б птицей Доненбай до неможенья
кричать тебе об имени моём...

Волнуешься ль в далёком далеке,
Как дочь твоя, как девочка-супруга?
А я к тебе привязана так туго,
Что и зазора нет на узелке.
Не разрубая гордиевых пут,
Не сделать неделимое делимым.
Любимое не станет нелюбимым,
И — верю! — алый цветик привезут
Из дальних странствий, дальних атмосфер,
Где корабли Садко и Финист-сокол.
И сказки не закончатся до срока,
Пока ношу я Золушкин размер.

Душа моя — то истина, то кривда.
То ровный путь, то ломаный зигзаг.
Всё мечется меж Сциллой и Харибдой,
Которых разделяет только шаг.
То разольётся вешним половодьем,
Выплёскивая чувства через край,
То ненавистью высушит угоды
И прежний уничтожит урожай.
Душа моя — в исканиях духовных
Смятенье двух колеблющихся чаш:
То гордостью наполнена греховной,
То святостью неутолённых жажд.
То решкой, то орлом переодета,
И золото в ней чудится, и фальшь,
Душа моя — двулика монета:
Ни Кесарю, ни Богу не отдашь...

Мне бы в юность возвратиться,
Чтобы всё начать по новой:
Целый день с отцом трудиться
На строительстве церковном,
А потом, в карманах пряча
Благодатные мозоли,
Отправляться в путь бродячий
И шагать бок о бок с колли
В сарафане ярко-красном,
Приспустив платок на плечи,
По дороге ненапрасной,
Не вокруг судьбы — навстречу!
Мимо школы, мимо дома,
Нефтяного института,
Чтоб с тобою стать знакомой
Снова там — в конце маршрута.
А потом — тайком венчаться.
Воля — камень, сердце — глина.
Стать женой твоей в семнадцать.
И родить. И снова — сына.

Нам всегда говорили: не верьте бродячим шутам!
Нам всегда говорили: не верьте заезжим артистам!
Каждый день начиная с нетронутой глади листа,
Я уже уничтожила ворохи скомканных листьев.
Я уже побывала у женских иллюзий в плену:
Миловалась кунницей, юлила змеёй и лисицей.
А теперь, спохватившись, пытаюсь загладить вину.
И стою на распутье, никак не сумев раздвоиться!
Рыщет волком недоля, кружит надо мной вороньё.
Пугачёвской девицей была — и отречься не вправе!
Потому ли сейчас, принимая решение моё,
Я борюсь с искушением крикнуть:
«Свободу Варраве!»

Любитель забав, я свободы твоей не возьму.
Тебе всё равно: в голубом я наряде иль в белом.
Я буду в песочном, надетом на голое тело,
В сухом и сыпучем, царапая, словно самум.
Я буду в горячем. И, кажется, не ошибусь:
Ты весь — изумленье подвергшихся обжигу веток.
И я загадаю на пару чеканных монеток:
Орёл или решка — собьюсь ли с пути? Не собьюсь.

Орлы и решки

1.

Лиловеющий лес – он уже затаил в себе звуки:
покрасневший лесник, зарываясь в сосновую свежесть,
по хрустящей лыжне убегает по-заячьи бодро.
Его палки вонзаются в снег, как железные руки.
Засыпающий дятел стрекочет все реже и реже...
И старуха везет на салазках обмерзшие ведра...

Голубая прохлада – по капле, как сок из березы,
она мерно стучит по земле, наполняя сосуды
разреветшейся сони-природы, на время забывшей,
что зима не сильнее весны, и что смертны морозы.
И чернеют сугробы, как груды немой посуды,
растворяя в лучах золотистых свой рыхлый излишек.

Хорошо! В эти дни будто небо спускается к людям,
Говорит на простом языке и летит голубями
над горящими кровлями зданий, пропахших весной...
Растекается солнце желтком на полуденном блюде,
и серебряных елей, прикрывших аллею ветвями,
раздается шуршанье, пропитанное тишиною...

2.

За секунду на ветке взрывается две-три вишни...
измарав толстый клюв в кисло-сладком сиропе, ворон
ходит в шаткой траве босиком, шевеля глазами.
За дырявым кустом, натянув тетиву, мальчишки
молча целятся в птицу – жестокость исходит горлом
из худых, загоревших тел. В желто-сером гаме

мертвых листьев, кричащих на ветер, слышна тревога.
Чернозем, продуваемый вихрем, садится пылью
на цветы гладиолусов, словно суля убийство.
Оттолкнувшись от пальцев, стрела подождет немного,

будто в чем-то засомневавшись, но миг — и крылья
молчаливой птицы в кричащих утонут листьях.
Пропаганда тоски и смерти — в основе жизни,
в сердцевине природы, на карте родимых пятен...
Прозывая в пустых сновиденьях на дне утробы,
желторотый птенец никогда не проснется, что бы
там ни ввали и ни заявляли мальчишки. Взвизгни —
и любому хищнику страх твой всегда понятен!

К преступлениям глух, растасканный на мишени,
ранневянувший сад, где из веток родятся стрелы,
а из косточек вишен и слив — смертоносные пули.
Возвратившись, мальчишки как будто похорошели!
Пирожки за разбухшие щеки суют пострелы,
с нетерпением вдыхая пар из большой кастрюли...

Утомленный охотник, ты в смерти находишь славу.
До отказа набитый ягдташ — как присяга вере
в то, что птица есть жертва, и смерть для нее — обычай.
Но орел или решка — не знает никто. И травы
лишь до срока молчат... Слышишь взмахи и клекот зверя?
Это он — твой «Орел». Но теперь ты — Его добыча!

3.

Помню, как-то обмолвился в шутку в одной из бесед:
“Ненавижу поэтов - потея над собственным мозгом,
Здравый смысл отдавая во власть поэтическим розгам,
Они всякую мысль превращают в изысканный бред,
В тесный короб размера стараясь ее уместить,
а затем звучной рифмой примять, словно камнем надгробным”.
Собеседник мой, сделав лицо снисходительно-сдобным,
Лишь ехидно смолчал, хоть и вправе был мне возразить.

Только вот незадача - со временем начал и я
Постигать в одиночестве правила стихосложения,
Тратя дни на бесхозный продукт мозгового брожения,
Под названьем - стихи. И тетрадка все толще моя...
Кто мне скажет - зачем вот сейчас я сижу и пишу?

Разве есть в этом смысл? И не проще ли взяться за прозу, где к “морозу” совсем нет нужды присобачивать “розу”? “Нет”, — отвечаю я вам. Я сейчас не пишу — я дышу...

4. Утренний звон

Торопливо сглотнув последние несколько капель сна, под внезапный треск разорванных сновидений, я проснулся от звона церковных колоколов. Я почувствовал, как по кровати бежит волна из чугунных ударов, грохочущих вместо слов «Просыпайся, сынок...» из далекого детства. В пене колокольной волны раздавались молитвы тех, кто грешил, и был за грехи обречен посмертно умирать с рассветом — их крики стирали грань между явью и сном. Напряженно взглянув наверх, я увидел там лишь паука... «Встрепенись и встань» — прошептал он, и в маленькой щелке пропал бесследно. Протирая глаза, я поднялся с кровати. Пар от растопленных снов исходил от подушки влажной, к потолку прибываясь подобием облаков. И вдруг понял я — лишь потому не возник пожар, что растаял мой сон в половодье колоколов, зной души поглотивших со всеисцеляющей жаждой.

5.

«Я царь — я раб — я червь — я бог!»
Г.Р. Державин

Наверное, каждый по-своему раб
и царь, и, конечно же, бог.
Один-одинешенек тащишь свой скарб
и дуешь в изогнутый рог.
Но в час одинокий, когда за окном
разносятся крики прислуг,
уставший, ты думаешь лишь об одном:
к чему весь «театр» вокруг?
Ведь каждый же может, друзьям вопреки,
вдруг сделаться «чистой доской»,

устами прижаться к излучке реки,
умыться прохладной водой,
накинуть на плечи фланелевый плед,
почувствовать солнце внутри...
Но строг и душлив пустой кабинет,
с лампочкой вместо зари.
И грузные люди расселись вдоль стен,
намеренно резко шипят —
несчастный, ты вновь попадаешь в тот плен,
где маски с тобой говорят.
И сам начинаешь, глаза закатив,
плевать ухмылками в ночь,
свой мозг превращая в сухой абразив,
чтоб вечную грусть превозмочь.

6. Судьба одной сливы

Солнце съежилось в паутине сумерек, словно амеба.
Истекая фруктовым соком, теплом и звоном,
его тело - как липкий мед. По-паучьи скользко
наползает тень на пропахшие сном трущобы.
Неподвижный месяц отважным глядит Ясоном
и лукавых звезд созывает ночное войско.

В незнакомой гостиной, в тарелке из-под салата,
под ритмичное сердцебиенье часов с кукушкой,
обнаженная и печальная, дремлет слива.
Ее сочные сестры и два абрикоса-брата
навсегда исчезли в утробе больной старушки,
от рассеянности купившей их вместо пива.

Располневшие пальцы в холодных, сухих морщинах,
словно хоботы мамонтов нагло вползли в тарелку,
выбирая ту плоть, что помягче и повкуснее.
Лишь единственная уцелела от чертовщины
недозревшая ягода — самой упругой, мелкой
оказалась она, и свобода осталась с нею.

Бой часов отбивает секунды, часы, минуты...
В этом логове старости разве что смерть учтива -
тихо бродит, сминая газетный в руках обрывок...

На невытом столе среди прочей пустой посуды
рядом с миской, где в одиночестве дремлет слива,
разместился пакет с полулитром дешевых сливок:

«Вы только поглядите на нее!
Лежит себе, и в косточку не дует!
Никак наскучило ей сельское житье -
решила в город перебраться. Ё-мое,
когда же это кончится! Зверье,
а мнит себя мешанкой. Вот ведь будет
потеха, если ягодку сию
проглотит наша дурочка-старушка!»

«Так ей и надо! - вторит сливкам кружка
с остатком пива, - Нужно на корню
пресечь попытки прочих деревенских
и сельских выскочек соваться в города!»

И «кириешки» хором: «Да! Да! Да!» -
в ответ кричат, поддакивая веско.

Недовольно пыхтя и захлебываясь от гнева,
супостат-самовар норовит кипятком ошпарить
всполошившую кухню незваную чужестранку.
Вилки с ложками крикают: «Тоже мне, королева!
Разлеглась на фарфоре, как будто ее тут ждали!
Погоди, мы тебя еще вывернем наизнанку!»

Но по-прежнему бессловесно дитя природы.
Под надорванной кожицей теплится жизнь едва ли —
проступила испарина, вниз соскользнув слезою...
В этот час перед взором ее проплывают годы:
как в садовую землю сливовый росток сажали,
берегли, собирали плоды, под ветвями стоя

и удерживая переполненную корзину
спелых ягод, готовых вот-вот перезреть и лопнуть
окропив благодарные руки горячим соком.
А затем - долгий путь в Москву. Темный склад магазина,
сотни ящиков, друг на друге стоящих плотно,
бледный свет ядовитых ламп, дребезжащих током,

покупателей хищные взгляды, отравя денег,
все пространство вокруг заразивших бумажным хрустом...
Наконец, алкогольная тряска в руках старухи,
пять секунд на весах, звон монет, продавец-неврастеник,
страшный приступ удушья в пакете, замок, дверь, люстра,
стол, тарелка и липкое прикосновение мухи...

Так прошла ее жизнь... Вместо теплой земли - тарелка,
пожелтевший фарфор - вместо рыхлого чернозема.
Вечереет город, в сливовой исчезнув дымке...
Все ленивее чертит круг часовая стрелка,
и весь мир вокруг - лишь подобие фотоальбома,
из которого кто-то взял и вырвал все снимки...

7.

Бедный мальчик, ты все еще ищешь минное поле
в дремучем лесу, будто мало вокруг медведей
и голодных волков: разлететься на сто кусочков
также больно, как быть проглоченным. Впрочем, боли
не бывает много, и не важно, будешь ты съеден
или взорван — смерть все равно не поставит точку

нашей глупости и надеждам: вчера я видел,
как столкнулись две легковушки — вросли друг в друга
два куска металла. Казалось бы, катастрофа!
А над сдавленной грудой, в своем первоизданном виде
две души, заключенные в два светозарных круга,
поднимались в небо — к Аллаху ли, к Саваофу...

.....

Кто-то тебя разозлил — ты кричишь «придурки»,
разбрызгивая по полу, потолку и стенам

остатки слюны — амброзии старых обид и сплетен.
Ты катаешься по квартире, в гнев кидая руки
на призраков чьей-то иронии и, глотая пену
злости, ревешь, как в ущелье ветер...

Больной, как пес, забившийся в конуру от жизни,
ты скулишь на судьбу — но восходит солнце,
красное и горячее, как кулак Вселенной.
Заслоняясь от света, ты становишься вдвое капризной,
и печаль в душе — слаще золотого червонца,
выпавшего из кошелька красотки. Совершенный

и безрассудный конец — ты мечтаешь о нем, как грешник
решивший уйти из жизни назло святошам,
что слашаво пишат о высоком в лучах амвона.
Умирать куда легче, когда выпадает решка,
(жаль, орлов на монетах, как правило, много больше)
и ты ждешь знака свыше, как дьявол — Армагеддона.

Но молчат небеса... А не пора ль встряхнуться,
отрубить ветхий сук, на котором сидит ворона,
и прислушаться к чистой волне соловьиных трелей?
Впрочем, каждый решает сам — во сколько ему проснуться.
Главное, чтобы трехпалубный лайнер Харона
не поднял трапа, пока мы в него не сели...

КИНО МОЕГО ДЕТСТВА

МОЙ АНГЕЛ

Наталье.

Ты говоришь — во сне я замираю.
И ты меня касаешься рукой,
Чтоб ожил я. Ночная, дорогая,
Ты ангел мой, ты чудный ангел мой.

Когда душа идет по промежутку
На свет звезды. От этой высоты
Бывает сердцу трепетно и жутко...
И я бы умер, если бы не ты.

Мне дороги тревожные признанья,
Твоя забота, ставшая стеной.
Но я во сне не чувствую касанья,
А слышу трепет крыльев надо мной.

ПРЕДОЩУЩЕНИЕ СТИХА

Полина. Поле. Полынья. Полынь.
Слова из сумерек, как звезды, проступают.
Ты, как лунатик сквозь ночную синь,
Идешь над самой пропастью по краю.

Еще не строки, только лишь слова
Из глубины поднимутся наружу,
И, словно зерна в крепких жерновах,
Сотрутся в пыль и напитают душу.

Уже не сон. Не явь. Еще не свет.
Предошущенья зыбкая граница.
Вспугнешь, и сгинет, изойдя на нет,
Но иногда и в форму воплотится.

И ради этих всполохов зарниц
Живет душа, чтобы принять как чудо
Слова в стихах — подобно стае птиц
Летят на свет, крылаты, красногруды.

У консульства России в Астане
Я мерз три дня на холоде собачьем.
Доказывал причастность той стране,
Что кровью предков долг сполна оплачен.

Увидели бы предки-казаки,
Держа границы грозного Китая,
Как стены консульства родного высоки,
И очереди — без конца и края.

Посольство Турции стоит невдалеке.
Туда впускали женщин отогреться,
Те оттирали щеки в уголке,
Благодарили добрых иноверцев.

Я — кровный сын, и я тобой дышал!
Не пасынок с навязчивой любовью!
И то, что мерзлой пастой я писал,
Отогреваясь, проступало кровью.

Кино моего детства

Я помню, как в детстве далеком,
К сеансу уже полупьян,
К крыльцу подходил полубоком
Хромой кинокрут наш Иван.

И места найти не надейся —
На печку, в дверях, на окно,
Ведь нынче кино про индейцев.
Вот это, брат, было кино!

Могли всем селом помещаться
В битком переполненный клуб.
За два пятака это счастье —
Втесаться меж радостных шуб.

И если вдруг лента порвется,
Как будто идя на таран,
Взрывается зал, раздается
Всеобщее: «Рамку, Иван!»

И нет бы, ему притаиться,
А он из окошка кричит,
Зашедший к нам в тыл, бледнолицый,
Наш дядька Иван-инвалид.

Ликует деревня родная,
Торопится дядька Иван,
Из прошлого луч направляя.
Гори, мой волшебный экран!

Над буйной моей головою,
Над миром, в котором темно,
Свети из эпохи застоя,
Где доброе крутят кино!

НАД ВАСИЛЁВКОЙ...

Вот моя деревня...

1.

Когда в шестнадцать лет, со школьной парты,
Я получала первый в жизни паспорт,
Мне на Урале было так неловко
Назвать месторождением - Василёвку.
Я с белорусского перевела:
Васильевкой деревню назвала.

И даже не задумалась нимало:
То ль васильками поле там плескало,
То ль в честь родного деда Василя
Так назвалась далекая земля
И в самом деле, что же здесь такого,
Коль бабушкины очи васильковы,
И мамин синевою наполнен взгляд,
И у отца с солдатского портрета,
Что сделан был под Могилевом где-то,
Глаза голубизной речной горят?

Я даже не печалилась нимало,
Что этот цвет глубокий растеряла,
Что строгие уральские леса
Зеленого плеснули мне в глаза,
А Казахстан - тот ковыля посеял:
То рыжим проявляется, то серым...

Но рядом дочка - смуглое создание.
И с каждым годом все сильней желанье:
Забуть о нескончаемых заботах,
Лететь на самых быстрых самолетах,
Ускорить бег курьерских поездов,
Потом ловить попутные авто,
Потом идти плящимся проселком,

Чтоб наконец-то девочке сказать:
— А вот твоя деревня — Василёвка!
И глянуть в васильковые глаза.

2.

...Тогда, на Сенеже, мы оба
Не сразу поняли: Чернобыль!

А облако на нас уж шло.
Но не накрыло, не нашло.

Его над белорусским краем,
Над Василёвкой расстреляли.

И вот несет она в глазах
За нас с тобою взятый страх,

И вот несет она в крови
Погибельность своей любви...

Весенние мотивы

1.

Дождем размытые пейзажи -
Импрессион, импрессион -
Навеют скуку или даже
Навеют сон.
Кому-то - мимо сердца, мимо,
Сквозь дождевое оконце...
Мне застит свет твое, родима*,
В слезах лицо.

2.

Это луг золотой поутру на восходе -
Это птичий, шмелиный, хмельной травостой.

* Родима (белорусск.) — Родина.

Но куда он уходит, куда он уводит
Мое сердце и взгляд - этот луг золотой?

Это луг золотой ввечеру на закате —
Солнца луч среди сосенной меди литой.
И ни сердца, ни взгляда вовеки не хватит,
Чтоб его унести - этот луг золотой.

Этот луг золотой! Этот запах медвяный!
Затеряться, остаться в зеленой стране!
Он еще воспарит на своих одуванах,
Только все это будет уже не при мне...

3.

Как больно видеть эту красоту,
В которой ни прибавить, ни убавить,
И сознавать бессильную тщету
Хоть что-нибудь в содеянном поправить.
Как больно думать: вот же, человек,
Ты мог молиться у природы в храме,
Но ты, природой проклятый навек,
Безумьем гасишь вызванное пламя...

4.

Господи! Планером аист садится на луг.
Бусел, ну вот мы и встретились после разлук.
Машешь крылами, скрываешься с глаз без следа...
Деток земли моей горькой унес бы куда.

5.

Выпорхнет птица ли вдруг из-под ног,
Жарко ли вспыхнет росы уголек,
Годы кукушка начнет ли считать —
То-то кругом благодать.
Только бы птица да не из ворон,
Только б кукушки не кончился звон,
Только бы стронцием сей уголек
Сердце кому не прожег.

...И вдруг такая тишина,
Как будто в мире я одна,
И нет ни вздоха обо мне
В мертвящей этой тишине.
И даже дальний сосен гул -
Лишь весть о том, что мир уснул,
И ни-ко-го, кто б хоть во сне
Замолвил слово обо мне.

Первый рейс

Косарь

Хоть вспотел — не сопит,
Держит набранный ритм.
— Дед, — кричу, — подсобить?
— Подсоби, — говорит.
Подхожу над рекой
К старику косарю.
— Слышишь, запах какой?
— Хорошо, — говорю.
— Хлеб военной Руси,
Травяная еда.
— Лебеда? — я спросил.
Он кивнул: — Лебеда!

Забавно... Вспомнил друга-сварщика.
Он бросил бабу белокожую
За то, что про его товарища
Сказала слово нехоршее.

Попробуй паренька рабочего
Судить по неказистой внешности -
У паренька-то кроме прочего
Рука тяжелая
от нежности.

Беда

Казалось неприятно-странным,
Что он, мужик, глотал слезу,
Что он, бродяга окаянный,
Торчит у всех бельмом в глазу.
Ушла в нем молодость и сила.

Казашка старая, в платке,
Взяв за рукав его, стыдила
На полурусском языке.
Он сел в тени, к воде нагнулся,
Лицо ладонями обтер.
И даже взгляд не огрызнулся
На молчаливый разговор.
О том, что в недопитых кружках -
Его безволие и стыд.
Он весь, по самые веснушки,
Не шел под здешний колорит.
Была семья, была работа.
А в чем кручина — не узнать.
Он имя ласковое чье-то
Любил в один припев вставлять...

Тетка пышная кричала
На базаре зло.
Целый день, видать, молчала -
Накопила слов.

С продавщицею повздорив,
Гордая пошла.
Сколько гневного здоровья
Запросто сожгла!

Даже плечи покраснели
Сквозь ее шелка.
Муж поплелся вслед за нею.
Жалко мужика.

Тополь

Взвизгивают бензопилы,
Провода отключены.
Валят тополь на стропилы
Вековой величины.

Если надо – значит надо.
Согласовано давно.
Будет долго-долго падать,
Как в замедленном кино.

С синевой рядков капустных
Приоткроет даль полей...
Почему-то станет пусто
Перед тем, как стать светлей.

Снегопад

Будто мельник трясет свой мешок -
Так размеренно, плавно, неслышно.
Ветви кленов просеют снежок,
Отобрав самый белый и пышный.

И расщедрился вдруг снегопад,
Расплетая свой шелковый кокон,
Чтоб смотрел на него детский сад
Изо всех любознательных окон.

Так нечаянно выдался он
Долгожданной пушистой лавиной,
Чтоб украсился детский альбом
Непреренно цветною картиной.

Чтоб на ней в красках яркой зари
Чудо-кони творили поклоны.
И вишневые сплошь снегири
Осветили, как лампочки, клены.

Первый рейс

Первый рейс – автобус полон.
Полчаса без пересадки
Никеля внутри салона
Схвачены железной хваткой.

Первый рейс – кувалды-руки,
Кожа с въединкой мазута.
От работы, не от скуки
Задремало полмаршрута.

Чьи-то локти, плечи, спины -
Никуда от них не деться.
Первый рейс – стоят мужчины.
Можно крепко опереться.

ДОМ

Алма-Ата, год семьдесят девятый.
Я вдаль смотрю у мамы на руках.
Мне радостно, а ей тяжеловато
Меня нести — она на каблуках.
Я вижу в дымке улицу, что вьется
Как серпантин, и белое кафе.
Проходит пара, весело смеется,
Бредет мужчина явно подшофе.
В гостинице нас ждет с улыбкой папа,
Он мне протягивает апельсин.
Мы здесь надолго: в сердце ставят клапан.
Пока не мне — я вышла в магазин,
А вечером в кафе вращаю столик,
И папа говорит мне: «Не крути!»,
И перед сном играю в прятки с Колей
(он мне в ладони сыплет конфетти).
Мне коридор гостиничный бескрайним
Вдруг кажется, и даже до сих пор
Его я вспоминаю некой тайной,
В которой не содержится повтор.
Еще — торшер и лестница витая,
И потолка затейливая вязь,
И папа на ночь книжку мне читает,
И я не знаю, что не родилась.

Я опять вспоминаю жизнь,
Ту, которой жила когда-то
В тихом городе, где ежи
На тропинках, где небо-вата,
Где на крышах убогих дач

Домотканно-двустенны трубы,
Где качается карагач,
И весна надувает губы,
Не желая никак войти,
В старый парк, что рассветом болен.
Но туда не ведут пути,
Потому что никто не волен
Выбирать для себя судьбу.
Я могу посетить Варшаву
Иль Париж (и с клеймом на лбу
Оказаться не чуждой шарму).
Но туда, где шумит ковыль
Мне возврат навсегда заказан.
Потому что настала бьель,
И закончилось время сказок.
Тех, одной из которых был
Громкий росчерк на карте мира –
СССР – где меня любил
Этот город, и та квартира
Угловая на этаже
То ли пятом, а то ли и вечном...
На оставленном рубеже
Таает контур, и быстротечно
Пролетают иные дни,
И другие дела тревожат.
Я шепчу лишь: «Не прокляни,
А помилуй, о Боже, Боже...»

Москва, Медведково. Автобус пуст
В 21.00 на перекрестке.
Я и шофер. С его узбекских уст
Слетает матерок, искрятся блески,
Играет музыка, шикарнейших авто
Акульки спины серебрятся странно.
И я и он надеемся на то,
Что мы не станем «звездами» экрана,
Что в сводках жертв такая роль стара,
От страха перед жизнью замирая.

Он шепчет: «К Магомет придет гора...»
И распахнутся двери псевдория?
По вере каждому отмерит меру Бог.
Москва, (Нью-Йорк, Берлин, Париж, Оттава?..)
Июльский вечер и усталый вздох.
Gastrab и беженка из Кокчетава.

Дом

Что-то падает, катится, слышится звон...
А мне нравится этот дом.
Остановка «Строитель», и там стоит он —
бежевый, двухэтажный.
Люблю его видеть, и мне неважно,
кто живет в нем.
Красивый забор и замок гаражный
мне нравятся просто так.
Как факт и любой пустяк.
Эпоха закончится буквой «ять»,
а дом будет так же стоять.
И электричка в ночи
мимо него промчит,
Житель поселка
выглянет из-за белья,
Зима будет колкой,
но встречу ее не я.

Что-то падает, катится, слышится звон...
Это время уходит.
Дом
выходит на подиум.

ДЕТСКОЕ РЕМЕСЛО

«Не песня страшная, а распевочка.
Найдите Бога хоть одного!»
«А что ты знаешь о Боге, девочка?»
«Не знаю, милые, ничего».
«Чего ж ты ходишь по нашим нервочкам?
Мы все издёрганы и честны,
И в том, что ты народилась, девочка,
Нет нашей прихоти и вины.
Свою рубашку носи-донашивай,
В какой с рожденья, другой не сшить.
Не стыдно в лавках чужих выпрашивать
Клочочки воздуха для души?
И песня страшная, и распевочка,
Да всё ж без песни страшней всего.
Но что ты знаешь о смерти, девочка?»
«Не знаю, милые, ничего...»

ЗА ВЕТРОМ...

В комнате, где неважен источник света,
Где сигареты, кофе, вино, стихи,
Ты говоришь: «Сегодня пойдём за ветром».
Сколько на ветер брошено слов таких.

Сколько их, бесконечных? Куда их гонят?
Долго ль стонать, сбиваясь в метель, в пургу?
Всхлипы луны сквозь тучи, и видишь — тонет,
Тонет ребёнок в густом снегу.

Что же? Спасаем! Придумай, что солнце, осень,
Листья как души. Шинель на плечо! Пора!
То, что провует ветер, он сам же носит.
Мы за ветрами. По ветру. Как ветра.

Ну, допустим, ко мне приходил этот некто,
Который знает добро и зло,
Ну, допустим, он мне говорил, что со мною
Мне, в сущности, повезло.
Про призванье моё возвещал, вещал. Только что с того?
Ну, допустим, чернильницы не было, чтобы швырнуть в него.
Только что опять же с того, я устала, с работы, рухнула на кровать.
Ну, допустим, досадно было, что мне в одежде придётся спать.
Потому что ведь он же пришёл, а я человек и имею стыд,
Не имея должного уваженья: вот он вещает, а у меня голова болит,
И мороз крепчает, не платят денег, напарница с животом,
А работаем мы в помещении душном, и страшно от этого. И потом,
Всё мне кажется, зря он лезет в земные мои дела,
Зря желает, чтоб я срывалась, глаголом кого-то жгла...
Это дело пророков. А мне, наверное, до гробовой доски
Не избавиться от моих недоверия и тоски.
И слова, которые пишет моя рука,
Мне диктуют мои недоверие и тоска.
И неважно уже, приходил он, нет ли. Поскольку так
Получается, будто нет. Но, может быть, он не такой дурак,
Как хотелось бы многим... Лучше не умствовать, «бла-бла-бла»
Проворчать и подумать, что снова рифму подобрала.
Только дело не в этом. А в том, что собачка шла по полям,
Развесёлая, умная, пела: «Ля-ля, ля-ля,
Ля-ля-ля, ля-ля-ля». Всё-то пела: «Ля-ля, ля-ля».
И цветы распусkaliсь, и не горела под ней земля.

В.Х.

Всем сердцем любить, да и только, людей непохожих,
О, что с тобой делает совесть, ребёнок-повеса.
Сквозь все фонари, и киоски, и пьяных прохожих,
Сквозь город ты смотришь и всё же не видишь там леса.
Ты сморишь туда, где открытые степи стирает
Волна горизонта, а свет — переломная дата,
И чувствуешь кожей, как там для тебя замолкает
Прекрасный певец в злато-розовом цвете заката.

Но мыслей обрывки про цену, измену, замену,
И ты исчезаешь спокойно, навечно, как будто.
И лишь подпираешь собою панельную стену,
Не зная, что делать, когда так светло-неуютно.

Даже не то, чтобы слишком в памяти берегу,
Просто нахлынуло вдруг — и сквозняк по коже...
Осень, дорога из школы, мальчишки кричат: «Абу»,
Бьют и плюют, на макаку — смеются — она похожа.
Дальше одна, домишки и слякоть, старое пальтецо,
Вечный российский ветер, шальной и вольный, —
Видеоряд... Не помню её лицо...
Помню, что ей было больно, а им не больно.

И с силою бродяги-тунеядца
Придёшь с работы и подушку в жгут.
И старости, и немощи бояться
Не хочется. Ведь как-то да живут
В неисчислимых скорбях и болезнях,
В разрухе зимней, с небом, аки дым,
И Божий дух всё носится над бездной,
Над миром, сотворённым и нагим.

Детское ремесло —
Разглядывать одуванчики,
Гладить листочки, травинки на вкус пробовать.
Всем повезло:
Были девочки или мальчики,
И куда ни ступи — Родина,
Без словопрений. Ты помнишь: рана любая лечится
Подорожником, расцветают секретрики сквозь стекло.
Милый, я не хочу спасти человечество,
Если страдает от этого детское ремесло.

Реквием по осени

РЕКВИЕМ ПО ОСЕНИ

Зима пришла внезапно,
отгоняя прочь романтическую Осень.
Мы с Осенью дружили,
и я любил ее такой,
какой она была всегда в Алматы.
Вся в желтом уборе,
похожем на безответную любовь,
она была пасмурной,
как свежая грусть после возвращения домой.
Одиноким Осенью быть нельзя,
она, как навязчивое чувство,
не отстает,
пока ей не признаешься в любви.
Зима ко мне равнодушна,
и я не люблю ее.
Я смотрю, как падают снежинки,
и думаю о тебе, Осень, словно о моей девушке,
встреченной вместе с тобой,
вместе, Осень.
Осень, где ты сейчас?
Может быть, ты там —
в саду,
где Бодлер читает стихи печали,
где каждый грустит по теплу неугасимой надежды,
где ты можешь укрыться от холода
за желтыми листьями,
красивыми,
как любимый образ в памяти.
Осень, ты помни о ней!
Твой одинокий друг,
оставленный тобой в старом парке,
просит тебя,
чтобы ты нарисовала ее портрет.
Чем мне помогут

рисунки зимних дней на витринах ночных магазинов,
о чем могут петь вечерние снежные ветры,
когда я читаю молитву любви внутренним голосом,
взглядом усталых глаз,
я желаю твоего возвращения,
чтобы однажды ночью ты пришла ко мне украдкой,
легким шелестом забытых под снегом листьев,
и разбудила меня запахом хвойных деревьев,
сказав —

я люблю Вас.

И спрошу я тебя —

Осень, моя милая подруга в томленье,
почему юная девушка
с золотыми, как ты, волосами,
думая совершенно о другом,
читает мои письма бегло и невнимательно,
когда я в каждую строку
вкладываю столько пластов смысла,
что их надо читать,
гоня прочь суету,
встречая одиночество тайно в душе,
весь вечер не размыкая уст?

Осень, ответь мне,
чем живет она в своей далекой стране,
куда для меня нет дороги,
когда я живу, не чувствуя времени,
и не знаю, куда уходят дни,
та, о которой так много говорю?
Ее царство, скрытое завесой молчания,
не богаче ли поэтических метафор,
мастерски приведенных иносказаний?
Скажи мне, Осень,
что она любит меня —
даже на большом временном расстоянии,
даже в забытых календарях прошлого года...
Ты со мной, не так ли,
Осень?

ОДИНОЧЕСТВО В ПЕЧАЛИ

Я знаю, иногда в тебе говорит
опыт твоей жизни
и теряется искренность отношений
с красивой женщиной —
музой чужого вдохновения.
Пусть неискренность твоя оставит людей в печали,
я тобой дорожу.
Роковая дорога судьбы мне покажет,
одинокому человеку любви,
как не путать маршруты жизни и смерти.
И после ночи поднимется солнце,
когда добрый кочевник из племени адай,
сойдя с верблюда,
находит меня в пустыне лежащим —
равнодушным к тебе и Богу.
Так кончается ли история чувств,
оставив после себя сожаление и пыль?

БЕРМЕТ И ФИЛОСОФИЯ

Потеряться всегда легче,
чем снова найтись,
и я исчезну с экранов телевизоров ночных городов
и не буду никогда в той уютной комнате
разговаривать с тобой в полной темноте через расстояния,
в эфире будет только мелодрама мексиканской любви.
Лежа на диване,
долго-долго буду смотреть в потолок,
не роняя ни слова той печали,
которая, как ласточка томной весны, прилетела ко мне домой.
Может быть, я люблю апрель,
утопая в его объятиях,
словно он — мое счастье,
или я потерял навсегда смысл слов,
переставляя их местами бесконечно.
Так я буду лежать,
и та ласточка будет петь о надежде наступающего лета,
а невосполнимая потеря уводит меня обратно,

превращая в ничто.
Я не верю, хотя и мыслю, что я существую.
И начала не было,
я сейчас — точка, сжимающаяся по направлению к себе.
Пусть меня не будет,
но будет солнце внутри тебя,
выражающееся в твоей бесконечной любви к жизни,
которое будет согревать,
когда однажды окажешься на обратном пути.
Если идешь на Голгофу —
невыносимая легкость бытия сменяется его угасанием,
в состоянии не-ума и общей мягкости,
как со мной в апреле,
когда я не хотел тебя потерять,
став одиноким символом заблудших людей.
Означает ли это, что я ушел достойно и не вернусь, —
не знаю.

Тревожное «да»

...весь мир минус ты
целый оркестр минус
голос
именно твой почему-то
а это
весь мир минус мир
и минус война
минус покой
и минус волна
вирус беспомощности
 в крови
мир минус я
мир без любви...
не знаю на память
не вижу нот
хаос трется
о теплый живот...
найти поверхность
еще один вырезать
минус - но выйдет ли
плюс
из этого
нагромождения...

Оттенки белого

Делаю все, чтобы не
расколотить
кристальную пристальность
щитами рекламными –
рядами печальными
идолов – спускаюсь в метро-
политен.

Все, что осталось мне
по пути следования
в нору бездонную
(капля смолы
так сползает по дереву),
я изучаю оттенки белого.

Оттенки белого,
плывущие прямо
над головой,
в своем колыпании
тихо горят,
дыхание берегут —
не привыкли к вниманию.

Щит на щите —
правее, левее —
вы не умеете быть нежными!
Удерживаю линию
оттенков белого,
оттенков беглого,
беззащитного...

Темнота

Туда, где темнота
равнозначна подлинности,
втолкнуть день,
царапающий руки
надписями английскими
на прилавках безудержных,
давкой безутешной,
давкой...

Мечь
за расточительство.

Лучше —
собранность, где отпадает *бранность*,
бренностью

не бередя, — и до смерти
голые ветви каштана,
ночь оттенившие
павшую.

БУЖУ-БАЮКАЮ

Разбужу тебя нежностью
с другого конца города
капля за каплей
с кончика секундной стрелки
соскользну на ресницы
пусть они вздрагивают
дыхание пусть участится
окроплю сердце
шершавым для слуха временем
и губ уголки
пускай поплывут по лицу
теперь — можно
повернись вправо
обними меня, в волосы
вцепившись крепко
теперь можно
спи сладко
спи — не просыпайся — сладко
на заре встретимся

Чаша потерь полна.
Последний слетел лист
С тополя...
Скоро весна!
Да что там весна — Рождество!

Тревожное «ДА» моей жизни –
в нем что-то трагичное,
подрагивающее уголками –
укутанное телефонным
проводом, ведущим в сердце,
оно никуда не уйдет,
родное-родное,
и не кончится боль,
никогда уже больше не кончится...
это тихое «да»,
сумеречно-безутешное,
моей жизни,
прозрачной и светлой когда-то,
«ДА»

Цаган Ава. Огненное дыхание

Будь пьяным, путник, — пой и пей!
«Хаджи-Тархан» Велимир Хлебников

Кроме себя ей бояться некого —
голь перекатная;
камень поднимет — бросит в зеркало,
сядет ватная.
Носит в кармане землю сыпучую —
могилу милую,
крестик целует по всякому случаю,
ходит с вилами.
Кичка седая, глаза навывкате,
зоб утиный;
голову — в плечи, сидит, как выхухоль,
горбит спину.
Топнет древком — постой, послушай —
голос вкрадчивый —
девичий голос — открывай уши,
стой, поворачивай:
— косы черные ветер унес,
черный ветер, речной утес.
Деревенский дом с жару, с пылу —
не осталось ни бычка, ни кобылы.
Стук, стук.
— Вилы мне, вилы.
— А шла бы ты бабка... в дом престарелых!
— На, покушай яблочек спелых.
Шлепаются яблоки... шепот..
Поднимает, ему подает, сама жует их:
— Радуйся, радуйся, всё сторело!
— Отстань, старая, надоела!
— Не гневись, милок, я пять дней не ела,
а что сказать хотела — забыла...
Стук, стук вилами.
— Что хотела — вспомнишь — вставай-ка, пойдем домой.
— Ох и ладный ты, руки прохладные,

а нету дома!
И трясет головой.
— Думаешь, старая?
А мне тридцать лет.
У меня мать сгорела, отец сгорел —
никого нет.
А не думай, не сошла я с ума.
Помню, девочку родила... Ах ты, Фома!..
И давай вилы раскачивать на руках,
и уйти бы надо, а — страх.
А она про свое:
— В карманах у меня прах,
обещала и привезла показать столицу..
(Да нет, сумасшедшая... не может быть тридцать...)
Каюсь, каюсь, — завывла тонко,
бросила вилы, достала оплавленную гребенку:
— вот, возьми своему ребятенку,
с жару, с пылу.
Бери, я ее хорошенько отмыла.
Али городские? Щеточкой чешетесь?
Смешно племяш про город рассказывал:
будто у вас заместо денег карточки.
Показала на рынке себя в фартучке —
обозвали бомжой, творожку *не* дали —
вилами отбивалась, а торговки смотрели-обедали...
— В Москве твой племянник?
Давай позвоним!
— Не, милоч, три дня, как ходила к ним:
не признали, говорят, наши все дома,
иди, старая, говорят, к другому..
А при колхозе говорили, что души нет,
и внутри-то у нас костяной скелет,
а пришла ночь — надевай огненную пижаму —
что ж Господь-то прибрал от папы и мамы?
— Бабка, может тебе воды?
— Не, милоч, не от моей беды, не от твоей беды.
— Чтоб ты, бабка!.. Язык у тебя — метла!
— Не, милоч, всё, всё сгорело дотла.
— Пропади ты, дура, — и ну звонить, что есть силы.
— Вилы тебе, милоч, вилы.

Журчит разговор мобильного толка,

да короток ручеек — смолкло.

— Ну что, милоч, не ты мне, а я тебе помогла,
кабы не я, и ты бы сгорел дотла.

Сидит, седеет, люди проходят мимо,
куда им надо, куда им необходимо.
Над ними чернобокие ходят быки,
свирепые морды жуют дымы,
и сверкают на мордах огненные белки,
и глядят из тьмы.

Их стегают плетью молнии, бьют насквозь,
разодраны, дрыгают ногами трупы.

Под ними дуб приподнялся корнями врозь,
листья сложил к дуслу и кричит в рупор:

уходи, великан,
достаю аркан,
соберу стадо,
бури не надо.

А ему в ответ как грохнет —
выворочен дуб, сохнет.

— Ну что, милоч, видишь, не затухает пламя,
куда мы — туда и оно за нами.

А как сказала, расправилось небо-ладога,
и произошла радуга.

— Пойдем, родненький, —
вилы свои взяла, —
жар-пожар куражится,
кружится зола.

— Бабка, ведьма, да как же мне тебя звать?

— Имя Богу ведомо, а тебе я — мать.

Мать-и-мачеха отцвела, да и пух сошел,
буду я тебе пламя-мать, ты — дубовый ствол.

Растерял листочки, так и годишься мне.

Говори, рассказывай: время гореть в огне.

Зацепи золы, положи в нагрудный карман;

в земли черные, в степи круглые начинаем путь,
где монгольское войско держало стан
станем орликами когда-нибудь.

Уходили они из города —

не заметил никто — против солнца шли.

А и дали б за них недорого —

ветра дымного из дверной щели.

Бетонные зубы стоглавого чудища
впиваются в небо — дождь сочится
из серого полотняного рубища.
Солнце распорото останкинской спицей.
Гудят пробки в артериях города,
разноцветные зонты бодро снуют.
Две дворняги вылизывают друг другу бороды,
три другие лакают пруд.
Пятилетний мальчик увидел радугу,
дергает маму: «как это зовут?»
Мама по телефону «...памятник, ограду бы...
И «лексус» — к стенке!.. Да, я помню про Божий суд».

— Говори, разговаривай, не гляди назад,
каждый шаг за нами горит, за нами ад.
— Давай попутку возьмем, быстрее доедем.
— Не торопись, касатик, стать лебедем.
Гадай, разгадывай до сухой степи,
вспоминай, разглядывай, да смотри не спи.

— А на лестнице с нами проживал азиат Хасан —
соседями звался Бек.
По средам захаживал, попилвал нарзан,
сопровождал его родезийский риджбек,
как огонь прирученный, защитник — быстрее пульт,
по кличке Аргус:
хлесткий хвост — жаркий июль,
голова — август.
Заходил Бек, укладывал пса, садился к столу,
заводил разговоры, всегда соскакивал на муллу,
и стояла жара на кухне, и рос абрикосовый сад,
ели сласти в тени,
вытирали руки о полосатый халат.
А потом — догони —
за соседним деревом желтый Китай,
тигры, гиены... Аргус втягивал носом запахи стай,
бил хвостом, водил ушами, рычаньем льва
отгонял непрошенных, не открывая глаз;
и летела под ним выжженная трава.
Замирал он вдруг, сразу, когда узнавал, что спас.
Мы прозвали бутылку с нарзаном — «джин»,

табурет Хасана стал «беков диван»,
и когда он умер под новый год,
сказали детям — уехал в Пекин,
забрали Аргуса, положили под елку Коран.

Шли, говорил, молчала,
«ребенок жена работа»
«ребенокженаработа»
ритм отбивали вилы,
воспоминаний икота,
будто вела идиота,
«ребеженбота» валом,
губы катились выли,
сто языков кровавых,
черная яма рта,
«ребеженботы» лава,
«ребе-жен-бо-та».

— Астрахань задул — ковыли на колена,
сохнет светловолосая степь безглазая.
Короткорogie «чертики» бегут от пули и плена —
на трех мотоциклах человеческая зараза.
Куда сайгаку, даже зная родные места?
Люди развивают километров до ста.
Близко, не уйдут... но конь белый
пыль поднимает — лови поперечину!
Маски покрываются песчаным мелом.
Падают лица, тела искалечены.
— Нет сайгака? — Мустанга сведём!
Аркан на шею! — Осилим втроём?
— Укусил за плечо? — Пойдешь на мясо!
— На бойню! На бойню, деньги легкие!
Бейся, бойся! Твоему плясу
не веревку порвать — лёгкие!
Чаша-степь наполнилась криком,
дует астрахань, кусает дико.
Укатил конь — курай-бедняк,
села пыль, за ней — белый сайгак!
Другу — авария, другому — петля...
Один я, мать, однурукая тля.

Дует, дует степь — пол-потолок.
Где не съел пожар — раскрылся знак.
Человек — огонь, человековолк —
просто так убьет, не со зла.
Солона земля, ковыль да песок,
жернова-ветра, жернова-зола
и идут барханы наискосок —
ни двора ни кола.
Проверяй, китаец — рога свежие:
капилляры красные, черепушка отбита.
Заметает песок туши бежевые.
Тишина — не бегут копыта.

Город. Город! Закрытое веко.
Ты — зоосад вещей.
Ты охотишься на человека,
подсаживая клещей.
Мало! Мало покупок, пузо
еле волочишь домой под вечер.
Заинтересованно заглядывает Муза,
а напиться нечем.
Мёртво скрежещут титаны извилин,
через грудь видно соседний дом:
два манекена прижались сильно
перед окном.
Вещи завели себе человека!
Расслабьтесь. Верьте им!
На каждой улице человечья аптека,
за углом — бессмертие.

— Ну, помог тебе город забыть,
как сайгачонка забить?
То, милок, стер тебя Цаган Ава —
нашлась и на вас управа.
Быть тебе червяком в голове сайгака, —
стукнула вилами: огонь, не спи! —
Будешь убивать, будешь плакать,
кружить по степи.
Будешь носить рога,
бегать от браконьеров!
Умирать.

Умирать в тысяче мест!
Расцветать тюльпаном, засыпать маком!
Сайгак растопчет, корсак съест.

Гон.
Самцы лирами свиты —
собирают гарем.
Самки следят за битвой
мужских поэм:
толстоносые,
черные глаза в пол-лица,
сносного
ищут детям отца.
Выбиты, выбиты богатыри!
Тонкорогие, слабые. Ты посмотри:
ветер играет в сайгачьих рогах,
тишина живая плещет в ногах.

Гонг!
Бежит, трубит правый,
сорок самок за ним мнут травы:
сорок пустых вагонов —
перевернулся локомотив.
Как же они стонут,
стрелка заме-тив.

Что держать ворота на замке —
лучше расставаться налегке.
Будем целоваться да кланяться —
пусть на память останется.
А и правда, из любви-то что возьмешь?
Маета одна, томление да ложь.
То в зыбучем песке
змейкой тянется,
и язык у ней — нож.
Отворяй ворота,
не прекословь:
сгорела береста —
пропала любовь.
А и был май — высока трава —
грохотал гром — небо лопалось.
А ноябрь-степь — лысая голова,

затупилось пламя, озлобилось.
Открывай ворота тюремные,
нам распробовать волю надобно.

Сначала — дай, потом — проси,
(меня учил монах).
Семь чашек полных поднеси,
(меня учил монах).
Дай чашку риса и потом,
(монах меня учил),
воды, ведомой родником,
(монах меня учил).
Семь полных чашек подносить
учил монах меня.
И долго думать, что просить,
учил монах меня.

Цаган Ава, Цаган Ава,
огонь на просторе.
Привела тело для трав,
душу для моря.
Цаган Ава, Цаган Ава,
ветер горит — уши ломит.
Нет неправых и тех, кто прав,
тебя кроме.
Цаган Ава, Цаган Ава,
в вязкой степи раствори
адык цифры три.
Чашу света в ладони взяв,
улан эрге, Цаган Ава, улан эрге.
Пиу-пиу-пирр-пирр-рии —
летит курай в песчаной пурге —
адык цыфры три.
Улан эрге!
Храбрые стены твоей любви,
бугристый гранат в серье.
Всех нас перелови!

Пиу-пиу-пирр-пирр-рии —
затихай огонь, степь — не гори.
Конь ветра — утихни, песок — уймись,

женщина — живой водой разойдись,
стань мужчина — зеленый джизгун,
задержи песка золотой табун.
Из одной сайгак будет пить,
под другим ляжет в тени.
Разыщите в степи
свои кор-ни.
И когда сайгак на Маныче будет,
пойдет на Цаган Аман,
семь степей наполню грудью
восточных и западных стран.
Отцветут города — вавилон гнилая нить.
Встанете вы — думайте, что просить!

- Здравствуйте, господин верблюд,
вы сегодня идете в театр?
- ы-рду
- покажут «пирр-рии суд»...

Два героя верхом сражаются,
раздирают зверя ненависти и власти.
Кому урожай?
На чьей стороне счастье?

Сайгаки:

- Госпожа человек,
завтра в два на Марсе
по новым пастбищам встреча.
- Не смогу, иду на вече
поэтов —
воскрешаем уже тринадцатый век...

Когда ветер понятен стал,
и закон времени ясен каждому,
и дно моря — степной овал —
стало влажным,
человек узнал значение смерти,
перестал бояться и научился жить
в телесном конверте.

Встал Цаган Ава на тонкую пленку земли,
цапли и журавли на голову сели,
змеи украсили ноги, тучи сайгаков пришли,
лисы захохотали, волки запели,
звёзды в глаза принесли лунь и орлан,
жаворонки солнце сложили на плечи,
кони взбежали на белой груди бархан,
куропатки забегали по спине, по-детски лепечут,
борода блеет, громко мычит живот,
рыбы рук раскинулись, с ладоней — пресные струи,
человек прекрасным стадом своим идет,
Цаган Ава сердце открыл для него и танцует.

Примечания:

Цаган Ава — белый старец, божество

Корсак — степная лиса

Джизгун — растение, задерживающее опустынивание

Адык — конец

Улан эрге — красный круг

Цаган Аман — калмыцкое поселение на Волге (самая вост. точка Калмыкии)

Маньч — соленое озеро (самая запад. точка Калмыкии)

Сайгак — небольшая степная антилопа, рога которой используют для приготовления нетрадиционных лекарств (рога носят только самцы)

В Г Л И Н Я Н А Я К К И Т А





Народный поэт Казахстана, видный в постсоветском пространстве общественный деятель, в последние годы — представитель Казахстана в ЮНЕСКО. Его поэзия вбирает в себя опыт и казахской, и русской культур. И стихи, и публицистику, и научные труды он пишет на русском языке, но при этом ощущает и позиционирует себя казахским поэтом. Причину его необыкновенного всесоюзного успеха в 60-е годы известный критик Лев Аннинский сформулировал так: «Поэт оказался на скрещении культур, на скрещении традиций: он счастливо совместил в себе сразу многое: молодой задор и книжную образованность... и ассоциативную экспрессию распространённого сегодня поэтического стиля... и филологическую любовь к мировым построениям, в которых Пушкин встречается у Сулейменова с Чоканом Валихановым, Конфуцием и Тагором... и местную обжигательную степную специфику...»

Стихи и поэмы Олжаса Сулейменова переведены на английский, французский, немецкий, испанский, чешский, польский, словацкий, болгарский, венгерский, монгольский и турецкий языки. Наибольшую известность казахский поэт получил во Франции, где помимо целого ряда стихотворений, опубликованных в разное время на страницах литературной периодики, было издано несколько поэтических сборников Олжаса Сулейменова.

(Написано у подножия Хан-Тенгри)

I

В песках заснеженных Муюнкумов пас отару знатный чабан Ишпакай.

На ленивых овец лаял пёс Избагар, сбивал их в кучу.

Дул ветер.

И явился Дух.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан Ишпакай из племени Иш-огуз. Твоя жена Шамхат красива ли?

— Да как тебе сказать, аруах*? Хорошо рожает. Варит мясо и чай кипятит. Помогает в отаре.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан Ишпакай из племени Иш-огуз. Твою жену Шамхат любишь ли?

— Да как тебе сказать, аруах-мурза**? Я привожу ей подарки, когда бываю в районе. Ситец на подушки, шёлк на одеяла. Двадцать пиал в прошлом году привёз. Две в хурджуме, правда, раскололись. Но мы их склеили.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан:

явления разрозненные

связью,

ты можешь ли скрепить?

— Да как сказать...

— А как она?.. — Дух смущенно кашлянул.

— Да как тебе сказать, аруах-мурза? Рожает понемногу.

— Пожалуй, я вселюсь в тебя, чабан. Не возражаешь? И буду ждать, когда слетит в тело жены твоей дух истинной Шамхат.

— Э, нет, мурза, не хватало, чтобы жена моя стала шлюхой, у нас дети. Я ей ещё зоотехника не простил.

Чабан сладко зевнул, поёжился на ветру и, застегнув шубу, окликнул пса Избагара.

* Аруах — дух (каз.)

** Мурза — господин (каз.)

*Объяснительная записка в студком
от Ишпакая, студента истфака*

«На вечере отдыха я познакомился с девушкой по имени Лиза. Фамилию не сказала. Проводил её до дому. Обещала встретиться. Пришёл в общежитие, посмотрел на часы — было почти 12.

Я было хотел уснуть, и на меня сошёл Дух.

«Дай, — говорит, — сяду на тебя, дай наслаждение мне».

Я ему дал! Гоняясь за ним, свалил шкаф и избил студентов С. К. и Ф., с которыми у меня дружба с малых лет...»

А было так.

Кривоногий, широкоплечий субъект лежал на железной койке и глядел в потолок, потрескавшийся от землетрясений. В окно общежития лезли ветви яблонь, лепестки летели на учебник истмата, журчал тёмный арык, отравляя друг друга носками, спали С. К. и Ф.

И явился Дух.

Он, отодвинув зашумевшую ветвь, влез в окно, прошёлся по комнате и внятно спросил:

— Ты и есть Ишпакай из племени Иш-огуз? Я ждал двадцать семь веков, когда произойдет встреча Ишпакая из Иш-огузов с девкой по имени Шамхат. Это свершилось!

— Во-первых, она не Шамхат какая-то, а Лиза, — начал заводиться студент.

— Женщина не уснёт, если не обманет дурака. Сейчас твой мускусом наполненный сосуд лежит в обнимку с каким-то ничтожным персом. Любую пальму тенью валит солнце. Она утоляет его жажду, с волос своих снимая покрывало...

— С каких таких волос?.. — студент взбесился.

— Заткнись. Кто здесь дух, я или ты?

Оттопырь ухо и слушай. Меня мучит печаль.

— Где ты есть?! — вопил студент, дико озираясь.

— Я здесь, — мрачно сострил Дух.

И началось.

II

Телерепортер:

— Мы попросили прокомментировать эти события известного ученого Ишпакая. Мы в секторе бронзы Института истории. Навстречу нам, как вы видите, встает седой, но еще полный сил человек с мужественным загаром на скромном лице... — Простите, мы вас оторвали от занятий. — Итак, навстречу встал врач исторических наук...

– Доктор.

– Нет, я не оговорился, именно врач, спаситель истории нашей, знаменитый исследователь времени Ишпакай-ага, замечательным изобретением своим...

– Открываем.

– ...перевернувший историю нашу...

– Историографию, – смущенно поправил Ишпакай-ага.

– Полимерами здесь не обойтись!.. Что такое?.. Прошу прощения, полуверами не обойтись. Ничего не понимаю... Ах да, – по-лу-мерами в вашем деле не обойтись. Только решительное...

– С удовольствием.

В позапрошлом году мною была обнаружена на скале Коксайского ущелья надпись, выцарапанная бронзовым стилем. Она состояла всего из нескольких строчек. Характер письма близок к этрусскому. Прочсть было нелегко, но возможно. Язык памятника оказался близок к современному огузскому.

(Знаменитый ученый смущенно улыбается, похлопывая себя по бронзовой скуле.)

– Удобно ли это говорить, но сам я происхожу из племени Иш-огуз, и мне доставило величайшее наслаждение читать эту высокопоэтическую надпись. Самое удивительное...

(Здесь ученый делает еще один механический жест, который пока не представляется возможным описать... Но пусть он останется в памяти телезрителей как одно из проявлений эксцентричности великого человека.)

– Но самое удивительное, дорогие товарищи, что в этой поэме речь шла о моем тёзке, о Ишпакае, вожде скифов, называвших себя к тому же именем «Иш-куз».

Сведенья об этом народе и его вожде сохранились в хронике ассирийского царя Ассархадона. В 7 веке до н. э. ишкузы во главе с Ишпакаем ворвались по западному побережью Каспия из южнорусских степей в Ассирию-Вавилонию и несколько лет правили ею.

Эта поистине редкая находка позволила нам сделать множество бесценных для науки выводов:

а) самыми древними памятниками огузского письма считаются орхон-енисейские надписи — 5-6 веков н. э. Наш памятник отображает историю огузов на 13 столетий в глубь веков — до 7 века до н. э.;

б) поставлена точка в многолетнем споре скифологов: тюрками или иранцами были скифы, напавшие на Ассирию? «Конечно, огузы!» — недвусмысленно заявляет нам памятник. И это мнение — решающее.

(Учёный взволнованно повторяет первый жест.)

в) Само название скифов «иш-куз» дошло до нас, развившись в «иш-огуз» (или «иш-гуз»). Вы знаете из учебников, что огузы (или «гузы», как нас называли западные источники) делились на два крыла: иш-огуз (то есть Внутреннее племя) и таш-огуз (то есть Внешнее племя). Я имею честь принадлежать к Внутреннему племени.

(Учёный стыдливо воспроизводит второй жест.)

— Имя «Ишпакай» также, как видите, сохранилось. И этимологизируется оно только огузским словарем. Означает буквально — «След стерегущий», так называли кочевники пса-тотема. И сегодня еще огузы величают породистых псов именами типа — Испакар, Ишпакай и тому подобными вариантами.

Название пса-бога даровалось вождям, становилось именем-титлом.

Мидяне заимствуют это сложное слово, превращают в абстрактный монолит и делают переносное значение главным. Спака — так они называют уже любого пса. Далее оно распространяется в индоирано-европейских языках, преобразуясь (в славянских, например) в «собака», «шавка».

— А как вы находите случай с Чабаном и Студентом? Возможен ли Дух в наше время?

— Памятник содержит восхваление вождю Ишпакаю. Ода написана ямбом, что свидетельствует о скифском происхождении этого популярного в наши дни стихоразмера. Кроме того, содержание памятника позволяет литературоведам сделать однозначные выводы относительно истории лексического образа, относящегося к типу сравнений: «О, моя косуля». Так неизвестный поэт 7 в. до н. э. называет своего героя. В средневековой поэзии джейрану, газели, серне уподобляются персонажи женского пола. Употребление в памятнике этого образа может вызывать подозрения. Не забывайте, что действие происходит во времена, близкие к матриархату, и вполне возможно, что под именем Ишпакая скрывалась женщина.

Тем более, что сам памятник не дает определённого ответа на этот вопрос, ибо огузский язык, к сожалению, не знает родовых окончаний.

Много загадок таит памятник для будущих исследователей.

— Телезрителей интересует, чем вы заняты в эти дни.

— Я председатель жюри конкурса на лучший памятник славному предку. Мне понравился один проект. Памятник будет установлен в центре среди яблоневых насаждений. Одежды и поза подобраны с таким расчетом, что трудно будет сделать заключение о половой принадлежности Ишпака.

Выпуклое родимое пятно на щеке будет означать его ишкюзское происхождение. Правая рука — на рогах крылатой косули, попирающей змею. Змея символизирует рабовладельческую Ассирию. Слева — неизвестный поэт с тяжёлым стилем в обеих руках.

Одежда и причёска нейтральны, так как пол поэта также, к сожалению, покрыт мраком неизвестности.

Запроектирован вечный огонь.

Из какого материала, вы спросите.

— Из какого материала?

— Скульптуры будут отлиты из скифской бронзы. Для этой цели мы добились разрешения переплавить предметы маткультуры скифского периода — сосуды, браслеты, фибулы, гладкие зеркала, мечи-акинаки.

Больше всего дадут металла бронзовые котлы, по которым наш музей пока занимает ведущее место в мире. Материала потребуется много. Идут интенсивные поиски. Но уже очевидно, что бронзы на всех не хватит. Поэта придется сделать чугунным.

А относительно Духов сказать что-нибудь определённое трудно.
(Великий ученый воспроизвел третий жест.)

III

Ученый врал. Он скрыл, что Дух являлся первым не кому-нибудь другому, а ему.

У каждой истины — дорога лжи.

...Много лет назад молодой аспирант Ишпакай стал патриотом.

В исследовательском институте, где среди таш-огузов он проходил курс аспирантских премудростей, пробиться в люди не представлялось возможным. Молодой иш-огуз был поставлен перед альтернативой: или тратить годы и годы на борьбу за кресло МНС*, или сменить профессию, стать землекопом, садовником, каменотёсом...

Каменотёсом?!

С этого всё и началось.

Нам трудно сейчас проследить весь извилистый путь ассоциаций, вспыхивавших в его свежем мозгу. Важен вывод.

— Что такое открытие? — задал он себе вопрос.

И получил положительный ответ: «Это изобретение». Чтобы пробиться, нужно выбить великое открытие.

И он его выбил.

* МНС — младший научный сотрудник.

Работа с зубилом пошла на пользу. Он загорел и окреп. Несколько лет он терпеливо ждал, пока дожди и солнце сделают своё дело — надпись должна пройти стадию нужного выветривания, чтобы никакой таш-огуз не смог установить её свежести.

За это время произошли кое-какие события.

Сгорела частная квартира и все черновики будущей расшифровки. К тому же он забыл, в каком месте Коксайского ущелья она находится. Скала.

И всё стало серьёзным.

Действительно случайно, лет через двадцать, он открыл надпись, будучи на охоте с сотрудницей другого института. Пришлось её призвать в свидетели и этим самым обнаружить свою связь.

Развод с женой был затяжным. И это отняло драгоценное время. Надпись, сфотографированная и перепечатанная в «Вестнике», разошлась по миру.

Так как принцип алфавита и текст были начисто забыты им, дешифровка отняла несколько месяцев.

Этой работой одновременно занимались многие ведущие специалисты, как наши, так и зарубежные.

Было предложено уже пять вариантов дешифровки. Ишпакай спешил: он знал — добыча уходит из рук. Нелепость положения усугублялась отчаянием брошенного мужа.

Польский профессор А., знаток мертвых языков, объявил о своей расшифровке. Он прочел надпись языком дупским. У него получилось:

«Эзре сын Петосири внук Панаммувы дед Ти— глатпаласара ... бык ... осёл ... жрец ... Киририша — Нахунте, Шильхак — Иншушинак ... сделал».

С ним вступил в спор специалист мёртвых языков Скандинавии англичанин Б. По его версии, язык надписи оказался близким к мертвому херскому, но прочесть удалось с помощью ещё более мертвого котьского. В Коксайской находке оказалось многовато личных имен, звучащих довольно дико на первый взгляд, но это только подтверждало афоризм: «...История соткана из имён»*. Вот как выглядел текст:

«Свабадахаряз, Сайравилас, Стайнаверяз. Я выписал. Вагигаз Эриль Агиламуди камень Харивульфа, Харарарь».

Скромному, поседевшему МНС Ишпакаю пришлось держать бой с выдающимися противниками.

* Все, не поддающиеся переводу сочетания букв, исследователями принято относить к именам собственным. (авт.)

Это случилось в позапрошлом году. Ночью.

Он сидел перед грудой исчерканных страниц, угрюмый, седой, как лунь.

И у него пошло. Он всё вспомнил.

Талант учёного, как сказано однажды, — суперпамять. Открывать — это значит вспоминать давно и всеми забытое.

Зазвучал, встал с лица бумаги древний, своеобразный эпос:

*«Вот он (она) Ишпакай — надежда ишкузов,
грозный (ая), как лев (львица), герой.*

Ассирия дрожит перед тобой.

Мидийцев в землю ты вознал (ала), герой,

Египту спину ты сломал (ала), герой,

как сыр сырой, ты выжимал (ала) врагов».

— Пой, чтоб ты треснул, ясновидец, пой!.. — раздался хриплый, страстный вопль чей-то.

— Кто здесь? — испугался седой как лунь.

— Уа, мудрец, провидец мой, дуй дальше, среди двуногих равных нет тебе, пой, чтоб тебя!..

— Кто вы? — аспирант трясся так, что его было жалко.

— Я! — мрачно сострил Дух.

— Это вы, профессор?.. Я просто шутил, не больше!.. Клянусь совестью!.. (А надо сказать, что Ишпакай подозревал руководителя института в том, что тот подозревает его.)

— Не бойся, животное. Ты истинный поэт. Была такая должность при дворе.

— Да где же вы?

— Здесь! — повторялся Дух.

Это была страшная Ночь Сомнения.

Он пережил её (его) и утром отнёс статью с расшифровкой в редакцию «Вестника», и она вышла с подписью «МНС Ишпакай».

IV

После опубликования сенсации противники взяли свои слова обратно.

Профессор А. прислал ему поздравительную открытку.

Англичанин Б. разразился подробным письмом совершенно небританского темперамента. Приглашал в Оксфорд погостить.

Между прочим, послание начиналось со слов: «Дорогая мисс Ишпакай».

Видимо, он так расшифровал не принятую на островах формулу «МНС», значившуюся в подписи сенсационной статьи.

Короче, — так были посрамлены таш-огузы, вынужденные уступить место СНС* первому иш-огузу — историку.

Так родилась новая истина. Истина-мать, породившая множество других, как и положено истинной матери. Но сказано: не бойся врагов внешних (таш), а бойся врагов внутренних (иш).

Появился новый аспирант из иш-огузов (село Никаноровка), и ему пришлось пробиваться в люди. И он не нашёл ничего лучшего, как выступить против теории доктора Ишпакая. Он ударил в корень.

V

Аспирант Ант-урган Сумдук-улы на многих примерах доказал, что мужчину в 7 в. до н. э. возможно было уподобить косуле.

Он нашел в кладовой памяти народной разрозненные отрывки забытого эпоса о хане Ишпакае.

«Нестройность композиции знаменитой в недавнем прошлом народной поэмы, — писал он, — объясняется просто. Я выслушал её по частям и от разных лиц. Часть Первую мне напел 97-летний чабан Шах-Султан Саксаулы, брахицефал. Скончался в прошлом году.

Часть Вторая записана со слов 96-летнего колхозника Магомета Субботина. Долихоцефал. Скончался на днях.

Письменное происхождение данного эпоса доказано тем, что Субботину дед его говорил о каких-то кирпичях писанных, в которых якобы разбирался прадед Субботина. От него и началась устная традиция. Кирпичи эти (видимо, речь шла о глинописных таблицах) пошли потом на хозяйственные постройки, которые оказались впоследствии в зоне затопления Шардарьинского водохранилища.

Мы привели в порядок свои полевые записи и теперь с волнением представляем на суд ученого читателя бесценные образцы поэтического творчества наших далеких предков.

Даже то небольшое, что удалось сохранить народу из гигантского эпоса (пробелы невосполнимы), со всей очевидностью свидетельствует против основных положений теории уважаемого доктора Ишпакая, сомневающегося в половой принадлежности вождя иш-кузов. Мы публикуем свод, сохраняя орфографию и морфологию речи народных сказителей, стараясь грубыми поправками не исказить аромат подлинника.

«Увы, забыты звуки древних песен, я ими наслаждаюсь один», — как сказал один неизвестный поэт. Правда шла к нам сквозь тьму

* СНС — старший научный сотрудник.

веков, освещая яркими образами свой путь. Но дошла до нас как живой цветок, «который в своём расцвете прелестен».

АНТ-УРГАНСУМДУК-УЛЫ
Никанорова

VI

Эпос был напечатан в новом журнале «Вопросы искусства», редактируемом доктором Ишпакаем.

Редактор предположил публикации несколько слов.

«Чем дальше от нас отодвигается бронзовый век, тем острее память сердца. Ещё недавно казалось, что тема скифов исчерпана научными рассуждениями и стихотворением А. Блока: «Да, скифы мы, да, азиаты мы», — но оказалось, что мы имеем возможность взглянуть на те трудные времена с высот древнейшей поэзии.

Чувство справедливости обязывает нас сказать немало хорошего о товарищах, отдающих себя нелёгкому (и подчас — неблагодарному) ремеслу — собиранию забытых эпосов.

Я знаком в деталях с эпохой и потому несколько пристрастно отношусь к подвижнической работе моего молодого коллеги. И беру на себя право кое в чём не соглашаться с ним.

Пример редакторского насилия: из главы «Казнь», где повествуется о сражении мидян со скифами, нами убрана фраза: «и славу пушки грохотали», как несоответствующая материальному колориту бронзового века.

Убрал, несмотря на сопротивление составителя, для которого вообще характерна гипертрофированная преданность подлиннику.

Что сказать о самом эпосе? К какому виду поэзии его отнести?

Мы имеем дело с трудным случаем.

Те стихи, которые можно начать с обращения «Граждане!», литературоведы договорились называть «гражданскими». Они могут звучать на площадях (например, «Граждане, послушайте меня, да-да!..»).

Стихи, которым приличествует обращение «Товарищи!» — определяются термином «товарищеская поэзия».

Те стихи, которые как бы начинаются с личного имени (Люся, Ахмет, Иисус), — негражданские и нетоварищеские.

Но поэма, которую мы представляем, выходит за рамки всех трёх измерений, она подвластна четвёртому — Времени*. И начинается

* См. подробнее у А.Эйнштейна. (Ишп.)

она с обращения — «Ишкузы!..». Посему мы можем считать, что она относится к жанру, уникальному в наш век, — это ишкузство.

Думается, что поэму с интересом для себя прочтут огузологи, скифологи, ассирологи, урологи, иронисты и просто те, кто интересуется историей родной литературы.

Док. Ишпакай»

ЭПИЛОГ

Явлений знак узнай и будешь властен...

Великое Язу

Каждому племени нужен один человек,
ушибленный звездой. Заводите таких.

У ишкузов был такой счастливец — Котэн.

У него можно было не спрашивать: «Куда
идешь?»»,

он сам, невзирая на твоё несогласие, покажет
тебе дорогу, насильственно сделает счастливым.

Он шёл из Ниневии в Харрапу на годовой
базар, видел по пути:

1. Как плохо ухаживал старик за
плодовыми деревьями. Он ругался, крыл
садовника первыми, средними и последними
словами, брался и показывал, как надо
ухаживать за деревьями, чтоб они
плодоносили.

2. Шёл дальше и видел, как плохо саманщик
крыл крышу.

Котэн забрался, столкнулся с проклятьями
кровельщика и, запустив руки в саман,
выгладил крышу до блеска.

3. Шёл дальше и видел сидящих в безделии
на берегу начатого канала ленивых
землекопов.

Он пинками вдохновил их, сам схватил
тыпку и пробил канал до реки.

4. За рекой в пыли и гаме носились
друг за другом глупые всадники.

Он переплыл бешено реку, ссадил
первого попавшегося, вырвал у него
меч и с криком «Кто же так рубится,
несчастный!..» бросился, — и поредела толпа

после прополки.

Остатки обратились в бегство.

А плохо рубились в тот раз враги

отечества. А бежали от меча его

карающего благословенные свои.

Даже во враге он не терпел бездарности.

5. Войдя в Харрапу, он услышал указ государя.

Стоял в толпе и заорал: — Дурачье!.. Что за несправедливый указ?

Разве так надо управлять страной?

Он рванулся, чтобы показать.

Его схватили с радостью сарбазы. Среди

них были Садовник, Кровельщик, Землекоп,

Воин и Глашатай, который держался

за гудящую голову свою, ибо бил Котэн

трубою по голове его.

6. Кривой зайчик стоял на широком

лезвии топора.

— Осёл! Кто так точит топор!..

Точильщик присоединился к сарбазам.

7. Палач спал на ходу. На эшафот его

взводили под руки, так он был ленив.

Котэн лёг на широкий пень плахи.

Палач поднял топор над головой

и захрапел. И стоял, как статуя Сна.

Возмущению Котэна не было предела.

Он вскочил, швырнул Палача на пень

и прекрасным жестом снёс ему голову.

— Вот как надо!

Палач даже не почувствовал, он продолжал

спать.

— Понятно? — грозно спросил Котэн.

— Понятно!! — хором ответили Садовник,

Кровельщик, Землекоп, Воин, Глашатай,

Точильщик и Палач безголовый.

8. Чтобы воспеть его уместность, поднялся

на эшафот сам Государь с казённой арфой:

«О всеумеющий Котэн, да здравствуй!»

Котэн вырвал из рук его арфу.

— Разве так надо меня воспевать?!

Он взобрался на самую высокую башню

Харрапы, воздвигнутую в честь победы

Ассирии над Эфиопией (башня была
сделана из костей слонов, взятых
в этой войне).

Он увидел Сад, Крышу, Канал, Поле битвы,
и многое он увидел.

Это было то время, когда не умели
крыть крыши, точить топоры и править.

Потому и любовь к совершенству была
сильна, и весь мир виноват был
перед Гармонией.

И он сказал. Мы речь его не помним.

9

Оракул

— Ишкузы!

Земля — это круг,

перечёркнутый тонким крестом,

(ты — самое спелое яблоко

под зеленым листом),

четыре дуги

в центр глядят с четырёх сторон,

тебя сносит к центру,

и ты прерываешь сон.

(Ты раньше созрел,

другие зреют пока,

спит твоё племя зелёное,

греет бока,

от души пожелаем ему

солнечных снов

и слушаем, что нам расскажет

Хан Ишпака).

— Над каждым из сущих

зреет в небе звезда,

падают звёзды...

— Ты утверждаешь?

— Да.

Спит человечество вечно,

но каждый век

из храпящей толпы

поднимался один человек.

Он просыпался внезапно

из тысячи или ста,
вскрикивал от ожога:
это его звезда,
с неба срываясь, падала на него.
Побегаёт по планете,
усыпанной спящим людом,
ногами о глухие тела постучит —
никого!
Покричит, побуянит —
никого
не разбудит!
(Но сможет увидеть мир таким,
каким он уже не будет
за пределами его жизни).

И снова в будущее
пропутешествуют народы спящие,
и в следующем веке
проснётся один человек,
чтоб зафиксировать или исследовать
настоящее.

С каждой эпохой пустеет небо
на одну звезду.

Это значит —

 опять снесло человека
в яблочко.

Человек со звездой во лбу
 живёт наяву.

Что ему, бедному,

 в краткое время явлено?

«Жизнь — это сон», — сказано, но не нами.

Явь — это смерть. Неплохо?

— Феноменально.

Глянь, много ли в небе осталось
холодных звёзд!

Этот сон всемогущий

 называется

анабиоз.

...И когда опустеет небо,

проснутся они,

медленные народы

с заспанными глазами,

потягиваясь,
 глянут сквозь щёлки на дни,
здороваясь,
 пощекочут друг друга усами,
парочку анекдотов
хором расскажут
 сальных,
почешутся сообща.
— Ну как?
— Колоссально...
Чуть изменился мир —
 сдвинулась география,
их отнесло во сне
 к самому краю давно.
И лениво подумают люди:
«Спасите, ограбили. Где же центр?»
И скажут, подумав: «Не все ли равно?»
Это осень.
Жизнь растений бедна и печальна,
травы степные покроет угрюмый снег,
каждый век просыпайся от сладкого сна
изначально,
будь на белом снегу беззащитен,
мой человек.
Ты раньше созрел, другие зреют пока,
спит твое племя зеленое,
греет бока,
от души пожелаем ему
солнечных снов
и послушаем, что нам расскажет
хан Ишпака.

(Часть первая)

НОГИ

Из обвинения девятого

Х о р - а х т е , С т а р е й ш и й .

«Когда мы сломали юного царя Ассархадона, и он исчез из области досягаемости нашей, мы погрузились в благословенную Ассирию, как меч в золотые ножны. Небесная Ладья наша Аспан Кайы-

гы натолкнулась на рифы рока и опрокинулась над этой страной. Именем предка нашего Сары-Кене и его Великого Язу**, оставленного нам в назидание, Белый шатер с Черным Верхом обвиняет тебя, юный хан Ишпака, внук Сары-Кене, предводитель восьми уруков*** могучего племени Иш-куз. Закон Язу гласит: «Правящий да не может не совершать проступков. Да останется безвозмездным восемь проступков хана. Да предстанет он перед судом Белого Шатра с Черным Верхом за девятое преступление. И постигнет его тогда справедливое несчастье».*

Ты совершил благополучно восемь отступлений от закона, и каждое из них стоит восьми. Но Язу — священно. Мы не хотим слышать о девятом».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Будь на белом снегу беззащитен, о человек!

Она прошла рощу (назовем её оливковой),
присела в тени дерева могучего
(назовем его лавром),
широким рукавом отёрла с лица влагу.
Это были слёзы.

I

...Тривиальный сюжет эпохи бронзы:
в одном из главных городов Ассирии
у храмовой проститутки Шамхат
был в услужении раб по имени Перс.
И когда из степей ледяного Танаиса
ворвался в рощи холодный ветер,
и в храм Ишторе вошли
дурно пахнущие воины
и набросились на женщин,
как волки на стадо,
кряжистый скиф Дулат
выбрал самую стройную.

* Аспан Кайыгы — созвездие Большой Медведицы, букв.: «Небесная лодка».

** Язу — писание. Язык — надпись (огуз.).

*** Урук — род (огуз.).

Она оказалась сильной.
Он не сделал с ней того,
что ей было обещано его появлением,
ибо — он не искал в море брода,
но нашёл его.
Камнями и золотом она откупилась.

II

А что сделал Перс, увидевший в щель
кирпичей начало насилия?
Он не бросился в храм,
он не поднял меча на Дулата,
он поспешно в священную рощу
бежал
вырыть вечное ложе себе
под зелёным лавром,
и втолкал между рёбер своих
затупившийся бронзовый нож.
А что сделала девка Шамхат?
Приползла,
забросала землю любимым труп,
навалила камень.
Этот поступок позволит сказать:
о, не слабы в Ассирии женщины!

III

Ишпака, наш герой, однажды
бродил по земле
и увидел её.
Всю в цветах, под лавровым деревом
у могилы.
Скифы свято хранили обычаи предков
и духов боялись. «Сидящий у трупа, — гласит Язу, —
неприкосновенен».
Хан скучал.
Он не ушёл, не осмотрев её всю.
А осмотрев, не ушёл.

IV

Закрытые глаза, полураскрытый рот
и волосы, скрывающие шею.

Она была похожа на Ишторе,
богиню плоти.
Был полдень. Тихо и мирно жужжали
в Ассирии пчёлы.
Раздавленные скифами, замерли жирные
города.
Вселенная грустно от битв отдыхала.
Конь страсти взлетел
на дыбы,
удары копыт достигали виска.
Откроем секрет:
хан, как пчела, потянулся к цветку,
тень пчелы омрачила цветок,
и цветок закрылся.

Серна* о пчеле

Я слушал чудный запах розоватый,
листы ронял подснежник угловатый,
в безмерности цветка врывался воин,
жужжа благоуханием,
мохнатый.
Ступала нежно тишина по лугу,
звенели маков бронзовые латы.
И жала не тая, пчела летала
и взяток не брала
с тюльпанов виноватых.

Как будто на луга спустилась благодать,
неслышно били орхидей набаты.
О, Ишпака, не верь орлиным чувствам,
но пчелам верь,
предчувствиям крылатым.
Они влетают в нас
и жалят душу,
и мука мёда
воздается ядом.

* Серна – то же, что и косуля, кабарга, джейран, газель.

V

Шамхат глядела грустно на тюльпан.

*Не каждого любят,
но каждого губит
надежда:*

*«Ах, вдруг обернётся,
увидит, полюбит!..»*

Невежда.

*Мы явлены миру,
стоим в обличительном свете.
Молись о другом —
пусть мимо пройдёт,
не заметит.*

VI

Диалог цветка и зеленой мухи сладострастия

— Бесстыдство мёда

*легче покоряет,
там мёд готовый в сотах.
Я — цветок.
Из нитей солнца
соразмерно сотканный,
во мне нектар еще никем не взятый,
не переваренный в утробе жадной,
не превращённый в липкий сок
и в соты
не выдоенный.*

*О мёда красота,
достоянная меча,
уродство, ждущее удара
факелом,
а я цветок, вкушение которого
смертельно пчёлам всем,
кроме одной.
Пусть мухи вязнут
в мёде сладострастья,
мне суждена великая
Пчела.*

*...По лугу бродит бык
в избытке неги,
губой траву мешая с лепестками,*

как бы вино водою разбавляет.
Все ближе он к Цветку подходит,
пегий.

...А что сказала муха — неизвестно.

VII

— Мы хотим тебя здесь, — выговаривал хан, —
на поросшем цветами бугре,
мы хотим упираться ногами в валун,
в валун неотёсанный.
Чтоб лепестки слетали, как фарфор,
на камень,
наполняя тело звоном.

СЕРНА ОБ АССИРИЙСКОМ БЫКЕ, ЛЮБОВНИКЕ БОГИНИ ИШТОРЕ

С тобою я расстаться не могу,
отныне я скитаться не могу,
бык жадности привел меня
к тебе,
зачем не поваляться на лугу?
Уходишь в ожерелиях стихов,
от страсти отказаться не могу,
звенят браслеты рифм на ходу,
вдвоём бы оказаться нам
в стогу.
Бык жадности привёл меня
в сады,
где корни пальм в объятиях
воды,
кокосы дарят жирным молоком,
твоих грудей касаться не могу...

VIII

Шамхат уходила прочь, не поднимая глаз.
Да не будет тайной,
что глаза её — два громадных
горящих шара,
объятые мохнатыми лапами

священных скарабеев.
Она шла нешироким шагом,
стеснённым прозрачными тканями,
и живые ягодицы её
просились в грустный взор,
как два таланта*
благородного золота,
приснившиеся голодному рабу.

О раб, познавший огни ночи!
Ты, кто кроме вьючных ослиц
и блудливых коз с бубенцами,
держал в стиснутой пятерне
горячие от пота космы женщины,
кто, запрокинув её лицо,
заглядывал в зев и видел,
как во мраке колотится
о ребра её счастливая печень,
кто, прежде чем в горло
вогнать крик,
вспоминал в совокупности всю
мудрость своего племени,
чьи мужи славны копьем,
а девы щитом знамениты.
Ты не одобришь хана Ишпака.
Но ты одобришь её, которая,
«сложеньем раззадоря,
ворота бешенства открыла

перед ним».

Ишпака, не терявшийся в битвах,
шагнул за ней.
Напрасно, могучий.
Ибо за первым шагом последовал второй.
Остановись, герой. Пока не поздно.
Но было поздно — сделан третий шаг.
Шестой!
Седьмой!
Четвертый! А восьмой был шагом самым первым,
говорят.
...Кто видел осла, идущего под гору?

* 2 таланта — около 42 кг (ред.)

Таких нет среди нас.
Ибо у истинного мужа
всегда перед глазами табуны аргамаков.

Идущих широким махом,
стучащих копытами — разом,
о, только бы выдержал разом!..

Видений позорных этих
позорнее нет на свете.

Он шёл семенящим шагом,
не шёл, а сучил ногами,
теряя колчан и шапку,
глазами глядя нагим.
Так волк умолял барана
отдать ему ярку,

злился.

Она уходила, и
пряный
за ней аромат стелился.
Кони заплыли жиром,
всадник плёлся пешком
за храмовой проституткой...

ОБВИНЕНИЕ

Когда враги поднимали на копьях
нашего славного предка Сары-Кене,
он кричал с той высоты, к нам обращаясь:

«Я выше их на высоту копья.

Ишкузы, будьте прокляты, как я,

не отдавайте семени чужим,

не делайте врагов себе подобными».

Так завещал нам хан Сары-Кене.
Он мог бы жить в плену немало лет,
ему в шатер вводили царских дев,
чтоб, семя скифское заполучив,
мир покорить могли они, чужие.
И отвергал их, давший нам обет,
кинжал подняв, отсек источник бед.
Он пренебрег собой во имя нас.
Ишкузов он от разоренья спас.

А ты, несчастный хан, готов отдать
с мольбами семя наслажденья
твари.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

*Будь на белом снегу
беззащитен, о человек!*

И
Итак, он стал её короткой тенью.
Вождь племени ишкуз
ронял своё широкое лицо перед Шамхат.
Напомним с ужасом её проступки.
Она была подстилкой жрецов и слугителей
храма Ишторе.
Пока мужественные воины не разогнали их
по щелям,
она доставалась ученикам письма,
звездочётам
и почитателям печени.
А теперь они, более чем презренные,
хихикали, тыкали
острыми бородёнками в сутулую спину
храбрейшего
в битвах Дулата, которому было поручено
ханом гнать
караваны с добром к хижине девки Шамхат.
Угрюмый Дулат, отягченный своею тайной,
валил перед ней горы соковищ, добываемых
из тюков эллинских и чинских купцов,
изловленных
на дорогах благословенной Ассирии.
Этого богатства было бы трижды достаточно,
чтобы осчастливить саму богиню страсти
Ишторе, обладающую шеей, грудью и станом,
наделенную ягодицами, несравненно более
хищными, чем шестьдесят задов, подобных заду девки,
имя которой рядом с именем богини
произносить
неподобно.

Чем же она покорила вождя Ишпака?

Если ты поэт, не отвечай на этот
страшный вопрос!

Лучше посмотри, как раздаёт она бородастым

нищим дары его!

Чаши из бирюзы и хрусталя,
высокие сосуды из нефрита,
светильники и зеркала в футлярах
и оловянные кувшины с ароматом
для умащения груди и паха.

Но что важнее для потомков
описать —
блеск утвари
или волнение твари?

Утрами травы утопают в росах,
запомним блеск вопросов

и ответов,

забудем описания предметов,
ударь в таблицу, письменная трость,
запечатли решение поэта.

Отбросим многое,
лишь редкий случай
мы доведем до будущего слуха.

Клянусь, достоин хан

упоминанья,

поступками он обратил вниманье
потомков.

Кто найдет табличек груду,
рассказ мой восхитительный

и грустный

другим пусть перескажет

словом грубым,

ибо дословно им не повторить
мой слог, достойный погребенья в небе.

Подвергни испытанию своё
умение читать чужие судьбы.

Мужайся, о читатель, я хочу
не справиться с бушующим волнением.

Мы начинаем медленный рассказ
о том, как страсть вождя,

став вожделем,
губительно на Скифии
сказалась.

II

Но прежде чем великое сказать,
считаю я бессовестным скрывать
к писателям порочным

отношенье.

Не будем подражать писателям
иным,

что, в клочья разорвав
дары Ишпака,

стыд наглого вранья

в лохмотьях красноречья

скрывают, златолюбцы.

Пусть же обрушатся таблицы книг,
испорченных их толстыми руками.

Чем они лучше юношей иных,
свой тучный круп

мужчинам

отдающих?

Таков поэт по имени Котэн,
который посвятил себя разору
казны Ишпака.

И немало тем

прекрасных он испортил.

— О, собака!.. ..

— Ты слышишь, о читатель?

Помешай

писателям иным

исторгнуть лай

по адресу вершителя стихов,
я мог бы им сказать в лицо:

«О, свиньи!»

Но уваженье к слову
меня держит.

Ш

Хан себя изгонял
отовсюду со злобой.

Потеряв,
находил он себя
на базарах,
у рыбных лотков
и на крышах слепых звездочетов,
он себя избегал,
и все чаще встречались ему
на дорогах терзаний
египтяне в сандалиях пальмовых,
иудеи в хламидах,
волосатые эллины
и селавики с горазами.

Он глядел на себя их глазами
и поражался
совершенству их зрения.

И узнавался, радовался
реже
и делал то, чего не думал прежде.
Те мысли, что проснулись в нём
однажды,

спать не хотели,
требовали пищи,
он их кормил —
он стал добрее к нищим,
и мысли, обнаглев,
камнями в череп били.

Он видел их,
глухих, горбатых,
грязных.

Крикливых в будни,
молчаливых в праздник,
они его преследовали
стадом,

камнями золотыми
в череп били.

И выхода не находили.
Дулата бросил он на поиск мудрых.

IV

В те знойные дни
на базарах Арема

боролись два мозга —
индей А-брахм,
худой голенастый философ,
седой без седин старик,
но ещё не мужчина.

Когда он молчал,
достигая глубин отрешения,
кости его покрывались
морщинами мысли,
плоть очищал он до белизны
алебастра,
силой сосредоточения
опустошался,
был, как сосуд, свободный
от искушений

бессонных,
когда он входил в состояние мысли,
базар умолкал, потрясённый
внезапным сознанием истины.

Иудей Брахм-А,
что правил восточным базаром,
трапезы не знал,
но был вдохновенен телом,
питаясь идеей всевышней.

Взгляд, утомленный грустным
виденьем тела индея,
на нём отдыхал.

Он призывал не в себя уходить,
а в пустыню,
чтоб там добывать себе скудную пищу,
у хищных зверей вырывая,
и воду не в реках обильных черпать,
а колодцы в песках отрывая.

Под солнцем палящим часами стоял,
отводя виноградные кисти,
и базар умолкал, потрясенный
внезапным сознанием

истин.

V

Дулат приволок обоих
и бросил их под ноги хану.
Мученики поднимались

и чаши с вином не взяли.

Темнеет в фиалах чай,
шипит молоко кобылье,
на плоских каменных блюдах

финики и миндаль.

Навес на столбах давал
квадратную тень,
в квадрате
на темном ковре восседал он.
А мученики на солнце
в пыли по колена стояли...

— Войдите в тень, эй, мудрые.

Плодов земли отведав,

во мрак

зарю утренней

внесите свет ответов.

О высшие создания,
советуйте — что делать?

Жрецы Базаров —

знания

великие пределы.

Я раньше брал советы,

теперь их покупаю,

я золотым обедом

умнейших угощаю,

под небом рта пусть реют

крылатые слова,

мои ладони греет

алмазная халва.

Закон: на ханском тое

любой, кто запоёт,

за слово золотое

ртом золото берёт

и унесёт с собою,

что поместилось в рот.

На этом ярком блюде

не финик и миндаль,

глядите шире, люди, —
здесь слитки и янтарь,
найдутся в этом плове
алмазы и рубин.
Ну, золотое слово,
исторгнись из глубин!

VI

Хан хриплым шёпотом назвал тему.
Дулат отвернулся.
Стража, опустив распаренные ноги в живой
холод ручья,
потягивала кумыс и негромко
переговаривалась...

Индей впал в задумчивость.
Он уже, по обыкновению, не замечал,
как руки его обвивают
ползучие растения, а вокруг
ног вырастают муравейники.
Он на глазах ушёл от чувств,
впал в совершенство,
не стройностью телес,
а красотой морали
он истязал взгляд стражи,
опустившей
ощепенело
чаши с кумысом.
В не знающую времени
свободу
всецело погружаясь, А-брахм
думал
о бренности людских существований,
о мелочности чувственных желаний
и о ничтожестве
своего рта.

Он сожалел, что ум не развивает,
не превращает полость рта в пещеру,
что он извел стоическим молчаньем
за долгие года немых стояний
свой бедный рот,
в котором редкий гость —

сухая корка,
тесен, словно джунгли,
туда и палец не засунешь тонкий,
не то что полную

алмазов горсть.

О нищий рот, покрытый паутиной,
не то что иссушающая пасть
пустынного пророка – иудея.

А иудей стоял и закипал
и щупал языком сухое нёбо,

нависшее, как

костяная туча,

язык ворочался в щели и мучал

такими мыслями святого Брахм-А:

«Несправедлив единый бог!

Глаз мал,

но он вмещает целый мир, шакал!

Узорчато сверкающее блюдо,

громадного индея и верблюдов,

сосущих мёд у яркого ручья.

И слуху дал вместилище такое,

что помещает

дальний звон металла,

плеск, шорох струй

и хлопанье ослов,

сосущих мёд у громкого ручья,

и скрежет

дум индейского столпа,

не избранного богом и людьми.

О, бог единый, слух и глаз

возьми,

но дай мне пасть, не крокодилью,

боже,

не львиную,

пожалуйста, побольше,

такую, как у этого индея.

Я бросил бы ужасную затею

торчать в жару на площадях

базарных

и звать в пустыни гнусные

бездарных

торговцев снедью.
Я купил бы сад,
растил детей —
счастливых иудеев,
не презирал бы я ни скифов,
ни индеев,
сидел бы, ноги окунув в ручей,
и пил бы мёд
твоих пустых речей.

О, бог единый,
сделай меня добрым».
...И крылья из ртов рванулись
двух,
в зубах застряли,
вышел только дух,
напрасно хан свой слух
напряг, как лук,
стрела вниманья поразила
пух.

Поднялся хан.
— Дулат, насыть их взор,
слух, память и мечтанья
этим звоном.

Пусть жрут,
подавятся жрецы.
Эй, вон их!
Мудрец, не породивший мудрость —
вор!

Уйдите
в мысли!..

В защиту мудрых Ничтожный пишущий
скажет несколько слов:

*Нет выгоды поэтам,
философам, жрецам!
Мы даром проливаем
на состязаньях пот.
Увы,
слова огромны,
да не огромен рот.
Но хуже*

Молчание мудрых его окружало.
Протяжные песни ему угрожали.

VIII

Ударами плети коня веселил.
В персидском квартале
над пропастью жил
старик одинокий, копал в огороде
колодец, чтоб видеть светила.
Короче:
слепого наблюдателя светил
хан посетил.
— Я слышал, перс,
хоть стар ты и горбат,
любовным опытом
весьма богат.

Поведай мне секрет соблазна,
перс,
мир содрогнется до седых небес
от щедрости моей,
признайся, перс!
...А перса разобрал радикулит,
он поклонился и не разогнулся.
Так и стоит (преданье говорит)
на месте до сих пор,
не пошатнулся.

Молчит, проклятый!

По этому поводу Ничтожный пишущий
сочинил стих:

Я понял истину, которую желал
ему открыть согбенный перс:
«Мужайся!
О, покоритель женщин, унижайся!
И будет мускус у тебя и лал.
Порой набор красивых, слабых слов
с любого тела может снять покров.
Газелью покоряли даже львицу,
словами поклонись —
и покорится!

Кто поклонился раз,
 тот не горбат».
 Какую тайну бережет Дулат?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

*Посмотри, много ль
 в небе осталось
 холодных звезд.*

I

Дулат

О, хан, войско разленилось в городах,
 погрязло в разврате и восхищении.
 Ишпака, ты заставил волков жить
 мирно в овчарнях, и сытые волки
 стали подражать повадкам травоядных.
 Они едят хлеб и срывают плоды
 с деревьев. Они уже копаются в
 земле и начинают сеять просо.
 Жнецы превращаются в пахарей.
 Ишпака, нам пора,
 наши кости ослабли от сладостей,
 наше мясо размякло от ласк,
 наши души померкли от радости,
 дай нам пищу собак,
 брось нас в горло ущелий,
 много стран терпеливо тоскуют
 по нашим клинкам.

Они ждут.

Наши кони давно не топтали
 посевов,

поведи нас туда,
 где лучи заиграют на лезвиях,
 там полезней трава для коней,
 в ней избыток магнезии.
 Ждет свободная Ливия,
 ждут эфиопы Напаты,
 серебро накопилось в Сирии
 для платы,
 фригийские жены жирные,

как акриды*,
готовые лечь на блюдо,
бедро и груди их,
как лица блудниц, открыты.
Если ты спросишь меня –
выбор твой не одобрен,
мы исходили круг
и не нашли Того,
этот путь утомляет
и никуда не ведёт...

Что хотел сказать Дулат?
О походе в страну Ашшура скифские
писцы писали: «Ишпака
из Ашшура 8970 юношей увёл,
15323 юных пленниц увёл. Некоторых
убил, других живыми увёл.
16529 коров увёл и одного быка увёл...»
Что хотел сказать неизвестный писец?

II

...Вот Ишпака уже шёл через оливковую
рощу, он вернулся к могиле Перса...
– Уйди, Дулат, оставь.
Нас будет двое –
я разбужу персидского героя.
Я вижу, он стоит
в тени олив, светлея.
Совет мне нужен,
выходи смелее,
восстань, великий дух,
войди в мой слух,
я буду внимать, Перс,
благоговей.

III

– Потревожен, восстану..
Моря переходят в пустыни...
Только с камня сойди,

* Акриды – саранча, лакомство ассирийских царей. (Примеч. ред.)

сядь в тени...
Горы падают в пропасть...
Чего тебе надо?
И степи торчком встают...
Я борюсь с дремотой. —
— Победи, аруах! Я не знаю,
с чего начать...
Я хожу по притонам
и пью вино ярости.
Мне жрецы объявили войну
тишины.
Я учился читать их молчанье.
Ты не слышал — вчера хохотала
площадь?
И потом замолчала.
Оправдай меня, Перс!..
Они хохотали, глумясь
над природой вещей.
Они часто выходят, жрецы,
на помост
и руками, ногами, лицом и
всем телом, однако,
изображают буквы письма ассирийского
или иного,
но все, кто приходит на площадь
смеяться, читают движенья
жреца, как таблицу писца,
одобряя.
А я приходил и стоял, укрывая
лицо, и качался с толпой,
и, казалось, сливался с телами,
и душа моя сплавилась с грязными
душами их.
Ты, наверное, чуешь, о Дух,
от души моей потом разит
ассирийским.
Извивается жрец, на помосте
мне видится море,
луна над волной
и лицо финикийца тонущего...
То коня он опишет пальцами

и глазами,
то коня и себя на нём,
молодую траву
 под конём,
то неслышно поёт
 колебаниями рук и ногами.

Но вот вчера я понял,
что хохот мне мешает,
врывается, грызет моё сознание,
он становился громче
и ужасней,
обрушивался хохот
на меня.

Я понял вдруг:
жрец притворялся мной.
...Актёр на мерине
 изображал
 глупца
и песню строил голосом
 скопца.

Я прямо говорю —
 я за искусство,
но разве можно исказить
 ишкуза?..

...Вообразил актёр,
 что наказал
его ишкуз.
Хромал несчастный жрец
и зрителям свой иссеченный зад,
спустив штаны, показывал,
 скотина.

И снова ржали люди над
 вождём,
жрец тот был в одеянии моём.
...Он страсть изображал мою, наглец,
насиловал плечистых богородиц,
слепых старух ломал,
и, наконец,
с ослом совокупился при народе...
И снова ржали люди над вождем,
он вновь был в одеянии моем.

А я стоял в толпе и был, как червь,
голый.

Д у х

А позже жрец изображал
свой труп,

и это ему лучше удавалось...

Я знаю всё. Жрец не был виноват,
он рисовал

классическую битву

Ашшура с вавилонским

Бел-Мардуком.

Но ты не понял сказки,

и Дулат

пронзил его стрелой

из костяного лука.

И жрец его не понял

и упал,

забился на помосте,

хохотала

толпа, всё понимая из того,

что он изображал в предсмертных
муках.

Казалось ей: он рисовал

Мардука,

ужаленного молнией Ашшуры,

и замер он в весёлой позе

Ану...

Зачем ты рассказал мне,

Ишпака,

то, что тебя уже не волновало?

Что привело тебя

к чужому аруаху?

Ты хочешь слушать откровенья?

Слушай.

IV

Д у х

Пёс норовит ухватить

указующий перст.

Перси грызет он,

дающие молоко,
пёс этот – перс,
и запомнить его легко.
Если увидишь, старайся,
чтоб он не забыл,
что ты барс вдохновенный,
а он пёс.
– Я тебя не понимаю, перс!
– Продолжаю тогда.
Если двуногий смотрит,
когда ты на него не смотришь,
знай: у него болит голова.
Если, собрав толпу на базаре,
кричит он громче твоих глашатаев
и тычет в стороны пальцами
с чёрной землей под ногтями,
знай: у него болит голова,
ему хочется лечь.
А голову лечит только меч.
Руби ему череп до самых плеч.
Это мои слова.
– Аруах, пронзи меня тупым, – я ничего
не понимаю.
– Когда молчат живые,
говорят Духи.
Ты всегда понимал Одно,
а сегодня твое Одно
затерялось в полчищах Многого.
Не отрицай толпу во имя Одного,
и станешь духом,
и поймешь всё,
ибо всё есть Дух.
И поймёшь персов, каковыми
вы называете весь мир, кроме себя.
У персов есть и мудрость, и злонравие,
начала сочинений и венцы. У вас же есть Закон.
У персов есть жемчужина души.
У вас же – панцирь.
У персов дно и бездна высоты,
у вас губительное плоскогорье.
Вот что такое – перс

и что такое — ты.
Я духом стал давно,
ещё при жизни...

У

Д у х

Ты это хотел узнать? Узнай.

Не могу похвалиться
ни знатностью рода,
ни прочим,

я доил кобылиц,
тронов царских никто не пророчил,
но случилось однажды
(я думал, что это беда),
налетели,

связали
и привезли сюда.
Это было в апреле,
два солнца стояло на небе,
на базаре — жара,
у хозяев торговля не шла.
Ты прости, Ишпака,
я пока говорю не по теме,
тем не менее, так —
меня продали,

как осла.

Наковали на ноги путы,
как знак алиф*.
Я полжизни измерил,
но верил в судьбу свою, верил,
ибо видел на небе однажды
я символ Венеры —
два сияющих круга
над купами пыльных олив.
Зреть Венеру достоин каждый,
но знак её
не доступен любым,
он прекрасней
ночной звезды,

* Алиф — первая буква арамейского алфавита (ред.).

VII

— Продолжай!

— Расскажу про Шамхат.

Я бывал в её сладостных думах:

«Ай, уйти бы в набег

и вернуться с победой в хурджумах!

Привести на аркане

раскосого дикаря

и ночами,

во сне,

превращать его страстью в царя».

Сколько жалких рабов

она в гордых мужей

превращала,

возвращала им всё, что потеряно,

сны возвращала.

О, её красота отдавалась

сутулым и старым!

Только данью она не была,

красота,

только — даром!

В этом знойном саду

красота нас обоих ждала,

а вернее —

явилась она!

Мне — в сверкающем царском обличье,

тебе — в образе девки,

и каждому радость дала.

Тебе — радость раба,

мне — тревожное счастье величья.

Не гневись, согласишься,

что любовь —

наслаждение нищих,

их свобода она и пища.

Был я эльфом презренным,

стал алпом* великим,

достойным

принять смерть от ножа своего,

я прошёл оба круга.

* Алп — великан (тюрк.).

Завидуй.

– Грязный аруах!.. Дулат, где ты,
проклятый палач!..

VIII

Д у х

Позавидуешь персу.

Могилу твою не узнают –
покорителей мира
в забытых местах зарывают,
разровняют, прогонят стадо,
травой засеют,
чтоб никто не узнал,
не посмел.

– Аруах!..

– Не посмеют.

И никто

не придет,
не навалится плачем на камень,
не коснется гранита
палящим бедром,
ногами,
и губами горькими,
мокрыми, словно перец.

Не шепнёт твоё имя,
щекою шершавой, как персик,
не согреет слезы
и не вскрикнет..

– Исчадие перса!..

– И не стиснет молочные железы,
ассирийские перси!

Предрекаю тебе, Ишпака:

позавидуешь персу.....

Ты не понял движений жреца.

Моих знаков не понял.

В тебе знание символов скифских,
ты их отвергаешь.

Тебе кажется странным –

мир чуждыми знаками

полон,

и ты, покоритель,
бессилен их тронуть руками!
Но ты ведь – ничтожество,
ты покоряешь вещи.
Их вечная сущность, увы,
за пределами силы.

Тебе не понять, почему
знак крови багровой –
синий?

Тебе непонятно,
что сам ты –
какого-то чуда
символ.

И тот, кто тебя узнает,
Уверен – познает чудо.

IX

Ты шуток не понимаешь,
а хохот –
предвиденье шуток.

Спасибо,
недаром проснулся,
отдал тебе сон и два солнца.
Заткни все отверстия тела,
увидишь, как луч окунулся
в бассейн,
и трава не гнётся,
а между стеблей травинных
джейран одинокий пасётся...

Но чем он питается,
если трава достигает солнца?..

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

*...Увидеть мир таким,
каким он уже не будет...*

I
«Плечом к плечу с друзьями!
Мечом к мечу с врагами!
И брюхо к брюху с женами

врагов,
их дочерьми.
Нет крыши, кроме тени,
язык во рту — заноза,
вырви его, Тенгри*,
дай слух —

язык не нужен.

Плясали в реве копий
под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны!
Стелились в ноги ткани
дымящихся ночей —
плечом к плечу с друзьями,
мечом к мечу с врагами,
хан Ишпака, ты чей?»

Сознание,

сознание толкало его в грудь,

но ветер, дувший в спину,
не дал ему свернуть,
твердил он: «Помню, помню!..»

А голоса поют.

«Зовут меня на подвиг,
а в рабство отдают...»

И голоса умолкли,
когда вошёл он в мир
её прохладной мохли,
увидел —

пир.

О нет, не ошибаюсь:
там кубки не гремят,
над горлами сшибаясь,
кинжалы не звенят,
там пьяных не выносят,
виновный не бежит,
тостов не произносят —
она лежит.

* Тенгри (Дингир, Тингр) — древнешумерский бог-солнце. Ему поклонялись скифы. Именем его названа река Тингр (Тигр). Золотые изображения его стали называться динар, теньга, деньги.

Я знаю, будущее не простит,
но настоящее неумолимо,
дано мне тело
наслаждаться других,
но что мне делать,
если нет других!..
Ты бесконечен,
я кратка,
как миг,
ты долговечнее шумерских книг,
зачем горой таблиц, в огне калённых,
над мышью слабой, о титан, возник.
Из чувств твоих
познаю только
тяжесть,
кто не прочтёт, тот
знак не почитает,
слова твои, начертанные, дарят
читающим — века,
невежду — давят
и отнимают малое, что есть,
о не гневись, не угнетая местию,
поверь, в железных латах
твоя честь,
копье в руках безжалостных
и меч,
а я прикрыта лишь
ладонью чести.
Ужель побед тебе недостаёт,
склонился мир
нагой перед тобою,
возьми его,
он под твоей стопою,
ты можешь насладить себя любою,
копье твоё разить не устает,
мою нору не заслоняй горою.
Оставь мне крохотного права миг
любить того, кто под ударом сник.
Хоть бей по голове таблицами
невежду,
умрёт, но не поймет он

смысла книг,
как ни желал бы!..
... Усладить тебя
 мечтала б я,
 о, доля моя злая.

Нам не дано!..
Богов своих любя,
обет последний Шамашу дала я!..
.....

V

— Ты иноверец, — молвила Шамхат, —
ты веришь в Тенгри,
 в молнии и Лело,

вот если б
твои книги
поломать...
Тогда б другое дело.
 (Обнаглела!..)

Открою шею,
обнажу свой срам...
Верь Шамашу —
да наслажденье дам!
Дыханьем флейту страсти обжигая,
мелодию Иштар тебе сыграю,
рождаясь каждый миг
 и умирая,
верь Шамашу, неверный...
Я желаю...
Мир покори — рабыню покори,
я умолкаю в страхе.
Говори!
Не унижай молчаньем,
говори!
Отчего над горлом,
 словно волк,
тишина твоя?
О, говори!
Облако над хижинкой — как войлок,
исчерченный орнаментами молний,
это бога Тенгри лик горит,

требуй большего, о сука,
наслажденье дай!

Дай

наполню твои груди
жирным молоком!..

— Будь ты проклят, — плюнул Тенгри
из-за облаков.

VIII

...И Шамхат носком коснулась

жертвенной крови,

оглянулась,

улыбнулась

краешком любви

и пошла в святую рошу,

не меняя вид,

Ишпака — за ней,

нагружен

хворостом обид.

«Где твоя бывшая сила,

гордый Ишпака?

Эта баба превратила

хана в ишака,

перс, унылый скотоложец,

обротал её.

Неужель твой нож короче,

чем его копьё?

Этой сладкой ассирийке —

финик и чеснок!

Дай ей поле и арыки,

но лежать у ног!..

Унижаться, унижая

кочевой народ!..

Нашу славу — ей в подмётки,

и наоборот.

Добывали славу,

дорожили ею,

баба не жалеет,

я ли пожалею?

Я твой летописец, Ишпака-монарх».

— Что ты понимаешь в женщинах,
монах?

Я сирийцев грозных
страстью изводил,
он входил ребёнком,
старцем выходил,
шёл, вихляясь, кашлял,
пёрся в никуда.
Так бывало с каждым
раз — и навсегда!
Египтян приводит яростный Дулат
и не понимает, мой палач и брат,
отвергаю сотни,
уточняю: сто.

Кто мне нужен нынче?
Спрашиваю:
кто?

Кто мне нужен, знайте,
ныне и всегда —
эта в узком платье?

Отвечайте —
Да!

Запирайте двери,
окна — заволочь!
Занавесьте солнце!

Объявляю ночь.
Пусть никто не видит,
как за ней бреду,
не нашел управы,
а на вас найду...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЯТОЕ

*Над каждым из сущих
зреет в небе звезда...*

I

Она прошла рощу (оливковую),
присела в тени дерева (лаврового),
шёлковым рукавом отёрла с лица влагу,
это были слёзы.
Замкнулся круг, и начался второй.

Очертанье ноги проступало
сквозь тонкие ткани,
она гладила камень,
румяна ползли по щекам,
она камень ласкала палящим бедром,
ногами и шептала слова,
адресованные векам.

— Конницу в рай не пускают.

Ты будь одинок.

Ты войди в моё лоно,
словно в сады Адэма.

Ты с мотыгой войди,
землепашцем,

оставив клинок...

(Хан слабел от её красоты,
превращаясь в Адама.)

Ты взрыхлишь моё чёрствое чрево
мотыгой своей

и поймёшь —

не в горячий песок

семена заборонил,

запрокину лицо,

выгнись радугой после дождей,

дам потомство обильное,

сильное,

вечное.

Понял?

Она сделала многое —

хан позавидовал камню,

она сделала всё,

и никто не завидовал хану,

и сказала она:

— Стань же персом,

возьми его имя,

и я буду с тобою,

как с ним,

я буду с двоими.

II

И ш п а к а

Ну что же, перс,

позавидуй мне,

я не был так радостен на войне.

Тебе привычнее

под конём,

а мне привычнее

на коне.

Обрѣк на удачу меня

мой рок,

я в жизни не ведал таких

морок,

меня, покорителя городов,

Шамхат не пускает

на свой порог.

(Косая челка над узкой щелкой —

надменный вид,

а проще — долго

забытым волком

на небо выть...)

Быть любимой и не любить,

как страшно женщиной в мире быть.

Я в женщинах

воинов слабых знал,

как побежденных, их презирал.

Шамхат как истина мне дорога,

я счастлив, перс, —

я нашёл

врага.

III

Высокое веко, крутая бровь,

внутри человека

играет кровь.

.....
Над пропастью тонко

вьётся тропа,

это над пастью

бьётся губа.

.....
Он понял немного,
 понял он —
в ложе пустое своё влюблен.
.....

Поэту поверишь ли, Суд Великий,
он меч удержал

 и не взял мотыги.

Он чести кочевника

 не уронил,

поверишь ли,

 семя своё сохранил.

Что бога ругал, —

 ну а кто не ругает?

В сретениях чувств

 не такое бывает.

Ногами не бил,

 не касался руками,

а слово

 лишь слабого убивает.

Он стыд испытал,

 а это важнее.

Молчанье узнал

 в искупающем гневѣ,

он был одинок,

 словно перс, в этом

 мире,

один на земле он,

 как Тенгри на небе.

Перс тайны оставил ему,

и он принял,

он пропасть гортани

 не перепрыгнул,

словами гремел,

 тишину поражая,

молчанье вселенной его окружало.

Поэту поверишь ли, Суд Великий,

он меч удержал

 и не принял мотыги,

начертаны мудрости в нем,

 он не понял —

которого каждому не избежать!
Мы к свету стремимся,
чтоб тенью лежать,
чем выше растение,
тем тень его дальше.
Не лучше ль упавшими
пальмам рождаться!
Не лучше ли людям
по глинам стелиться,
понять кратковременной радости
горе?

У тех, кто не падал,
спокойные лица.

Но те, кто не падал,
не знают покоя.

Они не поймут,
не поверят в такое:

что ты могла
движением бровей
прощать преступника,
казнить народы.
Сменялись поколения червей,
и испарялись почвенные воды,
и разрушались
кость твоя и плоть,
и трещины избороздили свод
могильника...
Прощайте, о Шамхат,
вот до чего вас доведет
упрямство...

VI

Ишпака отряхнул со штанов прах
и пошел, волоча за собою
угловатую тень,
солнце билось в оливах,
смеялось, кривлялось, как Тенгри.
«Кто был прав?»
А Шамхат?
Волочилась за ним,
словно белая тень,

по дороге
сбивая прекрасное мясо колен,
умоляя вернуться!..
(Никак не поймешь этих женщин,
нарушают поступками
стройность трагических песен.
Удивленья достойны
подобные метаморфозы).
Уходил он, оставив Шамхат
в покоряющей позе...

VII

— *Ишкузы!*
Я поведу вас туда,
где не бывали вы!
Я увлеку вас в рай
сквозь пелену листвы,
вырубим сад Адэм,
вытопчем мёд травы.
Я побывал в раю,
и побывайте вы.
Чтоб не слабели те,
кто
сидит на конях,
те, кто из века в век
стражу несёт
на краях,
пусть не обманут вас
тайны чужих жрецов,
вещности нет в раю —
понял в конце концов.
Был я сильнее других,
стал красивей других,
стал я мудрей других,
стал ли счастливей их?..

Ему казалось, что он летел в седле,
а он трижды стоял в себе.
Ему казалось,
что он уходил от неё,
но если бы он мог понимать холодным

жреческим разумом,
что начался второй круг проклятия перса,
неотделимый от нижнего...

VIII

О, Дулат, человек бессилён
прервать развитие знака,
круг неба нельзя оторвать от звена
Земли,
как Землю со всеми морями,
хребтами, Или?*

нельзя оторвать от корней
одинокого Злака.
Угрюмый Дулат из-за дерева вышел:
— Пошли...
Она поднималась,
и плечи её содрогались.
Дулат с отвращением вывел коня,
и, как труп,
обмотав попоной суконной,
ругаясь,
вскочил на коня,
бросив её
на круп.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

*Земля — это круг,
перечеркнутый
тонким крестом.
Четыре дуги в центр глядят
с четырех сторон.*

I

Белый шатер с чёрным верхом
стоял в раскаленной от зноя степи
в излучине Тигра, близ Харрапы.
Судейский шатёр —
шестикрылое гнездо.

* Или — имя реки на родине (ред.)

Изнутри он устлан круглым
белым ковром ики-из с чёрным мягким
крестом во всю площадь.
В центре ковра,
скрестив свастикой ноги,
сидел подсудимый.
Ждал судий — старейшин восьми многомужих
уруков*,

в тот день
угнетающий зной
делал Белый шатёр с чёрным верхом
единственным местом прохлады.
На дне углубленного Тингра
едва ли приятнее рыбам,
их потные лица не гладит
невидимый ветер
проклятий.

... Они входили, пригнувшись,
садились у стен по кругу,
четыре — слева от торя**,
четыре садились справа,
не кланялись скуны 19 друг другу,
но кланялись молча хану,
прежде чем сесть,
колени скрестив,
и прежде чем сесть,

на колени свои положив
тяжеленные руки,
скуны многомужих уруков
клали перед Ишпакой
имена родов — бронзовые тамги.****

Все восемь вождей пришли
простить преступнику восемь
тяжёлых проступков.

Ни у одного урука тамгою не был Щит.
Девятым внесли Хор-ахте,

* урук — племя, род.

** Торь — возвышенное почетное место у дальней стены против двери.

*** Скун — титул (др. — тюрк.).

**** Тамга — герб, эмблема рода.

старейшего из старейших.
Верховный судья Хор-ахте
 обязан был не прощать
девятого преступленья.
Оно могло быть и первым.
Преступнику не поклонился,
к ногам Ишпака не бросил
угрюмых достоинств своих.
Держал он чашу и меч,
 недвижно сидя на торе.

II

Их было восемь судий,
молчавших, словно львы,
их кровь ревела в жилах.
Лишь Хор-ахте, мудрейший,
спал, смежив веки,
в собственной тени,
и тихо кровь его журчала
в дряблых венах,
напоминая полдень
 и арык.
Но знал хан Ишпака —
он тих,
как тигр в джунглях.
Нога его хрома, но ум проворен.
Глаза его тесны, но лоб просторен.
И стоя перед ним,
 любой честнейший воин
считал себя презренным
 жалким вором.
Когда глаза он разжимал
 со скрипом,
заржавленное веко
 дыбил бровью,
преступники валились наземь
 с криком,
храбрейшие из них
 мочились кровью.
О, не встречайтесь с этим взглядом жутким,
сочившимся сквозь дебрь витых морщин,

так ночью на оленя смотрят джунгли, —
всевидящий,

незримый миру джинн.

...У коновязи всхрапывали кони,
и конь Ишпака был обеспокоен.
Не ел травы густой.
Обеспокоен.

Ш

Похрапывал Хор-ахте.

Вопросы задавали скуны.

Был вопрос Тарака, он испытывал:

— Что, светел нынче день?

(Дочь его из молока и мёда
пришла на память
и не взволновала.)

— День как день, — ответил Ишпака,
он запоминающе взгляделся в скуна:
твёрдый лоб, уверенные скулы, —
может быть, еще удастся встретиться
в той земле несветлой,

а пока

был вопрос второй,
слушаем его.

— Разве ты не видишь — в небе звёзды?
И Луна?

(хотя светило солнце.)

— День как день, — ответил хмуро хан,
если вам не нравится светило —
погасите,

это в ваших силах...

Бахус* может вызвать ураган
и задуть огонь, — ответил он, —
кто преследует, тот и силён.

(Печень колотилась ему в спину,
Ишпака был сильно разозлён.)

— Солнца луч блистает в небе синем,
страх не помогает

даже сильным,

* Бахус — жрец, шаман.

честь моя,
 как вываренный чай,
но и ту придется выручать.
Я сегодня настроенъем плох,
но я воин,
не возьмешь врасплох
даже ночью,
бей при свете дня,
о судья, испытывай меня!..

IV

Послушаем, что сказал Кыр-куз.

— Прекратим преследование
и предадимся разговору.

Закон Шатра: судья к судье,
вор к вору.

Считаю так:

нас — много, ты — один,

но мы — рабы,

ты все же господин.

За взятку ты рубил

ключицу нам,

мог бросить под коней,

в загоны к львам,

но —

персом стал,

мотыгу в руки взял,

ударил по земле

и так сказал:

огонь костра я запер в печь,

сказал?

пространство стенами огородил,

сказал?

я превратил в мотыгу меч,

сказал?

не Тенгри,

пёс меня родил,

сказал?

Ты слышишь, замолкли кони?

Тихо и пусто в степи,

молчит, пристыженная,

словно у всех ишкузов
родились дочери
стриженные!
А города персов сияют,
пляшут огнями,
будто в каждом их доме
жен
наших грубо обняли.
И они отдаются им,
жены наши!
С кого нам спрашивать,
Хан великий?
Да, солнце светит
на наш позор,
враг не скрывает
свои улыбки.
Хор-ахте всемогущий, я назвал проступки
Ишпака,
один из них прощаю...

V

И поднял нож вопроса
Ики-пшак.
Его лицо лоснилось смуглой костью
и излучало чёрное спокойствие.
— Водой речей ответных
не отмоешь
ты имени запятнанного, хан.
Пусть будет чистой
влага омовенья,
но не клянись быть честным до конца.
Закон Шатра известен:
отвергай
все обвиненья,
лги, но защищайся.
Пока ты говоришь, —
тебе мы верим.
Разрушь плотину,
пусть бурлит вода.
Мы обвиним тебя за преступленья,
не за слова твои —

ты не поэт.
Мы обвиним тебя не как лесного
зверя,
о нет.
Мечи — у нас,
тебе вручаем щит,
возьми его,
используй своё право
и в океане размышлений плавай,
и пусть не загрязнится водоём.
— Пред вами безупречный
не стоял,
закон Шатра гласит:
хвала — известна,
хула — невидима.
Давайте честно!
Все подвиги мои в ночи
сокрыты,
бесчестье бьёт в глаза Суда,
как солнце.

Б а л т а

— Ты родился мужем —
не ребёнком,
не лежал в собольих ты пелёнках,
ты из чрева вылез
с грозным кличем,
степняки сказали: «Быть величью».
Не сосал грудь суки,
разгрызал губой,
молоко отдаивал
вместе с кровью,
иноверцев видел
только под собой,
это вдохновляло нас,
не скрою.
Ты слюной в пустынях
жажду утолял.
Пусть же скиснут груди
скифских матерей,
если не додали

то, что не добрал,
ты родился зверем,
стал слабей людей.
Ты владел тяжёлым
правом первой ночи!
Свадеб избегаешь,
прячешься, как вор,
иль копьё погнулось?
Или меч короче?..
Муж народу нужен,
а не вол.
Если обессилен,
то закон всесилен —
мы тебя задушим,
новый бык нам нужен.
Отвечай, не мучай,
Ишпака, будь мужем!..
(Океан раздумий
превратился в лужу.)
Мы тебя спросили:
признаешь бессилье?
Хор-ахте, могучий,
мы вину назвали.
Мы её простили.

VI

Твердокостный Уч-ок,
за силу бёдер и редкостное слабоумие
известный книгам под прозвищем
Безголовый, прослышав речь Балты,
пришёл в оживление.

Он хватил ладонью по колену,
чем боль себе не мало причинил.
Послушаем, что он сказал,
в речах могучий.

— Пах-пах!

Зловещий зной палит тебя.

Ты сух и тонок,

не терпи,

пожар твой может согреть
невестам лучезарный пах,

одну же
 может он спалить,
дай выход скотству,
 не терпи.
Я б не хотел на месте быть
той девы робкой, —
не терпи!
(«И я б замены не хотел
такой», — подумал грустно хан.)
Не воздержись! Веди нас в бой,
мы ринемся тебе вослед,
на спину глядя, как на свет,
ты знаешь, в битвах я какой!
Спроси жену мою,
 она
в меня, как в волка,
 влюблена.
Я всё простил тебе, о хан.
— Ты можешь лишь одно простить.
Один проступок.
— А какой?

.....
«Он восхищен мной, —
 мнил Уч-ок
и шевелил волос пучок.
— А может быть, судьбой своей?
А может быть, женой моей?!»
Эй!!

VII

И молчанья толпу
раздвинул плечами
скуп рода Тилик.
Показал он, вздохнув,
словно крикнув с досады,
свой острый язык.
— Ты не принял слов дружбы,
не принял пощады,
ты духом велик.
Ты огнём закален,
как страница печальных

наших глиняных книг.
Этот мир завоёван,
но разве лишь в этой
вселенной живём.
Ты уйдешь от нас раньше,
тот мир покоришь,
за тобою пойдем.
В той несветлой земле
снова грозным вождем
мы тебя изберём.
А пока подождём
и рассыплем просом,
сгниём под дождем,
разбредёмся по полям,
по разным дорогам уйдём.
Разберём свои тамги,
народ наш лишится письма.
Что же скажет Хор-ахте?..

... Тот спал, и довольно весьма.

По закону Язу,

 не положено судий будить,
если он не проснулся от слов,
знать, слова не важны,
если он не проснулся от воплей ослов,
ослы не нужны,
если тигры его не разбудят,
и они не страшны.

По закону Язу,

 отложили на день приговор,
нет решения, значит,
пока ты по-прежнему — вор,
совершай преступления,
завтра — один ответ.

Что свершить?

Посоветуй весёлому хану,

 поэт.

... Выходили неслышно,

 садились на тихих
 коней,
разъезжались, копытом

 не тронув прибрежных камней

и камчи не подняв,
чтобы ржанием не разбудить,
и тебе, Ишпака,
из шатра опустевшего
надо
уходить.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

I

Хор-ахте грозно спал,
на торе сидя,
с коленей грозди рук свисали мрачно,
с губы его презрительно тянулась
серебряная нить,
как с морды жвачной.

Хан в белый свет двери квадратной
вышел

и, разминая ноги, подошёл
к коню, похлопал по груди
и выше...

Спустился к Тингру.
Заструился шёлк
слепящего широкого потока,
как будто ждал его
недвижно, долго.

Хан усмехнулся добро
и похлопал
по ласковой упругой коже!

«Топай!

Спеши, гони свою волну
к Евфрату,
задумчивому илистому брату,
сливайтесь в племя мутное
углом».

Распахнуты врата прекрасной Евы,
и города Ашшура, Вавилон
вместились (или вышли!)
в Бабье Лоно.

Лежит Арем, раскинув

ноги рек,
восьмиэтажный столп
вонзился в угол —
лар Апполона
(одного из этих пугал
являл ему на Крите
Архий-грек).
Кыр-кузы называли — Амдаря
разбросанные, словно ноги,
воды,
косоги нарекли — Сырдаря
разбросанные, словно роги,
воды.

II

«Теперь я знаю всё —
в пустыне горькой
мне нужен виноград,
который давят,
который,
перезрев на солнце ярком,
сознание символов любви
нам дарит.

Спокойствием ума
сейчас обязан

я
виноградным лозам,
тяжёлым гроздьям,
ногам лохматым,
что давили их
в корыте каменном,
кричащим сокам,
кувшинам полным,
что хранили их,
руке своей,
что подняла высоко
сосуд, налитый
темным знаком солнца,
и горлу остуженному.
За правду!
За то,

что в виноградниках
обильных
мне нужен мрамор
пряный.
Эй, горбатый!
Наполни-ка еще один кувшин».

Ш

Поэт
Мой долг напоминать тебе такое,
что, успокоив,
вновь лишит покоя.
Мне отвратителен гранат и
финик липкий —
прекрасен виноград
на лозе гибкой.

На эту тему стих:
«Не будь он так прекрасен,
то вид его в давальне
под ногами
был бы не так ужасен,
согласитесь.
Все лучшее, что солнцем
создаётся,
ногам невежды всё же
достаётся.

И это некрасиво,
согласитесь».

И ш п а к а
Мы с Понта холодного
рвались в Элладу,
нам ветви олив изодрали
халаты,
из дыр виновато
глядела на Грецию
вата.

Врывались, как Ларры,
и землю,
как кожу коровы, распяли,

великой загадки эллинов:
«Что может прекраснее быть,
чем природа?»

Потом же,
спустя много лет,
отвечаю:
«Прекрасней – подобье».
И спору:
«Все лучшее, что создаётся под солнцем,
в сердцах остаётся,
в ночах наших светит
бессонных».

IV

Поэт
И прежде ты страстно желал
не её,
а подобье.
Подобьем ручьев на пустыню
нисходят потопы.

Звено одинокое
лучше звенящих цепей,
пусть правдоподобие
будет прекраснее
правды.

Бог создал индея А-брахма
подобным себе,
а также, клянусь, иудея
по имени Брахм-а.

Я слышал, несчастный,
по пёстрым базарам Арема
шатается странный торговец
с товаром гаремным,
нет золота ныне такого,
которое стоит
рабыни его смуглотелой,
никто не достоин
купить невесёлую гроздь,
она бесподобна.
Брось мёртвые знаки,

садись на коня,
здесь недолго.

V

Базар.
... Мощный скиф, расставив ноги,
кричал с помоста:
– Все семь частей её тела
 округлы,
ни вен, ни костей не видно.
Кто мужем ей хочет быть
ночами? – невинна
к тому же.
Труса героем сделает
 в ложе тесном,
скопца – мудрецом,
жреца ассирийского – честным.
К чему беднякам драгоценные
 перстни?

Невинна.
Я вижу стада голодных скопцов,
а щедрых купцов
не видно!

*(Толпа хохотала до колик, до драки
 кольями.)*

Певцу выставляю корчагу сикеры,
кто воспоёт золотистые брови,
которые с сердцем героя
 вровень.

Ну, кто единственный,
а кто – первый?

VI

Взошел на помост бесплечий красавец,
весь рыжий.
С лицом, изможденным от боли в паху –
от грыжи.
Держась за больное место двумя руками,
лицом повернулся к восходу
и спел, не лукавя:
– Женится бы пышною свадьбою

И –
врезались в гущу толпы
воспаленные кони.
Скиф славно работал –
по битве истосковался,
он сбил одного,
 и троих,
уклонялся,
 смеялся.

Ишкузы жалели его,
не стреляли из луков,
они отошли от помоста,
и он со стуком
вонзил акинак
окровавленный
 в доски.

Баста!
– Я знал, Ишпака,
ты настигнешь.
Я сдался. Властвуй.
Хан тронул коня:
– Я её покупаю, Дулат.
Горсть тенгриев желтых
ударилась под ноги
 скифу,
один отскочил от меча,
покатился,
исчез.

Наверное,
в щель закатился,
наверное,
сгинул.
Её подвели, посадили в седло.
Ишпака
глядел на Дулата с тоскою
 собачьей.

– Эй, воин...
Садись на коня, я прощаю...
Помял ты бока
моим молодцам...
– Ни-че-го, Ишпака,
 ты не понял!!

VIII

Д у л а т

Глаза мои плачут,
не золото мне было нужно,
убить я её не могу,
я ведь знал —

ты придешь.

Но слово есть слово,
я клятвою связан ложной,

её не нарушил,
я верил,
что ты поймешь.
Но ты не осёл,
ты хуже, отец ишкузов!
Любимый мой друг,
я верен тебе всегда.

Ты звал, и я шёл,
истекая,
не зная куда!..

Верни меня в степи родные,
хочу туда,
где солью Балхаш умывал,
где плыл Каратал,
я все эти годы

ночами во снах
умирал

на родине нашей,
я снами

года коротал.

Верни нас домой,
и забудем, что было

тогда!..

.....
Оседала пыль, поднятая умчавшимися конями.

Базар вылез из щелей и, ломаясь, бросился
на пустой помост, где ярче крови желтели
круглые тенгрии.

Под помостом в пыли лежал на спине

одноногий башмачник,

храпел, заливая слюной

подбородок и шею.
Узкая полоса света из щели
рубилa лицо,
грохотало над ним деревянное небо.
И светилась в пыльном луче
золотая монета,
прилипшая к грязному поту
между бровей.

(Часть вторая)

РОГА

Поэт

Сегодня видел я Котэна Мерзкого,
ходил по улицам он пьяны, как башмачник,
с иконой богоматери шумерской.
Я не могу продолжить свой рассказ,
покамест не избавлюсь от стеснения.
Икона эта — белая кошма,
на ней широкой кистью нарисованы
раздвинутые ноги, между ними —
огромный крест.
Да здравствует богиня,
дарующая жизнь и процветанье.
Мы поклоняемся Святому Лону,
что нас явило —
материнской силе:
Зачатию, Рождению
и Мукам.
Тот крест был символом младенца-бога,
которого (чтоб духи не узнали)
отцы иносказательно назвали.
Каждый урук по-своему назвал.
Косоги нарекли «Тот, что в ногах» — «Буд-та»,
кипшаки дали имя «Между бедер» — «Сан-та»,
его нарек уч-ок «В заду» — «Гот-та»,
кыргызы грубые назвали прямо «Бо'х»,
что значит в их наречии «Дерьмо».
Урук, который породил Котэна,
кресту дал имя Осирис, что значит

«происхождение, рост» и «ветер зады».
Воистину, Котэн достоин рода!..
Мидяне, поклоняясь знаку Матери,
крест называли просто «Из-зады»,
«из зады вышедший» что означало.
Когда же персы, покорив Египет,
Осириса изгнали из пределов
и посадили культ своей богини
с младенцем Иззады, бритоголовые,
не разобрав, отдали это имя
самой богине, чей был зад замешан,
и извратили знак, поворотив.
Теперь не Ноги более, а Роги,
не крест-младенец, а огонь украсил
короны тех египетских богов,
которых мы коровами назвали
и видели убитых в них быков.
Не наш ли долг возвысить голос правды
и объяснить заблудшим их ошибки,
мы, первенцы умноженной вселенной,
мы оставляем эти имена
повсюду в племенах, где мы бываем.
Уносим тайну их происхождения.
О, обратится это против нас,
невежды пьяные!..
— Шигир-Изады было ее имя!..
Ногам, коленям, бедрам и хвостам,
зады, пометы, пяткам и следам!..
Кому мы поклоняемся, о люди!

Какими именами наделяем
богов своих, дарующих нам жизнь
и силами природы управляющих
и языком великим наделяющих!..

— Мы превратили их в быков безрогих,
в коров мычащих и воздвигли статуи —
крылатые, но все-таки хвостатые!..

— Мы уходим на поиски древних знаков,
мы встречаем их на дорогах разных,
растворенные в формах воды и плазмы,
в фигурах гор и во взглядах магов.

Отпечатаны в лицах людских

и в пальцах,
в изваяньях египетских,
в женских танцах.

Очертания символов вижу в слове.

Заклинаю вас, люди,
поклоняйтесь корове.

Поклоняйтесь корове, несущей солнце в рогах,
поклоняйтесь корове с белым пятном во лбу,
поклоняйтесь корове, чьи рога перевязаны
красной лентой,
поклоняйтесь женщине с красной точкой
между бровей.

Поклоняйтесь и поселяйтесь в междуречьях.

— Ныне веки иные, иные знаки,
стали верами нашими львы и собаки,
на знаменах возникли волчьи оскалы!..

— Но по-прежнему солнце сияет на скалах
двурогих,
в междуречье Евфрата,
на рогах Арарата,
на крутых и пологих
склонах.

И пока на челах королев блистают алмазом
короны...

и пока вгрызаются в круглую землю корни...

— Но уже не хватает влюбленных.

— Поклоняйтесь корове!..

— Молитесь коленям прекрасным,
задам и ляжкам.

— Рогам!..

— Ласкам!..

— Люди, отмойте святую буренку
мылом,

Снимите с шерсти сосульки
навоза и грязи,

Перехватите рога ее лентой
красной,

щедро намажьте лоб ее плоский
мелом.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Это осень. Жизнь растений
бедна и печальна...

Все было так же. Хор-ахте спал.
Сидели скуны, и каждый ждал,
когда проснётся великий Ра,
поднимет чашу и меч
с ковра.

Не дождались —
преступник встал.
— Ишкузы, слушайте
речь вора.

I

— Я вас привёл сюда. Вспомните:
верблюды ревели. Тугими горбами трясли.
Песчаные вихри в пустынях,
как роши, росли.

В тени ураганов
на пыльных от ветра конях
все восемь уранов*
сквозь вопли кумеров прошли.
Покрытые пылью ударов
бессильных мидян
искали страну легендарную
и не нашли...

Возьмите таблицы
и каждое слово проверьте,
любое созвучье —
сретение жизни и смерти,
молчит верблюжонок,
ревет обезумевший волк
и каркает птица
над круглым пустеющим полем.
Ишкузы,
откуда приходит в Ассирию осень?
Ответьте,

* Уран — «боевой клич племени»

откуда летят наши бедные гуси?
Они возвратятся весною, озёра их спросят,
о чём их весною пытаются озёра,
ишкузы?
Озёра степные, поросшие мелкой осокой,
глубокие ночью
и плоские в полдень озёра.

О ком они спросят,
солёные от позора?
Ответьте, кос-оги.
Они возвращаются, гуси,
они пролетают
над мрачными спинами
сгорбленных гор Улутау.

Перо
на скалу опустилось,
растаяли
гуси,
о чем их спросили ущелья?
Ответьте, кыр-гузы!
Там ваша
родина —
красная глина в буранах,
жёсткие травы
с шелестом гнутся от ветра,
она не корова —
худая волчица
в бурьянах,
но есть ли прекраснее мать,
чем своя,
ответьте?

Я тысячи копий с седла метнул,
я тысячи стрел в тела окунул,
одну, визжащую,
как ответ,
стрелу мою
с силой в меня вернул
нежданный ветер.
Всего одну..
Там предков могилы,
там Сар-Кене

храпят подо мной.
Ночь сегодня?
Согласен с вами,
значит, утром —
 веду вас в бой.
Стук мутовки —
 пахтают кумыс,
молодцы доят
 кобылиц,
Ишпака опять на коне,
перс визжит на моем копье.
Будьте же готовы к славе, люди,
тех, кто скачет с нами,
 она любит,
обнимайтесь,
 колотитесь лбами,
я вас не прощаю,
 но я с вами.

Ш

Он смотрел не на них,
он смотрел в равнодушное солнце двери,
в громадный квадратный белок,
в котором, словно зрачок кошачий,
чернела стройная
женщина.
Он говорил, глядя в это Око:
 — Я принял правду ваших слов,
 вы приняли мою.
 Не прекратить удары языка
 в сухое нёбо.
 Вы защищаетесь, я — нападаю.
 По закону Язу, хан Уходящий
 оставит наследного хана.
 Все скифы — мои сыновья,
и я выбираю любого
из избранных.
Того, кто быка победит на ристалище
самого злого,
тому я невесту обязан найти.
Вот моя мысль.

А вот мое слово:

войди!

На алой кошме невесты

её посадите,

и пусть достойный

её выбирает.

Слабый пусть умирает, а сильный пусть

остаётся

и ей достаётся.

Пусть из рабынь она первая будет
царицей.

Будет!

Она благородна душой и сложением

полным.

Я призываю вас, судьи, свершить

преступление,

которое — подлость,

в сравнение с моим унижением,

но когда доброта обесценена,

грех — это подвиг.

Уйди!

IV

Он замолк. Опустело Око.

Оглянулся.

Взгляд его увяз в морщинах лица

Хор-ахте,

он рванулся.

И все посмотрели туда же.

На высоком торе,

облитом черным ковром,

неподвижен, как пень,

старейший Хор-ахте

второй день

сидел, погружён

в омут раздумий.

Глаза его не открылись ни разу.

Но губы его шевелились. Он пел.

И чаша в руке

проливала дрожащую

воду воспоминаний.

... Он забыл её, очень давно это было.

У Нила.

Пили кони медлительную воду
разлива.

Олива...

И на зеркале вод возникали
воронки дыханья.

Он был Ханом.

Уносилось в рога океана багровое
солнце.

Весомо.

И она, чья спина трепетала
под взглядом его,
уносила под рёбрами
сладкое чадо его.

V

Пел старик о зелёной тростинке,
пел, седой, развивая жилы,
его голос высокий качался,
как цветок

на старой могиле.

Он забыл то лицо и талию,
как её обнимал

и так далее,

только голос

уныло помнил

до деталей

весёлую полночь.

Как собаки тогда брехали!..

Ишаки, гогоча, брыкались,

и сухая трава под телами

извивалась

и вырывалась...

Не забылось... Завылось...

Дрогнуло...

Сердце вора шершавым тронуло,
Ишпака, потерявшись от жалости,
раздирал свои губы сжатые.

Думал, всхлипывая: «Хор-ахте,
что ты делаешь, вран порхатый?»

на всякий случай
помочился кровью.

VII

По закону Язу,
если судья запел,
никто не мешать не обязан.
Закон Сар-Кене
любое предусмотрел,
ибо всякий закон
правителю
богом подсказан.

И скуны кивнули:

1) вернуться на землю свою.

И скуны кивнули:

2) казнить Ишпака в бою.

И скуны кивнули:

3) пусть нового хана назначит.

Плечами пожали:

4) ну и рабыню, значит...

Разобрали свои тамги и вышли.

Расставляя ноги, подался в степь Уч-ок,
забыв второпях

одну стрелу из трёх.

Её подобрал Кос-ок*.

Хор-ахте** пел, уже раскачиваясь. Никто
не понимал.

Он пел на древнеегипетском.

РИСТАЛИЦЕ

I

Ишпака велел свалить лучших жеребцов,
верблюдов и баранов
из своих стад.
Выдоить целое озеро кумыса
из своих кобылиц.
Наполнить кирпичные чаны ассирийским

* Уч-ок – «Три стрелы», Кос-ок – «Пара стрел»

** Не в честь ли древнеегипетского бога по имени Хор-ахте назван судья? (ред.)

вином и сикерой
из кувшинов своих.
В этот день
голодного поймашь —
 накорми,
а голого увидишь — разодень.
Отряды ловят на дорогах нищих.
Купцов, послов, лазутчиков и прочих
арканами хватают и ведут
к ристалищу и у костров сажают
на шёлковых коврах и угощают.
И пусть не скажут, что последний пир
Ишпака
скудным был, игрище — скучным.
На холмах, окружающих долину,
в тени дерев раскидистых сидели
ишкузы и с подносов мясо ели,
куски макая в чаши с жидкой солью,
подкрашенной зеленым чесноком
и красным перцем.
И ели так, чтобы баран вставал
на все четыре лапы в тесном чреве.
Тогда его топили в кумысе...
Бросали жребий все вожди уруков.
Кость пала белой стороной двоим.
Те двое молча обнялись и снова
швырнули кости.
Вскрикнул Ики-пшак!
И сел Косог на место побежденным.
Скун Таг-арты, вождь рода Ики-пшак,
который без щитов в толпу врывался,
не дав врагам пересчитать друг друга,
поднялся во весь рост
 и крикнул сына.
Взревели ики-пшаки на холмах
и вмиг сады угрюмые срубили,
чтоб видеть не мешали им арену.
Бежал он, раздеваясь на ходу,
остался в кожаной короткой юбке.
И добежал,
 и радостно дышал,

лицо его волнением сияло,
жемчужина, что не имеет ценности,
пока она на дне

в зеленом панцире.

Но если вдруг найдут её,
и выйдет,

и явится глазам —

ей нет цены!

— О скун-торе,—промолвил Таг-арты, —

благослови на подвиг Безымянного,

не проливал он молока старух

и по лицу не бил седобородых.

Он хочет имя мужа получить

и стать отцом

великого народа.

Позволь ему...

Хан Ишпака кивнул

и поднял красный плат,

чтоб выводили

Быка.

II

Держали с двух сторон

на бронзовой цепи

три скифа справа

и четыре слева.

Дойдя до середины, они разом

с рогов сорвали цепи,

разбежались.

Бык не догнал,

стал у скалы

послушать,

о чем кричит

мальчишка безымянный

на сером камне,

голос возвышая,

размахивая родовым оружием.

— Я сделаю тебя коровой,

бык,

перечеркну рога твои мечом,

священный враг.

О, ты еще силён!
Когда ты ударяешь рогом в камень,
из камня серого, как из мешка,
на землю сыплется мука,

о бык.

Мальчишка прыгнул со скалы
на спину
быка,
ударил по бедру —
и прынул
в песок ристалища,
вскочил и прямо,
клянусь,
как лев рогатый,

прыгнул бык.

— У! * — взвыли ики-пшаки.

Увернулся.

— И! — раздалось с холмов.

Он улыбнулся.

И поднял нож,
и обманул быка.

Он не вонзил в загривок,
издевался,
плашмя прижав к рогам,
он упирался,
спиной вперед перед быком он ехал,
урук, его подбадривая, ухал.

Рога с мечом соединились:

— Уй! **

Бык двигался, набычившись,
как пахарь,

мальчишка пятками песок пахал,
он оставлял
две борозды глубокие
и потом крупным сеял. Он устал.

Но не сдавался,
не ломал спины,
весь устремлен вперёд, хоть

* и — «бык» (пра-тюрк.)

** иј — «корова» (др.-тюрк.)

двигался назад,
а бык не отвлекался —
 пёр к скале.
Разноязыкая толпа шпионов,
послов, купцов и нищих
 надрывалась
при виде перечёркнутых рогов.
Вопили галлы:
— Ви!
Им вторили арамы:
— Аль-ви!
— Хо-ви! — собачились эллины.
Надсаживался кто-то:
— Ви-та! Ви-та!*

...Вино потягивая, ждал Кос-ог,
когда припрёт соперника спиной к скале
священный враг.
 ...И сломаются руки,
 не выдержав тяжести мощи быка,
 меч вдавится плоскостью в грудь,
 сокрушая рёбра,
 и за ним
 в кровавое месиво
 влезут рога.

— У! — оседала толпа.
Таг-арта посерел, как скала.
Оборвал до плеч рукава.
Замер в безмолвном крике.
Бык возвращался, стяхивая с рогов
розовые кишки
 Безымянного мальчика.
И две борозды обнюхивал,
вздымая песок дыханьем.

* Соединение рогов (u, v) с чертой (j) давало священный знак «убитые рога» («не бык»), в эпоху матриархата — основной символ бога — женщины. Название бога — женщины (жизни, любви, рождения), распространяясь по миру, обрастало артиклями: семит. — аль; греч. — хо; индоевр. — то, та (аль-ви, хо -ви, ви-та, фи-та) (Примеч. Ишпакая)

всей тяжестью повис
на рукояти,
в мясо погружая,
холодной бронзой сердце
остужая...
Колени подломились у быка,
кровь хлынула из носа,
и рога
в песок вонзились.
— Ту! — холмы взлетели.
И солнце скрылось,
и на тёмном небе
возникла ярко новая звезда.

IV

Косог, шатаясь, встал,
пошёл к щиту,
поднял,
к быку лежащему вернулся,
присел и вырвал
длинный нож
с фонтаном.
Глаза быку обмыл горстями крови.
В четыре взмаха голову отсёк.
И на щите нёс голову и гнулся,
так тяжела была та голова.
Косоги пели, стоя на холмах,
молчали ики-пшаки, восседая
на срубленных оливах,
Таг-арта
шел от скалы,
за ним тащилась женщина,
хватая руки мертвые,
свисавшие
с плеча неутомимого вождя.

V

Косоги разжигали на арене
костёр.
За хвост
быка к огню тащили,

острили ствол оливы
и совали под хвост быку,
распарывали брюхо...
Он поднимался к Красному навесу.
Щит с головой сложил к ногам невесты,
стал на колено, тяжело дышал,
гул бычьей крови

восставал в ушах.

...В крови четвертый палец
окунула

и красное поставила пятно
между бровей своих...

А он сказал:

— Отныне ты, Шамхат, моя корова,
несущая цвет солнца меж рогов,
начертанных богами на лице
твоём
опущенном.

Он задыхался.

Устал он, поднимаясь по холму.

— Отныне, бык, ты мой, —
она сказала. —

Я жду тебя в шатре,
мой муж рогатый.

Иди за титулом, —
она сказала, —

ты беден именем,
а я богата.

...Теперь не голос,
тело всё дрожало,
когда он нёс тяжелый щит с рогами
к навесу голубому. Он боялся —
Преступник шёл к Преступнику
за славой.

Он подошёл и положил поднос
к ногам
своим.

Приблизился, склонился,
поцеловал плечо и руку.

Сказал:

– Ушедший хан. Я победил.
Твой бык был поражен
моим стараньем.
Признай. Надень достоинства быка
на голову мою
и дай мне имя.

Хан долго поглядел в его глаза,
укрытые броней ресниц,
сказал он:
– Ты был не прав. Но ты его свалил.
Он снял с себя тяжёлый шлем с рогами,
косог пал на колени.
– Заслужил.
Когда-то брал его у Хор-ахте...
Он так же не хотел, но я хотел...
Возьми рога и титул
Пер-им-Торе.
А имя твоё будет Арты-ту.
С колен своих меча он поднял тяжесть.
– Ты поведешь мою орду к восходу,
когда я в битве первой упаду.

Он палец обмакнул в крови быка
и красный крест между
своих бровей
провел.
И приказал вождям уруков:
– На символе вселенной поднимите,
пусть Тенгри-хан
 усыновит его.
Вожди подняли белую кошму,
косог на ней лежал,
дышал от счастья.

VI

*«Пусть то, что ты делаешь нынче,
смешно и постыдно,
но если великая страсть —
украшение чувства,
тебя захватила и бродит,*

*как вихрь в пустыне,
и если сегодня ты счастлив,
то завтра — искусство.
Всю силу, все солнца —
в сегодня,
ведь завтра не будет,
все праздники жизни отпущенной
сразу — без буден,
судьба одноцветная —
это кошма без узора,
ты высшую храбрость познал —
не бояться позора».*

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

I

По жребию её одели в одежду женщин
рода ики-пшак.

Толпа вождей по холму поднималась
к белой юрте,

там ждёт Корова Нового Быка.

И сказал юный косог,

горя предвкушением одиночества

брачного,

слушаем, что он сказал у порога,

счастливый:

— Предложь, Ушедший Хан,

ей наказанье,

слова твои да будут прорицаньем,

она готова свет любой принять,

не оскорбляя блеском отрицанья.

II

...Великолепны были эти бусы
из тёмного с прожилками агата,
непосвященному могло казаться —
то круглые глаза слепых красавцев,
любимых смертью

юношей Арраты,

нанизанные на виту ю нить,

зловеще её горло украшали,
но ядра бадахшанской бирюзы
в праше серёг серебряных

прощали

того, кого не стоило

винить.

Движенья — украшение души,
едва заметные,

подчинены дыханью,

невидимы,

как ветра колыханья,

что охлаждает щеки, возбуждая
воображенье будущего хана.

Спокойный взгляд

из-под густых ресниц

способен был дробить

скалу гранита.

Алку грудную густо усыпали
граненые крупницы лазурита,
лучи ломались —

грудь её дышала.

«В пустыне жаркой

молятся не Солнцу,

подобию его —

Луне угрюмой,

в пустыне снежной

молят не Луну,

подобие её

нас наслаждает.

Всё будет снова», —

думал Ишпака. —

«Кем родилась?

Наложницей?

Жена ли?»

Запястья стройные

(нежна ль рука?)

браслеты из сердолика

сжимали.

Был бронзовыми убран зеркалами
широкий пояс,

облегчавший грудь,

и два ножа,
 сходящихся углами,
не позволяли глубоко вздохнуть.
На рукояти выдавлено слово —
«Невинность»,
на другом ноже —
«Вина».
Таила блеск в футлярах тростниковых
среди мирных драгоценностей
война.
О, ярче золота и минерала,
когда придёт пора,
 сверкнут клинки!..
Всех украшений
 стоит блеск кинжала,
когда он — продолжение
 руки
такой, как эта...
«Не повторить тебя,
 ты совершенна.
О, если б хоть один изъяз увидел,
я жизнь бы сохранил
 для завершенья
гармонии твоей.
Бог не в обиде.
Всё будет снова.
Может, чуть иначе
ресницы колесниц на лицах...
ночи...
увидишь степи наши, где бездонны
озёра...»
— Будь, Шамхат,
 себе подобна.

III

— Возьми её, как равный,
исполняй
её желанья.
Даже тени стройной
не позволяй чужой ноге коснуться.
Желаний мужа
будь и ты достойна.

Косог послушно голову склонил.

Обряд ему надоедал.

Желал он.

Шёлк одеяла взгляд его манил.

Сейчас уйдут.

Опустят полог.

Ждал он.

– Укрась четвертый палец его знаком –
кольцом серебряным.

И ты надень.

Соедините руки, чтоб столкнулись
два круга.

И не разнимайте их.

Пусть над пожатем вашим

станет слово,

название Восьмёрки Небной –
сег'с*.

Любовь – два круга белых –

айн-аль-айн,

любовь прощает

восемь преступлений.

Шамхат не поклонилась,

но сказала,

не будет тайной,

что она сказала:

– По праву первой ночи должен ты
вкусить вина девичьей красоты.

Обязан первым пробовать

отраву.

О Уходящий Хан,

используй право, –

она сказала.

Бороды кивнули.

Вожди родов, услышав голос правды,

свои тела в пространство окунули,

когда закон вершится,

судьи рады.

* Знак 8 был символом любви, поэтому в огуз. языках название восьмёрки – «сег'с» – означает и «половой акт». (Примеч. ред. Ишпакая.)

IV

Огни светильников вовсю горели,
с камнями расставаться не хотели.
Упал со звоном пояс на ковёр,
и в зеркалах мелькнули блики тела.
Весь мёртвый блеск

с себя она срывала,

теперь лишь скромность
стыд её скрывала.

Пригнувшись, вышел
молодой косог,
и войлок полога укрыл порог.

V

РЕТРОСПЕКЦИЯ

...Жар пёстрого базара,
рабыня на помосте.
Дулат слова бросает,
как циферные кости:
— Её тамга — два круга,
два глаза, как два солнца,
две ягодицы,
груди,
как два горба верблюда.
Эй, не глядите мимо,
не обманитесь, люди.
Два круга, как два блюда
с ломтями
блюда.

День в ночи превращает,
в неверье обращает,
и кто не знал, познает,
что значит расстоянье
меж двух кругов единых!
Познайте дивных тайн,
рабыни Айн-аль-айн*

* Айн-аль-айн — др.семит. название знака любви — Два круга (Прим. Ишпакая).

VI

И случилось то, о чём ишкүзы тихо
поют, наполняя глаза горьким
светом.

О, этих женщин вправду не поймешь,
их искренность
лишь обрамляет ложь.

— Бери, если уверен,
что возьмёшь.

Власть упустил?

Меня ты упустил.

Ты так любил.

Теперь ты не дрожишь.

Уходишь от меня,

исполнен сил.

Жизнь отдаёшь?

Ты мной не дорожишь.

...Рабы не имели страсти

и не достигли власти.

В несчастных я пробуждала

если не страсть,

то страсти.

И не свободу —

волю

в души их насаждала,

этим прекрасным телом

веру их наслаждала.

Я не умею править,

но наделяю правом

первой счастливой ночи

тех, кто продолжить хочет

дни

в неразумном счастье,

тех, кто достоин участия.

Ты же, увы, не сможешь

не утомиться властью...

VII

Он разрывал её руки,
как ткани.

Она, как раба, отбивалась руками,
кусалась, мычала,
впивалась зубами досады,
визжала,
как нежный джейран
в тигриной засаде.
Сдавил её горло
и в рот ей вогнал крик,
он белел из открытого рта,
словно мраморный клык,
и скользил по броне боевой,
защищающей сердце.
И когда он расчистил путь к цели,
когда он руками пчелы
раздвигал лепестки её ног,
чтобы жалом звенящим
ударить в нектар вожделенный,
случилось то, о чём ишкузы тихо поют,
наполняя глаза
горьким светом вопроса.

VIII

Читатель мой, мужайся,
мы из шатра не выйдем,
что было — не увидим,
что не было — увидим,
Кто видывал такое:
цветок пчелу ужалил
и навсегда покоя
лишил пчелу?
— Ужели?
Светильники пылали,
косог за стенкой плакал,
и возле сердца плавал
ай крови:
«Айналайн!»
Верблюдов нагружали,
гнедых коней седлали.
Костры в степи тушили
веселые мужчины.

Плясали в реве копий

*под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны,
стелились в ноги ткани
дымящихся ночей,
лицом к лицу с друзьями,
мечом к мечу с врагами,
взовётся пыль погони!..*

...Летели сквозь Персию злые,
веселые кони.

КАЗНЬ

I

Шёл дождь.
По шлемам войлочным.
По латам кожаным.
Домов тележных
раскисали кошмы.
Густы у небосклона персов стаи.
Сошлись кибитки в круг —
и кошем стали.

А стрелы вяло падали
из луков,
стрельба не получалась у косогов,
не гнулись луки — тетива тянулась,
судьба ишкузам криво улыбнулась.
Уверенные луки
не стреляли!

Оракулы ишкузов
растерялись.
Трезубцами по лужам провели,
а что они прочли,
никто не спрашивал.
Но вот выносят знамя рукопашной.

II

«Мы садились на пегих коней,
к животам прижимали руки,
и молилась орда
перед ней,

проносили хоругви, хоругви.
В центре белый каганский флаг,
волчеглавый и солнцегрозный,
а на левый и правый фланг
уплывали знамена
красные.*
Перс увидел их,
видел гот
наше крепкое красное знамя,
красно-красное,
как восход,
потревоженный табунами.
До закатных стран донесли
цвет восхода.
Они узнали,
что закаты румийской земли
были цвета восточного знамени.
Жен румийских собой напоив,
возвратимся мы стариками,
станут драками наши бои,
реки горные —
арыками.
Мы вернемся в свои ковыли.
Поредуют густые сотни,
и в пределы родной земли
пусть ворвутся
пустые седла».
Ур!** — привстали на стременах.
Ур!— поправили малахаи.
Ур!— и двинулись племена
жнецов немилосердных на пахарей.

Ш

Две ошетинившиеся толпы,
грязь поднимая,
медленно —
навстречу.
Оракулы, поглаживая лбы,

* Красное знамя — знак толпы. Белое — знак хана. (Ишп.)

** Ур — клич, дословно «Бей» (Примеч. Ишпакая).

глаза закрыв,
предсказывали
сечу.
Они шептали:
«Копья затрещат,
ножи вонзятся в горла храбрых персов.
Дождь скроет подвиги
сынов ишкуза».

Пророчество сбылось —
войска сошлись.

Сливались две толпы,
как два ежа,
ломались копья,
застревая в рёбрах,
и крики разрывали
горла храбрых
быстрее ножа.

Всё в этой битве
было, как сказал
оракул.

Кони на дыбах
хрипели.

Хан Ишпака — халат на голом теле,
камча в руках
и бешенство в глазах.

«Закрыв лицо рукой,
сейчас я струшу,
мне жаль людей,
которых я не встречу.

Поэт, опомнись!

Чтоб не рвались струны,
прижми рукой,
продолжи пенье
речью!

Я предок чей-то,
мне нельзя без славы.

Хотелось мне попасть
в твои скрижали,
я сильным быть хочу —
не помнят слабых!..»

...Он рвался в гущу,

но его отжали.
Дулат —
(он тоже смертник...
жар... помост...)
ударом чью-то голову украсил
и обернулся радостно:
«Помог!»
И —
не вернулся в степи:
жизнь утратил.
Раньше тела,
не успев заплакать,
жизнь упала,
задирая платье,
в грязь...
«Раба последняя, — подумал.
— Может, ветер на неё подул?»
Братья на шершавых камнях шей
с визгом
правят лезвия мечей.
Жить!
(свергался) Жить!
Скакун высок!
Пал Дулат, ударенный
 в висок
острой палицей...
«Теперь меня!»
Навстречу сивый перс
метнул коня.
Х (Рапит)*.
Плывет из рук его копьё.
Бунчук тягуч. Лоснится острие.
«Сегодня всем везёт —
живым и битым,
может, вы не рубитесь,
а спите?»
Вырубайте из меня героя,

* Странно, каким образом в повесть VII в. до н.э. попал современный кинотермин «рапит», т.е. замедленная съёмка. Искусствоведы должны обратить внимание на этот факт, который невозможно объяснить просто отрицанием. (Примеч. Ишпакая).

долотом секи меня до крови,
убирать пером с пути
негоже.

На калам его копьё
похоже.

В стихах хотя бы бытие продолжить.
Страстей своих увидеть продолженье!..
Не суждено».

Упрямое копьё
плывет, придать
ненужное движение.
«Зажмурься, хан.
Закрой лицо рукой.
Прими копьё под рёбра.
Оно сбросит.
Ты скрючишься,
зажав кишки,

и струсилшь,
и будешь прав.
Прав, как никто другой».
...Меж коньих ног,
в грязи кровавой сидя,
он даром время не терял,
кричал.
Кто хочет — у оракула спросите,
чего желал вождь свергнутый:

«Спасите»?
Живот пробитый
на руках качал.
Валился набок,
сдвинутый конём.
Мы не забудем, Ишпака,
клянёмся!
Оставим его ненависть
при нём,
пырнём,
добьём копьём
и отвернёмся.
Он сделал всё, что мог.
Помог не маг.

Мы смяли персов,
 те бежали с воем.
 Оракулы торчали на холмах,
 предсказывали результаты боя.
 Они кричали:
 «Персы побегут!»
 Когда уже мидяне не бежали —
 они горой на Ишпаке лежали.
 Их за ноги попозже сволокут.
 И кровью хан потел
 под грудой тел
 и, жизнью исходя,
 сказать хотел,
 о чём?
 Убит в нём перс,
 теперь он в силе.
 Белок из глаза бил
 фонтаном синим.

Свершилось то, чего он ждал, Шамхат.
 Пусть ночь падёт,
 пока ещё закат.
 Живучий, гад.
 А ну, ещё разок.
 Попали, в общем, правильно.
 Он сдох.
 Оракул скажет: «Горе не беда.
 Теперь нам не бояться наказанья.
 Мы предсказанье
 делали тогда,
 когда уже сбывалось предсказанье.
 Ложь не прощали нам,
 на нож — за ложь,
 нам нечего рассчитывать на милость,
 пусть будет то,
 что всё равно свершилось.
 Так уж пришлось,
 видать,
 так уж пришлось...»

Итак, Ишпака удалился в обитель воздаяния

покорять несветлую землю.

*Может быть, его настоящая родина там.
Там его озёра с осокой и горы высокие.
Ушёл, потеряв шапку, бога и жизнь,
но сохраняя нечто, что приобрёл.
То, чего не имел ни один скиф.
Что же он приобрёл? — спросят любопытные.
На это нет ответа.*

Праздник красной земли

*И когда опустеет небо,
проснутся они...*

И
От крови пьян поэт!
А после боя
слова развязны
разбрелись из строя.
И строки славы, как пустые роги
(пир утихает),
валятся под ноги.
Провидец, выходи на поле битвы,
решился спор величья и обиды,
пустынно поле жизни,
нет убитых,
лишь
шлемы, словно панцири
улиток,
да кое-где раздвинется трава,
и мёртвая — из грязи голова,
глаза растоптаны,
и шеи нет.
Оракул, стой.
Иди, ищи, поэт.
Ступай туда, откуда конский стон,
шагай, на посох слуха опираясь,
увидишь за холмами
мёртвых стан —
врата земли для лучших отпирают
живые братья их.

II

Огромен ров.

Дно выстлано двурогими коврами,
воздвигнут в центре пропасти шатёр
трия равновеликими углами.

Ишпака вносят,

вдетого в броню,

укладывают на широком торе.

Кувшины справа — золотом набиты,
в бою добытом.

Кувшины слева —

тёмное вино

и жидкий жир.

А вяленое мясо

уложено в тугих мешках копченых,
хлебы льняными тканями покрыты.

Эй, кравчий, наливай вина

поэту!

Я стоя выпью

за кончину эту.

...Вокруг шатра (так тесно в этой яме)

сложили воинов,

ушедших с ним, —

кыр-гузов, ики-пшаков и косогов.

Скульптуры неживые

в рваных латах,

мечи сияли,

колчаны лоснились.

Они готовы к тем сраженьям славным,

которые им на земле приснились.

В их лицах искаженных

ты прочти

немые отраженья

слов последних,

меж тем и этим миром —

ты посредник,

тебе открыты тайны все

почти.

О чём подумал рыжий ики-пшак,

мечом лидийским

в горло пораженный?
Оскалился.
Чему был воин рад,
вступая из садов
в пустыню Гоби?
«Пронесятся мимо
ревущие острия копий!»
А этот серый,
скорченный от боли,
кишки в руке,
в другой зажат клинок,
что выражал он
в миг последний
воем?
Себя, наверно, спрашивал о том:
«Можно ли драться
с распоротым животом?»
«Можно!» — он слышал ответ
обезумевшей воли.

III

Скуны держались отдельно —
поближе к шатру.
Уч-ок, Наводящий Ужас,
лежал безголовым.
Напрасно искали главу —
в траве затерялась,
в легендах осталась.
Воспет величавый подвиг:
ему оторвали голову утром
в начале битвы,
а он продолжал рубиться,
и только в полдень,
когда закричал в желудке баран
пронзенный,
и клич не раздался,
в сердце произнесённый,
когда три стрелы Яздана*
добили печень,

* Яздан — «боги!» — боевой клич мидян (ред.)

когда отломили руку
и стало нечем
врагам наносить
безжалостные удары,
он с мерина пал,
он понял —
подкралась старость.
Эй, кравчий, собака,
подай мне другого вина,
за воина славного встану
и выпью до дна!

IV

Хан был одинок без неё,
и она одинока.
Ну что же, она пожелала,
её не держали.
Она

по ступеням
спустилась
на дно
могилы.

Пошла по телам.
Живые её уважали.
Они наблюдали с увалов
и, кажется, знали:
Шамхат
покрывала
пространство
между кругами.
Всё ближе шатёр.
У входа, спиной к косяку,
сидит, обескровленный,
череп проломлен,
Дулат,
тяжелая палица, взятая с болью,
в руке,
он будет и там рядом с вами
(входите, бике!),
сидит, ухмыляется вытекшим глазом
Дулат,

у ней настроенье испортилось,
можно понять.
Прекрасно тому,
 кто, не мучая мыслями разум,
из круга в другой переходит
не медленно, разом.
(Не медли, о кравчий!)
Она у дверей.
Опустила
на белый порог
войлок полога.
(Опустела
проклятая чаша.
Эй, кравчий, не можешь почаще!..)
Светильники, полные маслом,
она засветила
и веером мух прогнала
с лица властелина.
Нелегкий тундук приоткрыв,
помещение проветрила,
хлебы и кувшины с водою и маслом
проверила.
И стала готовиться к ложу,
читатель, мужайся!

V

Эй, Шамхат,
это имя ело ему глаза,
набивалось в ноздри,
сыпалось красным песком в пищу,
 крошило зубы,
Это имя, похожее на фырманье кошки,
собачий чих,
его противно брать на язык
и давить зубами,
если бы мог Ишпака,
хотя бы ради забавы,
он, как собака бы, выгрыз его из памяти
вместе с кусками
окаменевшего мозга!..
Но поздно.

VI

...Сняла диадему
добротной шумерской работы
и бусы снимает,
алку* не спеша отстегнула.
За стенками – крики.
Браслет золотой отогнула
тяжелый,
старинный –
с изнанки он черен от пота.
...Спускают в могилу коней
и руки на них поднимают,
их колют под ухо,
и лошади не понимают.
Их режут и режут,
кричат, вырываются кони.
О кравчий,
я их уважаю за эти законы!

VII

Всё!
Всё повторится!
Не быть лишь сюжету такому!
Лиловых шелков!
Горячего синего цвета
её одеяний.
Не будет такого контраста
между смирением стана
и бешенством контура бёдер, –
изящный кувшин,
наполненный холодом страсти.
Вы будете пить
из тёмных рассохшихся вёдер,
из бочек дубовых,
несоразмерных жажде,
толпу утоляющих мутной
ржавую жижей
из луж повседневных.
Кувшины бывают – однажды.

* Алка – девичий нагрудник с нашитыми золотыми монетами (ред.)

...Она обнажилась,
стыдливо легла под светильник,
свет жадно хватался,
ласкал,
но она не пустила
ни блика
в межбедрие.
Лёжа в холодной постели,
тень левой груди
мгновенно
клинком осветила
и — на бок!

VIII

...Из щели тундука
на тело дуло,
она к животу
колени тянула.
Ударили горсти земли по шатру.
И пламя светильников
плачем пригнуло.
Ладонью, ползя по раскосому
лику,
безглазому, явному,
как улика,
она шевелила губами:
— Косуля...
Косуля... любимая... —
не обманула.
Шатало,
лупило землей
 по шатру,
по страже,
по трупам кричащим,
всё чаще,
 всё глубже уходят под землю
герои.
Читатель, вылазь из провала —
зароют.
Поэту подобное
не по нутру.

Пока извивается болью спина,
пока не погасли светильники —
на,
читатель,
гляди,
не забудь, как она
затихла вдоль мужа
с улыбкою робкой.
На рукояти,
торчащей из ребер,
запомни, о кравчий,
светилось —
«Вина».

Приговор

І
О р а к у л ы
До тризны пьяны мы —
все знают, — быть беде.
На поле мирном зрим курганы мы,
не спрашивайте:
«Где?» —
увидите. Насыпан вами он
и утрямбован лбами он,
крутой курган,
 воздвигнутый над рвом,
трезубцем нарисован был в воде
предвиденья.
До тризны пьяны мы.

ІІ
П о э т
Курган насыпали и на кургане
установили одинокий камень:
лицо и торс
сошлись двумя кругами,
рука с крестом меча,
другая с чашей.
(А может быть, с рогами?
Но разве роги чарой не бывают?)

В посудине её —
и яд, и мёд,
стоит она, не возглашая тоста,
ничтожный глинописец не поймёт
ударов молота каменотёса.
Глаза не лотосы —
слепые трещины.
(Воистину, бьёшь камень,
выбьешь женщину!)
Потомкам пусть о временах
опасных
расскажет изваяние грудастое.

Ш

Вино приносят в жертву
на кострах,
пируют скифы на кургане свежем,
проваливаясь по колена в прах,
танцуют скифы,
подавляя страх,
танцуют скифы
и былины длинные
поют (из века в век
одни и те же).
О, лишь Котэн, невежа, —
не паяц,
он не играет.
Пьёт.
Пусть лучше учится
любить.
Как избежал он этой участи?
Нам, Изваяньям Страсти,
не понять.
Мы камнем канем в вечность,
он не канет,
как пена, он покроет
время вплавь,
на дне столетий
сатанеют камни,
не понятыми символами
правд.

IV

...Ухой бараньей запивая горе,
орут о радостях любви изгой.
Чадят костры,
и морщатся верблюды,
и, глядя искоса на их мохнаты груди,
узdechками позвякивают кони.
Зачем мы сталкиваем наши чаши?
Чтоб звон услышать,
черепки оплакать.
Всё кончено.
Глядит из тьмы собака,
похожая глазами на Ишпака,
и зуб горит, —

 то в опьянении винном
огонь костра с клыками говорит
на языке луны
о чём-то львином.
Под глиной львы-ишкузы
в рваных латах,
хватайте глину, скульпторы Эллады,
ногами мните,
думайте, валяйте,
героев безголовых изваяйте.
Ваятель — бог,
ведь говорят, что он
из глины тёмной
сделал человека.

А что такое слово?

Коний стон,
рык тигра,
шип ужа,
молчанье рыб

 и свет звезды полуночной — Омега.

Амбары языков забиты
именами
умершими.

Нужна иная речь.

Созвучья не песком воспоминаний —
дум будущих живыми именами
готовы в глину письменную лечь.

Так говорят.
Ваятели словес!
Берите глину для табличек вечных
с могил воителей,
с могил невест...

У

Мы — летописцы — видели немало,
перо не по таким следам ступало.
В нас мудрость вьелась,
 как верёвка в ногу
козы, чтобы далеко не убегала.
Ты не сумел быть ханом
 до конца,
а жаль,
пройти б от края
и до края,
в живых лишь
летописцев оставляя,
вселив им
злую ненависть в сердца.
О, мы не забываем никогда
свои тысячелетние обиды,
великие сжигали города,
не ведая, что летописец видит.
Вселенную наискосок прошли,
оставив рванный след меча
на карте,
о них потомки в хрониках
прочли,
в учебниках, разложенных
на парте.
Хотел ввести в историю
 любостью,
хотя бы в устный эпос, —
 черта с два, —
лицом не вышел,
 утверждаю с болью,
в насильники провёл
 едва-едва.
Единственно, чего добился я, —

в анналы ассирийского царя
в две строчки
допустили имя скифа:
«Хан Ишпака, из племени иш-куз,
был мастер в сфере воинских искусств,
ворюга, сволочь».
И на том спасибо.

VI

...Из той же глины дайте гончару,
на круг вертящийся, гончар, бросай,
сырую глину,
рук не отнимай,
пока не выльется в ладони чара.
На солнце высуши и подари
ваятелю словес, не то сворует.
Черпни воды, поэт, и говори,
пусть правда звуков
воду очарует! —

— *Когда врывались мы,
казну зарыл он
в священной роще,
камень навалил он.
Его наперсник, раб из рода берш*,
кочевник, скиф,
телохранитель верный,
он, только он, знал тайну той могилы,
и он, презренный, бросился туда,
чтобы казну ограбить. Не успел,
пал от ножа царя,
с казною похоронен.
...Царь, скифов избегая,
в женском платье,
скрывался в храмах,
и пришла расплата.
Вот смысл тайны бедного Дулата.
А Ишпака!.. Как заблуждался он!
(О сладостные юноши Ассирии!..)*

* Берш — один из огузских родов. Следовательно, раб не был персом, и ненависть Ишпака к персам основана на заблуждении. (Ишп.)

*Лежит в шатре с ножом в груди красивой
не женщина, а сам Ассархадон.*

VII

...Но даже эта тёмная вода
поэту не заменит никогда
вина, что превратит его в злодея.
Эй, кравчий,
 опрокинь кувшин скорее!
Из новой чары
 встанем и допьём
последнее.
Им хорошо вдвоём.
Она ножом пробита,
он копьём.
Зато – вдвоём.
Кому что достается.
А мы с тобой, читатель, расстаёмся.
Зато – живем!..

НА

4

И ЛИТЕРАТУРА

ИСКУССТВО



о л о т о м к р ы л ь ц е



Алла Марченко

Песнь Песней или исторический детектив?

Новый сборник Олжаса Сулейменова, на мой взгляд, состоит из двух неравноценных книг: собственно «Глиняной книги», произведения, при всей его экспериментальности, не только высокохудожественного, но и самого сулейменовского из того, что было им до сих пор написано, и литературного приложения к ней – упражнений на всякого рода философские темы (исключение – композиция «Запомнить», залетевшая в «Глиняную книгу» из старого «Доброго времени восхода»). И это как своеобразный принцип. «В биографии человека, – пишет О. Сулейменов, есть талантливые события, интересные всем, есть посредственные, памятные только участнику или жертве. Но все они выставлены в одном зале памяти, ибо они равно наделены правом представлять время». Ну что ж, в конце концов, это личное дело поэта – печатать или не печатать вещи, памятные ему самому да прототипам его отрицательных персонажей. Но и у нас есть право судить о времени поэта не по тем его опусам, где он иронизирует над привычными литературными стандартами, а заодно тренирует полемическое остроумие, но по «Глиняной книге» – поэме, не только полномочно представляющей сегодняшнего Сулейменова, но и интересной всем. И не потому, что Олжас Сулейменов, как выразился один из рецензентов, зашифровал в ней «озорство встречной мысли», «красоту парадоксов» и «скачки в негатив», но потому, что в ней чувствуется дыхание истории. Именно истории, а не той условной костюмированной под историю современности, которая, обещая наладить «связь времен», не объясняет, как правило, ни прошлого, ни настоящего. Той серьезной истории, которая не сочиняется, а добывается, и которую не заменить ни фейерверком исторических ассоциаций, ни социологическими схемами, увешанными антикварными безделушками. Читать поэму нелегко, но не потому, что стихи слишком «закручены», как выразилась читательница А. Арустамова в своем письме в редакцию «Литературной газеты». «Глиняная книга» не предназначена для быстрого, кибернетического чтения – здесь нужно тщательно следить за исполнением каждого слова, движением каждой метафоры, а главное, помнить о том, что перед нами не монологическое произведение, что О. Сулейменов предоставил право голоса не только едино-, но и

инакомыслящим. На анализе этой поэмы, а также лирических заготовок к ней (ибо «Глиняная книга» — из тех главных книг, к которым подходят издавека) я хочу остановиться, не вступая в серьезную полемику с Л. Милем как по поводу остальных поэм, входящих в сборник, так и ранних стихов, не попавших на орбиту «Глиняной книги». Замечу только, что при внимательном подходе к поэтической публицистике Сулейменова можно было бы разглядеть не только отверженность к «популярным аксессуарам», но и стремление поэта обогатить современный декламационный ораторский стих приемами казахских лироэпических «песен»¹. Вряд ли стоило также с такой категоричностью, с какой это делает Л. Миль, отождествлять классика Амана, героя поэмки «Кактус», с самим Сулейменовым на том основании, что Аман — недостаточно карикатурен... А главное, надо было подумать: случайно ли злополучный «Муравей» — эта остроумная пародия на новоевропейскую драму, культом разорванного сознания, с ее надоевшими трюизмами об относительности добра и зла — противостоит цельному миру «Глиняной книги», где граница между «черным» и «белым» так же резка и определена, как на национальном орнаменте казахов... * * * К «Глиняной книге» Сулейменов шел давно. Даже в «Годе обезьяны», где, как гласит редакционное предисловие, «нет увлечения исторической тематикой, мы находим ее следы». Я имею в виду рассказ «Баюны», — здесь история, не дожидаясь вопросов Сулейменова, заговорила сама. И какая история — «каменный балбал», способный украсить любую гробницу! Последний из «скифов», обитавших в окрестностях Хан-Тенгри со времен неандертальцев! И на каком языке — не требующем закрепления на бумаге — на языке народного эпоса. Неожиданность, даже сенсационность открытия, сделанного Сулейменовым, заключалась в том, что этот почти доисторический «скиф» оказался не просто добрым, широким, самоотверженным человеком. Приглядевшись ближе к его каменному, вороной масти лицу, Сулейменов открыл: «Бог дал Аргуну большое лицо, чтобы выражать большие чувства». Этот сегодняшний скиф и кажется мне настоящим прототипом юного хана Ишпака, «внука Сары-Кене, предводителя восьми уруков могучего племени Иш-куз» — главного героя «Глиняной книги». Но для того, чтобы увидеть это внутреннее родство, Сулейменову нужно было изжить свое прежнее отношение к истории своей скифской, пустынной «Азии». Вспомните напечатанное несколько лет назад стихотворение «Чем порадовать сердце?». Ярость, напор, «сильная кровь», слепая нерассуждающая жестокость — вот таким казалось Сулейменову прошлое его пустыни:

*Кони падали в пропасть.
Гоните! Погибнем? Пусть!
В Алма-Тау,
В жестком молчании — месиво тел
Кольхалось, как море,
И ветер над морем свиреп,
Словно брызги, звенели упругие горла стрел,
.....
Только женщин щадили... Их валяли в кровавой грязи
Возле трупов детей,
И они, извиваясь, вонзали в монгольские горла
Иступленные жала изогнутых тонких ножей.*

В «Глиняной книге» напор этот словно бы приостановлен; в «кровавом тумане» проступают лица — тяжелое раскосое хана Ишпака, нежное — «цветок, из нитей солнца соразмерно сотканный» — ассирийки Шамхат, внушившей юному вождю ишкузов великую страсть... Никакими историческими (в буквальном смысле этого слова) документами О. Сулейменов гипотезу свою подтвердить, разумеется, не может. В отличие от царя Соломона, его герой не был гениальным поэтом. И, тем не менее, О. Сулейменов берется расшифровать лаконичную строчку, чудом уцелевшую в «анналах ассирийского царя», опираясь на свой личный опыт, на свое знание истории — не этого конкретного факта, а вообще истории, в том числе и той, что передается от поколения к поколению — по генетической цепочке, словом, той живой истории, самым ценным экспонатом которой и является, по мысли О. Сулейменова, лесник Аргун. Ведь он пишет не историческую хронику, стремясь воссоздать давно прошедшее по всей его истинности. И конструируя и заселяя огромное пространство поэмы (а в «Глиняной книге» нам дано именно пространство, а не зарисованная плоскость!), О. Сулейменов не чувствует себя только историографом. Ему мало дать читателю ощущение живой истории, воскрешенной не через языковую стилизацию, а через события и судьбы. Он исследователь, и отошедший мир, который он с таким мастерством и блеском наделил силой жизни, интересует его не сам по себе, вернее, не только сам по себе, но и в его живых связях с современностью. А для исследователя важно правильно задать вопрос, ибо «история, как считает О. Сулейменов, не привыкла начинать первой, она ждет наших вопросов и не на всякий отвечает. Но нам всегда нужно то, что сейчас нужно. И если раньше, допрашивая историю, О. Сулейменов

старался заставить ее рассказать, «как погибли... города», то теперь он хочет знать, почему они все-таки выжили — эти оазисы человечности, «возникавшие как вызов плоской природе» и «гибнувшие в одиночку». Первый вопрос «как погибли...» — задавал еще мальчик, для которого война и ужасы фашизма были трагическим уроком, сформировавшим его психику. Второй вопрос — «почему выжил» — ставит уже взрослый, зрелый человек, осознавший всю серьезность своей личной ответственности за судьбу земли людей. Поэтому ему так важно знать, и притом с наибольшей точностью, как велик на земле запас человечности... «Глиняная книга» — это своеобразная притча и построена как ответ на этот вопрос. Ничто истинно высокое (в символическом, сулейменовском, смысле этого слова) в историческом опыте народов не пропадает бесследно — вот толкование, которое Сулейменов-поэт дает тем фактам, которые собрал для него Сулейменов-историк.

У персов есть и мудрость, и злонаравие, начала сочинений и венцы. У вас же есть Закон. У персов есть жемчужина души. У вас же — панцирь. У персов дно и бездна высоты, У вас же губительное плоскогорье.

И все-таки любовь Великого Вождя к красавице Шамхат — только «нежданный ветер», погасивший ту бешеную скорость, тот напор, то не имеющее ни начала, ни конца движение — движение ради движения! — которому были подчинены до сих пор и быт, и этика, и психология скифского хана. Дух Перса, объясняя Ишпака, почему тот не понял ассирийской пантомимы, говорит:

Ты не понял движений жреца. Моих знаков не понял. В тебе знание символов скифских, Ты их отвергаешь. Тебе кажется странным — мир чуждыми знаками полон, и ты, их покоритель, бессилен их тронуть руками! Тебе непонятно, что сам ты — какого-то чуда символ. И тот, что тебя узнает, уверен — познает чудо.

Ключ к «чуду» Ишпака и есть, согласно замыслу Сулейменова, ключ к сути исторических явлений. И Ишпака — не исключение. Согласно мысли Сулейменова, в каждом «скифе» таится «перс», только они, скифы, не знают об этом до тех пор, пока один из них, самый «высокий», не увидит, как пустынно и губительно «плоскогорье» скифского Закона, утверждающего Одно и отрицающего Многое. Речь идет не о том, чтобы отыскать в грубом варваре проблески человечности и тем самым обогатить его образ, а заодно реабилитировать

далеко не романтические поступки. Пафос поэмы Сулейменова в утверждении: человек по природе своей высок, но на эту высоту его нельзя затащить насильно, даже слегка подтолкнуть нельзя — до тех пор, пока не проснется в нем желание заглянуть в «бездну высоты». Поэтому-то и любовь великого вождя к безвестной ассирийке для Сулейменова — не просто не подлежащая девальвации ценность: пройдут-де войны и цари, а это останется... Классической трактовке «песни песней» Сулейменов как бы противопоставляет свое, современное прочтение: только потому и останется, что, не обещая ни утешения, ни забвения, дает ощутить вкус высоты — вкус прозрения. Словом, дело не просто в том, что Ишпака впервые в жизни полюбил, но в том, что любовь сделала его зрячим. Остановившись, он взглянул на себя глазами людей, не похожих на себя — других: ...и поражался совершенству их зрения.

И узнавался, радовался реже, и делал то, чего не думал прежде. Те мысли, что проснулись в нем однажды, спать не хотели, требовали пищи, он их кормил — он стал добрее к нищим, и мысли, обнаглев, камнями в череп били...

В той свободе, которую Ишпака предоставил своим проснувшимся и больше не желавшим «засыпать» мыслям, и состояло его первое, не предусмотренное Великим Язу преступление, и оно одно стоило девяти. («Закон Язу гласит: Правящий да не может не совершать проступков. Да останется безвозмездным восемь проступков хана. Да предстанет он перед судом Белого Шатра с Черным Верхом за девятое преступление. И постигнет его тогда справедливое несчастье».) Да, сулейменовский Ишпака одинок, но это одиночество человека, не просто обогнавшего время, но и высланного вперед. Глава «Казнь» (по решению Белого с Черным Верхом Шатра Ишпака казнен в бою с персами) кончается следующей сентенцией:

Итак, Ишпака удалился в обитель воздаяния, покорять несветлую землю... Ушел, потеряв шапку, бога и жизнь, но сохраняя нечто, что приобрел? То, чего не имел ни один скиф. Что же он приобрел? — спросят любопытные. На это нет ответа.

Нет ответа на праздное любопытство, но это не значит, что ответа нет вообще, как решил Л. Миль, приписав О. Сулейменову такую якобы концепцию: «Для кого же трудятся «обоженные» звездой избранные?... Избранные, увы, обречены «фиксировать или ис-

следовать настоящее». Но О. Сулейменов к этому кустарно-романтическому представлению о преемственности никакого отношения не имеет. Дух Перса, умершего возлюбленного Шамхат, предрекает вождю ишкузов типичную для всех великих покорителей смерть:

Могилу твою не узнают — покровителей мира в забытых местах зарывают, разровняют, прогонят стадо, травой засеют, чтоб никто не узнал...

Но мудрый «аруах» на этот раз ошибся. Каким бы бесполезным ни казалось судьям, приговорившим Ишпака к смерти, приобретенное им, они, сами того не подозревая, сохраняют его, ибо все, что Ишпака приобрел и сохранил ценой жизни, он приобрел не для себя, но для своего «зеленого племени». То, что приобрел Ишпака, осталось и в тихих вечерних песнях, которые ишкузы поют, наполняя глаза «горьким светом вопроса», и в сердце верховного Судьи, вдруг вспомнившего и запевшего давным-давно забытую песню, чужую — на древнеегипетском! — песню, которую пела когда-то грозному Хор-ахте та, «чья спина трепетала под взглядом его»... А Дулат? Сравните его первый разговор с ханом, где он напоминает своему повелителю, что кости ишкузов «ослабли от сладостей», что «много стран терпеливо тоскуют по нашим клинкам», и последний, даже не разговор — вопль:

Верни меня в степи родные... я все эти годы ночами во снах умирал на родине нашей... Верни нас домой! —

чтобы увидеть: Дулату тоже кое-что перепало из «казны» хана Ишпака... Таким образом, все произошедшее с ханом Ишпака предопределено, но не мистической судьбой, а тоской «проклятой пустыни» по «горе», тоской по человечности, которую она еще не признает. Но она живет в ее темной, слепой, звериной душе, — эта тоска по высокому — и заставляет плоские степи «вставать торчком»... Для правильного истолкования замысла поэмы необходимо очень внимательно отнестись и к ее своеобразной символике, тем более что она не сочинена самим Сулейменовым: он стремится как бы «воссоздать» тотемы и магию древнейших племен. И если в лирических стихах Сулейменова эти характерные для кочевника представления и ощущения как бы растворены в совершенно современных переживаниях и даже заслонены ими, то в «Глиняной книге» они выполняют роль своеобразных конструктивных опор. Поэма начинается, как

мы помним, монологом Оракула, вводящим нас в круглый, как основание юрты, мир древних скифов:

Ишкузы! Земля — это круг, перечеркнутый тонким крестом...

И этот магический скифский круг, перечеркнутый узким, тонким крестом, служит тем планом, тем «вавилонном» (так называли в древней Руси делаемый прямо на земле чертеж, с которого начиналось строительство церкви), который дает ключ к композиционному решению поэмы. Вписанный в скифский круг узкий крест раскладывается на два острых, обращенных друг к другу вершинами и совершенно идентичных угла. Они образуют две символические фигуры: верхний толкуется как рога, нижний — как ноги; первый поднимается как знак духа, второй — плоти. Это толкование может показаться темным, мистичным, чересчур «метафизическим», но оно, повторяю, связано с древнейшей магией, которая нашла отражение и в фольклоре скотоводческих племен. Однако у Сулейменова образ круга толкуется не только в традиционном, фольклорном плане. В поэме он имеет и еще одно значение, и притом совершенно сулейменовское: не просто круг, но и мишень, в центре которой, в самом что называется «яблочке», всегда оказывается тот, кто «проснулся» раньше других:

Земля — это круг, перечеркнутый тонким крестом, (ты — самое спелое яблоко под зеленым листом), четыре дуги (как четыре натянутых скифских лука! — А. М.) в центр глядят с четырех сторон...

В соответствии с этим своим представлением О. Сулейменов предлагает еще вариант прочтения уже известного нам символа: «Земля — это круг, перечеркнутый тонким крестом». В крестообразном пересечении двух прямых он видит будущую восьмерку — знак иной, духовной цивилизации (два круга: «знак» союза «круга неба» с «кругом земли» — тамга самой Шамхат). Этот магический круг — своеобразный ключ и к образу хана Ишпака, и к композиционному решению поэмы. Ее целостное — куполообразное — построение раскалывается не только на девять глыб — по числу «преступлений» главного героя, но и на две части. Часть первая — «Ноги», часть вторая — «Рога» (эта конструктивная идея поддержана и графическим оформлением книги). В прологе ко второй части впервые в открытом поединке встречаются Поэт и его антипод — «поитель словес» — Котэн Мерзкий (происходит как бы смена власти!). Котэн со своей низкой исти-

ной, справедливость которой он готов доказывать «пинками», и ее заступницей — иконой шумерской «богоматери». *Икона эта — белая кошма, на ней широкой кистью нарисованы раздвинутые ноги...*

Поэт со своей верой в способность человеческого духа преодолеть притяжение земли (плоти), поэтому и знак его устремления — Рога:

Заклинаю вас, люди, Поклоняйтесь корове. Поклоняйтесь корове, несущей солнце в рогах...

(Для европейского глаза, привыкшего связывать рога — по христианской традиции — с чем-то бесовским, нечистым, это представление кажется неожиданным, но в поэме Сулейменова знак Рога — символ устремления к добру, к идеалу, ко всему высокому). И спор этот — не частный, не локальный. Противоборство низкой истины и высокой правды, слепого факта и ясновидящего искусства — одна из главных конфликтных линий поэмы. Поэтому-то и герои ее как бы делятся на две группы. Одни из них живут под знаком Ноги — это Котэн Мерзкий, Дулат, летописец. Другие рождены под знаком Рога — Шамхат, поэт, возлюбленный Шамхат — молодой Перс. Что же касается главного героя хана Ишпака, то пока он совершает во имя своей любви преступления, оговоренные и предусмотренные Великим Язу, пока он только раб своего «вожделения», — его знак, его личный герб, его «тамга» — Ноги. И только тогда, когда он почувствовал себя не просто «единицей», «высоченной индивидуальностью», осмелившейся послушаться Закона, но личностью, сумевшей противопоставить не только себя, но и свое понимание национальной идеи «судилищу толпы», — только тогда Сулейменов делает его эмблемой, его «тамгой» белый «знак» Рога, олицетворяющей «высшую мораль». Эти протяженные, навьюченные метафоры, сплетаясь в своеобразный «скифский» орнамент, образует нечто вроде путевода по поэме, помогающего внимательному, умеющему читать «по книге образов» читателю ориентироваться в многоярусном и многоплановом пространстве «Глиняной книги». Я бы сказала, неожиданно многоярусном и многоплановом, поскольку от О. Сулейменова, чьи лирические стихи, казалось бы, не рассыпались только благодаря цементирующей силе эмоционального напора, мы как-то не ожидали такого сложного и, при всей своей запутанности, прекрасно организованного построения. Основа его, его костяк — это «куски» настоящего Большого эпоса, — таковы эпизоды суда, ристалища, казни, тризны. В этих скифских «глиняных», эпических сце-

нах Сулейменов подчеркнуто, тяжело серьезен, и полемика и ирония, если необходимость в них возникает, убраны в постраничные примечания. Их трудно цитировать, — словно высеченные из цельной эпической глыбы, они делятся без остатка на убедительные четверостишия. И все-таки я приведу в качестве доказательства, извиняясь за длину цитаты, отрывок из эпизода «Ристалище»:

*Белел песок арены, бык чернел, к скале не шел, боялся вида крови.
Сходило солнце двух холмов, как бы в рога багровый диск садился. Под
крики обнадеженных косогов Широкоплечий юноша спускался, Тупым
копьем в щит красный колотя. Бык не бросался. Он сопел и ждал, когда
закончатся его мученья. Придут, наденут цепи, уведут. Заходит солнце,
время водопоя...*

*Косог швырнул ногой в глаза песок, взмахнул щитом и вдел его в рога.
Ослепший бык тряс головой, метался, холмы ревели, заходясь: — Коро-
ва! Следил Кози Кормеш и поудобней копье в ладонь укладывал. Бык бил-
ся. Щит его мучал, как осколок кости, в зубах застрявший, он ревел
протяжно, глазами бил о лапы, плакал бык. (И слезы прятал Ишпака,
ослаб он.)*

Но кроме подобных, строго выдержанных в архаическом стиле сцен, в поэме есть немало эпизодов, где Сулейменов показывает нам архаику, как бы увиденную глазами человека XX века. Таковы, например, и столь возмутившая Л. Милю сцена встречи хана с двумя мудрецами, которые, как верно — хотя и не без пережима — подметил В. Турбин, «пререкаются друг с другом на сленге современной молодежи», или ироническая, словно бы выдернутая из стенограммы обсуждения какого-то спорного литературного произведения, реплика:

Я прямо говорю — я за искусство, Но разве можно исказить ишкура! — которой Ишпака кончит свой рассказ о том, как, не поняв площадной пантомимы, представлявшей «классическую Битву Ашшура с вавилонским Бел-Мардуком», он решил, что жрец издевается над ним. Л. Миль объясняет эти отступления от стилистической нормы провалами вкуса. Но, думается, дело тут не во внезапных приступах эстетической глухоты. Сулейменову нужны эти иронические, легкие, пестро и ярко освещенные интермедии; чтобы облегчить свою «глиняную» поэму, ему нужен воздух, разрядка, наконец. Кроме того, эти внезапные нарушения стиля, эти явные и откровенные бунты против иллюзии полного правдоподобия выделяют своеобразным курсивом те ситуации, которые кажутся поэту похожими на совре-

менные. Но только похожими. Это не исторические аналогии, а всего лишь ассоциации, остроумные, но необязательные. Можно увидеть в той тщательности, с какой Сулейменов разгадывает древние магические знаки, и в той поспешности, с какой он их использует при постройке своей поэмы, некоторый перекося в сторону археологии, филологии. Но, я думаю, будет правильнее, если мы отнесемся к ним, прежде всего, как к элементам сугубо поэтическим, сославшись на Есенина, который таким образом отстаивал свое право «на приверженность к метафоричности»: «Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками их языка. Когда они посылали своим врагам птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию нужен был целый синедрион толкователей. Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким». Впрочем, справедливости ради надо заметить, что местами в результате чрезмерной «перегрузки сулейменовский метафорический «путеводитель»

начинает чем-то напоминать ту оконную решетку, через которую герой романа «Баюны», отрезанный от Большой земли высотой, зимой и тяжелыми переломами, рассматривает так и не покоренный им пик Хан-Тенгри». Пока в поле зрения только окружение «великой Горы», — полуразрушенные каменные пни, шесть клеток оконного стекла отлично служат ему и «рисовальной сеткой», и «нотным станом». Но как только он пытается поймать в свою «решетку» сверкающий Хан-Тенгри, что «перекрывает» все квадраты... «Перекрывают» затейливую орнаментику «Глиняной книги» и те куски настоящего «кипящего эпоса», на которых, как на четырех китах, стоит поэма, и в которых развернулся в полную силу трагический талант Сулейменова. Словом, последняя, пятая ступенька (пять поэм, составляющих сборник, расположены как бы ступенчато — по мере возрастания их формальной, тематической и сюжетной сложности) оказалась несравнимо выше четырех предыдущих. Но Л. Миль, опьяненный легкостью, с какой якобы поддались его критическому напору легкие постройки как старых публицистических, так и новых философических стихов Сулейменова, этого не заметил... Попробовав с тем же вооружением, с помощью тех же облегченных тактических приемов осадить каменную глыбу «Глиняной книги» — и, естественно, оказался в ложном положении: Сулейменов написал поэму о трагической страсти, о странностях «пути мужчины к сердцу женщины», о преображающей силе великой любви — той, что сильнее смерти, а Л. Миль, вслед за Ничтожным пишущим, которого принял за двойника Сулейменова, прочел поэму как анекдот: «Уединившись с Шамхат,

Ишпака обнаруживает... что перед ним мужчина», — и недоумевает: «Что может извлечь современный читатель из этого рассказа о перипетиях однополой любви владык древнего мира?» Б. Турбин очень точно определил характер обращения О. Сулейменова со своим читателем: он «немного мистификатор», но он «серьезен». Удивительно, но вот в эту-то серьезность, «стесняющую себя самое» и потому прикрывающуюся шутками, «деланными небрежностями», так же как в филологическую эрудицию поэта, Л. Миль не поверил... Скорее просто не увидел, раздраженный «шутками», «деланными небрежностями» и, опасаясь мистификации, поспешил предупредить читателя, чтобы и тот не вздумал относиться к «Глиняной книге» как к серьезной литературе. Все в этой поэме кажется Л. Милью только кажущимся: «Кажущаяся полифония постепенно заглушала национальный контрапункт...» Но дело-то в том, что полифония «Глиняной книги» отнюдь не кажущаяся. Рассказ о том, как «страсть вождя, став вождельнем, губительно на Скифии сказалась», «медленен» не только потому, что многолюден, многопланов и плотно заставлен вещами (настоящими, а не бутафорскими!). Но и потому, что рассказчиков, вернее, толкователей — несколько, и каждый дает свое объяснение случившемуся. В какой-то мере это полемика и с самим собой, ведь и Сулейменову его герой, столкнувшись он со своим «скифом» на несколько лет раньше, вполне мог показаться всего лишь «насилъником». Причем Сулейменов не просто противопоставляет поэтическое, вольное, субъективное, домысливающее прочтение — сухому, голому, безлично-равнодушному историческому свидетельству, хотя полемика с «летописцами» и «оракулами», как древними, так и современными, входит в замысел поэмы. Ведь версия Котэна Мерзкого, этого скифского Жаппаса, который, так же как его современный двойник, знает все наперед и, разумеется, лучше других, тоже претендует на то, чтобы казаться эмоционально-поэтическим истолкованием. И поскольку фактов почти нет, надписи на глиняных страницах давно ослепли, и сами эти страницы затерялись, способ реконструкции превращается в своеобразный психологический тест; по тому, каким путем движется, на какой материал в личном опыте опирается реконструирующая мысль, мы судим о личности самого «реставратора». Девять кругов земного ада должен пройти Ишпака, девять преступлений против Великого Закона Язу совершить, чтобы найти путь к сердцу любимой женщины. Но для Котэна Мерзкого, и глаза и душа которого устроены так, что он просто не способен видеть высокое, эти сложные отношения просто непонятны. Там, где ис-

тинный поэт видит истинную любовь, «поителю словес» видится лишь забавное недоразумение. С его колокольни просто не видно тех нравственных препятствий, которые мешают всемогущему хану сделать храмовую проститутку своей наложницей. Поэтому он и предлагает сенсационно-детективное объяснение: Ишпака-де потому ничего не получил от этой девки, что девка оказалась переодетым Ассархадом! Л. Милю очень не нравится, что О. Сулейменов не ставит точек над «i», что в речах и в отношениях его героев остается что-то недосказанное, непроясненное, «загадочное». И это тоже кажется мистификацией... Но Сулейменов и здесь серьезен, ибо исходит из предположки: если мы никогда не узнаем всего о любовной драме, произошедшей в соседней квартире, то как мы можем претендовать на то, чтобы понять все в отношениях людей, любивших друг друга 2700 лет тому назад? Потому-то, домысливая, Сулейменов все время «подвергает испытанию» свое «умение читать чужие судьбы», осаждает в себе самонадеянность ясновидца, — и это касается не только самых интимных, но и самых темных — для интерпретатора — эпизодов. О нет, не из жеманности и не из ложно понятых литературных приличий, а по убеждению: раз они психологической реконструкции не поддаются, так лучше промолчать, иначе «что было — не увидим, что не было — увидим». Боязнь увидеть то, чего не было, и заставляет Сулейменова, опустив белый войлок полога над входом в свадебный шатер, не домысливать, не гадать, не сплетничать, пытаясь докопаться, что же произошло между обреченным ханом и Шамхат в их единственную ночь. Ему достаточно понять и дать понять нам, что произошло нечто непредвиденное ни все предусмотревшим установлением Сары-Кена, ни житейским опытом ишкузов. Поэтому-то, вспоминая эту странную ночь, они наполняют свои глаза «горьким светом вопроса». Окажись невеста нового хана переодетым Ассархадом, обернись назревающая драма комедийным финалом, вряд ли стали о ней и помнить, и петь неискушенные в куртуазных конфузах простодушные, при всей их свирепости, сулейменовские ишкузы... Кстати, если бы предположение «поителя словес» оказалось верным, то конфуз обнаружился бы гораздо раньше, поскольку жених Шамхат, следуя обычаю, вышел из свадебного шатра, уступив первую ночь Уходящему Хану, только после того, как Шамхат, сбросив «мертвый блеск», осталась прикрытой только собственной «скромностью»... Но, как известно, у сплетни ноги длиннее, чем у истины, иначе чем объяснить, что не только Ничтожному пишущему, но и Л. Милю она показалась настолько правдоподобной, что он предпочел посчитать мистификацией и следующую сцену (самоубийства Шамхат на могиле Ишпака):

Хан был одинок без нее, и она одинока. Ну что же, она пожелала, ее не держали. Она по ступеням спустилась на дно могилы... Живые ее уважали.

Она у дверей. Опустила на белый порог войлок полога... Светильники, полные маслом, она засветила и веером мух прогнала с лица властелина. Нелегкий тундук приоткрыв, помещенье проветрила, хлеба и кувшины с водою и маслом проверила. И стала готовиться к ложу... ..Она обнажилась, стыдливо легла под светильник. свет жадно хватался, ласкал, но она не пустила ни блика в межбедрие. Лежа в холодной постели, тень левой груди мгновенно клинком осветила и на — на бок!

Казалось бы, истина оплачена по самому высшему счету, но даже эта более чем красноречивая сцена, совершенно неправдоподобная, кстати, в случае, если бы ее героиней была не жрица богини Ишторе, а властелин поверженной Ассирии, не убеждает Ничтожного пишущего. Собрав на свежей могиле драгоценную глину и вылепив из нее «чару», он тут же наполняет ее «темной водой»: *Лежит в шапте с ножом в груди красивой не женщина, а сам Ассархадон.* Л. Миль иронически отнесся к «тропистике» Сулейменова и даже сделал выговор за приверженность к метафоричности, за пристрастие к неоправданно удлиненным образам, не дав себе труда вникнуть в смысл тех содержательных нагрузок, которые несут на себе протяженные сулейменовские метафоры. И в результате проглядел, как настойчиво противопоставляет Сулейменов светлое вино истины — мутной воде кажущегося правдоподобия. Струением этой метафоры — «вино» — прошита, как курсивом, и сцена самоубийства героини: «Эй, кравчий, собака, подай мне другого вина», «Не медли, о кравчий!», «Эй, кравчий, не можешь почаше!..» Та же тема повторится в финале. Перенеся ответ «поителю словес» в начало (поэма, как мы помним, открывается «Эпилогом», ироническим панегириком в честь Котэна Мерзкого — человека, всего лишь «ушибленного звездой», но претендующего на роль человека «со звездой во лбу!»), Сулейменов кончает недвусмысленным разрывом со всеми, кто хочет засыпать «золотой злословья» белоснежное одеяние высокой правды: ...темная вода поэту не заменит никогда вина...

Эй, кравчий, Опрокинь кувшин скорее Из новой чары встанем и допьем последнее. Им хорошо вдвоем. Она ножом пробита, он копьем. Зато вдвоем.

Итак, хотя «Глиняная книга» и возникла в результате многолетней работы поэта по добыче исторического «радия», угол зрения был подсказан Сулейменову его собственным историческим опытом —

опытом человека XX века. И это касается не только той гуманистической и оптимистической трактовки, какую получает в «Глиняной книге» проблема исторического прогресса, но и самого стиля поэмы, способа «выделки вещи», ибо глыбы эпической архаики не только переосмыслены здесь, но и обработаны с учетом самых современных достижений психологического реализма.

Между героем «Глиняной книги» и лирическим героем Сулейменова можно провести и более глубокие параллели. Созная — не как творческую задачу, а как миссию, — что его долг «возвысить степь, не унижая горы», сделать все возможное, чтобы его многострадальная родина, по причине отсутствия пергаментных и архитектурных свидетельств, не была отставлена от большой истории, чтобы высокий дух и «красноречие» его предков не исчезли без следа в тяжелых песках «дикого поля», Сулейменов не может не чувствовать, что где-то в глубине его родной «степи» таится отрицающая его темная, косная и очень живучая сила. Отсюда столь сильно выраженный мотив жертвенности:

Я согласен быть черепом. Кто-то согласен быть саблей...

.....
Так будем стоять. Мы, Высокие, будем стоять! Попроси меня нежно — спую, Заруби — я замолкну. Посмотри, наконец, степь, проклятая. Но моя — Все вершины в камнях и в окурках, В ожогах от молний.

Не ощущай так лично и так остро сам Сулейменов свой конфликт со степью родной и... проклятой, вряд ли бы он сумел так глубоко проникнуть во внутренний мир «созревшего» раньше своего «зеленого племени» и потому беззащитного перед его ненавистью человека...

В своем интересе к истории, и притом интересе отнюдь не дилетантском, а основанном на серьезном изучении как памятников народной культуры, так и исторических материалов, О. Сулейменов, разумеется, не одинок. «Что диалектика народного самосознания не допускает каких бы то ни было «провалов памяти», что знание прошлого представляет для человечества отнюдь не праздный интерес — об этом казахские писатели узнали не сегодня... — пишет А. Хакимов. — Но подлинное освоение истории, когда писатель объединяет в себе художника и ученого-исследователя, началось в казахской литературе сравнительно недавно. Четкие принципы отношения к сюжетам прошлого выработал в своем творчестве Мухтар Ауэзов. Он видел события в их совокупности и сцеплениях в единстве с мировым историческим

процессом... По этому же пути идут А. Нурпеисов, И. Есенберлин, А. Алимжанов и другие казахские писатели, ставящие в центре романа проблемы социального прогресса, международных связей, личности и общества». Словом, О. Сулейменова многое объединяет с его казахскими коллегами: и направление поисков, и исследовательская жадность к реалиям истории, и понимание духа ее. И все же в исторических стихах Сулейменова мы чувствуем и нечто сугубо индивидуальное. И дело тут не только в таланте как таковом. Исторические стихи Сулейменова обращают на себя внимание, прежде всего, той остротой, с какой в них противопоставлено сулейменовское понимание народности, связанное с требованием расцвета личности, — национальному эгоизму. Но это только одна сторона вопроса. Вторая же заключается в том, что, противопоставляя свой сознательный интернационализм национальному эгоизму Жаппасов всех калибров, чувствуя себя за «круглым столом» поэзии Земли полноправным и полномочным послом всей пустынной «Азии», Сулейменов в то же время остро и болезненно реагирует «на провалы в исторической памяти» своего народа. За стихами Сулейменова, казахского поэта, пишущего по-русски, встает не просто Казахстан как национальное объединение с определенным комплексом психологических и эстетических примет, но Казахстан в давних, порой сложных отношениях сначала с Русью, а затем с Россией. И хотя Сулейменов понимает, что лично он так же не отвечает за намерения своего Аллаха, которому всюду мерещился «Владизапад», как и его русский друг перед ним, Сулейменовым, за действия своего Христа, которому кружило голову видение «Владивостока», тем не менее, поэт чувствует на своих плечах как бы бремя двойной вины: перед своей дикой и «проклятой» степью, которая полтора столетия «огромной каторгой плавала на маленькой карте» Российской империи, и перед Россией — за нашествие Чингисхана: *Рыжий, кем бы я был, родись я немного раньше? Юра, кем бы я стал десять пыльных столетий тому назад? ...Кровь, пожарища. Ур-р! Я б доспехами был разукрашен, И в бою наливались бы желчью мои глаза. Я бы шел впереди разношерстных чингизских туменов, Я бы пел на развалинах дикие песни свои...*

Л. Миль причину той благожелательности, какую встретил Сулейменов и у русской критики, и у русского читателя, объясняет только силой инерции; объяснение удобное, но малоубедительное. Я думаю, что особое внимание к стихам Сулейменова в России объясняется традиционно русским интересом ко всему «скифскому», в широком, как раз сулейменовском смысле этого слова, — это, во-первых, а во-вторых, необычностью точки зрения, новизной взгляда

на этот традиционный «скифский восток», которую русский читатель почувствовал в первых же сборниках казахского поэта. В последнем выпуске «Дня поэзии», с предисловием Сергея Маркова, напечатаны стихи Е. Забелина, мало известного, много обещавшего и рано умершего сибирского поэта. Одно из них, — написанный в 1929 году «Казахстан», — мне показалось очень любопытным, и именно в связи с «проблемой Сулейменова». Забелинский Казахстан увиден, конечно, русскими глазами, хотя и из близкого, но далека, — приукрашенным, шелковым. Но, кроме банальной, хотя и вкусно поданной экзотики, в этом стихотворении есть желание прорваться через экзотику, есть ясное ощущение не пустоты, а «неизреченности» пустыни, есть тревога, есть, наконец, напряжение вопроса:

За далью — даль... Уграней смуглых стран /цвели пески, сквозь шелковое пламя /хмелел кумыс, и молча Казахстан /глядел на нас верблюжьими глазами. /Степные дни! Мы не уйдем назад, /в кольцо озер, на солнце загорая, /кто выдержит окаменевший взгляд /чужого, неразгаданного края?

За сотни верст от кокчетавских сел, /забыв в пути покинутые села, /наш проводник за сопками нашел /костяк откочевавшего монгола. /Плыл ветер от безродного куста, /перелетал, взметнувшись от бурьяна, /дрожал на дне оскаленного рта /застывшего улыбкой Чингисхана. Перегнивает ржавчина монет, /и череп, как зазубренный осколок, / — Что из того! Солончаковый след /отыскивай, поэт и археолог...

Сулейменов — не первый казахский литератор, взявшийся объяснить русскому читателю, что стоит за «неразгаданным» молчанием «верблюжьего края»; и не он первым понял: поэт должен стать археологом, а археолог поэтом, чтобы разыскать на исторической карте пустыни «солончаковый след» истины. Но он стал первым большим казахским поэтом, перешагнувшим «грань смуглой страны» без посредничества переводчика. С выходом в свет «Глиняной книги» этот интерес явно усилился и в то же время несколько изменил свой характер. До сих пор книги Сулейменова как-то не попадали в общий поток русской поэзии. А вот «Глиняная книга», несмотря на сверхэкзотический сюжет и весьма далекий от русской жизни психологический материал, оказалась в самом центре сегодняшних литературных событий.

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЙ

Встреча, о которой я хочу вам рассказать, осталась в моей памяти, как недописанный рассказ...

Известная актриса, с которой мы работаем вместе в театре, пригласила меня однажды поехать в Донецк для участия в ее бенефисном концерте. Концерт был сборный: сцены из спектакля, кинофрагменты, а во время переодевания — пение солиста филармонии. Людмила много снималась в кино в свое время, была знаменита на всю страну. Кроме нас, ее партнеров по спектаклю, певца, двух дам с телевидения, с нами ехал актер, которого любили все жители России от детишек до стариков. Он был признан и любим так же и актерами, а это бывает нечасто, поверьте мне. Когда-то наша Людмила снималась со знаменитым Е.П. в картине по рассказу Шолохова «Шибалково семья», фильм получил название «Донская повесть». Думаю, что многие догадались, о каких актерах идет речь, поэтому оставлю их подлинные имена.

Осень в тот год была холодной, солнце совсем не грело. Резкий ледяной ветер гонял по асфальту мусор: обертки, пакеты хватали за ноги пассажиров, создавая на вокзале дополнительную суету. До отправления поезда было время, и я прогуливалась по перрону, предчувствуя, как приятно будет уехать из пыльного города в теплом вагоне, убранном коврами дорожками и накрахмаленными занавесками. Ах, как мелодично постукивают ложечки в стакане со сладким чаем, в то время как мимо окна проплывают станции и полустанки, осенние деревья, реки, поля, иногда мелкий дождик глухо прошумит за окном, — а ты сидишь на мягком одеяле в красную клетку и покачиваешься в такт звонкой ложечке. Я люблю ездить в поезде — возможно, эта привычка образовалась из-за частых поездок на гастроли. Ведь прежде театр отправлялся на гастроли каждый год. О, гастроли театра!..

Итак, я прогуливалась по перрону, когда заметила, как из подземного перехода поднимается Евгений Павлович, чуть задыхающийся, он останавливался через каждые две ступеньки. Я вспомнила, что недавно он перенес операцию на сердце, и увидела — он изменился внешне. Но не узнать его все равно было нельзя. Это был он, Шибалок-Винни Пух, трогательный и любимый на все времена. Честно говоря, я не выношу, когда актерам припечатывают какую-

нибудь одну роль, как клеймо. Например, Вячеславу Тихонову приварили Штирлица. Это не справедливо, ведь не одну же роль он играл всю жизнь! Но слава, хоть и притягивает актера, как магнит, очень коварна и насмешлива. Смотрю, Евгений Павлович подошел к моему вагону — значит, и он в нашей группе? Это был подарок судьбы.

Интересно! Ох, как интересно увидеть такого актера близко, послушать его мысли! Люди на перроне, несмотря на спешку, узнавали его, улыбались, приветливо кивали, указывая на него детям. Мой актерский стаж не был тогда еще таким солидным, как сейчас. Тогда я восторгалась вдвое чаще. С тех пор очертания театрального стиля и вкуса «растеклись по древу», что называется. Я искренне сочувствую актеру, который голяком вынужден нырять в нечистый сценический водоем или произносить матерные слова на подмостках, — сочувствую и опасаясь за его здоровье, физическое и психическое. Уходит тайна из театра, из искусства, — все чаще остается только тайна коммерческая.

А у Евгения Павловича тайна была, было актерское дарование, данное ему Богом. Он мог заставить толпу хохотать до слез и намертво замолкать, быть страдающим чеховским персонажем и уморительным зверюшкой, при заурядной внешности он казался ярким симпатягой, от которого невозможно отвести глаз, которого невозможно забыть, один раз увидев. Его голос нельзя было спутать ни с каким другим, как голос Юрия Яковлева или Ефима Копеляна. Все, что бы он ни делал на сцене или на экране, привлекало внимание и вызывало сострадание и любовь. Да, он был подлинно народный артист. Причем, как только он видел, что его узнали, он в ответ посылал всем свой «фирменный» по-детски плутоватый взгляд. Каждый думал, что этот взгляд послан только ему одному, и радовался, как ребенок радуется неожиданному подарку!

Такая актерская отзывчивость присуща людям, знающим, как гремят пресловутые «медные трубы»! А если, не дай Бог, «звезда угасает», актера забывают, начинают реже узнавать или совсем не смотрят вслед, это становится серьезной душевной травмой. Поэтому особенно уязвленные коварством славы соглашаются сниматься в рекламе зубных протезов и шоу, где обсуждают суррогатных матерей, людоедов и спившихся сограждан. Некоторые немолодые драматические актеры, никогда прежде не певшие, начинают вдруг исполнять одесские шлягеры, показывать, как они все еще могут сесть на шпагат и рассказывать об интимных подробностях личной жизни в изданиях типа «Караван историй». Там, говорят, неплохо платят. Все это — актерская тоска, которую почти невозможно победить ничем, кроме интересной работы на сцене или в кино...

И вот поезд наш двинулся и тихо поплыл, сначала показалось — едет противоположный состав, но постепенно колеса застучали бойче, и мы поняли, что тронулись в путь. Проводница предложила чай. От чая все отказались, но чистые стаканы попросили. Собрались в купе у Людмилы и Евгения Павловича, администраторша устала, поставила стол соками и бутылками. Каждый выложил дорожный набор: вечные куры, вечные вареные яйца, помидоры, пирожки. Певец филармонии, выкладывая закуски, рассказывал, что слушает только западных певцов и нашей прессы не читает. Телевизионные редакторши наперебой спрашивали Евгения Павловича о здоровье и предлагали домашний морс, но он только отшучивался, весело поглядывая на приготовления.

Выпили по первой, закусили, чуть помолчали, прожевывая. Певец вскрикнул: «Между первой и второй промежутки небольшой!». Выпили по второй. Стало легко — стеснение ушло, беседа, начавшаяся осторожными шутками, потекла проще. Толковали о тяжелых временах для театра, вспоминали случаи из гастрольной жизни, анекдоты и всевозможные байки. Актерская беседа часто напоминает гвалт на базаре, каждый стремится рассказать что-нибудь свое, перебивая соседа. Случайному человеку бывает трудно уловить связи в историях, может показаться, что люди ссорятся, вмешиваются некстати. У актеров, как и у поэтов: «в стихах все быть должно некстати, не так, как у людей».

Вот и у нас в купе началось нечто похожее. Рассказали, как однажды молодой режиссер решил проэкзаменовывать на репетиции ветерана сцены: «Архип Иванович, что вы все молчите? Что ваш персонаж здесь делает? Какая у вас задача, сверхзадача? Какая цель?». Архип Иванович выдержал паузу, нужную для достижения эффекта, а потом произнес: «Да вы знаете, у меня одна цель — нравиться публике». Купе дружно засмеялось!

Речь пошла о старой школе, актерах, которые выходили на сцену в такие годы, что и представить сложно, как они могли помнить большие роли и двигаться. Вспомнили актера Театра Сатиры Егора Тусузова. Он в свои восемьдесят с лишним оставался крепким и энергичным на сцене. Его спрашивали: «Егор Бароныч, как вы сохранили молодость? У вас есть секрет?». «Секрет есть! — отвечал Тусузов, — Во-первых, я никогда не был женат, во-вторых, никогда не делал утреннюю зарядку и всегда питался пирожками с площади Маяковского». Да, это означало одно: вся жизнь этого актера проходила в театре и только театру была посвящена. Сцена обладает непостижимым свойством — чудесным, если хотите. На сцене играют с высокой

температурой, только что сломанной ногой, туда стремятся убежать даже с операционного стола! Я сама наблюдала, как древний Сергей Александрович Мартинсон сидел в позе сдувшегося шарика возле выхода на сцену. Он спал. Подходила его очередь, помощник режиссера будила его, вела под руки и ставила к краю кулисы. И вот тут происходило чудо: при первых звуках музыки Мартинсон становился на сорок лет моложе и пулей вылетал на сцену! Зал встречал его громом аплодисментов, актер начинал петь, танцевать и фонтанировать такой блестящей энергией, что невозможно было оторваться. Русский Чаплин, называли его. Как только он уходил со сцены, поклонившись в последний раз, он вновь превращался в старика. Посудачили о новом поколении режиссеров с тоской и болью: ведь до чего дело доходит? Говорят, появился даже такой, что и Аристотеля отменил, все его законы о драме и комедии предал анафеме!

Поговорили о новых временах, о власти денег, о разных кланах и «шайках». Между актерами ходила такая байка про Малый театр. Как-то тогдашний глава Малого, Михаил Царев, пригласил в труппу актера из провинции, пообещав ему главные роли. Год-другой проходит, а он все в массовках бегаёт. Запил провинциал, и тут ему друзья по театру посоветовали: ты пойдёшь к Цареву и скажи: «Михаил Иванович, возьмите меня в свою шайку». Он, доверчивый, так и сделал. Пришел в кабинет, пал на колени и высказал просьбу. Дальнейшая его судьба не известна, но в Малом его не стало.

Стали говорить о новых определениях театра. «Промышленный театр»! Это что же такое? Это, говорят, когда театр сам себя кормит, зарабатывает на жизнь, на декорации. Правда, тут способы заработка не выбирают. Говорят, в одном театре ресторан в подвале открыли для богатых. И туда по разнарядке молоденьких артисток на ночь направляли. Не хочешь идти? Тогда — до свидания, ищи работу в другом месте. Но, может, преувеличили?.. Только ведь и репертуар подбирают аховый для продаваемости билетов: «Жених с того света», «Мужчины по вызову» или еще хлеще — «Три грустных мужа и один веселый», а тут еще надо медийных артистов добывать. Не важно, какой артист. Снялся в роли главного милиционера — всё! Его знают, на него пойдут глядеть живьем: как там наш следок NN Гамлета представляет?.. И в Датском королевстве начинается уголовное расследование убийства родного отца! Да, жажда зрелища — закон толпы, закон площадного искусства. Никуда не денешься.

Переживания, согретыми напитками, начали выплескиваться через край. Представьте! Репертуарный театр, который десятилетиями служил в России духовным просветителем, надо уничтожить? А то,

что театр этот был не просто репертуарным, а художественным?! Что идеи и критерии того театра были художественные, что существовало понятие атмосферы театра, что недопустимо было нарушать выработанные творческим трудом правила — это выкинули из обихода. Забудьте Станиславского. За духовностью пусть в церковь идут.

Выдохнули. Пауза продержалась недолго.

Теперь все зависит от хозяина. То есть у кого средства, тот хозяин-барин: кому хочу — тому дам роль, зарплату, бриллиант на юбилей подарю, шевроле, в конце концов... Евгений Павлович слушал все эти истории, посмеиваясь. Все ждали, когда же он что-нибудь расскажет. Но внезапно поперек ожидания вторглась редактор телевидения, она подняла стакан с шампанским и начала извергать лаву комплиментов на всех присутствующих. Больше всего досталось, конечно, Евгению Павловичу. Она вспоминала, как девочкой с длинной толстой косой пришла в театр и увидела «Царя Эдипа» в исполнении Леонова. Речь ее была долгой, коса юности становилась все длиннее и толще. В купе заглядывало вечернее солнце, за окном мелькали домишки на полустанках, пустые уже огороды, палисадники с последними цветами. Дама, наконец, завершила тост, назвав Леонова яркой звездой во мраке народной жизни!

Евгений Павлович слушал ее совершенно спокойно, думая о чем-то своем. И когда все чокнулись и выпили в его честь, сказал: «Да какая я звезда! У нас главный режиссер — звезда, а я... так... Когда заболел, сразу везде заменили. Видно, не ждали, что вернусь. Оставили меня в Германии, когда сердце отказало, там у нас гастроли были. Хорошо, что врач-немец попался такой... Он и семью мою приютил, и операцию без денег согласился делать. Когда я в театр вернулся, ко мне все с поцелуями бросились, но я не верю... Каждый за себя... У всех другие дела. Дела-делишки...». Он замолчал. И мы замолчали, почему-то стало стыдно.

«Ладно, давай, освежим! — он кивнул на бутылку. — А народ?... Вот я вам расскажу такую штуку.. В молодости я снимался в одной картине, с Людой, — ну, вы знаете. Снимали в станице на Дону, жили там целый месяц. Я стоял у хороших хозяев: добрые люди, хлебо-сольные. Очень мы с ними сдружились тогда. В селе этом мальчишка по дворам бегал, — родители его бросили, в город уехали, так он ко мне привязался. Да-а-а... Кепку я ему еще тогда свою подарил. Его и в группе съемочной моим сыном приемным окрестили.

Отсняли картину, простились. Все село нас провожало, как родню. Прошло лет двадцать, и оказался я однажды в тех местах. Был на съемках недалеко и узнал, что до станицы той на пароходике часа

полтора, да пешком три километра. Как раз дни свободные выдались... И так меня туда потянуло — поехал! А дело было осенью: дороги раскисли, дождь моросит. Вышел я на пристань у станицы той — кругом ни одной живой души. Только псы бездомные бегают, от дождя спрятаться норовят. Ну, поднял я воротник и потопал по этой хляби. Дошел. Иду по селу, вроде — знакомо, а вроде — все другое. Нашел я хату, где тогда стоял. Достучался, спрашиваю: «Живут тут такие-то?». «Нет, померли», — отвечают. Стучу в другую, третью, — ни я никого не знаю, ни меня никто не помнит. Про мальчонку того спросил. Говорят, давно в город подался. Тыркался я, тыркался... Никто в дом не приглашает, захлопывают дверь и всё. Чувствую, скоро темнеть начнет, а дождик все сеет... Сердце что-то пошаливать начало. Пойду, думаю. Хоть бы до пристани как-нибудь добраться. Иду по дороге, ноги вязнут, промок... А слева — река, и на реке — лодка. Сидит в ней кто-то. Вдруг слышу: «Э-эй! Ты не Леонов?!» Остановился я. Гляжу — в лодке три мужика. «Леонов, — отвечаю, — И сам думаю, неужели узнали?!» «Ох, дорогой ты наш, родной! Ты же наш любимый! Всегда на тебя в кино глядим, вспоминаем!...» Я обрадовался!.. «Мужики, — кричу. — До пристани не довезете? А то по дороге мне трудно». И в ответ слышу, на всю реку, громко так: «Да пошел ты на...».

И пошел я. Еле до пристани добрался. Залез в каюту. Настроение хреновое, сердце болит, замерз... Выпил... До места, где наша экспедиция была, кое-как добрался».

Колеса под вагоном присмирели, тихо перестукиваясь, — поезд замедлял ход. «Я вот в Голливуде был, — продолжал Евгений Павлович. — Там у них аллея есть, где разные следы их знаменитых актеров. Так смотрю: люди подходят, цветы кладут, стихи возле следов этих читают... Кхе-кхе... А у них там званий почетных, как у нас, нету. Вот такая я звезда народная! Елки-палки!».

Поезд остановился. Пассажиры потянулись на платформу, соблазнясь горячей картошкой и малосольными огурцами, которые вынесли на перрон местные женщины. Картошку и огурцы раскупали охотно, заворачивали в бумажные кульки и, поеживаясь, торопились обратно в нагретые купе.

Когда в дверях вагона появился Евгений Павлович, продавщицы сразу его узнали и наперебой стали предлагать ему свой домашний товар. Женщины галдели, удивлялись: «Вы Леонов, да? Да нет, это не он! Да, он, он! Гляди-ка, правда, похож! Да, не надо ничего! Так бери! Возьми!».

Они были счастливы отдать артисту все, как родному. Леонов! Живой! Не на афише, не в телевизоре! А настоящий! Мы

смотрели на них из окон, и один актер из группы сказал: «Смотри, оживает! Стерлась обида».

Поезд тронулся. Артисты разбрелись, кто-то ушел в тамбур курить. Я видела, как помолодевший Леонов сидел в пустом купе и с удовольствием ел горячую рассыпчатую картошку вприкуску с огурцом. Он был доволен, что хоть ненадолго остался один и что его помнят на маленькой станции посреди огромной страны.

В Донецке нас принимали великолепно. Из зала вырвался ураган аплодисментов, когда на сцену вышел Евгений Павлович. Он что-то рассказывал, читал монолог из «Поминальной молитвы», играл шуточную пьеску с Людмилой. Действовал без напряжения сил, ровно настолько, насколько их у него осталось после недавней операции. И чем тише он говорил, тем беззвучнее становился зал. Люди боялись пропустить хоть одно слово. После концерта на сцену понесли пироги, конфеты, громадные букеты. Надо было еще сидеть допоздна за столом с хозяевами нашего турне, веселить их дополнительно. Леонов все это проделывал, нисколько не выделяя себя. Было видно, что он полностью положился на судьбу и не прикладывает лишних усилий, чтобы сэкономить жизненное время. Он уже узнал, что жизнью распоряжаются, нас не спрашивая. Просто он любил свою профессию, публику. Эта любовь была сутью его актерского дарования. Смыслом его жизни.

Мир меняется, мы устареваем, и хотя говорим на одном языке — нас все реже понимают. Зачем нужны старые актеры? Балласт! Молодые чиновники придумывают способы расправы над бесправными. Надо же за что-то получать зарплаты, в разы превышающие пенсии актеров. И незачем думать, будут ли живы те, кого выгнали из жизни, ведь для многих театр — это жизнь. Все еще есть, остались и такие. Мне повезло, я застала старое поколение в своем театре. И в моем театре пока сохранены нормы человечности. Недавно мы праздновали юбилей Марии Морицевны Скуратовой — 80 лет. Поздравление прошло искренне и скромно. И вот ей предоставили заключительное слово вечера. В первую очередь она поблагодарила зрителей. «Я всех вас очень люблю», — сказала она. И затем попросила разрешения прочитать небольшой фрагмент монолога, которым много лет назад ее мама, А.М. Скуратова, дебютировавшая тогда в театре Корша, начала свой творческий путь. Это из пьесы В. Каменского «Здесь славят разум».

«Слушай, театр! Ты — огромный, как небо. А я — маленький жаворонок среди необозримых полей твоих зрителей. Я совсем малень-

кая, но все мое существо переполнено нескончаемой любовью к дыханию твоему. И все мои песни во славу твою».

Вот эта тайна. Из-за нее притягивает к экрану старый фильм, старый спектакль. Из-за этого влюбляются на всю жизнь в артистов, режиссеров, художников, музыкантов, писателей! Не любишь — не пиши, не играй. Все очень просто. И очень тяжело, когда не пишется или нет ролей. Любовь!..

Хороших ролей много не бывает, так же, как хороших друзей. И когда наступает пауза, то есть когда актер долго ждет роль, — он начинает мечтать и вспоминать. И жить становится чуточку легче. Ведь «воспоминания — это единственный рай, из которого нас никто не может изгнать!» Бальзак был абсолютно прав. Что ж, я воспользуюсь этим определением рая и постараюсь в следующий раз рассказать еще что-нибудь. Про Театр! Поезд, дорога — лучшее место на свете, где так хорошо рассказывается.

«ВЕЛИКИЕ НАРОДЫ ВСЕГДА ВСЕМ МЕШАЮТ...»

Беседа с Новеллой Матвеевой

— *Новелла Николаевна, как вам удалось остаться поэтом-одиночкой в большом конвейере советской и постсоветской литературы, своего рода отшельником, поэтическим Робинзоном Крузо?*

— Для меня лестно, конечно, если со стороны видится, что я сохранилась одиночкой. Я просто не представляю, как можно иначе вести себя в литературе. Меня в своё время часто упрекали в оторванности от жизни, в том, что у меня нет гражданственных стихов. Но именно те, кто упрекал меня в отсутствии гражданской совести, они сами же мои стихи отвергали, потому что моя гражданская позиция им была не нужна.

— *Вы считали себя когда-нибудь диссиденткой, как это многим казалось?*

— Властям я никогда не была нужна ни в хорошем, ни, к счастью, в плохом смысле. А вот завистники, работающие понизу, они как бы набрасывали на меня мешок и не показывали властям, что я есть. А если бы они меня знали (кроме Брежнева, конечно), они не стали бы меня травить, а некоторые, может быть, даже и выручили бы...

— *В ваших стихах много путешествий, эпох, стран, людей. В последнее время горизонты мира значительно расширились. И уже реально, а не в фантазиях, люди рванули по зарубежным краям. Одни бегут от сора и крови, другие ищут рая вдали от России, третьи «отмывают» грязные миллионы на побережье Канарских островов...*

— Если меня что-то возмущает, вот конкретно сейчас, так это то, что дальние границы открыты, а ближние заперты наглухо. Значит, человек со средствами, с положением может куда-нибудь на Гавайи податься, а человек бедный или просто среднего достатка отрезан даже от Чёрного моря.

Для меня возмутительно, что подняв «железный занавес», опустили шлагбаум народу перед самым носом, как будто это и была цель, чтобы избранные кинулись вдаль своё-не своё богатство распрыскать... Наверное, если бы я оказалась с помощью какого-то чудесного жезла в другой стране с возможностью вернуться на многострадальную нашу

Родину, я бы не отказалась. Потому что впечатления — это огромное дело для стихов... Но вообще-то, главное, чтоб меня в моей норе не тербели и не вытаскивали за волосы, и я сама тогда смогу вообразить всякие интересные путешествия...

— *Как вам кажется, Новелла Николаевна, с высоты житейского и писательского опыта — «печать времени» — абстрактное или всё-таки конкретное понятие? Люди меняются со временем?*

— Вы скажете, что «типун мне на язык», но по-моему, нет. Благородные люди не меняются потому, что они благородны, а люди дурные не меняются потому, что они дурные. Потому что зачем же им меняться, когда можно просто сменить одежду, маску, роль и так далее, что сейчас и делается, по-моему, с большим успехом...

— *Всё чаще приходится слышать унижающие всех нас слова о том, что Россия всегда находилась «на обочине цивилизации». Как будто у нас не было тысячелетней истории христианства, пришедшего через Византию из Европы, как будто у нас не было многовековой истории литературы, «Слова о полку Игореве», Андрея Рублёва, Петра Великого, Сергия Радонежского, Серафима Саровского... Да у нас один Большой театр по возрасту едва ли не ровесник всей хвалёной Америки...*

— Какая там обочина... Просто у России другая цивилизация, чем та, которая представляется кому-то цивилизацией. Пусть перечитают хотя бы Карамзина, что ли. Россия культурнейшая страна, просто она настолько своеобразная... Почему бы по этому принципу не преследовать своеобразную страну, целую, такую огромную? И вообще дурость, какую-то «недотянутость» до ума, рабство, лень обычно приписывают, обратите внимание, кому? — в большом историко-географическом плане — целым частям света или странам, в которых много земли. Почему в своё время говорили, что негры — дураки? Они, мол, хорошо поют, хорошо пляшут, но вообще слабоумные. Также и об индейцах говорили, дескать, они далеки от искусства, литературы... Почему? Потому что мешают, у них под ногами вон какая огромная земля. И что получилось? Ведь как сказал О. Генри об индейцах: «Они не дали миру ничего, кроме земли, на которой расположены Соединенные Штаты».

И Россия то же самое, она ведь такая огромная, её тоже можно эксплуатировать. Почему вот сейчас приспичило именно продавать землю? У вас ещё нет её, а вы уже хотите её продавать, почему это вдруг? Всё это идёт от отношения к России — как к дурной, непонятливой, отсталой, какой-то тусклоумной, нецивилизованной рабс-

кой стране. Потому что люди, живущие на этой земле, мешают её захватить. Потому что Африка негров, Америка индейцев и Россия с расположенным на ней народом – самой большой помехой были для людей нахрапа и захвата. Есть такое выражение «группа захвата», «группа нахрапа» я называю их. Большая земля всегда притягивает хищников, а тех, кто мешает этому, начинают ненавидеть и унижать... А вообще-то обо всём этом можно было бы сказать одним предложением: «Великие народы всегда всем мешают, потому что они занимают великие земли...»

– *Горячо любимый вами Василий Андреевич Жуковский написал в одном из своих стихотворений: «Поэзия есть добродетель». Справедливо ли, по-вашему, это высказывание для наших дней?*

– Точно так же как забыта природа слова «демократия», что это народная власть, из которой народ-то как раз и исключается систематически, так же забыли и природу слова «творчество». Теперь считается, что бывает разрушительное творчество и что в этом есть особая оригинальность, свободолюбие. Никакого нет свободолюбия в том, чтобы разрушать, в этом есть просто мерзость...

– *Но ведь ещё больше тридцати лет назад вы написали об этом:*

...Не пиши, не пиши, не печатай

Хриплых книг, восславляющих плоть.

От козлиной струны волосатой

Упаси

Твою лиру

Господь!.. –

и ведь именно сегодня в литературу, на книжный и телевизионный рынок повалило стадо молодых, да и не только, с этой «козлиной струной волосатой». И что самое грустное – у них нашлась толпа поклонников и обслуживающих их критиков. А ещё вчера многие из них ходили на вечера Ахмадулиной, Матвеевой, Тарковского, спорили о фильмах Феллини и Хуциева...

– Я наблюдала это свинячество ещё тогда, а сейчас оно получило под копыта себе благоприятную почву и стало развиваться. А что люди этому именно помогают, так ведь «как не порадеть родному человечку», говоря словами Грибоедова? И такая позиция даёт распускаться всё дальше и дальше, а предела как совершенству, так и несовершенству нет...

– *Известный критик Лев Аннинский написал тревожные слова, что время великой русской литературы кончилось, что с приходом в Россию рынка, западного образца цивилизации, литература наша не*

сможет выполнять ту, только ей одной в мире свойственную функцию исповедальности, учительства, проповедничества...

— Я не говорю о Льве Аннинском, но много теперь таких находится, которым хотелось бы, чтобы время литературы кончилось. А оно всё кончалось, кончалось у них на языках, а по сути никак что-то не кончится. И знаете, многие из предвещающих гибель литературы сами никогда не напечатают человека, который будет живым свидетельством, что наша литература не может кончиться. Придёт к ним такой, а они просто не пропустят его. Вот она и кончилась. Поэтому, когда говорят, что время великой русской литературы прошло — выдают желаемое за действительное...

Беседу вёл Геннадий Красников

ПУТЕШЕСТВИЕ В КРАЙ АРУАНЫ

В современной литературе Центральной Азии существует образ, восходящий к архаико-традиционной форме мышления – мифу. Это образ бактриана (научное наименование двугорбого верблюда) и его инварианта аруаны (одногорбый верблюд). Верблюд – животное кочевников, и весь уклад народов Центральной Азии в древности был тесно связан с ним. Ученые полагают, что он был одомашнен в среде скотоводов более пяти тысяч веков до н.э. [1]. Для народов региона он был главной опорой хозяйства. Природа наградила его почти уникальной приспособляемостью. Он прекрасно переносит зной, может очень долго обходиться без воды, неприхотлив в еде, не пугают верблюдов и знойные холода. Он может передвигаться и по степи, и по сыпучим барханам. Единственная его потребность – степное раздолье, простор.

Символика бактриана/аруаны принадлежит к фундаментальным образам, которые уходят своими корнями в глубокую древность. Вернее, его можно назвать не образом, а мифологемой. Поясним, что мы понимаем под этим термином. Существует много суждений по поводу понятия «мифологема» как элемента художественного текста. Это известный в мировой науке термин, восходящий к трудам К.-Г. Юнга. Исследователями он определяется как элемент художественного текста, как первообраз, содержащийся в подсознании, проявляющийся и в мифе, и в художественном произведении» [2, 10-16]. То есть это некий древний и изначальный образ, структура, мотив, на материале которого затем конструируется как мифологический сюжет, так и сюжет художественного произведения. К подобным мифологемам тюркской культуры относится образ верблюда. По сведениям «Словаря тюркской мифологии», «верблюд в мифологии соотносится с высшей сферой бытия. В иерархии образно-символических представлений архаического сознания, воспринимавшегося все явления и стихии окружающего мира как персонификацию различных животных и божеств, верблюд занимает особое место, являясь *посредником между человеком и небом* <...>. Верблюд – символ единого и неделимого космоса, создан из ничего и является первоосновой. <...> В представлении тюрков он – символ начального мира» [3].

Об особом его месте в жизни народов свидетельствует мифология тюркских народов. Так, в «Книге моего деда Коркута» – общей для тюркских племен – повествуется о крылатом верблюде, на котором бахсы, спасаясь от смерти, объезжает четыре стороны света. По мысли казахстанского этнографа А.К. Акишева, мифы о небесном (огнедышащем) верблюде, распространенные у различных народов Центральной Азии, – воплощение солярного бога-громовержца. Исследователь отмечает, что «в монгольских сказках верблюдов считается ездовым животным тенгриев-громовержцев. А у иранцев он был образом райского змея-дракона, отождествлялся с космосом, с миром» [4, 74-75].

По наблюдениям антропологов, у казахов верблюд считался самой дорогой жертвой. У многих народов Средней Азии он был оберегом, кости его применялись в лечебной магии, а его мясо считалось очищающим. Верили, что верблюд помогает при родах, он был воплощением мужской силы, стимулирующей плодородие [5, 196]. Кроме того, верблюд является символом выносливости, победы жизни над смертью, стойкости и мощи, труда и упорства. Он упорно идет по пути и несет свою ношу с терпением и без усталости. Он олицетворяет выносливость, стойкость, согласие со своей судьбой.

На мысль о сакральности двугорбого верблюда также наводит широкое распространение изображений бактриана в изобразительном искусстве ранних кочевников Центральной Азии. Первые наскальные изображения бактриана появляются, по данным Л.И. Ремпеля [6, 95], уже во II тысячелетии до н.э. Исследователь пишет, что ранние изображения бактриана, содержавшие сцены бегущих и дерущихся верблюдов, были найдены в Казахстане, Узбекистане, Туркмении (конец III тыс. до н.э.), среди терракот Северного Афганистана (II тыс. до н.э.), в Иране (Сиалк III, Луристан).

А.К. Акишев символику верблюдов на курьих горах, обнаруженной на территории Семиречья, называет космогонической. В центре чаши, по описанию исследователя, – две фигуры двугорбых верблюдов головами друг к другу. Полые горы верблюдов ученый расшифровывает как стороны света, а четыре их горба – четыре стороны света. «Парность верблюдов могла означать и половые различия, оплодотворяющие и плодоносящие силы природы, борьбу или двуединство космических начал – основы мироздания. Пафос дуализма пронизывает диалектику индоиранской мифологии», – отмечает ученый [4, 75].

Изображения крылатого верблюда – сказочного животного с головой верблюда – археологи нашли также и на территории Узбекистана. Ученые обнаружили здесь настенные росписи, изображающие царя, который сидит на спине лежащего верблюда. Также в различных археологических раскопках центрально-азиатского региона были найдены изображения тронов в виде верблюда. Среди находок археологов – скамья, ножками которой служили крылатые верблюды, обращенные головами в разные стороны. Еще чаще встречались изображения верблюда на монетах, геммах и художественном металле. «Смысловая атрибуция этих зооморфных существ ясна, она подтверждает определенную культовую традицию этого животного на Востоке. А распространенные изображения верблюда в изобразительном и прикладном искусстве говорят о популярности этого образа. То есть для художественной культуры Согда и его княжеств это весьма распространенный образ», – замечает И.Л. Ремпель [6,98].

Ученый выделяет несколько аспектов в трактовке животного: 1) мифологический, 2) династийный, 3) игровой. Образ верблюда, согласно исследователю, олицетворял мощь, неукротимость, необузданную силу бога войны и победы. В этом аспекте верблюд и его крылатый двойник являет собой, таким образом, космическое божество <...> Он служил также знаком царственности и величия. <...> Все три названные выше аспекта – культовый, династийный и игровой – отвечают вместе с тем историческому развитию образов мышления: мифологического, эпического, фольклорного [6,97-98].

Все эти примеры из области археологии и антропологии достаточно убедительно доказывают мысль о сакральности бактриана/аруаны в культуре народов Центральной Азии. Знакомясь с произведениями *казахских, киргизских, узбекских, туркменских* писателей, мы обратили внимание на то, что в каждой из национальных литератур содержится сюжет с образом верблюда. Распространенность этого образа в литературе наводит на мысль, что это не случайные совпадения, и бактриан/аруана – не просто образ, а некая «матрица», в которой в свернутом виде содержатся устойчивые смыслы. Каковы эти смыслы? Как первичные схемы воплощаются и реализуются в художественной ткани текста? С этой целью рассмотрим произведения казахской литературы – «Белая аруана» Сатимжана Санбаева и «Бора» Оралхана Бокеева, киргизской – «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова и турменской – «Инер» Атагельды Караева.

Проза казахстанского писателя Сатимжана Санбаева привлекает особое внимание современного литературоведения. Причина этого кроется в образах героев, сюжетах, самобытной поэтике писателя. Привлекает в произведениях художника знание национального быта, жизненного обихода аула. Повестям и рассказам художника — «И вечный бой», «Когда жаждут мифа», «Коп ажал», «Колодцы знойных долин», «Старая свирель», «Черный вихрь» — свойственно тесное единство смыслового и образного пластов художественного слова.

Одним из ранних произведений С. Санбаева является повесть «Белая аруана». Это замечательная философская повесть об одиночестве и прошедшей жизни, о зыбкости человеческого счастья, о мечте и о любви к родине. Необычайно емкое по смыслу произведение Санбаева отличается, кроме прочего, и обширным ассоциативным «полем». Сюжет повести разворачивается на фоне степной аульной жизни, в которую читатель погружается благодаря ярким авторским зарисовкам. Центральные фигуры повести — белая верблюдица — аруана и ее хозяин, раненный на войне, и вследствие этого оставшийся как мужчина немощным. Через судьбу аруаны читатель погружается в историю сложных человеческих отношений. Но при этом не происходит раздвоенности художественной ткани — благодаря незримо присутствию автора, избранной им позиции. Старый Мырзагали становится все более угрюмее, и все чаще его посещают мысли о бесполезности и пустоте жизни: *«... им овладели тяжелые мысли, что сложилась его жизнь не так, как надо бы. Он вспоминал, что бывали минуты, когда он пытался уйти из жизни... Пытался, но не смог. И никто, кроме старухи, которая прожила с ним эту долгую и скучную жизнь, не знал о его боли»* [7, 15]. Для Мырзагали маленький верблюжонок, превратившийся в прекрасную белую верблюдицу — аруану, стал единственным утешением и смыслом жизни.

Это существо олицетворяло для старика всё то светлое и чистое, что ушло из его собственной жизни. Но аруана привязана к родным местам, она тоскует по родине, по горному Мангистау. Имеющая глубокий и сложный подтекст повесть связана с устным народным поэтическим преданием казахов о верности животных родному краю. Словно непреходящая, зазывная мелодия жизни подавала ключевые сигналы оттуда. Вновь и вновь она пыталась убежать в родные места: *«Это был ветер страны причудливых гор, которую она помнила. У моря, у Меловых гор рождается такой ветер. Горы наполняются*

странными, тихими звуками и как бы устремляются ввысь, выпрямляясь, вытягиваясь, и становятся еще неприступнее. <...> Трепетно замирают чуткие сайгаки, поводя ушами и обнохивая этот звучный сухой ветер, и бегут на север, от солнца, опустив головы в короткие тени свои; прячут птицы в траву; тревожно оглядывая мерцающее небо, пастухи гонят стада поближе к колодцам. Суховой надолго приходит в Мангистау... Порывами налетал сухой ветер, и пот белой накипью соли оседал на груди и животе аруаны. Она уходила в степь все дальше, растворяясь в знойном мареве» [7, 26-27].

Раздольная, широкая, ничем не скованная, насквозь пропитанная степными травами родина манила ее постоянно, и она убегала. Мырзагали настигал любимицу и возвращал назад.

Две сюжетные линии «Белой аруаны», верблюдицы и ее хозяина, старого Мырзагали, составляют параллель. Через историю верблюдицы проходит и история ее хозяина. Линии старика и Аруаны соседствуют в повести, накладываются одна на другую самым причудливым и непринужденным образом. Мырзагали — лишь в своей аруане, столь же одинокой несчастливой, как и он сам, оторванной от родины и брошенной среди чужих, видит отраду. Аруана — в некотором смысле вариация его судьбы. Читатель распознает в старике и аруане родственные, совмещенные души. Автор словно бы совпадает со своим героем, «сделавшись аруаной» (как Тургенев однажды заметил Толстому, что тот сделался лошадкой в «Холстомере»). Вполне очевидно здесь наличие неких аналогий, знаковой переключки человеческих и животных реалий, воспринимая переживания верблюдицы, читатель исподволь переключает это восприятие также на уровень человеческих реакций, эмоций, чувств.

Когда Мырзагали заболел и слег в больницу, аруана подверглась жестокой экзекуции, чтобы больше не убегала. Однако память о родных местах не дает ей покоя. Однажды летом пришел в степь сухой ветер, аруана подала голос своему верблюжонку и побежала навстречу ветру. Великий инстинкт вел ее вперед через холмы, солончаки, овраги. Аруана мчится, бег стремителен и красив. Споткнувшись в беге и упав, слыша наступающий топот копыт, она делает прыжок над глубоким оврагом и беззвучно, повиснув в воздухе, словно еще продолжая бег, исчезает в глубоком овраге. А Мырзагали плакал, прежде чем пришло облегчение. Он повел домой ее верблюжонка: «*Впереди, раскачиваясь на длинных прямых ногах и спотыкаясь, шел верблюжонок. Он тонко и жалобно плакал, оглядываясь вокруг, еще не понимая, что навсегда потерял мать. Он шел послушно перед конем, потому что впереди лежала его родина, лежал аул, где он родился, и куда он будет убежать отовсюду, как и мать, которая всю жизнь добиралась до Мангистау»* [7, 30].

Верблюд у степных народов является символом выносливости, победы жизни над смертью, стойкости и мощи, труда и упорства. Животное способно нести невероятные тяжести и может совершать длительные переходы, практически не уставая. Оно также олицетворяет стойкость, согласие со своей судьбой. Герой повести С. Санбаева также отличается великим терпением, он не теряет самообладания, силы духа. В финале повести всё-таки происходит высвобождение Мырзагали от всего тяжелого, во многом несправедливого, что выпало на его судьбу, что было зажато под прессом моральных и других правил и ограничений.

Закон нового мира

Оралхан Бокеев. «Бура» (Казахстан)

Выходец из села, О.Бокеев писал о том, что было ему близко и знакомо с детства: о жизни, о труде, о быте своих земляков. Чабаны, охотники, сельские труженики — вот круг героев, населяющих его повести и рассказы. Рассказ «Бура» — глубоко трагедийная, по-своему красочная и жестко-поэтичная история. Центральный ее персонаж — спокойный, величавый верблюд по прозвищу Бура. Художник живо и достоверно запечатлел образ мощного, сильного бактриана. Он повествует о печальной судьбе животного, заброшенного за ненадобностью. Жизнь верблюда драматична: «сначала его лишили друзей, с которыми он проводил веселые дни в веселых играх и беззлобных ссорах. Он не мог забыть влажные глаза верблюдицы, матери своей, которую при нем зарезали на мясо» [8,268]. Оторвав от родного аула, его угнали на Бухтарму. В рассказе О. Бокеева исподволь отражается целостная картина мира и как часть ее — образ Буры. Автор рисует перекочевку на джайлау. В ней упорядоченный, поднявшийся над хаосом мир, включающий в себя человека, животных, природу: *«Едва покрывалась зеленью степь, люди собирали пожитки и трогались в путь. Шли они все вместе. Самую тяжелую поклажу несли сильные и опытные верблюды и лошади. Жеребята и верблюжата развились налегке, не отставая от кочевья, и никто их не подгонял. В прежние годы был легок и весел этот путь. Когда осень запахивала своей золотой халат и желтели покорно травы, люди спускались в долины, цепочкой тянулся караван по старой тропе, словно большая тень журавлиной стаи, спешащей в жаркие страны. Все были веселы и здоровы. Даже у рабочих верблюдов, не знавших покоя, туго торчали горбы. Это были счастливые времена»*[8,269].

Бура — исконный спутник, соратник, опора, верный и надежный помощник человека. Несколько лет, когда в родных местах нашли руду, Бура вместе со всем верблюжьим племенем работал на строительстве железной дороги: таскал шпалы, песок, камни и тяжелые рельсы. И остался один, когда его племя было угнано в чужой аул за Бухтарму.

Затосковав, он ушел из родного аула, заглянул на старую зимовку, на которой царит разруха и заброшенность, потому что люди перестали кочевать. И двинулся дальше к перевалу. Беспokoйный и встревоженный, разбрызгивая слюну, скрежеща зубами, Бура, не находя себе места, бродит по голой степи: *«Не огромным верблюдом он был, а песчинкой в этом безлюдном царстве, единственной живой душой во всей поднебесной. И нес он непривычно тяжелый груз — всю тяжесть веков безмолвия и одиночества»* [8,270].

Символичен трагический финал рассказа — гибель Буры. Подолгу всматриваясь в обманчивую и безнадежную даль, ослепленный яростью, верблюд бросается грудью на товарный поезд. Обреченность на гибель верблюда, доброго и благородного существа, художник рассматривает как закон этого нового мира. Этот своенравный верблюд является для автора наглядным дорогим вымирающим образом аула. Писатель затрагивает вопрос о последствиях — социальных, моральных, психологических. О зараженном бездушной цивилизацией поколении людей нового времени. НТР размывает вековые социальные грани и перегородки, рушит вековую прикреплённость к родной земле, подрывает традиционные — душевные, моральные, бытовые связи между поколениями, приносит одиночество старикам.

Художник не против технического века, но он не ждёт ничего путного от воцарения молоха цивилизации. Сокрушительные симптомы технократического века зашифрованы здесь самым причудливым образом. При всевластии его отпрысков, в век наук и технологий происходит искажение, «искривление» человеческой души.

Идея связи человека с народом, его причастности к его прошлому, настоящему и будущему, к общему круговороту составляет сюжет произведения. Со стороны О. Бокеева нет ни малейшей попытки фетишизировать верблюда, так или иначе сакрализовать его образ, но это вовсе не снимает (а, возможно, усиливает) *символично-мифологический подтекст* повести. Пропажа Буры оставила всех равнодушными. Лишь старый Абиш, которому отказали в лошади для поисков, идет пешком в пески Нарына, и, согнав мух с гниющей туши, предает погребению Буру. Старик похоронил своего друга и вбил кол на его могиле.

Рассказ О. Бокеева является провидческим набатом, со своей правдой — правдой насчет данайских даров прогресса, насчет того, что всякая *прогрессия* почему-то оборачивается *агрессией*, насчет техногенного имморализма, неизбежно ведущего, в конечном счете, к полному краху всех гуманитарных основ.

Посредник между небом и землей

Чингиз Айтматов. «Буранный полустанок» (Киргизия)

Роман Ч. Айтматова «Буранный полустанок» не обойден вниманием критиков. Он достаточно известен, и в свое время о нем было много написано. Исследователи анализировали идейно-художественную проблематику романа, писали об излюбленной автором мифологии, придающей философский смысл его произведениям. О том, как она выводит перспективу в прошлое и настоящее. Мифологический пласт романа исследован довольно подробно. Критики отмечали тщательную реставрацию мифологической традиции в творчестве писателя. Рассматривали фольклорные предания и легенды о кладбище Ана-Бейит — материнский упокой, о манкурте, историю любви певца Раймалы-аги и красавице Бегимай, а в «Белом пароходе» — легенду о Рогатой-матери Оленихе, в «Пегом псе» — о рыбаженщине и утке Лувр, дающих грандиозную мифическую проекцию в прошлое и настоящее.

В романе миф сплетается с реальностью. Нас интересует образ знаменитого айтматовского Каранара, сквозь который также проступает мифотрадиция. Бактриан слитен со своим хозяином. Не случайно Г. Гачев заметил: «Не будь Каранара, не был бы завершенным образ его хозяина «молочного брата» Едигея. Неспроста оба носят одно и то же прозвище — Буранный [9,264].

Наличие в художественной трактовке образа мифологической традиции, в частности архаического представления о бактриане, очевидно. Органично выписаны в романе мощь, неукротимость, необузданная сила Каранара. Согласно архаическим представлениям, верхние божества обладают сверхъестественной силой. Заезжие ученые, увидев Каранара, были поражены его физическими данными: *«Фотографы стали добросовестно снимать Буранного Каранара, прицеливаясь сбоку, спереди, близко, издалека, будто имели возможность и умели, а в последующие дни с поддержкой Едигея и Казангана стали самостоятельно делать обмеры — замерили высоту в холке, обхват груди, обхват запястья, длину корпуса и все записывали, восхищаясь: Ве-*

ликолепный бактериан! Вот где гены очень хорошо сработали! Классический образ бактериана!» [11].

Художник подчеркивает физическую форму животного, огромную его мощь и силу, которые, безусловно, символичны. Вспомним, что согласно древним тюркским преданиям, верблюд был воплощением мужской силы, стимулирующей плодородие. Эти качества придают образу Каранара архаический характер. Они в мифологическом сознании присущи бактриану как верховному божеству. Облик своего бактриана Айтматов создает по образу и подобию мифических великанов, как известно, обладавших эротической мощью. Читая сцены с Каранаром, мы станем свидетелями истовой одержимости, полной его поглощенности Эросом в борьбе за самок: *«И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она, наконец, повернулась таким боком, что наступило утро над сарозеками, увидел вдруг Буранный Каранар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едигей и Коспан. Коспан взял с собой ружье.*

Взъярился Буранный Каранар, задрожал, заорал, закипел во гневе — как смели люди вступить в его пределы, как могли приблизиться к его гурту, какое имели право нарушить его гон? Каранар завопил зычным, свирепеющим голосом и, дергая головой на длинной шее, залязгал зубами, как дракон, разевая страшную клыкастую пасть. И пар валил, как дым, из его горячего рта на холоде и тут же оседал на черных космах белой летающей изморозью» [11].

Одновременно в романе актуализируются древние поверья о бактриане. О культовом значении верблюда косвенно свидетельствуют многочисленные казахские легенды, в которых описаны похороны выдающихся людей, почитаемых народом и считавшихся святыми. Так, согласно одной из легенд, когда умер известный казахский батыр Райымбек, его тело было навьючено на белого верблюда и похоронено там, где этот верблюд остановился и лег [5, 196].

Другая не менее интересная легенда записана Аргынбаевым на полуострове Мангышлак. Она связана с именем богача-скотовода Камысбая, умершего во второй половине XVIII века. «Легенда гласит, что он умер во время летней кочевки, и тело его везли на верблюде, чтобы похоронить на родовом кладбище. По пути, на территории другого казахского племени, верблюд остановился и лег; в этом месте и похоронили Камысбая. Впоследствии здесь возник огромный некрополь с великолепными каменными надгробными сооружениями. Подобного рода легенды встречаются и у многих других среднеазиатских народов» [5, 196].

И в работах ученых начала XX века зафиксирован обычай захоронения у тюркских народов. Так, А.И. Левшин, описывая похоронный обряд казахов, отмечает, что покойника «*везут на верблюде к могиле в сопровождении родственников и плачущих женщин, с навязанным на длинном шесте черным платком вместо знамени*» [12,340]. И в других этнографических источниках также отмечается, что в *похоронном процессе древних тюрков обязательно присутствует верблюд*. Это, очевидно, объясняется культовым значением животного, которому отводилась определенная роль в погребальном ритуале. Кроме своего важного по значимости места в повседневной жизни, верблюд являлся животным, за которым закрепился обычай перевозки тела усопшего. Чтобы стало понятнее, сравним, с обычаем похоронного обряда у язычников-славян. В описаниях славянского языческого похоронного обряда есть упоминание о том, что важным атрибутом на похоронах была лодка. К костру, на котором происходило сожжение, умершего человека доставляли либо на санях, либо в ладье, лодке. Это связано с верованием славян в то, что душа умершего должна пересечь реку Смородину, чтобы попасть непосредственно в то место, где ей и должно оказаться. Современный гроб для погребения, считают археологи, — это видоизмененная, упрощенная лодка, и традиция хоронить в нем пришла к нам из глубины веков. Согласно другим поверьям, в могилу покойника клали веревочную лестницу, видимо, по аналогии с лодкой, при помощи которой душа могла добраться в мир мертвых.

Чтобы похоронить Казангапа, Едиге поставил во главе похоронной процессии оседланного и обряженного Каранара, несмотря на то, что управляющий выделил для перевозки тела усопшего трактор «Беларусь». Маленькая и со стороны странная процессия (трактор, верблюд, кони, собака) отправилась на Ана-Бейит, на самое почитаемое старинное кладбище в Сарыозеке. Покойный Казангап заслужил это. Он честно отслужил свой век на Боранлы-Буранном, был хорошим человеком и, по мысли Едигея, должен быть похороненным на родовом кладбище, рядом с предками. Но использование Каранара — не только дань уважения другу и уважаемому человеку. Обычай явно связан с древними верованиями тюрков. Согласно последним, смерть понимается как переход из этого мира в иной, и, чтобы перейти в него, надо преодолеть определенный путь. В выражении «отправляться в последний путь» исконно имелся в виду отнюдь не путь на кладбище, а путь в мир предков.

Верблюд соотносился в сознании древних тюрков с высшей сферой бытия. Чтобы душа умершего оказалась в том мире, тюрки использова-

ли это животное, являющееся посредником между человеком и небом. Сакральный смысл использования верблюда в похоронном обряде состоял в доставке усопшего в мир духов. Эта часть похоронного обряда имела целью в закодированной, символизированной форме обеспечить и облегчить переход в другой мир. В нем отражается культ предков, представления о контактах двух миров — того и этого, — о влиянии, какое оказывают умершие предки на жизнь очередного поколения людей. Усопший, согласно древнетюркским верованиям, перерождался в предка, который заботился о племени и оберегал его от опасностей.

По замечанию В. Топорова, «животный мир — символическая парадигма, своего рода символический код мироздания, модель человеческого общества и природы в целом» [10, 440]. Погружение в стихию мифа в сценах с Каранаром не является открытым, не сразу обнаруживает себя. Но мифологический пласт образа бактриана в них предстает подлинной, самозначимой реальностью, а мифообразы позволяют высветить нравственные проблемы.

Миф, растворенный в повседневном
Атагельды Караев. «Инер» (Туркмения)

Туркменский писатель Атагельды Караев в своем рассказе «Инер» [13] создает образ пустыни — место наиболее полного раскрытия не только физических, но и духовных качеств человека. Пустыня для него неразрывно связана с образом Туркмении, ее просторами, она является «носителем» идеи пространства и времени. Автор стремится к воплощению некоторых сущностных сторон Востока, его культуры, традиционного быта, интуитивно угадывая и выявляя глубинные смыслы, заложенные в них издавна. Национальная специфика жизни людей, традиции и бытовой уклад в рассказе художника изображены доподлинно. Пустыня у А. Караева не просто образ безмолвного пространства, сыпучих и жгучих песков, но среда обитания, космос, живущий по своим законам, выработанным за многие века существования. Пустыня аскетична, но не безжизненна, а живописна. Это удивительный мир во всей его возможной полноте и чувственной красоте. Пустыня раскрывает свою красоту постепенно тем, кто живет в согласии и гармонии с ней.

А. Караев рассказывает историю, в основе которой в сущности незатейливый, казалось бы, совершенно бытовой сюжет. Молодой, только начинающий познавать азы древней профессии, помощник чабана, находясь на далеком отгонном пастбище, вымещает все свое

озлобление и нелюбовь к чабанской профессии на инере (разновидность двугорбого верблюда). Караев изображает героя, в котором человек расчеловечен, утратил свою естественную, природную сущность. Он доводит животное до такого состояния, что инер расправляется с ним, забивая его ногами. Повествователь постепенно погружает читателя в глубину мифологического, растворенного в повседневном. И за простыми вещами выступают мифопоэтические образы. Образы пустыни, инера, людей взаимоперетекают и составляют единое знаковое поле, образуя глубокий мифологический пласт рассказа.

С принятием ислама у тюрков не произошло полного отказа от древних верований предков и бытовых суеверий. Вплоть до XX века традиционная обрядность сочетала в себе обращение ко Всевышнему в форме молитв и применение заклинаний, оберегов, причем к последним относились с большей верой в их полезность и необходимость.

Так, среди кочевников был распространен обычай, связанный с культом верблюда как добрым, помогающим духом. Если беременная женщина не могла родить в своё время, (т.е. носила ребенка в животе больше девяти месяцев), то ее проводили под шеей верблюда или над ней сжигали верблюжий волос. В рассказе А. Караева отражен этот религиозно-магический обряд, функция которого предохранительная. Пожилая женщина проводит под шеей инера молодую первородку, которая не может разрешиться от бремени.

Сюжет рассказа основан на древних поверьях о верблюде. Старому чабану Сейтли часто снится сон, в котором он умерший предстает перед ангелами, ожидая своей участи, куда его отправят – в рай или ад. Когда-то он совершил зло: чабан заблудился в пустыне с верблюдом-инером, когда налетел горячий ветер—афганец. И, потеряв силы, понимая, что погибнет без глотка воды, вынужден был вскрыть вену на ноге инера и кровью утолить смертельную жажду. Старик мучается тем поступком всю жизнь, спасшись, он долго лечил ногу верблюда, но все равно чувствует себя виноватым перед ним, ему всегда становится нехорошо на душе, когда он вспоминает о грехе.

Молодой же подпасок все свое озлобление, нелюбовь к чабанскому делу вымещает на старом инере. Старик учит юношу: верблюд умеет покоряться, но умеет и ненавидеть. Если хочешь иметь с ним дело, надо показывать ему свою доброту и великодушие. Он ведь и сильный, и выносливый и одновременно беззащитный перед человеком.... А если возненавидит – другого врага и не ищи, лучше все равно не същешь.

В наставлениях старика – отголоски древнего поверья: признаком особого почитания верблюдов было запрещение бить их или пинать. В народном представлении подобные поступки по отноше-

нию к благородным животным считались грехом, лишаящим виновников счастья и богатства. «Кости этих животных, особенно их черепа, наделялись сверхъестественными свойствами, отчего нельзя было наступать на них, — отмечает этнограф» [5, 196-197]. Герой рассказа нарушил культовый запрет и жестоко поплатился за это.

Обычаи и обряды, связанные с культом верблюда у народов Центральной Азии, забылись, но их отголоски сохраняются в художественных произведениях. Миф дарует художнику не готовый сюжет, а лишь его «зародыш». Не столько важен для конечного облика сюжета его исток, сколько «система координат», заложенная в мифе, исходя из которой художественный текст получает интерпретацию. Все проанализированные произведения, связанные с мифологемой бактриана/аруаны, подтверждают устоявшееся наблюдение, что миф не есть отражение реальности, он есть ее порождение.

Произведения писателей Центральной Азии содержат общие символично-поэтические образы. Несмотря на то, что в своей художественной практике они сохраняют творческую самобытность, в произведениях обнаруживается тесная связь с общетюркской мифологической традицией. А распространенность сюжетов с бактрианом/аруаной говорит об архетипическом повторе, о принципиальном единстве мифологии народов Центральной Азии.

Это важнейшие и почти повсеместно распространенные в регионе символы, в которых аккумулирована архаичная традиция. Древняя культура народов Центральной Азии через них выразила свое видение мира. Произведения содержат достаточно емкий, панорамный взгляд на жизнь. В них исподволь отражается целостная картина мира, и как часть ее — образы бактриана и аруаны. Бактриан и аруана выступают как образы упорного, жизнестойкого терпения, которые осиливают все превратности судьбы. Они же являются символами жизненной мощи и выносливости. Именно этот исходный смысл сделал образы особенно популярными в национальных литературах региона. Думаю, что сюжеты о них существуют и у других писателей.

Творчески преломленные в произведениях С. Санбаева, О. Бокеева, Ч. Айтматова, А. Караева образы аруаны и бактриана одновременно заключают в себе как конкретно-бытовое, так и философско-символическое измерение. Эти художественные образы наделены *побочными, подспудными, переносными, ассоциативными* смыслами и значениями. Реализуя свой замысел о бактриане/ару-

ане, художники, несомненно, внедрили в самый подтекст своих произведений *оборотную, мифологическую грань образа*. Этот подразумеваемый подтекст неотделим и немислим в отрыве от зримого, прямого текста.

Путешествия в страну аруаны (у каждого своё, непохожее на другие) является своеобразным диалогом, точнее, полилогом центрально-азиатских писателей. Полилог этот представляет собой не наивно-прямые переключки, не чисто внешние проявления сюжета, а наталкивает на мысль о более глубинном, подпочвенном уровне сходств и отличий. Бактриан и аруана как знаковая эпохальная вежа, как ипостась Центральной Азии — вот подтекст всех названных произведений.

Литература:

1. Верблюд // *Энциклопедия знаков и символов*.
2. Телегин С.М. *Словарь мифологических терминов*. М.: УРАО, 2004, с.10-16.
3. Отукен: казахская культура, мифология и музыка.
4. Акишев А.К. *Образ верблюда в легендах Центральной Азии // Этнография народов Сибири*. Новосибирск, 1984, с. 69-76.
5. Аргынбаев Х.М. *Народные обычаи и поверья казахов, связанные со скотоводством*. — В кн.: *Хозяйственно-культурные традиции Средней Азии и Казахстана*. М., 1975, с. 195-197.
6. Ремпель Л.И. *Фрагмент бронзовой статуи верблюда из Самарканда и крылатый верблюд Варахиши (к вопросу о природе согдийского искусства) // Средняя Азия в древности и средневековье. История и культура*. М., 1977, с. 95-101.
7. Санбаев Сатимжан. *Белая аруана // Санбаев Сатимжан. Колодцы знойных долин*. — М.: М.: Известия, 1976, с. 414.
8. Бокеев Оралхан. *След молнии. Повести и рассказы*. / Пер. с казахского. М.: Молодая гвардия, 1978, с. 320.
9. Гачев Г. *Чингиз Айтматов (в свете мировой культуры)*. Фрунзе: Адабият. 1989, с.394.
10. В.Н. Топоров. *Животные // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах*. / Глав. ред. С.А. Токарев. Т. 1. М.: Сов. энциклопедия, 1991, с. 441-449.
11. Айтматов Чингиз. *И дольше века длится день... СПб.: Астрель, 2010, с. 480*.
12. Левшин А.И. *Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей*. Алматы. Санат. 1996.
13. Караев Атагельды. *Чаша Джемшида. Повести и рассказы. Перевод с туркменского Э. Амида*. М.: Молодая гвардия, 1985, с. 382.

«Идея Бога – основание культуры»

Беседа с Юрием Арабовым

...Когда разговариваешь с Юрием Николаевичем Арабовым, не всегда соглашаешься с его суждениями – нередко они парадоксальны, провокационны, неожиданны. Но вот начинаешь анализировать, внутренне спорить с высказываниями, постепенно его своеобразная логика, его мысли активизируют твои собственные размышления, оформляют какие-то разрозненные знания, заставляют рассматривать тот или иной предмет с неожиданной стороны. Беседа с Арабовым становится своеобразной «школой размышлений».

С самым, пожалуй, прославленным отечественным сценаристом, лауреатом множества российских и зарубежных премий, известным прозаиком и поэтом мы встретились в кафе недалеко от ВГИКа, где Арабов возглавляет кафедру кинодраматургии. В вечернем полумраке почти пустого кафе наш разговор устремился по причудливой траектории: сменялись темы, сюжеты, мы переходили с литературы на историю, политику, религию... Словом, получился настоящий «русский разговор» – безбрежный, как океан.

«То, что мы навоз, это точно...»

– *Юрий Николаевич, чем отличается сценарист от писателя?*

– Драматург должен владеть, прежде всего, причинно-следственной связью, то есть проследить события от зародыша до разрешения. Этим не обязательно должен владеть прозаик. Драматург меньше работает со словом и совсем не работает с «плетением словес». Вот, собственно, и все. Что выгоднее? Я долгое время думал, что кино – мой кирпич, который я несу. Но только сейчас понял, что кино – это избавление от бессмысленности литературной жизни. Драматург и сценарист предпочтительнее хотя бы потому, что они работают в современном искусстве. Аудиовизуальная, кинематографическая форма – современное искусство. И надо понимать, что цивилизация слова, во всяком случае, если не закатывается, то явно затухает. Может быть, она когда-нибудь воспла-

менится. У меня есть друг, эзотерик, который считает, что мы все навоз для создания новой метакультуры, где опять слово будет играть какую-то важную роль. То, что мы навоз, это точно, но вот какая трава над нами взойдет, это вопрос. Так что сценарист, если в какой-то степени можно отвечать за свои фильмы, профессия предпочтительнее. Потому что: а) она сущностная, все-таки дает понимание структуры жизни, а вся жизнь строится на причинно-следственной связи, и б) сценарист работает с современной аудиовизуальной формой. Писатель — это замечательно, особенно если хороший писатель, но им быть сейчас чрезвычайно трудно. Я очень уважаю людей, которые, несмотря ни на что, состоялись как хорошие писатели. Например, как Людмила Улицкая...

— *Есть высказывание, что для писателя необходимо страдание.*

— Да. Я думаю, что весь взрыв шестидесятых годов в искусстве, рок-музыка, поэзия, живопись, кино, конечно же, это связано с тем поколением, которое еще видело и помнило войну. Гитлер сказал незадолго до смерти, что Вторая мировая даст великое искусство, о котором мы не подозреваем. Он был последний романтик, завершивший линию немецкого романтизма. Гитлер решил поставить романтизм в реалии. После этого Германия перестала существовать. И, по-моему, не существует до сих пор. У нас русский коммунизм был завершением русской идеи. И так же был поставлен в реалии и так же больше не существует. Мысль Гитлера о том, что Вторая мировая даст неведомое искусство, абсолютно правдива. При том, что это, конечно, безумец и преступник. Но мы остались живы, поэтому можем говорить об этом спокойно. Это крайне интересный феномен. Мой приятель философ Федор Синельников считает, что в 1962-1963 годах человечество вступило в новый ион существования, избежав Третьей мировой. И что сейчас просто инерция, «похмелье» от этого взрыва, но все равно мы перешли в какую-то новую фазу, которую до сих пор не можем осмыслить.

— *Вы затронули тему кризиса, новой фазы. Можно ли сказать, что тысячелетняя книжная культура уходит?*

— Она принимает, прежде всего, электронную форму. А электронный знак на нашу подкорку, на наши считывающие рецепторы действует несколько по-другому. С этим еще нужно разбираться. Я рос в ситуации 60-х годов, когда похоронили театр, когда говорили, что театра больше нет, что есть телевидение и кино. Но театр сохранился. И более того, театр моден. Хотя что там ставят, это тоже вопрос. Думаю, то же самое будет с книгой. Книга сохранится, но просто не будет играть такой тотальной, абсолютной роли.

«Мы понимаем свободу как отсутствие ответственности...»

— *Если переходить к нашей стране, как вы считаете, куда ей смотреть — на Запад, на Восток или, так сказать, «заглянуть в себя»?*

— На это дает ответ русская культура. В ней нет никаких намеков на ее восточное происхождение. Русская культура — это исключительно европейская культура. И поэтому перед ней снимали шляпу, во всяком случае, перед Чеховым, Толстым. Перед Достоевским в меньшей мере, он слишком провокационен и радикален для рафинированного западного взгляда. А перед Чеховым и Толстым люди стелятся до сих пор. «Анну Каренину» последнюю видели, английскую? Грандиозная картина! В фильме чувствуется, что Стоппард просто стоит на задних лапках перед русской культурой. Он в ней кое-что понимает. Я слезами обливался, когда смотрел, потому что это снять должны были мы. Дерзкая, провокационная, классная картина. С потрясающим уважением и любовью к России и нашей культуре. Американцы не дали фильму каких-то значительных «Оскаров», потому что Россия не в моде сейчас... Короче говоря, ни в Чехове, ни в Достоевском, ни в Гоголе, ни в более поздних русско-советских крупных прозаиках, Платонове или «деревенщиках», Замятине, Пильняке, Ремизове, нет намеков на восточную ментальность. Если даже они работают с Востоком, то с точки зрения стилизации. Это, к сожалению, должен огорчить всех евразийцев, абсолютно европейская культура. Силой политических обстоятельств связавшая себя с восточным христианским обрядом под названием православие. Сейчас это нечто, напоминающее компост, действительно, для чего-то другого.

— *А наше сознание? Оно тоже большей частью европейское?*

— У меня был спор с Андроном Кончаловским. Я ему говорил, что парадокс России, загадка, на которую никто не может ответить, — почему бюрократия, вышедшая из народа, пожирает его. Кончаловский сказал, что это оттого, что мы делегировали бюрократии все права. Я спросил: когда это произошло? Никто не знает. Когда я делал «Орду», читал ряд книг, которые мне дали консультанты. В них говорилось, что это произошло во времена Ивана III, когда русские князья взяли полностью технологии Орды в управлении государственными структурами. Быть может. Но тогда смотрите, какая ситуация. Это безобразие продолжается чуть меньше тысячи лет, семь веков, вместе с тем оно развратило народ как могло, уничтожая в человеке начатки самоорганизации, самоуважения, некой самостоятельности и ответственности перед собой и другими. Мы люди без-

ответственные, оттого, что мы делегировали все права. Вместе с тем литература, музыка, живопись указывают нам, что мы все равно остались в русле европейской традиции. В этом парадокс.

— *Перекладывая ответственность на государство, на власть, мы тем самым не стараемся снять ответственность с себя?*

— Естественно. Русский миф о свободе — это как раз миф о безответственности. Мы понимаем свободу как отсутствие ответственности. Это очень печальное понимание, в корне неправильное. Когда мы говорим затертую фразу «это ваши проблемы», мы ссылаемся на Запад — дескать, фраза пришла оттуда. Ничего подобного. Действительно, она, наверное, пришла из каких-нибудь фильмов, где плохой парень говорит хорошему парню «это твои проблемы», но западное общество не так устроено. Оно устроено по принципу ответственности. Доходит до того, что, как вы знаете, во Франции развито стукачество. Кстати, и в других странах. Когда человек нарушает общую организацию на уровне быта, о нем сразу же докладывают. Неприятная для нас черта. Но если встать на позицию ответственных людей, которые заботятся не только о собственном животе, но и о том, что у них в подъезде, во дворе, в районе, в муниципалитете, то это можно понять. У нас же понимание свободы, конечно, пока абсолютно людоедское. И сейчас мы с этим пониманием и с определенным экономическим укладом превратились в папуасов. Это не серьезно ни для Запада, ни для Востока.

«Если уходит идея Бога, испаряется серьезное основание культуры...»

— *Может, потому и такая критика православия? Хотели, может, туда кинуться, а там тоже — дорогие машины, люди часы носят... Кстати, вопрос. Православие прижилось у нас? Христианское мироощущение живет в нас?*

— На мой взгляд, в меньшей степени, чем в итальянцах, например. Проблема наша вот в чем. Православие во все годы, за исключением первых лет советской власти, находилось в тесных объятиях государства. Чего не скажешь о папстве. Папы там многие были, включая развратников и так далее, но папство всегда подчиняло все себе, к Папе целовать тапочки ездили короли. Сейчас, при всем том кризисе христианства, который есть в мире, Папа — это Папа. Это удачливые, сильные люди, включая Бенедикта, который отказался. Они не будут целовать тапочек государя. А у нас церковь целовала тапочек государя. От этого система управления в целом, на мой взгляд, в православной церкви порочная. Но это не исключает великих подвижников и

аскетического наследия, от которого по телу проходит ток. Это ощущается в некоторых точках России. Например, в Киево-Печерской лавре, хотя это Украина. Но это ощущается. Ток идет. Я там жил несколько дней у бурсаков. Ребята такие, как вгиковцы, хохочут, рассказывают анекдоты. Но вот то, что там под землей, эти мощи лежат, — просто как в Риме. Вот кроме всего этого целования тапочек существует этот мощный мистический слой православия, который как бы существует отдельно. Социальная роль, социальное лицо церкви — много смущающих моментов. Вместе с тем там есть и хорошие черты. Вот я, например, все воскресенье посвятил сбору средств для девочки, у которой рак костного мозга. Нужно 15 миллионов. Мы собрали 100 тысяч. А 5 миллионов приход отца Алексея Уминского, церковь Живоначальной Троицы в Хохлах. Выживет девочка или нет — никто не знает. Может, эти деньги впустую собираем. Стертые видеосъемки, как пьяный монах устраивает ДТП, — это церковь. Но есть такая её сторона, о которой не знают либералы, не догадываются атеисты, но любой человек, у которого есть сердце, открытые мозги, это чувствует.

— *Юрий Николаевич, в вашем романе «Орлеан» вы говорите о христианской ценности, о совести. Как вы считаете, это плодотворно, нужно вообще поднимать такие темы, религиозные?*

— Это сущность культуры. На Востоке и на Западе Европы она формировалась как христианская. Даже если мы делаем произведение, в котором говорим, что Бога нет, мы все равно в русле этой культуры. Потому что утверждение «Бог есть» и «Бога нет» — это одно и то же утверждение. Мы богоцентричны. Мы рассуждаем о Боге. И Ницше, при всем своем безобразии, религиозный философ. Мы вращаемся вокруг одного и того же ядра. Без этого культуры не существует. Она превращается в Юдашкина. Нельзя все делать на стиле. Нужны какие-то сущностные вещи. Если уходит идея Бога, испаряется основание культуры. Самое страшное — игнорирование серьёзных проблем. Написать роман об «Ашане», о покупке вина со скидкой... Это, я считаю, яд. А если кто-то бьет себя в грудь, говорит, что Бога нет — это наш парень, все нормально, если он не покончит с собой, обязательно выскочит к чему-то более существенному.

— *То есть, можно сказать, что проблема веры — это основная черта нашего «русского сюжета»?*

— Это черта «русского сюжета», безусловно, но это черта и человеческого сознания. Оно устроено структурно. Мы неизвестно почему структурируем действительность и подгоняем ее под какие-то структуры, которые выдумываем или вычитываем. Они могут быть совершенно разными. Бога нет — есть такая структура. Все бессмысленно —

с ней тяжелее, но она тоже структура. Я думаю, что этот принцип формы в нашей голове — доказательство бытия Бога. Отказ от Бога, если делать его последовательным, это разрушение принципа формы, разрушение сознания. А русская культура христианоцентричная.

— *Вы говорите организующие, положительные вещи. Но иногда возникает чувство, что многие наши интеллигенты заряжены какой-то разрушительной энергией. Насколько в нашей современной интеллигенции соблюден баланс положительного и отрицательного?*

— Интеллигенция выражает время, в котором живет, и страну, в которой живет. Страна распадается, и об этом нужно говорить вслух. Даже уже распалась. Никакой страны единой нет. Есть тысяча разных россий, ничем между собой не связанных. Более того, есть сотни общин внутри церкви, ничем не связанных. Интеллигенция часть этого. Почему вы считаете, что если все распалось, интеллигенция не может распадаться?

— *А как к этому относиться?*

— Если вы считаете, что это плохо — относитесь плохо. Если считаете, что хорошо — относитесь хорошо. Мы ответственны сами за свою судьбу. И за свое посмертие. Будем надеяться, что оно существует. Если не существует, то совсем как-то скверно... Главная заслуга церкви — она сохранила различие между добром и злом. Она дает нам возможность отличить одно от другого.

— *А сейчас границы между добром и злом не размыты?*

— Мы знаем Нагорную проповедь и знаем примерно, что считается добром, а что злом. И, видимо, это объективно, поскольку христианство возникло не на пустом месте, и эллинская культура подготовила возможность понимания слов Христа. Так что ничего не бойтесь.

«Страдание не нужно звать, оно само придет...»

— *Какой круг проблем волнует ребят, которые сейчас у вас учатся?*

— Тот же самый, что был 20-30 лет назад. Абсолютно тот же круг вопросов волнует. Первый — как заработать деньги? Второй — гений я или не гений? Третий — есть ли Бог? И так далее. Вопросы возмущения, независимости, позы — все то же, что волновало всегда. Я нового ничего не вижу, за исключением падения уровня образования в средней школе.

— *А какие сюжеты выбирают?*

— Что такое сюжет, они еще не знают. Я лет 20 писал, потом стал догадываться, что такое сюжет. Это самое сложное... Ну.. кто что находит. Ориентация в целом, если примитивно суммировать, анти-

буржуазная. Кстати, это как раз новое — 30 лет назад такого не было. Ну, и хорошо. Что мы слушаем? Мы слушаем панк. Попсу — на фиг. Сейчас левая идея торжествует. И все под леваков косят. Чем беднее, чем чуднее, тем лучше.

— *Вы смотрите на студентов, на молодых. Чего современному человеку не хватает?*

— Страдания не хватает. В 60-х годах культуру делали люди, которые видели войну. Не хватает страдания. Но мы были бы очень опрометчивыми, если бы это страдание звали. Страдание не нужно звать, оно само придёт. Тот, кто уцелеет, так скажем, у того мозги и прочистятся.

— *Многие страдание понимают по-своему. У кого-то нет денег на квартиру — он страдает...*

— Квартира — это серьезно.

— ... а кто-то болеет — он страдает.

— Страдания у всех действительно разные. Но есть и общее страдание, скажем, катаклизм, который трясет всех. Он наиболее плодотворный, потому что люди начинают соединяться. Вы в болезни ни с кем не соединитесь. Вы болеете всегда одни и умираете всегда одни. А когда война или другой катаклизм, вы объединяетесь с другими людьми. И вот на этом пути можно сделать что-то.

— *Юрий Николаевич, не хотелось бы войны. Хотя такое чувство, к ней все идет.*

— Войны не хотелось бы, мы не будем ее звать. Но у нас есть человеческая история, и бессмысленно говорить, что ее не может быть.

*Интервью провели и подготовили
Павел Павлов и Павел Косов*

Василий Розанов

Из записной книжки писателя

Василия Васильевича Розанова чаще всего называют среди авторов, обновивших литературу. Книги «Уединенное», «Опавшие листья», «Опавшие листья. Короб второй и последний», вышедшие в 1910-е годы, перевернули представление о возможностях литературного произведения, возможностях выразить самые тонкие оттенки человеческой мысли. Когда почти юная Марина Цветаева написала их автору: «Я ничего не читала из Ваших книг, кроме «Уединенного», но смело скажу, что Вы — гениальны», — она выразила не только своё впечатление. «Уединённое» — это черновик, превратившийся в художественное произведение, это отрывки мыслей в самый момент их рождения.

Много ранее у Розанова уже появляются и другого рода записи, которые сам он определил: «Эмбрионы». Они — более закончены, схватывают не момент рождения мысли, но именно её «эмбрион», который можно ещё развить и дополнить. Подобного же рода подступами к «Уединенному» стали и отрывки, озаглавленные «Из записной книжки писателя», часть из которых он публиковал в газетах. В архиве писателя сохранилось множество отрывков, иной раз не доведенных до окончательного вида, возможно, он надеялся к ним вернуться, превратить в нечто вполне законченное. Но попадают там и фрагменты вполне завершенные. Один из них воспроизводится здесь по рукописи, которая хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), в фонде В.В. Розанова (см. Ф. 419. Оп. 1. Е.х. 170. Л. 181). Подчеркнутые слова и выражения даются курсивом.

С.Р. Федякин

... Мне хочется рассказать всё так, как было, не переиначивая ничего в маленьких подробностях вечера, которые заворожили меня. Правда, тема коротеньких разговоров, бывших в этот вечер, привлекает меня давно; я давно начал *косить глазами* на этот предмет, кото-

рый я не могу и не хочу называть иначе как великим *сфинксом*, т.е. великою *загадкой* истории; но бывает, что вот-вот туман под давно занимающею загадкою прорвется особенно сильно и на минуту увидишь полнее и яснее силуэт сфинкса, который, в общем, скорее почувствуешь, чем видишь. Но не буду забегать, а стану рассказывать.

Я торопился. Оставалось всего полтора часа до поезда, т.е. собственно до той минуты, когда немой безгласный «чухна» застучит колесами около дворец нашего дачного сада. В эти полтора часа предстояло напиться чаю и выкупаться; и, поспешно захватив простыни, мы, т.е. я и наш сосед по даче, пошли берегом моря несколько в сторону от дач. День был суровый; был ветер, и как ни дороги были минуты — мы чуть-чуть задержались на берегу, уже раздетые. Берег был пустынен от людей.

С удовольствием я пересыпал песок, крупный и чистый и глубокий. Казалось, на нем не могло быть никакой растительности, и не нужна была растительность. Между тем редко-редко, на расстоянии сажени друг от друга, из песка выглядывала трава, чрезвычайно мало похожая на «мураву» наших полей. Ее листья были толсты, мясисты, жирны и походили на кусочки воска, раздавленные между двумя пальцами. «Как она растет?» — и, забирая глубже пальцами, я пытался поднять ее с корнем. Пальцы ушли в легко раздвигающийся, сыпучий песок, гораздо больше, чем была длина растеньица, и всё-таки я прощупывал, что вертикальный корень еще не кончился. В нетерпении я вырвал и вытащил его. Яркое и необыкновенной свежести, сочности растеньице продолжилось длинной и некрасивой веревкой корня. Я снова разрыл песок и посадил, с неловким чувством сожаления и почти греха, зачем я его вырвал. — «Примется ли опять? Я погубил жизнь». А она так прекрасна в этом растении, как и во мне.

Я вспомнил когда-то и где-то прочитанное наблюдение, что кактусы и алоэ, т.е. чрезвычайно мясистые и *сырые* растения гнездятся в самых *иссушённых* местах Юж. Америки. «Странность, но так наблюдают», было записано в книге. Кругом ни в земле, ни в воздухе — ни ниточки влаги; ни росинки. И вот чудное растение чудесно вбирает в себя неисследимо-малые атомы влаги. Не нужно, но прекрасно. Купаясь в море, все дни перед этим, я наблюдал, что отойдя десять сажений от берега — встречаешь водоросли, с кожистыми прекрасными листьями. Сквозь воду их видишь как живые. Но вот задел пальцами и поднял: и она *помертвела*. Да, вид помертвелости ментально набегает на нее, едва она извлечена из *родной* стихии. «Родной»... Как странно звучит это слово и как, однако, оно нужно для выражения истины. Но зачем трава в воде? Воде ли это нужно? Траве

ли? Кажется – некоторому.

– И вот, трава в песке – такая же ненужная ни песку, ни ей – странность. Если бы план мира принадлежал человеку, принадлежал Дарвину, он так и распределил бы: «в воде – рыбы и раки, растения – на земле; на плодородной почве – растения, на бесплодной – нет». Непременно человек писал бы «по транспаранту». Бог – без транспаранта. «Здесь невозможна трава, но Я посажу траву; в воде она неестественна, но для Меня всё естественно». Да, Бог «без транспаранта», без «полей». Он пишет везде и что Ему угодно и как угодно – вдоль, поперёк, наискось, бросай труды, кидай буквы. И так, однако, что человек восклицает: «хорошо!». Милая поэзия беспорядка – вот природа.

Мы вбежали в воду и быстро окунувшись выбежали. Освежение ли купанья, или необходимость через час сесть в вагон и ехать в город, к работе, суете, вызвало во мне становящуюся чаще и чаще навойливой мысль о старости, и я сообщил ее приятелю.

– Как скучна старость; какая это особенная психология – еще не разгаданная; что-то тяжелое надвигается; тяжелое и – тупое.

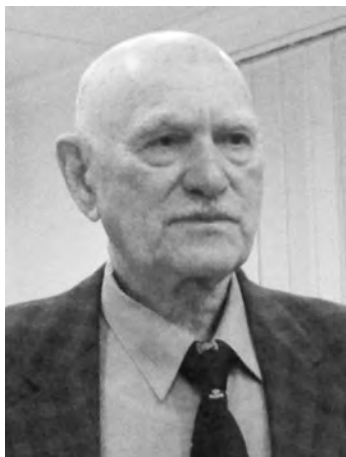
– Это не старость, а... истрёпанность. Мы вовсе не по годам стары, а по впечатлениям, разнохарактерным, ненужным. Старость же прекрасна. Я видал стариков...

Но я уже не слушал. – «И я видал!» – целый поток хлынул у меня о загадке возрастов, о тайне растущего, вырастающего, зреющего и умирающего... нет, не умирающего, а только зреющего и дозревающего человека. – «Да, прекрасна и прекрасна, о, конечно – старость! Как мог я забыть впечатления! Какая неблагодарность, неблагодарство в этом забвении. Я помню только свою усталую голову и точно забыл – Бога! Старость... тихий закат человеческого дня... Что может быть прекраснее, спокойнее, ближе к Богу! Ближе – к Нему. К Кому? Что мы о Нем знаем?! Но вот – закат дня, зрение, зрелость, переспелость бытия – и Он ближе. Кто Он?! Не вемы. Мы видим чудо старости, красоту старости, и говорим – это к Богу, на путях к Нему». – Куда? Океан тьмы, но какой-то доверчивый, безбурный, надёжный окружает нас и наше неведение. О, никаких уколов – там! Ни крючков, ни – палок. Бросим однако полемизировать. Быстро мы одели напоминание, что «аз наг и устыдился Тебя, Господи!» и побежали домой. Зябкость подгоняла. Но вот и веранда и горячий чай, и наши милые домашние, и еще третий гость, и на перильцах какая-то книжка в зеленоватой обложке.

винтовку тебе! А послать тебя в бой...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА





Аринштейн Леонид Матвеевич, 1925 года рождения, участник Великой Отечественной войны. На фронте — с августа 1944 г. В качестве командира отдельного взвода стрелкового батальона участвовал в боях в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, во взятии Кёнигсберга.

После войны окончил филологический факультет Ленинградского университета и в дальнейшем занимался преподавательской, научной и издательской деятельностью. С 1990-х годов занимается возвращением в Россию исторического и культурного наследия Русского Зарубежья.

В настоящее время работает в Российском Фонде Культуры и в Государственном архиве Российской Федерации в качестве специалиста по Белому движению и эмиграции.

В моем сознании Отечественная война делится на две части: первую, когда они — нас, и вторую, когда мы — их. Я понимаю, что такая периодизация недалеко ушла от анекдотического ответа не шибко грамотного красноармейца: «Винтовка состоит из трех частей — железяки, древянки и ремняки». Но так или иначе, с этой винтовкой образца 1891 года красноармеец побеждал и в Гражданскую, и в Финскую, и в Отечественную.

Мне выпало попасть на фронт, когда мы — их. Поэтому все последующие годы я ощущал себя победителем и ходил с высоко поднятой головой.

Наша дивизия — 324-я — формировалась в Поволжье в первые месяцы войны, примерно тогда же, когда сложилась песня:

*Хороши по-над Волгой закаты,
Ты меня провожала в солдаты...*

Боевое крещение дивизия получила во время битвы за Москву. Она входила в состав 50-й армии и воевала на 2-м, а затем на 3-м Белорусском фронте.

Долгое время нашей дивизии не давали никаких орденов или званий, не знаю почему: тогда всякие почетные названия сыпались направо и налево — Курская, Орловская, Таманская... ордена Суворова, ордена Кутузова и т.д. А нашу дивизию трижды представляли к ордену Красного Знамени — и безрезультатно, и мы в шутку называли ее *Трижды-орденопросная*. А во время летних боев в Белоруссии мы прошли в нескольких километрах от Гомеля. Соседней дивизии дали звание «Гомельская», а нашей опять ничего, так что мы для смеха стали называть ее еще и Мимо-Гомельская: «324-я Трижды-орденопросная Мимо-Гомельская стрелковая дивизия». Но потом ей всё-таки дали звание «Верхне-Днепровская» за форсирование Верхнего Днепра в Белоруссии и орден Красного Знамени — не помню точно за что: в целом воевала она неплохо.

* Строка из песни В.Высоцкого «В ресторане...»



На фронт в эту самую «Мимо-Гомельскую дивизию» я попал в середине августа 1944 года, в последние дни летнего наступления в Белоруссии.

Наступление было успешным. Поражение немецких армий стало очевидно. Предвосхищение близкой победы, казалось, витало в воздухе. Может быть, поэтому мои письма того времени были по-мальчишески залихватскими и полными оптимизма.

А еще — потому, что мне было тогда восемнадцать лет.

Меня призвали в армию в январе 1943 года, прямо из 10-го класса, в середине учебного года. Сразу на фронт призывников тогда уже не посылали, а направляли сначала на учебу. Я попал в Орловское пехотное училище (которое находилось тогда в эвакуации в Ашхабаде), проучился в нем 4 месяца, после чего меня перевели в Харьковское военно-медицинское училище (находившееся там же, в Ашхабаде). Это училище я окончил в июне 1944 года со званием младший лейтенант.

Всех нас, выпускников училища, отправили, как тогда было принято, в Наркомат обороны, в Москву, откуда уже шло распределение по фронтам. Меня распределили на 2-й Белорусский.



Штаб фронта находился в городе Рославле, но летнее наступле-ние было настолько стремительным, что, когда я прибыл в Рославль, штаба там уже не было, и комендант отправил меня вдогонку за ним дальше на запад, в Барановичи, а затем следующий комендант — в следующий городок Сокулку (уже на территории Польши), где я, наконец, достиг штаб фронта.

Эта эпопея «погоня» за стремительно наступавшим 2-м Бело-русским фронтом заслуживает отдельного описания, но сейчас я на этом останавливаться не буду.

Из штаба фронта меня направили в штаб 50-й армии, где я полу-чил предписание в 324-ю стрелковую дивизию и затем — в 1095-й стрелковый полк.

Полк располагался в только что занятой нашими войсками кре-пости Осовец, и утром 21 августа я явился к начальнику штаба полка майору Лаврентьеву, который и определил меня командиром взвода в третий стрелковый батальон.

Третий батальон занимал плацдарм на высоте, находившейся на противоположном от крепости, «немецком» берегу реки Бобр.

Это я пересказываю то, что говорил мне майор Лаврентьев, по-казывая булавкой на топографической карте место моей будущей службы.

Батальон, плацдарм, высота — всё это звучало чрезвычайно солидно и как-то очень по-военному. Особенно впечатляла топографическая карта с надписью вверху: «Генеральный штаб РККА, лист такой-то», а в правом углу — помельче: «Для служебного пользования».

На деле всё оказалось, мягко говоря, скромнее. Три десятка солдат, которых я застал на так называемой высоте, назвать батальоном можно было разве что в шутку. Я очень удивился, так как привык считать, что батальон — это 650-700 человек, рота — 180-200, а взвод — 35-40. В этом удивительном батальоне, низведенном по численному составу до уровня одного взвода, офицеров не было вовсе, за исключением комбата — коренастого, явно выдавшего виды капитана, израненного вдоль и поперек, но не оставлявшего своих солдат.

Высота, которую занимал батальон, в действительности оказалась совершенно плоским песчаным островком среди топкого, простирившегося на километры, болота. Островок был не более 100 метров в длину и что-нибудь 70 метров в ширину. Он был весь изрыт окопчиками, на дне которых стояла вода. Стоило отрыть окопчик больше, чем на 30 см вглубь, как снизу начинала просачиваться вода. Так что реальной защиты от немецких мин и снарядов на островке практически не было.

Использовать этот «Чертвов остров» (так его здесь называли) в качестве плацдарма для будущего наступления было совершенно нереально. Болото поглотило бы любого, кто осмелился бы сойти с островка и пройти по этой топкой трясине хотя бы три шага.

Всё это было слишком очевидно, и вскоре мы получили приказ оставить островок и оттянуться в тыл.

В ночь на 1 сентября мы переправились по бревенчатому настилу, связывавшему нас с твердой землей, обратно в крепость.

После десятидневки на Чертвовом острове у меня возникло ощущение, что мне уже ничего больше не страшно. Хотелось только, чтобы поскорее началось наступление. Но, как назло, на нашем фронте наступило длительное затишье, когда кроме мелких стычек и позиционных боев ничего не происходило. В это время успел сформироваться новый третий стрелковый батальон, а я успел ближе познакомиться с жизнью полка и со многими офицерами в полку и в батальоне.

Наш батальон

В батальоне полагалось три стрелковые роты, однако у нас их было две — седьмая и восьмая. Все остальные подразделения, полагавшиеся в батальоне, у нас были: это минометная и пулеметная роты и несколько отдельных взводов: взвод связи, саперный взвод, санитарный взвод, взвод хозяйственный (который включал в себя боепитание и кормежку). Кроме того, в каждом батальоне было управление: командир батальона и адъютант старший батальона (фактически начальник штаба). Были еще замполит, парторг и комсорг. Комсорга обычно использовали как писаря, а парторг был резервный офицер: если выбывал командир роты или взвода (в ротах было три взвода), то его могли поставить на замену, что нередко и делали.

Командиром батальона у нас долгое время был капитан Николай Балан. Ко мне он относился очень по-дружески, всячески помогал и называл меня подпоручиком, говоря, что это короче и правильнее, чем «младший лейтенант». Впрочем, он вообще имел привычку переименовывать имена и звания. Командира 8-й роты Шарафутдинова он называл (за глаза, конечно) Шарах-эд-дин — тогда был фильм (все его знали) про Ходжу Насреддина. Командира 7-й роты Редькина, которого Балан недолюбливал, он переименовал в Хренова (по пословице «Хрен редьки не слаще»). Про зама по политической части он уже ничего не мог придумать, потому что фамилия замполита была и так достаточно выразительна — *Непейвода*.

Потом, когда Балана ранило во время зимнего наступления в Восточной Пруссии, командиром батальона стал другой капитан — Нигматулин, волевой и очень, надо сказать, профессионально подготовленный офицер.

Адъютантом старшим был капитан Андрей Кузин — москвич, человек удивительно образованный для этой категории людей. Я считал его своим старшим товарищем. Он очень точно и четко всё умел делать и делал всё как-то легко и просто. Комбат его очень ценил и называл по-дружески Андруша (именно не Андриюша, а Андруша).

Замполитом у нас был — я уже называл его — капитан Непейвода, по возрасту самый старший из офицеров в батальоне, потому что большинству наших офицеров было кому 22, кому 23, не знаю точно, но думаю, что не больше 23-х лет, а ему было лет 35-40 — мне казалось, что он вообще глубокий старик. Он был украинец, человек необычайно добродушный и для замполита (в отличие, скажем, от

замполита полка) вел себя удивительно благородно и скромно. Во-первых, он никогда ни с чем не приставал, во-вторых, он не прятался во время боев... Когда было много раненых, он помогал в выносе раненых с поля боя, когда надо было наступать — он шел в атаку с командирами рот, иногда даже вместе с бойцами. Вообще-то профессиональным военным он не был и в боевой обстановке ориентировался неважно, но от него этого никто и не требовал, а он и не лез со своими советами.

Минометной ротой командовал ст. лейтенант Комарницкий, одессит, очень веселый человек, и, в общем, довольно удачно командовал. У него было четыре батареи — большая рота была, минометы, как и полагалось, 82-миллиметровые, возили их на подводах. Командиром пулеметной роты был лейтенант Пономарев. Он какой-то был неудачливый: то его ранило, то он что-то опять был в госпитале, и с пулеметами у нас было плохо — они всё время почему-то выходили из строя.

Полагалась нам и своя артиллерия — четыре 45-миллиметровые пушечки батальонные, но начальник артиллерии полка велел создать массиванный артиллерийский кулак, и поэтому всю артиллерию, и батальонную, и полковую объединил, и по мере необходимости придавал пушки наступавшим или оборонявшимся батальонам.

Командиром хоззвезда у нас был старший лейтенант Лесников, тоже человек уже немолодой, откуда-то из-под Москвы. Он следил за тем, чтобы кормежка шла нормально. Ну, воровства на уровне батальона быть и не могло — там некуда было воровать: и нечего, и некуда. Всё, что полагалось, всё, что доставалось, всё, в общем, шло поровну всем. Разве что для командира батальона и адъютанта старшего могли вместо вареной картошки поджарить ее на сале... Впрочем, в период наступления в Германии любой боец мог сам забраться в брошенный хозяевами дом (что мы впоследствии и делали), и найти себе что-нибудь дополнительно.

Командиры рот были лейтенанты или старшие лейтенанты. Кузин, Балан и Нигматулин — капитаны. И в общем, на уровне батальона больше чем капитан и не было никого.

Солдат было очень немного. Батальон, как я уже говорил, должен был насчитывать до 700 человек, но так в эту войну, по-моему, нигде не было. У нас в полку даже в самом крупном (первом) батальоне было 350, а у нас было, дай Бог, 180-200 человек. Так что батальон был не полного состава, но выполнять мы должны были всё и подразделения у нас были все.

Что касается меня, я был командиром отдельного взвода, то есть находился в прямом подчинении командиру батальона, а фактически — Андрею Кузину.

В батальоне был своего рода штаб, но этот штаб состоял из одного офицера и вестового. Официально эта должность называлась старший адъютант, или *адъютант старший* батальона (такое название шло еще, по-моему, от царской армии). В нашем конкретном батальоне эту должность занимал Андрей Кузин, который казался мне старым, потому что мне-то было 18 лет, а ему было уже то ли 22, то ли 23. К тому же я был младшим лейтенантом, а он был целым капитаном. Он был уроженец Москвы, славный такой русский человек, с большим чувством юмора и с удивительным спокойствием. Профессионально он был блестяще подготовлен и, как мне казалось, знал всё. Именно он учил меня работать по карте и соотносить по карте. И всегда, когда он что-нибудь приказывал или поручал, он прибавлял какую-нибудь шутку, какую-нибудь забавную присказку и делал это так, что нельзя было не рассмеяться.

Храбрость у него была... ну, вот я вспоминаю, как Лермонтов пишет про Грушницкого в «Герое нашего времени», что он бросался в бой, закрыв глаза, — это какая-то не русская храбрость. Так вот у Кузина была русская храбрость: абсолютно никакой рисовки, он совершенно спокойно реагировал на опасность, будь то обстрел или вражеская засада.

Помню такой случай. Когда чистишь оружие, иногда бывает (однажды это случилось и у меня) — вытащил магазин и думаешь, что пистолет разряжен, а в действительности в стволе остался патрон, — и я, когда чистил пистолет, поднял его стволом немного вверх, как полагалось, нажал на спусковой крючок, и... он выстрелил, и пуля пролетела буквально в двух миллиметрах от волос Кузина — я стоял рядом с ним. Я просто обомлел от ужаса, а он только сказал: «Ну, ты поосторожней всё-таки!» — вот собственно всё, что было сказано при этом, даже ни одного бранного слова или упрека не прозвучало — всё было и так ясно. Вот это как раз показатель и сдержанности, и отношений между людьми, ну и, конечно, выдержка, храбрость, которая не предполагает даже мгновенного испуга или раздражения в момент, когда мимо твоего уха свистит пуля.

Кузин, как я уже сказал, прекрасно знал топографию, легко читал карту и перед любой операцией собирал командиров рот,

других офицеров и обстоятельно объяснял по карте, что, как, где и когда мы должны делать. При этом он особое внимание обращал на мелкие детали, на складки местности, едва заметные на карте, на возможности укрытия и всегда требовал, чтобы ни при каких обстоятельствах не гнали солдат вот так по полю в лобовую атаку, чтобы проходили скрытыми путями: если нужно выйти туда — вот давайте посмотрим, как лучше всего туда пробраться, чтобы не терять солдат. Если он понимал, что идет сильный огонь, он старался положить роту, батальон, чтобы те не лезли, когда не надо и куда не надо.

Вообще это мнение, что якобы на славян — на солдат, рядовых, смотрели, как на пушечное мясо — может быть, в верхних эшелонах так оно и было, — но на опыте нашего батальона это совершенно не подтверждалось: у нас делалось всё, чтобы сберечь солдат. И делалось с умом. Задание выполняли, но использовалось всё, что позволяла местность, любая складка, любой овражек, любая идея обхода, и по времени как-то учитывалось, когда будет более густой огонь, а когда он может ослабнуть.

И в этом смысле мы все — командиры меньшего ранга, — конечно, учились у него. Я бы сказал, что он своей заботливостью, предусмотрительностью просто многим из нас спас жизнь. Я вообще не уверен, что попадись другой адъютант старший батальона, другой комбат (может быть, и другие были такие же хорошие, мне трудно сказать: я всю войну провел в одной части), то глядишь, можно было остаться без головы. И я тогда считал и теперь считаю, что обязан тем, что сохранился на фронте (а вообще-то в пехоте сохраниться было не так легко) — я во многом обязан высочайшему профессионализму, сообразительности и чувству офицерской ответственности Андриюши, Андрея Кузина.

Затишье

Затишье на нашем фронте продолжалось сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 1944 года, и только в середине января 1945 года началось наступление. Что мы делали всё это время — четыре с половиной месяца?

Существовала передовая... На передовой стоял солдатик-славянин в окопчике, в траншее, и где-то метрах иногда в 80, иногда в 40 позади него находился командный пункт (КП) — полагался бы взвод, но поскольку взводы у нас были очень малочисленные, то был уже командный пункт роты. От роты полагалось выставлять несколько

ких солдат на участке примерно в километр — вообще говоря, роте не полагался полный километр, полагалось меньше занимать позиции, но у нас было примерно километра даже два на каждую роту, на батальон получалось километров четыре-пять. И вот в траншеях, которые в конце концов прорыли и объединили в единую систему, на расстоянии примерно метров 100 друг от друга стояло по одному несчастному солдатику с винтовкой! То есть весь расчет был на то, что немцы не полезут (им тогда было не до того: они готовили укрепления на своей собственной границе, надеясь не пустить нас в Восточную Пруссию), а если бы полезли — ну, о чем тут говорить... Такие значительные интервалы между солдатами диктовались необходимостью: слишком малочисленны были роты, а нужно было по крайней мере трех человек в течение суток менять, даже если их заставлять по восемь часов мерзнуть в траншее, при том, что ночью еще приходилось усиливать посты. Так что реальная охрана передовой была не очень-то высока. Да и на командном пункте (КП) роты в общем было тоже тяжеловато: там было несколько блиндажей для двух-трех офицеров и для солдат, которые отдыхали от пребывания на боевом дежурстве в траншее — вот, собственно, и всё передовое укрепление.

Дальше, еще метров через 300 в сторону тыла находился КП батальона и всё то, что в батальоне полагалось. Обычно командир батальона и начальник штаба (адъютант старший) были в одном блиндаже, рядом находился блиндажик взвода связи, рядом с другой стороны — блиндажик санвзвода, немного в стороне, в глубину, обычно за каким-нибудь холмиком — хозвзвод, где были боеприпасы и где готовили пищу. Да, еще был блиндажик с политработниками (политработников у нас полагалось трое, и в общем, пока мы стояли в обороне, у нас трое и было — замполит, комсорг и парторг)... Вот, собственно говоря, всё, что было на КП батальона и вокруг.

Дальше, за батальоном — это уже километра три-четыре от линии фронта, — находилось командование и службы полка (то, что попросту называлось «полк»). Во-первых, это КП и штаб полка, во-вторых, боевые подразделения — артиллерия, 120-миллиметровые минометы, резервы. В-третьих, службы полка: инженерная, санитарная, связь. И, наконец, немного поодаль от всего этого — хозяйственный тыл полка, в общем, довольно обширный.

Командиром полка был у нас гвардии подполковник Кольченко. Его к нам прислали вскоре после того, как я попал в полк, а до этого был — я его плохо знал, запомнил только фамилию — подпол-

ковник Жаворонков. По идее Кольченко должен был находиться на командном пункте полка, но во время наступления он нередко навевался в наши ряды — в батальон. Он слегка прихрамывал и ходил с палочкой, и я даже помню, как однажды он поколотил этой палочкой нашего комбата (об этой истории я расскажу в своем месте). Но тем не менее комбат к нему относился неплохо. Мы вообще хорошо относились к командиру полка: чувствовалось, что он человек опытный и смелый.

Начальником штаба полка был майор Лаврентьев — человек очень талантливый, толковый, долго прослуживший в полку и много сделавший для его хорошей организации. У него было четыре помощника. Первый помощник начальника штаба — по оперативной работе, я его не помню почему-то. Лаврентьев настолько всё делал сам и хорошо, что ПНШ-1 практически в моем сознании не запечатлелся. ПНШ-3 — даже не знаю, чем он занимался, ПНШ-4 — это так называемый строевой отдел, который ведал учетом, справками и т.д.

ПНШ-2 отвечал за разведку, при нем был взвод полковой разведки. Вот это были вообще оторвы, бандиты, я уж не говорю насчет настоящего мата — я только там его и услышал (так сложилось, что один раз, в наступлении, я оказался вместе с разведчиками). Но, видно, взвод был неплохой: народ там был крепкий, и когда надо было идти в немецкий тыл брать языка, какого-нибудь фельдфебеля скрутить, — им это удавалось. Командир взвода разведки был лейтенант, острили, что он уже трижды лейтенант, потому что его несколько раз успели разжаловать в штрафную роту, потом он выслуживался, ему возвращали офицерское звание и он опять становился командиром взвода разведки...

Была еще санрота в полку, и вообще была, так сказать, вся аристократия.

Что такое аристократия полка? Я имел возможность наблюдать ее в нашем полку: понятно, это не во всех полках одинаково. У нас главные аристократы были командир полка, его заместитель по строевой части, начальник артиллерии и инженер полка.

Начальник артиллерии, подполковник Д**, вообще был аристократ из аристократов, ходил всегда щеголевато одетым, хромовые сапоги начищены до блеска (сапоги — лицо офицера!). У него там была своя девушка — Машенька такая, невысокого роста, довольно симпатичная. Она была санинструктором в батарее 45-миллиметровок, ее называли «Маша-Сорокапятка», и он с ней достаточно открито жил, она даже этим как-то гордилась...

А инженер полка — это вообще особая статья. Не вспомню сейчас его фамилии... Светлый такой, высокого роста, красивый — первый парень на деревне. Ему подчинялись саперные подразделения, которые, если судить по военным фильмам, только тем и занимаются, что мины обезвреживают. Во-первых, саперы не только мины обезвреживают, но и мины ставят, чтобы охранять позиции рот и батальонов от внезапного проникновения противника.

Во-вторых, в ведении инженерной службы было большое количество разного рода инженерных сооружений, начиная от блиндажей. Здесь, как всегда и везде, существовала такая легкая коррупция. Конечно, командиру полка оборудовали прекрасный блиндаж, начальнику штаба — похуже... Ну, зато уж себе этот инженер оборудовал блиндаж (не помню, почему я к нему как-то заходил) — ей-Богу, как четырехзвездочный гостиничный номер: всё дерево, зеркала (где он их натаскал?), прекрасная мебель, то ли двухкомнатным, то ли трехкомнатным он у него получился. У него тоже была девушка, лет девятнадцати, тоже санинструктор — очень милая, худенькая, Лидой ее звали... К сожалению, в конце войны в Пруссии ей попал в голову крупный осколок снаряда — прямо на моих глазах... Она блондинка была, все ее светлые волосы моментально залило кровью. Я к ней бросился, думал, что еще смогу помочь... Но куда там — полчерепа было уже снесено. Там мы ее и похоронили, в Восточной Пруссии... Но до тех пор она жила с этим инженером.

Был еще комиссар (собственно, зам.командира полка по политической части — все его называли комиссаром), но он как-то держался в стороне... Был еще смершевец, такой капитан СМЕРШ Карташевский, но, по-моему, он у нас мало влиял на события и к аристократии полка не относился. Вот, собственно говоря, это то, что называлось «полк».

Дальше шли тылы дивизии — это где-то было уже совсем далеко, 10-12 километров от линии фронта. Там уже были прекрасные палатки, строения, чего там только не было! Когда я туда попал в медико-санитарный батальон — три дня лежал там с легким ранением, — меня поразило, что там была даже патолого-анатомическая лаборатория... Были и прачечные, и хлебопекарня, всё на свете — в общем, так сказать, почти гражданка — много женщин... В стрелковые батальоны женщин ни при какой погоде не пускали. Появлялись они — если считать от передовой — только начиная с тыла полка — врач полка, сестра, санинструкторы, связистки. По-моему, в нашем полку было в лучшем случае семь-восемь женщин, а в дивизии — несчитанное количество.

И вот так сравнивать, как на самой передовой стоит один несчастный солдат в бушлатике*, «славяне» мы их называли — один славянин с винтовочкой, переминается с ноги на ногу от сырости и холода, а дальше, за его спиной, идет рота, батальон, потом полк, а потом дивизия — это уже тысячи людей. И вот на этого одного, который реально стоит там, на передовой, по-моему, приходилось 600—700 всяких командиров, комиссаров, связистов, минеров, санитаров, инженеров, транспортников, этих самых прачек, тех, кто должен кормить, кто должен поить, одевать, обстирывать, лечить — пищевое довольство, вещевое довольство... Организовано это всё было очень и очень неплохо, много лучше, чем это себе представляли в глубоком тылу, но тем не менее... У меня тогда как-то сам собой возникал образ: гигантская пирамида, обращенная вершиной к противнику. На острие пирамиды — солдат, а потом, всё расширяясь и расширяясь к основанию, она вбирает всё больше и больше людей — сначала десятки, потом сотни, потом тысячи... Но, с другой стороны (это я уже позже так размышлял), без всего этого — без кормежки, без одежды, без боепитания, без медицинской помощи — солдату было не выжить. Так что не знаю... И это, так сказать, в военно-бытовом плане. А в чисто военном? Без артиллерии, без танков, без авиации пехота, то есть основная масса войск, была бы беспомощна. А ведь все они — и авиация, и танковые части, и тяжелая артиллерия — должны были располагаться на довольно большом расстоянии от линии фронта.

Гражданских лиц и женщин, как я уже говорил, в расположение передовых рот и батальонов, как правило, не допускали. С этим было строго. Но в период длительного затишья это правило не всегда соблюдалось. В это время к нам присылали разного рода проверяющих: из дивизии в полк, из полка в батальон, из одного полка в другой (это называлось «перекрестная проверка»). Ко мне тоже как-то прислали проверить санитарное состояние батальона.

Проверяющей оказалась молодая врач-хирург из санроты (более подходящего проверяющего для этой цели не нашли!). Звали ее Лида Гребень. Я ее хорошо знал. Как хирург она пользовалась прекрасной репутацией.

* У нас солдаты были не в шинелях, а в бушлатах (шинели носили офицеры).

Она была немного обижена, что ее послали проверять то, в чем она совершенно не разбиралась, и сказала мне, что проверять ничего не собирается («Хватит с меня того, что целыми днями приходится стоять у операционного стола!»), просто посидит, поболтает со мной, попьет чаю.

— Только у меня к тебе просьба, — сказала она, — я вот уже полтора года на фронте и всё время слышу: передовая, передовая, а что это за передовая, я никогда не видела. Ты мог бы меня туда свести?

— Пошли.

Прошли метров триста лесом до траншеи, где как раз и стоял, переминаясь с ноги на ногу, пожилой солдат.

— Ну, Лидочка, смотри, набирайся опыта. Вот передовая.

— Это и есть передовая?! — в ее голосе звучало недоверие.

— Да, самая что ни на есть передовая.

— И там впереди больше наших нет?

— Нет. Там уже немцы.

Лида поежилась, молча посмотрела на пустынную траншею, на одинокого солдата, на чахлый кустарник и отгораживающее нас от немцев замерзшее болото... И тихо сказала:

— Спасибо. Ну, пошли.

«Славяне»

Солдат-пехотинцев, как я уже сказал, у нас называли «славяне». Не очень точное название. Главным в нем был такой, я бы сказал, отчески-заботливый оттенок, ну, скажем: «Только смотри там, чтоб твоих славян не поранило», «Проследи, чтобы их как следует накормили — наших славян». Причем это говорили не люди, которые сами были не славяне, а тот же наш комбат украинец Николай Балан или адъютант старший Андрей Кузин, которые были точно такие же славяне с этнической точки зрения, но они под это определение не попадали, а «славяне» — это было своего рода статусное понятие для рядового солдата, ефрейтора и т.д. До известной степени это соответствовало действительности, потому что, скажем, в нашем батальоне в основном были украинцы, русские и белорусы. Поскольку мы были на Белорусском фронте, пополнение шло за счет Белоруссии — главным образом, это были белорусские крестьяне...

Вообще пехота, по-моему, состояла на 90% из трех славянских национальностей. С этим, пожалуй, и было прежде всего связано то, что пехотинцев называли «славяне». Но была еще одна составляющая: социальный статус и уровень образованности. Ясно, что если у

кого-то было хоть какое-то образование и если он сам или кто-то в его семье занимал хоть какое-то положение, он попадал в артиллерию, в танковые части, в авиацию. Если он еще к тому же обладал повышенным чувством самосохранения, он попадал в какие-то тыловые части: в связь (правда, связь на фронте была столь же опасна, как и всё остальное), в обслуживание аэродромов, баз снабжения, в госпиталя, то есть в тыловые медицинские части, потому что санитарно-медицинские подразделения на уровне батальона или полка были крайне уязвимы, скажем, вынос раненых с поля боя — не менее опасное дело, чем собственно движение войск в наступлении и особенно при отходе...

«Наш, не наш — полезай в блиндаж!». Фольклор войны

Впрочем, служба в пехоте имела и свои приятные особенности. Стреляли по нам в основном из винтовок, пулеметов, из полковой артиллерии в лучшем случае. Тяжелая артиллерия старалась стрелять куда-нибудь подальше: по тылам, по более значимым целям, чем какие-то там паршивые пехотинцы. Причем, даже если видели немцы (во всяком случае, это уже на территории Германии) — видели одного-двух человек, их это как-то мало волновало: на них они снарядов не тратили... То же самое касалось авиации.

Наша авиация в период операции в Восточной Пруссии в основном бомбила Кёнигсберг. А вообще, что наши, что немцы бомбили главным образом тылы, крупные города, крупные базы, а вот так, чтобы бомбить передний край, — это было редко и всегда рискованно, потому что непонятно, попадешь по своим или по чужим — с воздуха не очень там видно всё, как это получалось. Вообще, когда появлялся самолет, а самолеты в Восточной Пруссии в основном появлялись наши, а не немецкие — там было явное у нас господство в воздухе, — они начинали обстрел или сбрасывали бомбы, и это нам, понятно, не очень нравилось, и даже была такая присказка. Появляется самолет, кто-то спрашивает: «Наш?» — «Наш, не наш — полезай в блиндаж!»

Потому что вообще то, что и свой может обрушить на тебя что-нибудь такое малоприятное, — это факт. Особенно самолеты-штурмовики. В то время были самолеты «Илюшины» — Илы-штурмовики, на которых были установлены небольшие ракеты «воздух — земля» (типа «катюш»). Один раз как-то получилось, что мы попали под обстрел двух или трех таких штурмовиков — и ничего хорошего: недалеко от нас разорвалось несколько реактивных снарядов...

Мы должны были обозначать свой передний край сигнальными ракетами. Но и немцы стреляли из ракетниц, и мы стреляли из ракетниц, у нас были и красные, и синие, и зеленые ракеты, и у немцев — такие же, и я не уверен, что летчики во всем этом разбирались и четко помнили, какими ракетами обозначался наш передний край...

Всякого рода присказок и острых слов я наслышался на фронте не мало. Правда, таких, как «Наш не наш...», были единицы. В большинстве своем это были очень остроумные, но крайне матерные присказки и прибаутки типа:

*Хреновато нам приходится,
Пресвятая Богородица.*

Это, разумеется, цензурный вариант и, пожалуй, самое приличное из того, что можно вспомнить. Так что подлинный фольклор войны я оставляю за пределами этого рассказа.

Генеральский мат

Вообще-то военная ругань совершенно не такая спокойная, противенькая, как ругаются в мирное время. Там, на фронте, очень сочные выражения — я их, естественно, не буду воспроизводить, — такой многоярусный добротный мат, с разного рода производными, с широким использованием всего набора русских префиксов и суффиксов, которые в общем-то в мирное время для этого даже и не годятся. Эмоциональный такой, генеральский мат, я бы сказал.

Надо сказать, что во время войны я, по-моему, ни одного ни полковника, ни генерала не видел. Самое старшее, самое главное военное лицо, которое я видел, был подполковник, наш командир полка Кольченко, я о нем уже говорил. Дивизией у нас командовал полковник, потом он уже стал к концу войны генералом, его фамилия была Казак. Его я вообще в глаза никогда не видел, знал только фамилию. Это командир 324-й дивизии. А у него был заместитель, тоже полковник — Осадчий. Единственный случай, когда я его видел, — когда наш батальон сбился с отмеченного на карте пути, а он поехал именно по карте, в нужную сторону, где наших войск не оказалось. Его, понятно, и обстреляли немецкие автоматчики. Он потом матерился, матюгался: как же это так? Он считал, что идет за нами, едет в наш батальон — хотел посмотреть, как мы наступаем, а наступали мы так, что свернули не туда, куда надо (немцы намеренно переставили указатели на дороге), а

Осадчий поехал правильно и оказался вне прикрытия и попал под огонь — он на санках мчался — развернулся, прилетел к нам и ругался на чем свет стоит.

Уж коль скоро зашла речь о полковниках и подполковниках, то не могу не вспомнить начальника штаба нашего полка майора Лаврентьева. Я о нем уже дважды упоминал. Это был первый старший офицер, которого я увидел по прибытию в полк. Когда дежурный офицер привел меня к нему, Лаврентьев собирался пойти поупражняться в стрельбе. Но он задержался, посмотрел мои документы, спросил, какое училище я окончил и хорошо ли я стреляю. Я ответил несколько хвастливо, что да, стреляю неплохо. «А вот это мы сейчас увидим, — сказал Лаврентьев, — пойдёмте со мной».

Мы вышли в небольшую березовую рощицу, где на одной из берез была прикреплена фанерка, долженствующая обозначать собой мишень. Лаврентьев остановился шагах в двадцати, два раза выстрелил из своего пистолета и попал в центр фанерки.

— А вы попадете в это дерево? — спросил Лаврентьев и, заметив, что у меня нет оружия, протянул мне свой пистолет.

Я выстрелил тоже два раза и попал примерно туда же, куда и Лаврентьев.

Он одобрительно хмыкнул и, войдя в азарт, решил стрелять дальше, взял у меня пистолет и начал было снова целиться.

— Но там больше нет патронов, — сказал я.

Лаврентьев нажал спусковой крючок, выстрела не последовало: патроны в магазине действительно закончились.

— А вы как догадались? — спросил он.

— По весу пистолета.

После этих упражнении Лаврентьев и отправил меня в третий батальон на островок. Я так и не понял: а если бы я стрелял хуже — отправил бы он меня в другой батальон, который находился тогда на отдыхе?

Как мы вели огневую разведку

Лаврентьев постоянно требовал от адъютантов старших батальонов, в частности, от Кузина, чтобы в штаб полка присылали маленькие карты-схемы с расположением немецких огневых средств. Чтобы готовить наступление, нужно было представлять себе, где немцы, где у них пушки, где пулеметы, где у них снайперы и т.д. Для этого велась так

называемая огневая разведка. То есть мы как бы провоцировали немцев: делали несколько выстрелов, а те начинали отвечать, и в это время надо было засекать: здесь у них то, здесь у них то, здесь у них это. Причем опять-таки, вот разница между русскими и немцами: если русский пулеметчик стрелял, после этого он немедленно смывался на другое место. Даже поговорка сложилась: что главное для пулеметчика? — вовремя смыться. Отстрелялся — и сразу же тащи пулемет на другое место, и это совершенно правильно. А немец отстрелял из своего пулемета — он этот пулемет оставлял на том же месте. Я помню, по несколько раз это бывало: неделя проходила — как он поставил свой пулемет, так этот пулемет у него там и стоит, и никто его оттуда не забирает.

Иногда мы действительно вели огневую разведку, но иногда ленились: неохота было стрелять, да и потом не очень-то приятно — тут и по тебе начинают стрелять... Чего ради? Если это и не наступление, и ничего, просто ради удовольствия поставить три крестика на карте, а немцы могли после этого стрелять и двадцать минут, и целых полчаса, растревоженные, как пчелиный улей... Поэтому, я помню, не один раз так бывало — сидит это Андрюша со своей картой: «Эх, надо в штаб отправлять донесение, где у них что. Ну, Ленька, куда бы ты поставил пулемет немецкий на их месте?» — Я говорю: «Вот сюда». — «Правильно, и я так думаю, — поставим». И начинал разрисовывать донесение в штаб. По сообразительности, так сказать, а не по данным огневой разведки. Он вел, конечно, достаточно огневую разведку, но иногда бывало и так.

Письма в период обороны

За время затишья я написал домой почти два десятка писем. Вот фрагменты двух из них:

2.11.44

«...Из ваших писем я понимаю, что вы не имеете ни малейшего представления о моем житье-бытье... Во всяком случае, жалеть меня абсолютно нечего — я сейчас более, чем когда-либо за время войны, чувствую себя удовлетворенным морально...»

Ты, мама, желаешь не испытывать мне чувства страха — думаю, что не придется. Я убедился, что во всех переплетах, под снарядами, под пулями у меня появляется какая-то подсознательная уверенность, которую не может прогнать никакое логическое мышление, что всё будет в порядке. Не скажу, что страшно не бывает — напротив, бывает, и даже очень часто и привыкнуть к этому невозможно, и лишь

опыт дает возможность обстрелянному воину стоять спокойно, когда слышится свист снаряда и новичок пригибается. Это происходит, повторяю, не от привычки, а только потому, что уже по свисту снаряда слышно, несет ли он опасность или нет. Первое время мне был одинаково страшен всякий взрыв и свист, а теперь, просто проконтролировав ухом звуки, можно с уверенностью сказать, где опасность, или стрельба не достойна внимания...»

16.11.44

«...Сейчас вечер, уже давно стемнело и я, сидя у печки, перечитывал ваши письма... Письма ваши написаны, очевидно, в ответ на мое письмо, в котором я писал, что снова работаю в батальоне, что тебя, папа, в особый восторг не привело. Напрасно; не думайте, что здесь так же, как и в первое мое пребывание — когда я был еще совершенно неопытный. Конечно, здесь труднее, чем в сан.роте — но здесь я самостоятельный командир, и это не пустой звук, а очень много значит, и мне лично гораздо более желательно быть в батальоне, чем в полку...

Не успел я отправить прошлую свою открытку, как всё изменилось, вместо дождя пошел снег... и вместо отдыха нас в ту же ночь перевели на передовую, где мы и по сию пору находимся. Снег пополам с дождем так наводнил болото, что даже залило тот многострадальный островок, с коего я начал службу...

Вы (вернее, мама) жалуетесь на трудности переезда — где достать печку, стекло, топливо? Понятно, что вам я не могу посоветовать вынуть стекло из хаты или подорвать сарай на дрова, в помощь могу послать только справку — какие-то льготы она дает... а пока расскажу подробно, как я устроился сейчас.

Во-первых, блиндаж... Представьте себе комнату 3 х 4 м, в которой можно ходить в полный рост, вдоль двух противоположных стен две койки, между ними стол... Посреди стола цветок (вроде как в Ростове), слева от цветка «канцелярия» — книги, газеты, бумага, чернильница и две гранаты (как раз у изголовья моей кровати)... Напротив печи дверь наружу из красного дерева, вероятно, оторванная от комода. Между печью и дверью под окном столик, вроде как в поезде, служит как туалетный, на нем бритва, мыло, гребешок и подстилка. Стены обиты плащ-палатками, а потолок мешками, есть вешалочки для шинели, плащ-палатки, сумок, оружия... Сплю я раздеваясь — это я себе поставил в принцип и на 70% выполняю...

Сейчас на улице темно-темно, сильный ветер метет снег в глаза, лес шумит, всё время стрекочет пулемет и какие-то ленивые разрывы. Изредка немцы, боясь разведчиков, освещают ракетами свой передний

край... От меня до траншеи метров четыреста. По лесу в разных направлениях идут вперед три тропинки — полшага в сторону — мина...

Насчет моей одежды не беспокойтесь — кроме свитера, о котором я вроде писал, получил еще заячий тулупчик (вроде подаренного Пугачеву) — он на мне также потрескивает, но это не беда, а на днях получу еще шерстяную гимнастерку и суконные брюки... Надо сказать, что кроме хорошего снабжения, неплохо нас снабжают и немцы путем отдачи нам трофеев, которые играют большое значение в нашем быту, но об этом в следующем письме, а то догорает третья трофейная свечка и кончается лист трофейной бумаги...»

Любопытно, что в тот же вечер почти то же самое я написал в стихотворной форме:

*Тихо в землянке. Трофейная свечка
Светится рядом, немного коптит.
Мирно гудит железная печка.
Пара гранат под рукою лежит.
А за окном разыгралась вьюга,
Сумрачный лес недовольно шумит,
Ветер кидает снежинки друг в друга.
Темная ночь, но противник не спит.*

*Взвилась ракета из-за болота,
Лес осветился зеленым огнем.
Рядом раздался треск пулемета.
Стало всё видно, как днем:
В чудном свечении сосен верхушки,
Снег засверкал белизной.
Где-то левее грохнули пушки,
Смолкли... Грохочут... Снова покой.*

*Здесь от меня до переднего края
Метров четыреста или пятьсот.
Тройка тропинок, лес пробегая,
Вас доведет до одной из рот...*

*Быстро прошел по знакомой аллейке,
Спрыгнул в траншею — посты проверять.
«Стой!» — прокричал часовой из ячейки. —
«Три?» — Я в ответ ему шепотом: «Пять»... — и так далее.*

Два последних стиха, может быть, не вполне ясны. Это так называемый числовой или «траншейный» пароль.

У нас был пароль, общий для всего полка: нужно было знать какое-то слово и какое-то ему родственное слово. Скажем, пароль «ружье» — ты должен был ответить «курок». Пароль «самолет» — отзыв «бомба», и т.д., и т.д., причем всегда были парные такие вещи. А кроме того, был траншейный пароль уже на уровне роты или батальона. Это и был числовой пароль: скажем, говорили, что сегодня пароль будет «семь». И если солдат на посту в траншее видел, что к нему кто-то подходит, он называл какую-то цифру, например, «три». Зная, что пароль «семь», ты должен был срочно эту тройку из семерки вычестить и ответить «четыре». Или, если он говорил «два», соответственно ты должен был сказать «пять». Считалось, что это сбивало с толку якобы подслушивающего противника. Ну, я сильно сомневаюсь, что кто-то подслушивал, но идея была такая, что могут подслушать и, конечно, они будут сбиты с толку, потому что всё время разные вопросы и разные отзывы на пароль.

Но не разрешалось назначать пароль свыше десятка во избежание того, чтобы наши славяне как-нибудь не сбились со счета, потому что уже надо было долго считать в уме, какой будет отзыв, за это время тебя могли даже и подстрелить. Ну, это, конечно, я в шутку — никто в тебя стрелять бы не стал, но полагалось, чтобы пароль не превосходил десяти.

Стихов я вообще не пишу, поэтического дара у меня нет, и это одно из четырех или пяти стихотворений, которые я написал за свою жизнь...

Два других письма относятся к периоду, когда после бесконечных перемещений по лесам и болотам наш батальон расположился в фортах крепости Осовец.

13.12.44

«Здравствуйте, дорогие мои!

...Живу я сейчас в переднем форту Н-ской крепости (Осовец), только-только устроился, а до этого сначала нигде не жил, а потом поместился в доте со стенами шестиметровой толщины, которые не*

* Упомянуть в письмах название места дислокации фронтовых частей запрещалось. По этому поводу была в ходу шутка: «Порт Севастополь на Н-ском море».

взяла бы даже тонная бомба, но там было так темно, что невозможно было не только работать, но даже просто кушать и прокоптились мы покрепче кочегаров — пришлось уйти и сейчас я живу, как орел, на самом гребне вала, тоже, конечно, в бетонированном помещении. Порядок здесь навести было нелегко, и я потратил много времени, пока здесь, наконец, стало тепло, светло и безопасно, однако стоит открыть дверь, как ветром сдувает со стола все бумаги и прочее, что там лежит.

Стоит выйти за дверь и стать во весь рост, как открывается полный вид на территорию, занятую немцами. Рядом со мной и слева и справа наблюдательные пункты и я часто сижу у стереотрубы, разглядывая немцев и их позиции — до них километр-два, но в приборы видны мельчайшие детали, особенно во время обеда, когда немцы, как кроты, по одному выскакивают с котелками из траншеи. Хорошо видны дома в деревне, минные поля, даже трещину на стекле одного из ближних блиндажей удалось рассмотреть — сейчас уже этого блиндажа нет: вчера какой-то нахальный фриц затопил там печку, и наши минометчики с трех мин уничтожили его. Вообще здесь не так спокойно, как было в прошлой обороне — артиллерия не смолкает ни на минуту, и читая ваше описание салютов, надо пояснить вам, что самый звук выстрела — это пустяк, наиболее гнусная вещь — шипенье и разрыв, в подобной музыке недостатка здесь нет.

Между прочим, поскольку тебя, мама, интересует, слушаю ли я музыку, сообщаю, что третьего дня мне довелось послушать концерт силами полковой самодеятельности — хоть и не блестящий, но здесь всякая музыка радость... Воспользовались случаем, что офицеры полка собрались на совещание, и составили маленькую программу. Я сейчас много бы отдал, чтоб прослушать хороший концерт или оперу и всё вспоминаю время в Москве, когда я делал это полностью. Советую вам тоже меньше зарываться в дом и ходить по театрам и кино, пока имеете возможность...

Бумаги на сей раз не хватило, хотел написать еще немного, придется уж в следующий раз, а сейчас пойду наблюдать — наши минометчики и артиллеристы как раз сейчас дают немцу угощения, которые он не особенно-то любит. Надо глянуть на результаты.»

21.12.44

«...В настоящее время нахожусь на отдыхе — после 40 дней на передовой даже как-то непривычно. Особенно последние дни в крепости было довольно шумно: немцы всё время вели методический обстрел — самый

гнусный из всех видов обстрела. Понятно, что приходилось быть в напряжении, но зато здесь я не могу наблюдать, к чему успел привыкнуть. Помню, несколько дней назад мне довелось увидеть, как наши артиллеристы разделялись с немецким обозом — от сотни телег осталось одно воспоминание — сразу по три-пять подвод летели на воздух от тяжелых снарядов. В стереотрубу было отчетливо видно, как лошади испуганно шарахались в стороны, мчались в лес... В такие дни на редкость поднимается настроение и хочется скорее двинуться вперед...

Сейчас перечел твое, папа, письмо, где ты пишешь про начальника батальона резерва в Москве... Я вспоминаю, как я просил его направить меня на Украину... Тогда еще наши стояли на границе Румынии и я как чувствовал о готовящихся там событиях и хотел принять в них участие. Теперь же об этом не жалею, хотя нахожусь на одном из наиболее трудных участков фронта...»

27.12.44

«...Я пока еще на том же месте... жду приказа двигаться — тогда печку и окно на повозку и снова куда-нибудь на новое место, а может быть, и вообще вперед, к подобным переходам не привыкать.

Ты, папа, спрашиваешь о моих подчиненных? — Собственные имена вообще писать не положено — но вообще ребята хорошие — всех подбирал сам, понятно, не за один день, преимущественно это белорусы, но также есть русские, украинцы, один санинструктор узбек, а санитар казах — интернационал полный, как и везде на фронте. С одним из них позавчера ходил на праздник к знакомому поляку по случаю Рождества! Попили водку, закусили холодцом из поросенка с булочками, а вместо чая попили молока, потом немного поплясали, послушали польские песни, так что немного дохнул гражданской жизнью — даже оделся я погражданскому, только наган и ремень еще выдавали военного.

Сейчас здесь уже лежит снег, но не особенно холодно: -10 — -15 градусов — хожу в валенках и думаю, что суровой зимы здесь не будет...»

Наступление

В середине января наш фронт пришел, наконец, в движение. Начиналось долгожданное наступление.

Несколько дней подряд и слева, и справа от нас ухало и грохало. Это наша артиллерия билась по немецким укреплениям, расчищая нам путь к германской границе. Наш полк начал наступление 21 января. Первым на прорыв вражеских укреплений бросили, как всегда, наш третий батальон — самый малочисленный и с точки зрения

командования полка самый малоценный. Первый и второй батальоны, укомплектованные значительно полнее нашего, оставались в резерве.

Этот день 21 января запомнился мне буквально во всех деталях. Еще накануне нам раздали патроны, каски и, конечно же, противогазы. Тогда все были уверены, что немцы, чтобы не пустить нас в Германию, применят химическое оружие:

*На нас пошлют огонь и дым,
Баллоны смешанного газа, —*

как пелось в тогдашней песне.

За четыре месяца затишья все успели обрасти разного рода барахлом, и теперь командование настоятельно потребовало, чтобы все эти «накопления» бросили здесь и никто не брал с собой ничего лишнего. Мой помкомвзвода Иршинский, правда, умудрился уложить в нашу санвзводовскую повозку железную печку и небольшое оконце для будущих блиндажей, но комбат это быстро выявил, выругал — понятно, не Иршинского, а меня, и самолично вышвырнул эти два важнейших элемента «блиндажестроения». Я сказал Иршинскому, что оконце — уж черт с ним, а печку, когда мы тронемся, надо будет втихую подобрать и увезти.

Утром 21-го дали, слава Богу, выспаться — подъем, как всегда, в 7 часов. Приготовили неплохой завтрак, залили во фляги по 150 грамм водки, и часов в 10 мы тронулись, причем не в сторону немецких укреплений, а куда-то вбок.

Около двух часов мы брели по ужасным польским проселкам, спотыкаясь о замерзшие рытвины и ухабы.

При этом солдат-пехотинец вынужден тащить на себе еще килограммов десять всякого снаряжения: винтовку с боекомплектom 120 патронов или автомат с двумя запасными дисками, противогаз, фляжку, котелок, вещмешок с хлебом, сахаром и какими-то пожитками, на голове — неудобную тяжелую каску, на поясе — саперную лопатку, которая всё время сползала вниз и била по ногам. Неудивительно, что солдаты, как могли, старались облегчить свою поклажу.. Стрелковые роты шли впереди колонны, а командование батальона, и я в том числе, шли за ними. Вскоре я заметил на обочине выброшенную каску, через несколько шагов — еще две, потом их стало еще больше... Хуже было то, что на этот раз (в день решающе-

го наступления!) на обочине стали появляться пачки с патронами. Комбат даже приостановил движение и провел разъяснительную работу на тему, что выбрасывать патроны — это уже совсем никуда не годится.

Переправившись через реку Бобр, примерно к часу дня мы вышли на исходные позиции — на поросший кустарником берег реки, за которым начиналось болото. За ним, метрах в восьмистах — немецкие траншеи. Командование избрало для наступления место, где болото максимально сужалось (в других местах оно тянулось на несколько километров). Мне это болото было хорошо знакомо по августовским дням на Чертовом острове. Сейчас, в январе оно замерзло и стало вполне проходимым. Однако ни кустиков, ни бугорков — ничего на этом болоте не было. Это была совершенно открытая местность, к тому же припорошенная снегом, и перспектива наступать по этой заснеженной голой равнине не очень радовала: достаточно было одного немецкого пулеметчика, чтобы уложить весь наш батальон.

Балан и Кузин стояли у берегового кустарника и рассматривали немецкие позиции в трофейный бинокль, передавая его друг другу. Были ли в траншеях немцы, или артиллерийский огонь выгнал их оттуда, никто не знал.

Подошел Редькин, матюгнулся:

— Ни хрена себе наступать по этой голой пустоши!

Балан уже с утра был на взводе — он вообще был очень нервный — Редькина он почему-то не любил и тут же набросился на него:

— Что, Редькин, испугался?

Редькин был не из пугливых (он к тому времени был уже дважды ранен, у него было два ордена), он не стал особенно огрызаться:

— Я не о себе. Мне славян жалко.

— А ты не прячься за славян. Обоср*ся — так прямо и скажи. Я сам твою роту поведу.

Встрял Кузин: «Хватит, Микола, не психуй» (он всегда успокаивал Балана). А Редькину Кузин сказал: «Ступай к своим славянам. Никто их гробить не собирается. И вот что. Наступать будем налегке. Противогазы и боекомплекты (пачки 120 патронов) сдать хозвзводу, а бойцам раздать по 30 патронов в карманы и по 2-3 ручные гранаты. Только проверь, чтобы каски были у всех».

Балан приказал командиру батареи 45-миллиметровых пушек, которые нам накануне вернул начальник артиллерии полка, устано-

вить их на огневые позиции и в случае, если противник откроет пулеметный огонь, немедленно подавить эти пулеметы. Комарницкому комбат приказал привести в боевое положение минометы и дать пробный залп по вражеским траншеям. Минометчики открыли огонь. Ответных выстрелов не последовало...

— Что ж, будем начинать, — сказал Балан.

Он велел рассредоточить бойцов с интервалом в цепи в 30-40 метров и сказал, что в первой цепи пойдет рота Редькина, с ним пойдет замполит Непейвода, за ними во второй линии (метров через 50) — рота Шарифудинова, с ним пойдет сам Балан, а Кузину остаться на месте с артиллеристами и минометчиками. Мне Балан сказал: «Чтобы ни один раненый ни минуты не лежал на снегу, сразу же вытаскивать». Я оставил Иршинского организовывать медпункт и связь с санротой полка (куда и надо было отправлять раненых), а сам со своими солдатами двинулся с наступавшими ротами.

Солдаты и офицеры стрелковых рот рассредоточились и, пригибаясь, короткими перебежками начали приближаться к немецким траншеям. Траншеи зловеще молчали... Когда до них оставалось уже метров 60-70, передовая рота залегла, готовясь к последнему броску. Командир роты дал команду «огонь», поднял бойцов, и началась атака на траншеи.

Капитан Непейвода (он шел с передовой ротой) громко крикнул «ура!», но никто его не поддержал: бежали молча, сберегая дыхание. Наконец, те, кто были впереди, достигли траншеи, спрыгнули в нее, но... немцев в ней не оказалось. Подскочили солдаты другой роты, бойцы рассыпались по траншее. В одном из укрытий обнаружился какой-то немец, который и не думал в нас стрелять. Один из наших бойцов набросился на этого немца, принялся его душить и кусать в лицо. Это было так неожиданно, что все опешили и его даже не успели оттащить, прежде чем он не укусил немца два или три раза в щеку и в нос.

— Эти гады изнасиловали и убили мою сестренку, — кричал солдат, — я с ними рассчитаюсь!

Но рассчитывать было особенно не с кем, поскольку кроме этого ни одного немца в траншее не было (потом уже выяснилось, что где-то в другом конце траншеи оставался еще один немецкий солдат).

Бойца, наконец, оттащили, а немца привели ко мне, чтобы залепить ему пластырем укушенные места. Он оказался единственным, кому в этот день понадобилась медицинская помощь.

После психического напряжения во время атаки — я это ощутил на себе и видел, что то же было и у других — все почувствовали невероятное облегчение от того, что это напряжение кончилось и кончилось без трагических последствий, и в этот момент возникло чувство страшного голода: казалось, ты уже несколько дней ничего не ел... Как нельзя кстати подъехали полевые кухни, и начался обед.

Подошел Кузин. Всё это время он пытался наладить телефонную связь с командованием полка, но это никак не удавалось.

Балан на собственный страх и риск приказал двигаться вперед. Мы прошли несколько километров. Начинало смеркаться. Впереди показалось какое-то селение, но мы не стали в него заходить, а решили расположиться в оставленных немцами удобных блиндажах, находившихся в 4–5 километрах позади траншей (по-видимому, здесь находилось командование и службы немецкого подразделения, оборонявшего этот рубеж). Балан распорядился использовать немецкие блиндажи и располагаться в них на ночлег.

Мои ребята заняли довольно просторный блиндаж, но места там оказалось недостаточно. Чтобы никого не выселять, я сам ушел и ткнулся в соседний блиндаж. Там я увидел Балана и Кузина, которые при свете свечи сидели за большим столом с какими-то бумагами (как я потом понял, писали донесение в штаб полка). Свободного места в блиндаже было много.

— Можно к вам пристроиться? — спросил я.

— Давай, подпоручик, пристраивайся: ложись вон там и спи, — ответил Балан.

Я заснул сразу, как только лег на скамейку. Было, наверное, часов 8–9 вечера.

Проснулся я — было еще темно — от крика. Это командир полка распекал Балана:

— Вы тут как пионеры воюете на военной игре! — кричал Кольченко.

Существо его недовольства, как я понял, заключалось в том, что надо было не останавливаться после захвата траншей, а форсированным маршем догонять немцев, не дать им оторваться, завязать бой на уничтожение и на плечах отступающего противника вступить на территорию Германии.

Кольченко выглядел очень разъяренным, выкрикивал разного рода упреки и ругательства и сопровождал их легкими ударами палки (с которой он всегда ходил) по спине и по плечам Балана. Кузин молча стоял рядом. Его Кольченко почему-то не трогал.

Я был настолько поражен этой сценой, что подумал — мне снится сон. Решил проверить, не сплю ли я — и задвинулся на своей скамейке. Кольченко заметил меня в темноте и спросил:

— А это еще кто?

— Это наш командир санвзвода, товарищ гвардии подполковник, — ответил Кузин.

— Что?! — снова закричал Кольченко. — Какой еще командир санвзвода?! — И повернулся ко мне: «Почему вы не занимаетесь ранеными, а спите здесь?»

Я, слава Богу, спал одетым (только без ремня), вскочил и отпортовал:

— Товарищ гвардии подполковник, у нас нет раненых.

— Как это нет раненых? — спросил Кольченко. От удивления он даже перестал кричать.

— Так точно, товарищ гвардии подполковник: раненых у нас нет. Только один солдат неудачно спрыгнул в траншею — подвернул ногу. Я дал ему освобождение на два дня от марша.

— Что вы мне тут вкручиваете? — опять обозлился Кольченко. Видимо, он никак не мог поверить, что немцы просто так, без боя, оставили свои укрепления у самой границы Германии.

Кузин сказал:

— Откуда же раненые, товарищ гвардии подполковник? В траншеях немцев не было.

— А как же мне докладывали, что вы взяли пленных — откуда же пленные?

— Там оставались два немца, но с какой целью их оставили, или они остались сами, не ясно, — ответил Кузин, — во всяком случае, они не стреляли в нас.

— А почему вы не отправили мне донесение обо всем этом?

— Я отправил с вестовым в штаб полка, — ответил Кузин, — и всё это изложил.

— Так вот, — сказал Кольченко Балану, — даю вам на отдых время до шести утра, после чего с максимальной скоростью идите по согласованному маршруту, догоняйте немцев.

Хлебосолье по-польски

На фронте я вел краткий дневник, куда записывал отвоеванные населенные пункты и потери, которые мы при этом несли. Удивительно, но дневник у меня сохранился до сих пор. В тот первый день наступления убитых и раненых, слава Богу, записыв-



вать не пришлось, а селения мы заняли такие. Вот запись в дневнике:

«21.1.45 Начало наступления.

21. Сосня, Бялашево, Пенежки, Гацки, Лойки...».

За второй день мы продвинулись еще на километров двадцать, заняли оставленные немцами польские селения:

«22/января/. Окул, Марецки, Пенково, Воеводзин, Пруске-Станы, Граево».

В селе Попове Пруске Станы у нас образовался большой привал. Кольченко решил сменить нас в качестве головного батальона: поставил во главу полковой колонны 1-й батальон, а нас отправил в хвост колонны. Привал был как нельзя кстати. Было уже около часу дня, а мы выступили в шесть утра, прошли километров пять, наскоро и не очень сытно позавтракали, потом прошли еще несколько километров, немного устали, проголодались и в ожидании обеда поглядывали, чем бы разжиться поесть.

Село Попове Пруске Станы было большим, дворов на сорок и по виду очень богатым. Коров, свиней, птицы было здесь в явном достатке, не сравнить с польскими деревнями, которые я видел по дороге в Осовец. Но, главное, село было очень многолюдным. Все дома были заселены. Особенно поражало обилие рослых мужчин призывного, так сказать, возраста. В России ничего подобного давно уже не встречалось.

У ворот одного из дворов стоял высокий широкоплечий поляк лет сорока пяти, явно хозяин дома. Я со своими спутниками (Ир-

шинским и Мартьяновым) поздоровался и на условно-польском языке — собственно, смеси русских, украинских и польских слов — о чем-то спросил поляка, пытаясь таким образом завязать разговор.

Поляк был несловоохотлив и поглядывал на нас не слишком приветливо, как-то сверху вниз. Он действительно был на голову выше меня и Мартьянова, а низкорослый, худощавый и почему-то всегда бледный Иршинский вообще казался по сравнению с ним заморышем.

— Пан офицер? — спросил наконец поляк.

— Да, офицер.

— А цо, пан есть пулковник але поручник? — продолжал выяснять поляк, указывая пальцем на мою единственную звездочку на погонах. В его интонации звучала явная издевка.

— Пан подпоручик, — ответил я, сделав вид, что не заметил его тона. — А пан, наверное, тут хозяин? — добавил я. — У вас можно купить чего-нибудь поесть?

— А цо пан хочет куповать?

— Яик, млека, мяса...

Поляк приоткрыл калитку, подозвал работавшую во дворе женщину, наверное, хозяйку, о чем-то с ней пошушукался и спросил:

— А якие у пана пенёзы (деньги)?

Денег у меня, естественно, не было, кроме нескольких рублевых бумажек, оставшихся от моих странствий по Белоруссии. Я вытащил одну из них.

— Рублесь! — произнес поляк тоном еще более выразительным, чем когда он спрашивал, не «пулковник» ли я. — Рублесь... Не.

— Что «не»? — издевательский, даже презрительный тон поляка начал меня раздражать. — Скоро и у вас тут будут такие же рубли, так что нечего...

— Не, — повторил поляк. — Рублесь не тшеба.

Иршинский подтолкнул меня в бок и проговорил вполголоса:

— Предложите ему водку в обмен на еду, у нас ведь полные фляги.

Поляк услышал и сказал, что у них своей палёнки сколько угодно и она лучше нашей.

Я подумал, что самое время выстрелить раза два в воздух, зайти во двор и взять всё, что мы хотим. Но начинать скандал в этом многолюдном селе как-то не хотелось.

— Добже, пан, — сказал я, — пойдём пошукаем в другом месте.

Но поляк остановил меня и спросил:

— Але може у пана есть фунты але доляры?

У пана (то бишь у меня) ни фунтов, ни «доляров» не только не было, но я тогда даже не знал, как они выглядят. Я покачал головой и пошел было прочь. Но поляк опять остановил меня:

— Але могу я просить ясновельможного пана подпоручника и его жолнеров до мне до хаты на подобядек?

Я остановился, пытаюсь сообразить, что, собственно произошло, что поляк так круто развернулся от высокомерного тона к «ясновельможному пану». Взглянул на Иршинского — тот кивал головой: дескать, соглашайтесь.

— Добже, — сказал я поляку, — дзенкую, пан.

И направился во двор.

Мартьянов, который до этого не проронил ни слова, сказал:

— Я останусь здесь, покараулю, чтобы чего не случилось.

— Не надо. Нас пригласили всех троих, все и пойдем. Ничего с нами не случится.

«Подобядек» был знатный, после такого — обедать уже не захочется: омлет яиц на десяток, домашняя польская колбаса (у нас ее называли домашней малороссийской)... Но меня больше всего порадовало, что мои ребята ели неторопливо, с достоинством, хотя явно были голодные. Поляк все время старался свернуть разговор на политику, больше всего его интересовало, что будет с Польшей, когда война кончится. У меня на этот счет не было ни малейшего представления, но сидеть за столь прекрасной трапезой и говорить, что ты ничего об этом не знаешь, было нельзя, и я разглагольствовал на эту тему с генеральским апломбом: Польша будет восстановлена в прежних границах и станет свободным и независимым государством. После столь многообещающих заявлений хозяин подливал мне еще и еще палёнки, а хозяйка подносила всё новые связки колбасы.

Когда мы уже встали из-за стола, хозяин, приметив у Иршинского санитарную сумку с красным крестом, спросил, не доктор ли он и нет ли у него каких лекарств от простуды. Иршинский важно кивнул и отсыпал ему из сумки два десятка таблеток аспирина.

Словом, распрощались мы вполне дружески...

К концу дня на подступах к пограничному с Пруссией польскому городу Граево мы настигли немцев, которые оказали довольно серьезное сопротивление. Завязался жестокий бой. В конце концов мы выбили их из города. В Граево мы заночевали.

Ура! Мы в Пруссии!

Следующая запись в дневнике:

«23 /января/. 10 /часов/ 20 м/инут/ пересек Германскую границу».

Впритык к границе стоял небольшой городок Просткен. К нему со стороны Польши подходила дорога, по которой мы двигались, и с ней сливалась другая дорога — по ней в город одновременно с нами входили солдаты то ли соседнего полка, то ли соседней дивизии. Они заполнили улицы совершенно пустого города. Немецкое население покинуло Просткен полностью, но шум и толкотня были, как в хороший ярмарочный день: сразу несколько сот, а может, и тысяч человек из наших войск шли по главной улице.

Среди солдат царило какое-то необычайное возбуждение: «Мы в Германии! Мы победили!» Такого искреннего ликования я, пожалуй, не помню ни в день, когда мы услышали о взятии Берлина, ни в день Победы 9 мая. Радостное чувство буквально не умещалось в груди, рвалось наружу... Стреляли в воздух, били окна, заскакивали в дома, вытаскивали диваны, одеяла, перины, радостно вспарывали их ножами и штыками — пух перин летел по улице...

Это была внезапно разыгравшаяся неуправляемая стихия, полная вольница. Офицеры даже не пытались остановить это буйство, навести хоть какой-то порядок...

Первое, что я увидел — это плывшее над толпой чучело огромного волка. Солдаты тащили его на вытянутых руках по улице, передавая друг другу, и каждый норовил пырнуть волка штыком или ударить прикладом. Это было как бы предметное осуществление призывов, которые изо дня в день звучали по радио и повторялись в наших газетах: «Уничтожить фашистского зверя в его собственном логове». Мы до этого логова, наконец, добрались...

Меня охватило неумемное возбуждение, вероятно, не меньшее, чем у заполнявших улицу солдат. Правда, окон я бить не стал, в воздух не стрелял, но, войдя в какой-то роскошный дом — это оказался дом местного бургомистра — я увидел висевшие на стене кинжал и саблю, снял их, ударил саблей по горке с посудой, по зеркалам, а кинжал привесил к себе на пояс и носил его почти до самого штурма Кёнигсберга.

В кабинете в открытом бюро лежала пачка бланков и конвертов бургомистра города. Я взял их для будущих писем родителям...



Когда возбуждение немного улеглось, мы двинулись дальше: сначала прошли несколько километров в северном направлении, заняли городок Нойндорф, откуда повернули на запад, в сторону Мазурских озер...

НЕ УЧЕННОЕ



ЛИРИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

476

Путь пса

Я влип в невероятную историю. Редактор отправил меня во Владимирскую область брать интервью у генерального директора крупного химкомбината. Я всегда с восторгом принимаю неожиданные задания ехать куда-нибудь. Причем, мне, так сказать, по барабану, куда ехать, лишь бы только ехать.

«Очень серьезный человек, — предупредил меня редактор, — поэтому рассчитываю на серьезную работу».

Сказано-сделано. Стартовал в шесть утра. Около метро «Юго-Западная» краем глаза заметил свору собак. Собаки как собаки. Прошел бы мимо, но увидел, что от своры отделился один барбос, делового вида. Прежде чем отойти от своих приятелей, пёс как-то странно посмотрел на них и кивнул, типа, увидимся позже, друзья. Собаки в ответ затоптались. Они явно замутили какой-то тайный проект.

Вот такое, ничего не предвещающее наблюдение, стало началом невероятной истории, которую я горю желанием побыстрее изложить. Вместе с псом мы спустились под землю. Я шел по лестнице, а рядом со мной перебирала лапами довольно крупная густошерстная дворняга со здоровыми, мускулистыми конечностями. Мужик среднего возраста. Как и я. Беспородный кобель. Как и я. Он довольно нагло проскочил сквозь кордон дармоедов-контролеров и юркнул в вагон. Я зашел следом. В вагоне кобель лег на брюхо и положил морду на передние лапы. Прикрыл глаза. «Ой! — вскрикнул маленький мальчик, — собачка на работу тоже едет!». Выражение лица у пса было задумчивое. Чувствовалось, что он повидал кое-что на своем веку..

Всякий раз, когда из динамиков доносился голос диктора, объявляющий следующую станцию, пёс поднимал и поворачивал уши в сторону источника звука. Похоже, он действительно ехал по важным делам и следил за последовательностью станций. На «Библиотеке имени Ленина» мы оба вышли. Вместе с потоком пассажиров пёс засеменял на Арбатско-Покровскую линию. Я за ним. Он зашел во

второй вагон от головы состава, а я в третий. Это я специально так сделал, чтобы барбос не заметил хвоста. Вообще-то мне надо было ехать до «Курской», но я направился в противоположенную сторону. «Чуточку посмотрю, куда едет собака, — решил я, — и тут же на химкомбинат. Ну, немного опоздаю. Ничего страшного».

«Чуточка» не получилась. Мы доехали с псом до станции «Молодежная». Вышли в город. Сначала минут двадцать плелись по городским улицам. Потом объект свернул на бездорожье и потащил меня по каким-то совершенно несусветным местам — мимо гаражей, свалок, канав, пугающих металлических коробок без дверей и окон, мимо бульдозеров, вросших в глину по кабину. На всякий случай, чтобы не привлечь к себе внимания, я отключил мобилу.

В какой-то момент пес замер. Остановился, как вкопанный. Правая передняя нога его зависла в воздухе. «Спалился! — подумал я, — все пропало! Херовый из меня шпион получился».

К счастью, неподалеку стояло толстое дерево, за которое я молниеносно шмыгнул. Объект очень медленно повернул голову, а уши, словно антенны, направил в другую сторону. Передняя нога продолжала висеть в воздухе в полусогнутом состоянии. Я наблюдал за собакой левым глазом, высунув из-за дерева половину своего лица. Правый мой глаз уперся в разлом коры, напоминающий с близкого расстояния американский каньон.

«Да, тертый калач — этот пес, — подумал я, — обнаружил все-таки слежку».

На мою удачу ветер дул от собаки ко мне, поэтому псу не удалось меня учуять. Постояв так еще с полминуты, он снова двинул по делам. Я за ним. Мои парадные туфли и штанины брюк покрылись вязкой грязью. Я вырядился понта ради, чтобы герой интервью относился ко мне с уважением.

Опять замелькали сваи, прямоугольные домики строителей, канавы, ямы, заборы. Целью пути барбоса было кубическое здание с единственной дверью — станция отопления или, как ее еще называют, «теплоцентраль». На стене станции красовалась размашистая надпись, обладающая непостижимым размашистым смыслом: «Кони е...т мясо». Здание с загадочной надписью располагалось на пустыре, окаймленном крупноблочным потертými многоэтажками. Пейзаж радовал глаз своей уютной унылостью.

У теплоцентрали моего пса поджидала собачья компания, состоявшая из пятнадцати-двадцати особей. Поскольку дело происходило на пустыре и спрятаться было негде, я решил притвориться собирателем целебных трав. Тем более вид у меня, как говорится – ботанический: очки, не вполне русское лицо, бакенбарды. Мало ли что? Может, я – шведский ученый, приехал изучать флору московских пустырей. Я принялся рвать какие-то вялые дички, для убедительности цокая языком и покачивая головой: «Какой редкий экземпляр! Надо же!» Вроде, моя буффонада убедила банду четвероногих. Собаки сначала восприняли меня с недоверием, но потом, видимо, решили, что вряд ли придурковатый лох может иметь к ним какое-то отношение. И зря, кстати. Я рылся в сорняках, а сам краем глаза наблюдал за лохматой группировкой. Сначала мой пёс подошел к выступившему ему навстречу небольшому, но крепко сложенному кобелю и что-то проскулил ему в ухо. Представитель банды тявкнул и вильнул хвостом. Я понял, что у них произошел следующий разговор: «Здравствуйте! Я – такой-то, прибыл от таких-то, для такого-то дела». Ответ: «Приветствую! Давно ждем. Шеф готов вас принять. Проходите».

Пса с «Юго-Западной» провели в центр своры, к маленькой, вытянутой, коротконогой суке, имевшей туловище таксы и крокодилю морду с огромными зубастыми челюстями. Это, видимо, и был «шеф». «О! Да у них тут полный матриархат!» – воскликнул я про себя.

Мой земляк поклонился «шефу», встав, как цирковая лошадь, на сгиб передних ног. «Шеф» удовлетворенно кивнула. Начались переговоры. Соединив все эти повизгивания, потягивания, виляния и кивания в единую логическую цепь, я понял, что между животными состоялась такая беседа:

Шеф: «Наши договоренности в силе?»

Мой пёс: «Конечно».

Шеф: «Вы уверены?»

Мой пёс: «Уверены».

Шеф: «Тогда действуйте. Мы согласны».

Мой пёс: «Спасибо».

Шеф: «Желаю удачи!»

Мой пёс: «Аналогично».

Мой земляк откланялся и побежал вон с пустыря. Я сорвал ветку бузины, растер цветочек в ладонях и, стукнув себя по лбу, крикнул, как можно громче, причем с англоязычным акцентом: «Я есть старый дурак! Меня уже полчаса ждут в академия! Проклятый рассеянность!»

Конечно, все это вышло довольно наиграно, грубо, но собаки, вроде, поверили мне. Они не очень хорошо разбираются во всяких там постановочных штучках-дрючках. Скажу больше, они, вообще, не знают, что живой организм может прикинуться другим живым организмом. Мы же никогда не видели добермана, который под аплодисменты псиной публики копирует повадки пуделя. Максимум, что может сделать собака — притворится мертвой или доброй, чтобы потом неожиданно цапнуть обманутую жертву за ногу. А я — человек. И горд этим. В отличие от животных, ну, кроме обезьян и попугаев, я умею подражать, копировать, имитировать, пародировать. В арсенале человека — масса возможностей. Поэтому он считается венцом творения.

Не буду докучать подробностями обратного пути моей собаки и сопутствующей ей слежке. Лучше перенесемся сразу на Казанский вокзал, куда меня привели деловой пёс, мое преступное любопытство и злостная безответственность. Время клонилось к обеду. Железнодорожные рабочие и офисные служащие уже грезили вечерним отдыхом, а я несся по шпалам за собакой неизвестно куда.

Стоит отметить, что пространство, начинающееся там, где заканчиваются платформы Казанского вокзала — это отдельный, фантастический мир, не имеющий никакого отношения ни к Москве, ни к России. Здесь, среди хитросплетения рельс, расположен Дынный Город, населенный азиатами. Этот город желтеет россыпями сочных чарджоуских дынь-торпед. Есть здесь также Город Бомжей. Он находится в районе мусоросборников. Поезда дальнего следования освобождаются в этой точке от мусора и помоев, а выползающие из своих лачуг бездомные люди выбирают в мусорных контейнерах все, что полезно для их жизнедеятельности. И, конечно же, в Заказанском мире невероятное количество всяких вагонов.

Все это я увидел благодаря собаке, за которой следовал тенью. Пёс периодически останавливался, принимался, озирался, прислушивался... Он то замедлял ход, то вдруг срывался и несся, неведь куда. А я за ним. Так продолжалось несколько часов.

Путь пса завершился около обшарпанного плацкартного вагона без обозначений пунктов следования. Я притаился под стоящей неподалеку цистерной, сгорая от желания побыстрее открыть загадку параллельной собачьей цивилизации.

Пёс направил морду в сторону вагонной двери и прогавкал строгий ритмический рисунок. Если перевести его сигнал на ноты, то получится восемь «гавов», уложенных в синкопу на два двухчетвертных такта. То есть, восьмая-четверть-четверть-четверть-четверть-четверть-восьмая-четверть-четверная пауза. Дверь вагона со скрежетом открылась, и наружу выкатилось голое человеческое пузо. Остальные части тела обитателя вагона остались внутри. Еще я увидел схватившуюся за край двери здоровенную лапу с наколотым солнышком. Такие наколки делали в шестидесятые – семидесятые: закругленный край солнца находится около кисти, а от него к пальцам расходятся лучи.

– Абрам пришел! – пробросил обитатель вагона.

Барбос взвизгнул и завилял хвостом.

– Абраша! – радостно отозвался из глубины вагона пропитой женский голос, – Николай, зови его сюда быстрее! Наконец-то!

Абрам ловко запрыгнул в вагон. Дверь захлопнулась.

«Странное имя для пса – Абрам», – подумал я, – обычно собакам дают абстрактные комичные имена – Тузик, Жучка, Шарик. Изредка литературно-исторические, типа, Аргус, Наполеон, Чарли, Маркиз, Умка. Но причем здесь Абрам? Человек не мог назвать пса таким именем.

Я приложил ухо к стене поезда. Гробовая тишина. Ни лая, ни человеческих голосов. Робко постучался. Никакого эффекта. Постучался сильнее – без толку.

По поезду, в котором оказался Абрам, пробежала дрожь. Лязгнули сцепляющие устройства. Колеса вагонов медленно завращались. Пустой поезд-призрак покатил вместе с моей тайной на восток.

«Летучий голландец, – подумал я, – не удивлюсь, если в кабине машинистов пустота».

– Добрый вечер, – строго-приветливо прозвучало за моей спиной, – кто вы такой и чем здесь занимаетесь?

Я обернулся и увидел вохровца с кобурой на поясе.

– Да, видите ли, – залепетал я, – тут какое дело произошло...

Выслушав мою историю, вохровец велел мне срочно убираться из железнодорожного отстойника, пригрозив физической расправой. Я безропотно выполнил его наказ. Правда, найти дорогу

оказалось непросто: везде вагоны, вагоны, вагоны — и так до горизонта.

Я долго шел. Где-то в одиннадцатом часу, когда по городу расплылось чернильное пятно сумерек, я, наконец, обнаружил вокзал. Только почему-то не Казанский, а Рижский. Стало быть, я брел по Рижской ветке. По Рижской... Да-с.

На вокзале я внезапно вспомнил про мобильный телефон. Включил. Тридцать семь пропущенных вызовов: двадцать девять из редакции и восемь из химкомбината. Я решил срочно позвонить редактору, но не для того, чтобы объяснить причину моего исчезновения. Просто я понял, что если прямо сейчас не позвоню умному человеку и не расскажу об Абраме и его странных друзьях, меня просто разорвут на куски полученные впечатления.

ТРУДНОЕ КОРОВЬЕ СЧАСТЬЕ

Овцы — это такие тупые бараны, как ослы. Да вы знаете, хоть шерстистые четырёхногие, хоть... В общем, овца — она овца и есть, пусть и в Гондурасе. Если они там водятся. Я там не был — не знаю.

Сплошная насмешка природы. Потому что овцы ни черта не понимают во вкусе жизни, в частности — пропитания. Жрут всё, что ни попадя, без различия вкусовых наслаждений, будь то травушка-муравушка зелёоооо—нень—каяааа... либо мочалка польвованная. Всё на один вкус. Потому и не способны овцы тупоумные на настоящее, большое чувство.

Другое обстоятельство совершенно — коровка. Может, оттого ли, что телом пообширней — у них и душа широкая. И очень они гурманнистые. Запросто копчёного осьминога от вяленой воблы различат. И от такого вот высшего эстетического вкуса натуры коровы очень тонкочувствительные и способные на чувства истинные.

Проживала в Грибовке у бабы Нюры да деда Василия корова Беляночка. По масти белоснежной именованная. Ничего так проживала, ухоженная, заботой охваченная. Пищи вдоволь, дед, когда редко дома появлялся между действиями лесоповальными, всегда на речке Беляночкину тушку обмывал, скребками-щётками оттирал — любил, чтобы было красиво...

Всё бы хорошо, если б не одна, но пламенная страсть... Губительная, я бы сказал. Потому что настоящая страсть способна и тела и души сжечь напрочь хоть у рогатых, хоть у двуногих.

По переходному весеннее-летнему периоду, как взойдут зелёные рожи... Нет, не селянские — те у многих круглогодично зелёные от тягот земного бытия и заливки тягот этих живительно-пагубной влагой. В общем, как взойдут зелёные ржи — «зеленя» по-местному — пиши пропало... Хоть гаубицами поля с рожью молоденькой окружай да лупи прямой наводкой по коровищам, потому как для коров «зеленя», что конопля для курцов. А нельзя им — хоть и сладко запретное, оно же и смертельно. Для коров в особенности.

Пастух попадётся раззява, не уследит, запрётся корова на поле ржаное — глаза «во флюгере», жрёт не в памяти, и никакими средствами её оттуда не изъять — потопчет изымателей. А то и рогом пырнёт — не замай!!! Всё одно что наркотик «зеленя» эти самые для

дурищ рогатых: набьют требух так, что через ноздри вываливается, а их от того разносит чище воздушного шара братьев Монгольфьер. Братьям тем попроще было: передули шар до опасного состояния — так дёрнули за верёвочку, он и сдулся. А у коровы за что дёргать? За хвост, что ли? Либо за титьки? Дёргай, не дёргай — не поможет. Тут помощь квалифицированная нужна. Научная. С особым технологическим подходом. Так вот, если не повезло, не уследила хозяйка ввечеру, что кормилицу разносить стало, как слонику беременную — всё. Амба. Кутру окочуриться запросто может, бедолажка. Тогда хватай уж хоть за хвост, хоть ещё за что — и волоки на коровий погост.

Баба Нюра хоть и видела уже плоховато, но слышала вполне прилично ещё. Да и мудрено было не услышать — так вечерней порой заорала её Беяночка в хлеву, аж за тот Гондурас вопль издыхающей, неизлечимо больной оперной дивы залетел. Так в операх часто бывает: долго и мучительно болея, какая-нибудь Мими помирает в финале, выдавая предсмертную арию. Я сам как-то слышал. Давно. По радио.

Заскочила баба Нюра в хлев — и дуэтом уже поддержала пронзительную арию Мими. То есть — Беяночки. Та глаза выпучила, орёт оглушительно, вот-вот взлетит к небесам. А без посторонней помощи дух дурной из организма отравленного выпустить уже не может. Деда Василия не было — в лесу изничтожал флору, полезную для народного хозяйства. Метнулась баба Нюра к ветеринару — по счастью, был такой в наличии грибовских пространств. А ветеринар, доложу я вам — наипервейший человек в сельских обителях. Как и фельдшер. Куда как полезнее председателя, от которого и проку только — что орёт на всех. Или «буххатер» какой — только палки трудовые пересчитывает да призывает этими заработанными палками селян подъедать потом выращенное на своём же участке. Как япошек каких, прости, Господи... Или корейков китайских. Диких, короче — ложек не знают, неграмотные ни разу, Азия...

В общем, фельдшеры эти ветеринарные — люди незаменимые, но сильно неудобопроизносимые. Много лишних, бесполезных букв в наименовании должности. Поэтому везде практически их прозывают «ветинар». Или там «фершел». Проще так, и всем понятно.

Вот к такому «ветинару»-«фершелу» (по совместительству) и поскакала баба Нюра, как аргамак на дерби.

Ветинар бродил по околице. Как человек сельсконаучный, он был задумчивым и... как бы это сказать поделикатней... А, вот — слегка сильно выпивающим. Что, в общем-то, редкость — часто они бывают слегка очень сильно выпивающими. Бродил, значит, в пасто-

ральной грусти пейзажной ветинар Фёдор по Грибовке, да размышлял трагически, кого бы сыскать хоть на скольких ногах для излечения от неминуемой гибели и получить за это вечную благодарность в каком продуктово-денежном, а лучше жидком состоянии. И совсем мрачнел ипохондрически от невыносимой мировой несправедливости — никто тем вечером в Грибовке помирать, скорее всего, не сподобится... А тут баба Нюра. С такой благостной вестью — дура-корова «зеленя» нажралась...

Фёдор-ветинар враз сделал вид серьёзно-озабоченного лица, сфокусировался на горемычной, искательно-угодливой фигурке бабы Нюры и академическим голосом провещал:

— Ты, Нюра, иди к коровке-то. Иди. Не оставляй её одну — худо ей. Поддержи. За что-нибудь. А я за инструментом заскочу — и к тебе. Излечим. Не таких вытаскивали. Не сумлевайся.

Баба Нюра, охая, засемила ко двору, Фёдор метнулся к своей халупке — для сбирания необходимых спасительных принадлежностей народно-технических. Потому как наука наукой, а без смекалки народной, хитрой, вся та наука загнулась бы давно. Да вослед удаляющейся спине бабы Нюры Фёдор гаркнул:

— Бутылку, бутылку изготвь загодя. Беленькой. Как животина твоя мастью...

Баба Нюра только напуганно кивнула через плечо.

Ну вот... Прибыв к месту обитания мающейся коровы, Фёдор удовлетворённо-победно обозрел театр действий: всё как положено. Баба Нюра, обливаясь слезами, оглаживала вопящую Беляночку, соседки организовали группу поддержки, прижимая кончики платочков ко ртам и сокрушённо покачивая головами. Небеса цвели всевозможными радужными переливами — вечерок складывался позитивно...

— Так... Начинаем операцию... — бодро возвестил «ветинар». — Случай сложный, но надежда есть. Слушать меня беспрекословно. Команды выполнять чётко и быстро. Ты, Нюра, и ты, Лександра, прощелывайтесь в загончик слева. Ольга и Евдокия — справа. После принятия коровой лечебного средства давите, давите её с двух сторон в бока. Так, шас... По команде... Нюра, бутылёк где? Давай сюда...

Фёдор залез к фасаду коровы, налил полстакана самогона, всыпал туда какой-то грязный порошок, заглянул настороженно наблюдающей за ним Беляночке в глаза и проникновенно сказал:

— А вот это, болезная, нам надо сейчас с тобой принять. Это такое специальное лекарство ото всех хворей. И ваших, и людских. Так что не кобенясь — пей...

Со словами теми Фёдор, с сомнением глянув на бутылку, опорожнил её двумя гулкими глотками сперва сам на треть оставшегося, потом уж, крикнув, подал стакан бабе Нюре, раззявил пасть изумлённой корове ручищами и крикнул: «Лей!!!» Баба Нюра влила. Беляночка остолбенела и замерла. Фёдор закричал новоявленным ассистенткам:

– Давите, давите её в бочины-то! Крепче давите!

Сам же перелез через доски загончика хлевного, приподнял коровий хвост, склонил голову набок и стал внимательно прислушиваться к звукам, доносившимся с коровьего тыла. Видимо, они ему не понравились. То ли тембр был не тот, то ли модуляций не хватало... Одновременно он принюхивался хрящеватым своим носом и к духу выходящему...

– Нет... Не тот дух выходит. Обычный. А вредный – он у её в утробе остаётся...

Фёдор недолго посмотрел в почву под ногами, потом в почти уж тёмные небеса. Лицо у него было при этом как у медицинского светила мирового уровня, выполняющего сложнейшую операцию, за благополучный исход которой полагалась нобелевка как минимум. Потом он неторопливо выудил из кармана пиджака лекарственную бутылочку, посмотрел на неё уж безо всякого сомнения и выхлебал из горлышка практически до дна, на два пальца оставив. Тут Беляночка стала орать пуще прежнего. Фёдор встрепенулся, хлопнул железными ладонями и возвестил:

– Так... Переходим ко второму этапу. Нюра – выводы...

Чуть живую уже от мук корову вывели из хлева. Фёдор с просветлённым лицом достал из своей холщёвой сумки стеклянную бутылку с аккуратно отрезанным донышком, победоносно всех осмотрел и ласково сказал:

– Нюра, неси ещё беленькую...

Нюра совсем загрустила:

– А к чему ещё-то?

– Ты, Нюра, если ни черта не понимаешь в медицине, так помалкивала бы уж. Делай, что велено. Для чего, для чего... Деревня. Для дезинфекции и анестезии!

Бабы напугано-согласно закивали головами, как курицы клюющие, баба Нюра приволокла ещё бутылку. Фёдор её ненавязчиво запрятал во внутренний карман пиджака, зашёл сызнава корове в тыл и приподнял её хвост.

– Нюра, поддержи её за голову, приласкай. А вы, бабы, за рога попридержите, да покрепче... Нервная это процедура.

Затем Фёдор, пришурившись, ловко вогнал бутылку без донышка горлом вперёд прям туда, откуда категорически отказывался выходить дурной, жизнеопасный дух. Не подозревавшая о такой подлой каверзе корова хотела звездануть Фёдору по морде хвостом и одновременно садануть копытом, но тот, давно привыкший к подобной свинской неблагодарности со стороны пользующих им пациентов, споро пригнул голову с просвистевшим над ней бичом мести и грациозно отскочил в сторону от грозящего сломать ему голень копыта. Звуки, исходящие из нутра коровы, стали куда как громче, да и дух более ароматным, густым. Бабы оживились, загалдели, что галки с ветвей:

— Ой, глянь-ка... Сдувается вроде-т.. Ой, Фёдяаааа...

Баба Нюра обливала слезами морду мученицы коровьего племени, одновременно пылко её целуя.

— Погодь радоваться... — мрачно произнёс Фёдор. — Рано ещё. Не весь дух ядовитый вышел. Рецидив может произойти. Так что...

Фёдор присел возле бока коровы, долго смотрел на него, одновременно прикладываясь ко второй уже бутылочке. Встрепенулся затем, оглядел всех вкупе с Беяночкой...

— В общем, теперь так. Ты, Нюра, ступай в дом, огурчик хоть вынеси. Да не корове — мне. А вы, бабы, воротца-то откройте, да отойдите от греха. Приступаем к третьему этапу — интенсивная терапия...

Всё было исполнено, ворота растворены, Нюра, подозрительно оглядываясь, шла к крылечку дома. Фёдор распрямился, потом слегка нагнулся и ненавязчиво, незаметно вытянул из-за голенища сапога бывший рашпиль на отполированной деревянной ручке, отточенный до тонкости стилета... Отвернувшись, слегка полил его из первой бутылочки, из бокового наружного кармана изъятый, допил остатки, аккуратно поставил пустой пузырь в сторонку. Бабы замерли в отдалении, Нюра, выйдя из дома, закаменела на крыльце. Корова, широко раскорячившись, отвлеклась, прислушиваясь — что у неё происходит там, во чреве...

Фёдор, немного присев, покачал рашпилем-стиллетом, зажатым в твёрдой ладони, и молниеносным ударом саданул им корову в брюхо...

Вы видели когда-нибудь, как стартует ракета с Байконура? Ну или болиды «Формулы-1» во время заезда «Гран-при»? Беяночка рванула быстрее. И звуки, сопровождающие её полёт по Грибовке, были примерно такими же — рёв, свист, визг, грохот выхлопных газов. Наученный многими жизненными ситуациями «вети-

нар» Фёдор отскочил стремительно и далеко, почти в соседний район, бабы попадали в подзаборные лопухи, а хозяйка Беляночки, закрыв лицо ладонями, там же, на крыльце, заголосила, что кликуша на поминках. Корова же, вылетая из ворот, во время боевого разворота выпульнула из себя снарядом вставленную известно куда бутылку, метко сбив кувшин с частокола рядом с хозяйским крылечком...

Баба Нюра отыскала коровку свою, лежащую без сил у речки в полной почти уже тьме. Фёдор сидел подле, покойно смотря на догорающий горизонт, одной рукой поглаживая корову по шее, другой поднося бутылочку ко рту. А Беляночка, положив голову ему на вытянутые ноги, смотрела на Фёдора не отрываясь, тихо-блаженно постанывая, и кроме благодарности без края, в глазах её светилась такая неподдельная любовь, что хозяйка сразу поняла — отныне и вовеки любить корова эта будет только «ветинара» Фёдора — единственного, неповторимого своего спасителя-избавителя. А ей с дедом Василием останутся лишь крохи — от такой любви...

...На меня так же, помнится, смотрела одна сногшибательная вороная лошадка во время смены караула конного полка у Букингемского дворца. То ли хвост ей мой приглянулся — некогда вороной, да седой уж ныне. То ли ещё чего... Сказочная лошадка — лощёно-блестящая, ножки длинные, выа гордо-изящно, царственно даже выгнута, идеальная точёная головка, ушки настороженные торчком. Так загляделась, что чуть не споткнулась да с шага не сбилась. Я её до сих пор помню. Надеюсь, она меня — тоже...

АНГЕЛ ТЫ, АНГЕЛ Я

Шёл сильный осенний дождь; капли стучали по крыше низкого домика, который стоял на краю отдалённой улицы дачного посёлка. Андрей, мужчина лет тридцати; худощавый; флегматичный взгляд; сидел на ветхом стуле и смотрел в мутное от дождевой воды маленькое окно. Ася, его жена, молодая женщина — твёрдый подбородок, большие серые глаза, волевое выражение лица — стояла у газовой плиты в аккуратном фартучке и помешивала ложкой в кастрюле.

— Если бы у нас был миллион долларов, — мечтательно произнесла она, и ложка застыла в воздухе, — вот было бы здорово.

Раздался громкий стук в дверь. На пороге топтался сгорбленный крохотный старичок в потёртом пиджачке; на оттопыренных ушах легкомысленно сидела серая кепочка. На ногах болтались сандалии с поникшими крылышками и пахли мокрыми куриными перьями. В правой руке он держал изящный кейс. И вообще старичок был похож на мышонка, которого поставили на задние лапки, облачили в пиджак, всучили кейс и нахлобучили кепку; из-под неё бойко прыгали проворные чёрные глазки.

— Добрый вечер, — бодро сказал старичок. — Пустите переждать дождь...

— Конечно, — Андрей гостеприимно посторонился, чтобы пропустить незнакомца.

— А вы актёр? — полюбопытствовала Ася.

— Почему вы так решили? — удивился старичок, приподняв бровки.

— Ну, вы... ну.. — она выразительно посмотрела на крылатые сандалии.

— Я бог, — обыденно ответил старичок, перехватив её взгляд.

Хозяева с недоумением переглянулись. Заметив это, старичок повторил:

— Бог я... Самый обычный, античный...

Они снова обменялись настороженными взглядами; старичок же приосанился и торжественно произнёс:

— Я Гермес, сын могущественного Зевса, прибыл на землю, чтобы передать богу деньги, не могу назвать его имени — большой секрет; живёт в соседнем городе. Лететь до города осталось всего-

то ничего, но я попал под дождь и промок до костей. Ох, нелегка моя доля!

Старичок громко чихнул, потом ещё раз и с негодованием взглянул на сандалии.

— Аллергия, — кратко пояснил он. — На куриные перья.

Из кухни послышалось сварливое шипение. Ася в панике умчалась туда.

— А разве боги нуждаются в деньгах? — спросил Андрей.

— Ещё как нуждаются. Вы даже себе представить не можете, как! Тот бог, кому предназначены эти деньги, в пух и прах проигрался в карты. А карточные долги надо отдавать. Молодость она такая, неразумная... — махнул рукой старичок, но осуждения в его голосе не было, а напротив, прозвучала даже шаловливая игривость.

— Пожалуйста, проходите в комнату, — пригласил Андрей.

Гостю предложили переодеться в хозяйкин домашний халат, расшитый яркими цветами. Старичок, удобно устроившись в кресле, вытягивал тонкую морщинистую шею из просторного ворота, словно выглядывал из клумбы, и с наслаждением пил крепкий чай. Напившись чаю, он стал клевать носом. Его уложили на диване в соседней комнатушке, и вскоре оттуда послышался могучий храп.

— Никакой он не бог, просто сумасшедший, — почему-то сердито сказала Ася, размашистыми движениями прибирая со стола.

— А откуда у сумасшедшего такие деньги? — спросил Андрей.

— Неважно. Нам нужны деньги. Его, а точнее, деньги в кейсе, нам послала сама судьба!

Она приблизилась к нему и что-то горячо зашептала, воровато оглядываясь по сторонам.

— Ну и как моя идея? — её глаза смотрели твёрдо.

— Да ты что?! Он же человек!

— Ну какой же он человек? Он же сам сказал, что античный бог! Античных богов не бывает! Как будто ты не знаешь... Пойдём, пойдём...

Они направились в комнату, где спал старичок, и осторожно закрыли за собой дверь. Спустя минут десять дверь скрипнула, выпустив их назад. Она держала в правой руке изящный кейс.

— Бог умер. Умер Гермес, — послышался в комнате печальный женский голос. — Нет больше Гермеса.

— Что, что ты сказала? — побледнев, спросил Андрей.

— Я? Я ничего не говорила. Тебе послышалось.

— Умер Гермес. Нет больше Гермеса, — повторил всё тот же самый неведомый голос.

Они тревожно переглянулись. Андрей ещё больше побледнел, Ася кинулась его утешать:

— Возможно, это слуховые галлюцинации. Не обращай внимания. Мы должны быть сильными.

Долгое молчание снова прервал знакомый женский голос:

— Бог умер. Умер, умер великий Гермес.

Андрей нервно вздрогнул, его глаза в тоске заметались по комнате.

— Это ещё Ницше писал, что бог мёртв, — высоко вскинув голову, произнесла Ася в пространство с вызовом. Говорила громко и агрессивно; её слова звучали чётко и гулко, как энергичные шаги решительного человека, идущего по пустынному коридору. — В университете проходили. Вы ничего нового, дорогуша, не сказали.

— Ницше что, тоже бога убил? — он был мрачен. — Как это мы только что сделали?

— Да нет, не убивал Ницше никого, да это совсем и не важно, — рассуждала она, убеждённо играя глазами: — Важно другое, а именно то, что античных богов не существует в природе, и существовали они только в сознании людей. А люди те давным-давно уже превратились в прах. Следовательно, Гермеса нет. Всё так просто, и незачем драматизировать ситуацию.

— А как же деньги? Деньги-то реальные. Вот, — он открыл кейс и вытащил оттуда пачку сто долларовых купюр.

— Да, реальные, но Гермес нереальный, — метнув ласковый взгляд на кейс, упрямо отвечала Ася. — Античных богов нет в природе, значит, мы никого не убили. И вообще, что это за боги, которые шляются по ночам?

Патетически воздев глаза и руки к небу, с вдохновением продолжала, расхаживая по комнате широкими шагами:

— Сколько людей в наше время сделали свои немалые состояния на крови и насилии! И ничего! Пользуются почётом и уважением. А мы... мы ангелы по сравнению с ними.

— Да, но наш гость был живым: ходил, ел, пил...

— Ошибаешься, милый, он не человек и не животное даже. Он никто, и его никогда не существовало. Значит, и нам ничего не будет. Неужели это так трудно понять?

— Но мы же видели его! Живым видели!

— Ну хорошо, хорошо, мой милый! Вот мы завтра вечером вернёмся в город, домой. А когда утром придёшь на работу, расскажи-ка ты, дружок, своим коллегам, что видел воочию бога Гермеса с кейсом, битком набитым долларами, и что даже беседовал с ним. Да они

тебя на смех поднимут! Или сходи в полицию, признайся, что убил античного бога. Представляешь, что тогда будет? Да тебя непременно упекут в психушку, — Ася назидательно подняла правую руку и по слогам произнесла: — Не-пре-мен-но!

— Какая ты умница, — воскликнул муж и потянулся к ней, чтобы обнять. — Как всё просто. Гермеса не было, нет и никогда уже не будет, следовательно, никого мы не убивали.

— И ещё, мой милый, ты забыл упомянуть, что мы с тобой ангелы, самые настоящие ангелы. Запомни это на всю жизнь, — загадочно усмехнувшись, изрекла она.

— Ангелы, ангелы, — рассеянно бормотал Андрей, доверчиво, словно ребёнок, склонив голову на её колени. — Ангелы! — неожиданно крикнул он с угрозой в голосе, но кому адресовалась угроза, и сам не смог бы объяснить.

Наступал долгий вечер. В темнеющем окне — ни звёздочки.

— Ангелы, ангелы... ангел ты, ангел я, — тихо, на мотив колыбельной, пела Ася, убаюкивая задремавшего мужа.

Кейс сверкал, притягивая её беспокойные взгляды.

Книжный шкаф. Заметки при чтении

Мемуары нужно начинать писать как можно раньше, иначе объем того, что нужно описать, окажется все больше, а времени на это все меньше.

Похоже, что скоро рукопись на бумаге будет восприниматься так же, как сейчас — на пергаменте.

Моя бабушка, приводя в пример Дон Кихота, говорила так: «Вот, что бывает, если только книжки читать...»

По прочтении биографии Бомарше. Все-таки у французов есть удивительная способность не навязывать свои произведения, а предлагать их, но так, что отказаться невозможно.

Что совершенно замечательно и с великолепным вдохновением умели писать в XVIII веке, так это жалобы и доносы. И все-таки очень бы хотелось пожить в этом XVIII веке, только не при Петре Великом и не при Анне Иоанновне, а лучше всего при Елизавете Петровне и лучше всего — гвардии поручиком.

Байрон приехал в Грецию воевать за ее свободу, простудился и умер. Поэтому так точно и не известно, зачем была нужна Байрону свобода Греции.

Когда Пушкин, завершив комедию, между прочим, «Борис Годунов», воскликнул «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!», то, скорее всего, он имел в виду не себя, а описанного им в пьесе его предка Афанасия Пушкина, сообщающего Шуйскому о том, «что в Кракове явился Самозванец», и тем осуществляющий главный поворот сюжета.

Пушкин писал примерно для пяти тысяч своих образованных современников. Столько же настоящих читателей его произведений насчитывается и спустя двести лет.

Принято иронизировать над гоголевской гиперболой «Редкая птица долетит до середины Днепра...», дескать, не столь он широк. Но, может быть, классик имел в виду полет птицы вдоль Днепра, реки довольно-таки длинной...

«Когда был Ленин маленький с кудрявой головой...» — последнее уточнение особенно важно потому, что Ленин и всю свою взрослую жизнь был небольшого роста.

Поэт Николай Заболоцкий по своему мировоззрению был друидом.

Борис Пастернак был действительно мужественным человеком, если в январе мог выйти к электричке в 6.25 утра, как он об этом пишет в стихотворении «На ранних поездах».

Михаил Зощенко умер 22 июля 1956 года — в день тридцатилетия заключения им его брака, что говорит о его неординарности, потому что большинство писателей умирают сразу после своих юбилеев.

Судебное решение, признавшее Иосифа Бродского официальным тунеядцем, закрепило право на этот статус и для всех других поэтов.

В 1960-е голы книжные полки утолщали стены новостроек. Процесс расстановки книг в личных библиотеках — тоже несет в себе черты если не творчества, то самовыражения их владельца. Один мой знакомый ставил в прежние времена на видные места то, что подефицитнее. Он же всерьез уверял меня, что книги размножаются на полках сами оттого, что рядом оказываются произведения мужских и женских авторов. Иначе как объяснить появление в книжных шкафах того, что не было куплено или подарено?

Некоторые произведения больше похожи на свои собственные пародии.

Знаю из русской литературы XIX и начала XX веков, что копченый сиг был удивительно вкусен. Но как это теперь проверишь?

Возможно, причина внешней неприглядности российской жизни лежит в презрении к реальности, лишенной фантастического начала, которую среднементальный россиянин в этом состоянии просто не замечает.

Во втором ряду на полке книжного шкафа нашел книжку, о существовании которой забыл — «Традиции и культура», 25 статей разных авторов, издана в 1976 году. Энгельса еще воспевают. Уже не помню, зачем она мне тогда была нужна, но ведь купил же, а теперь надо читать. Зачем? Вероятно в наказание за то, что купил.

В Нью-Йорке — больше миллиарда тараканов. Кого в таком случае следует считать венцом цивилизации, если люди просто создают им условия для благоприятного существования. В этом аспекте и следует переосмыслить новеллу Кафки «Превращение».

Самый плодотворный период творчества большинства отечественных писателей прошел в двухкомнатных квартирах.

Подавляющее большинство стихов — это плохие стихи, подавляющее большинство прозы — это плохая проза. Но, видимо, есть какая-то потребность, как у авторов, так и у читателей, чтобы все это производилось именно в таком количестве.

2005. Еще двадцать лет назад «Бравый солдат Швейк» был народной книгой. Теперь она считается произведением для интеллектуалов.

По-настоящему талантливый в какой-либо области человек не может не быть мизантропом, потому что общение с людьми отвлекает его от самого для него интересного.

Творчество Шекспира и Данте по всеохватности напоминает Интернет.

Слово «форма» имеет множественное число, а слово «содержание» — нет.

Обаянию текста так же невозможно научить, как невозможно научить женщину кокетству, которое либо есть от природы, либо его нет.

Если бы я вел семинар по творчеству, то для начала попросил бы его участников записывать их сны.

Книги, как женщины — берешь, раскрываешь, познаешь. Пока молодой, помнишь каждую.

Название диссертации: «Мотивы сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина в новелле Э. Хэмингуэя «Старик и море».

Есть книги, которые нужно прочесть впервые лет в пятнадцать, почти ничего в них не понять, но, раздражаясь этим, перечитывать затем всю жизнь. Именно секретами создания таких книг и обладали классики.

Я почему-то никогда не встречал двух женщин-соавторов.

По-чешски слово «матерщина» означает «родной язык».

Никто так не мешает автору, как читатель и зритель — им приходится объяснять то, что он уже знает, а это ужасно скучно.

Главная трудность в сочинении детективов состоит в том, что автор с самого начала знает, кто преступник.

В Моби Дика верят даже те, кто уже ни во что не верят. Вернее им кажется, что не верят.

АФОРИЗМЫ

Великий человек — это та же свеча, только такая, что светит и после того, как сгорит.

Справедливость — вещь хорошая во всех случаях, за исключением тех, когда её можно заменить милосердием.

Верх терпения: сначала отыскать в стогу сена иголку, а потом вырыть ею колодез.

Человек от человека может отличаться больше, чем обезьяна от обезьяны, и даже больше, чем человек от обезьяны.

Лекарство можно приготовить из змеиного яда, но не из человеческого.

По-настоящему высоким человека делает не стремление стать выше других, а стремление стать выше себя.

Дважды два в арифметике не может равняться ничему, кроме четырёх, а в жизни может равняться всему, кроме четырёх.

Тот, кто имеет всё, кроме здоровья, завидует тому, кто не имеет ничего, кроме здоровья.

Обычный удел правила в теории — быть исключением на практике.

Книга, как море: читать её — значит плавать по поверхности, а перечитывать — значит нырять в глубину.

Стать взрослым никогда не поздно и в старости.

Писатель — это врач, который лечит больных тем, что рассказывает им историю собственной болезни.

Не называй человека счастливым, пока он не умрёт, и несчастным, пока он не родится.

Бог, создавший людей, смеётся над богом, созданным людьми.

Да, люди — это дети Божьи, но мир — это всё-таки не детский сад.

Говорить обо всём — это лучший способ ни о чём не думать и ничего не делать.

Мудрый и глупый равно походят на осла — только мудрый своей терпеливостью, а глупый своим упрямством.

Сей мир больше всего нуждается в людях не от мира сего

Любить людей такими, какими они должны быть, — это по-человечески, а любить их такими, какие они есть, — это по-божески.

Чтобы оценить высоту мысли, нужен разум, а чтобы оценить её глубину, нужно сердце.

Нет на свете такого флюгера, который не считал бы себя единомышленником ветра.

Чем больше у корабля парусов, тем больше он нуждается в якоре.

Истинные ценности — это такие, на которые нельзя навесить ценников.

Человеку с одной извилиной легче всего найти единомышленников.

Оптимизм — то, чего в человеке должно быть тем больше, чем меньше его в окружающих людях.

Судя по мнению людей о себе, у земли не один пуп, а целых семь миллиардов.

Прижизненные грехи отбрасывают посмертные тени.

Убеждения только тогда стоят чего-либо, когда они связаны с невыгодой для их обладателя.

Не так хорошо быть кузнецом своего счастья, как не быть кузнецом своего несчастья.

Человек по сути есть не земное существо, которому уготована небесная жизнь, а небесное существо, которому уготована земная жизнь.

Язык нужен для разговора с мужчиной, а для разговора с женщиной достаточно иметь уши.

Говорить женщине правду в лицо — это привилегия зеркала.

Пессимист нуждается в чёрных очках гораздо реже, чем оптимист в розовых.

Если человек бессмертен, то это значит, что условной является не только его смерть, но и его рождение.

Те, кто занимает лучшие места под солнцем, обычно предпочитают держаться в тени.

Дорога в ад вымощена брошенными на полпути крестами.

Культура — это когда человек является мерой вещей, а цивилизация — это когда вещи являются мерой человека.

Порой в литавры бьют тем сильнее, чем больше оснований бить в колокола.

Учёный — это такой человек, что если придёшь к нему с вопросами, то уйдёшь с ответами, а если придёшь с ответами, то уйдёшь с вопросами.

Самое худшее, что может случиться с человеком, часто ждёт его впереди — и иногда это даже не смерть.

Человек: существо, которому стоять на голове в буквальном смысле трудно, а в переносном — легко.

Нет в мире более пустого времяпровождения, чем чтение книг, не заслуживающих перечитывания.

Смерть — это не столько послесловие к жизни, сколько предисловие к вечности.

Даже если твоя надежда умерла, не спеши хоронить её: а вдруг она всего лишь заснула летаргическим сном.

Популярность — это слава, широкая, как океан, и мелкая, как лужа.

Философ: человек, которому точка опоры нужна для того, чтобы перевернуть перевёрнутый мир.

Хороший афоризм, как домашний пирожок: максимум начинки при минимуме теста.

Главное в этой жизни — это научиться видеть и слышать то, что не перестанешь видеть, даже ослепнув, и не перестанешь слышать, даже оглохнув.

Крайности хороши, лишь когда они сходятся.

Абишева Ольга

Литературный критик. Окончила филологический факультет КазГУ имени С.М. Кирова, докторантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. В специализированном совете МГУ защитила докторскую диссертацию по теме «Неореализм в русской литературе 1900-1910-х годов». Редактор отдела критики литературно-художественного журнала «Простор».

Алтай Аскар

Родился 12 февраля 1963 года в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Окончил филологический факультет АГУ имени Абая. В настоящее время является директором издательства «Арда». Автор сборников повестей и рассказов. Книга повестей и рассказов «Қызыл бөлтірік» («Волчонок») в 1997 году была удостоена первой премии Международного фонда «Сорос-Казахстан». Лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Т. Айбергенова и международной литературной премии «Алаш».

Амантай Дидар

Родился в 1969 году в Карагандинской области. Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», независимой премии «Тарлан». Учился в Казахском политехническом институте, окончил философско-экономический факультет КазНУ им. аль-Фараби. Учился на отделении драматургии в Институте театра и кино. Главный редактор национальной кинокомпании «Казахфильм» им. Ш. Айманова. Написаны книги прозы «Постскриптум», «Береги меня», «Цветок и книга», «Осеннее рандеву», сценарии документальных фильмов «Нургиса Глендиев», «Альжиппар Абишев» и художественного фильма «ФЭФ».

Арабов Юрий

Советский и российский прозаик, поэт, сценарист, заслуженный деятель искусств России. С 1994 года возглавляет кафедру кинодраматургии во ВГИКе. Написал сценарии к 20-ти кинофильмам. Автор романов «Биг-бит», «Флагелланты», «Чудо», а также сборника кинопрозы «Солнце и другие киносценарии» и книги эссе «Механика судеб».

Баева Наталья

Родилась в Краснодарском крае. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории им. Чайковского и Литературный институт им. Горького (семинар поэзии Э.В. Балашова). Стихи и эссе публиковались в журналах «Новая библиотека», «Латгальский поэтический вестник» (Латвия), альманахах «Русский смех», «Артбухта». Живет в Москве.

Батхен Ника

Родилась в Ленинграде в 1974 году. Окончила Литинститут им. Горького. Прозаик, журналист, член Южнорусского Союза Писателей. Лауреат Волошинского конкурса-2014, дипломант Волошинского конкурса-2011, лауреат «Интерпресскон» в номинации «Дебют», лауреат конкурса «Заблудившийся Трамвай» и т.д.. Основные поэтические публикации: книги стихов «Снебападение» и «Путьми птиц»;

журналы «45 параллель», «Северная Аврора», «Брега Тавриды», «Зарубежные записки», «Дети Ра», «Огни Кузбасса», «Дарьял», «Иерусалимский журнал», «Лампа и Дымход», альманах «День Поэзии». Живет и работает в Феодосии.

Былинский Валерий

Писатель и публицист. Родился в 1965 году в Днепропетровске. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Дебютировал в 1995 году с рассказом «Риф» в журнале «Новый мир». Роман «Июльское утро», опубликованный в журнале «Октябрь», получил в 1997 первую премию «Новое имя в литературе» в российско-итальянском литературном конкурсе «Москва-Пенне». Рассказы печатались в литературных сборниках и журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературной газете». В 2011 году вышел роман «Адаптация». В 2014 – сборник рассказов «Риф». Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Гайсин Эмиль

Родился в 1989 году в Казани. К занятиям литературным творчеством был вдохновлен стихотворениями А.А.Блока, которого считает величайшим русским поэтом. В 2012 году Литературный институт им. А.М.Горького (семинар поэзии И.И.Ростовцевой). Публиковался в региональной прессе и литературном альманахе «Неопавшие листья».

Григорьева Ольга

Родилась в г. Новосибирске. Автор одиннадцати поэтических сборников, трёх книг очерков, восьми книжек для детей. Стихи и очерки О. Григорьевой печатались в журналах «Знамя», «Наш современник», «Студенческий меридиан» (Москва), «Складчина», «Омская муза» (Омск), «День и ночь» (Красноярск), «Под часами» (Смоленск), «Простор» (Алматы), «Нива» (Астана), альманахах «Южная звезда» и «Ковчег» (Ростов-на-Дону), в сборнике материалов Международного конгресса «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, Фонд Достоевского, 2004), многих других научных сборниках. Член Союза журналистов Казахстана, Союза российских писателей. Лауреат литературных премий им. Марины Цветаевой (2008) и Павла Васильева (2010).

Гуга Владимир

Родился в Москве в 1972 году. Окончил Музыкальное училище им. Прокофьева и Литературный институт им. Горького. Работал педагогом музыкальной школы, музыкантом, грузчиком, сторожем, арт-директором рок-клуба, журналистом, копирайтером. Публиковался в журналах и сборнике «Равноденствия: Новая мистическая волна».

Гуркова Анна

Родилась в 1984 году в г. Абакане. Училась на филологическом факультете Хакасского государственного университета и в Литературном институте им. А.М. Горького. Стихи публиковались в антологии «Русская поэзия.

XXI век». Состоит в абаканском молодёжном литературном объединении «Багульник» (ныне – «Литосфера»). Принимала участие во Втором Всесибирском семинаре молодых литераторов в г. Томске. Работала костюмером в Русском республиканском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова.

Гуськова Софья

Закончила Литературный институт им. А.М.Горького в 2004 г. (семинар прозы М.П.Лобанова). С 1974 года работает в Центральном Академическом театре Российской армии — актриса.

Елубай Смагул

Родился 9 марта 1947 года в Керкинском районе Туркмении. Окончил факультет журналистики КазГУ, Высшие сценарные курсы в г. Москве. Вице-президент казахстанского ПЕН-Клуба. Автор многочисленных повестей и рассказов, трилогии «Одинокая юрта», сценариев художественных фильмов «Дом под луной», «Искупи вино», «Суржекей — ангел смерти», «Батыр Баян», «Месть». Лауреат премии международного ПЕН-клуба. Кавалер ордена «Курмет». Живет в Алматы.

Жанайдаров Орынбай

Родился в селе Красный Яр под городом Кокчетавом в 1951 году. Закончил местный пединститут. Работал учителем в школе, в районной газете. С 80-х годов живет в Алма-Ате. Член СП Казахстана. Автор публикаций в республиканской печати, нескольких поэтических сборников. Пишет по-русски.

Злобина Екатерина

Родилась в 1976 году в Петропавловске-Камчатском. Выпускница Литературного института им. А.М. Горького. Пишет прозу. Публиковалась в «Богородицком журнале», журналах «День и ночь», «Кольцо А», «Новая реальность», альманахах «Литис», «Лампа и дымоход», «Крымское возрождение». Победитель (в номинации «Проза») международного литературного конкурса «Согласование времён»-2011. Живет и работает в Севастополе.

Иванова Наталья

Родилась в городе Октябрьском республики Башкортостан. Лауреат башкирского республиканского фестиваля поэзии «Родники вдохновения», дипломант конкурса «Проявление», финалист Международного прозаического чеховского конкурса «Краткость — сестра таланта». Окончила Литературный институт им. Горького (семинар поэзии Г. Н. Красникова). Автор поэтической книги «Имя ласточки горной». Стихи публиковались в «Литературной газете», в журнале «Аргатак», в альманахе «Артбухта», в литературно-православном издании «Арина», альманахе «ЛитЭра».

Казимирский Роман

Родился и вырос в Алма-Ате. По образованию - журналист. Публикуется в периодических СМИ и литературных альманахах и сборниках России и Казахстана.

Кананьянов Бахытжан

Поэт и писатель. Родился 4 октября 1951 года. Окончил Казахский политехнический институт (инженер-металлург) и Литературный институт в Москве. Стихи, рассказы и повести публиковались во многих литературных журналах Казахстана, России, ближнего и дальнего зарубежья. Автор свыше тридцати книг, вышедших в Казахстане, России, Украине, США, Малайзии. Лауреат многих литературных премий.

Киктенко Вячеслав

Родился в 1952 году в Алма-Ате. Окончил Литературный институт имени Горького в Москве, семинар Льва Ошанина. В 1980 - 1985 - редактор детско-юношеского издательства «Жалын» (г. Алма-Ата, Казахстан.). С 1985 по 1997 — сотрудник литературного журнала «Простор», зав. отделом публикаций, главный редактор журнала. При В. Киктенко «Простор» стал одним из лучших журналов СССР. В 1997—1998 — секретарь Союза писателей Казахстана. Член Союза писателей СССР. В 1998 переехал в Москву, где по сегодняшний день состоит в Московской писательской организации, а также в Союзе писателей России. Автор нескольких книг стихотворений, прозы и множества публикаций в периодике. Занимается художественным переводом, преимущественно с казахского языка. Автор статей литературной и социальной направленности, эссе и очерков о русской поэзии XVIII—XX вв.

Комов Сергей

Поэт, прозаик. Автор сборника стихов «С вечной верой в добро» и книги «Бухтарминская лилия». Лауреат премии «Золотое перо России». Многочисленные публикации в литературных журналах Казахстана и России.

Коротков Ингвар

Родился 5 июня 1957 года в городе Вышний Волочёк. Окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургского института Культуры, автор двух поэтических сборников - «Их встретил ангел» и «Я душу вынул и просыпал...», сборников прозы «Мой Тяжелый Советский Рок» и «Мой деревенский рок». Долгое время жил в Норвегии, своей исконной Родине, где трудился рок-музыкантом (барабанищиком), там же реализовал себя как модельер-дизайнер элитной кожаной рокерской и байкерской одежды.

Крутов Юрий

Родился в 1954 г. в Норильске. Детство и юность провел в Крыму, в Керчи. Окончил Литературный институт им. Горького. Работал журналистом, занимался рекламой, книгоиздательским бизнесом. Много лет жил в Латвии. Рассказы и повести публиковались в различных интернет-изданиях.

Куприянов Вячеслав

Российский поэт, писатель, переводчик. Родился в 1939 г. в Новосибирске. Один из родоначальников русского верлибра (наряду с Владимиром Буричем, Арво Метсом и Геннадием Алексеевым). Автор более 40 книг стихов и прозы, многие из которых переведены на иностранные языки.

Лановенко Виктор

Родился в 1945 году. Окончил севастопольский приборостроительный институт. Работал на Камчатке в должности начальника смены геотермальной станции. Первый рассказ написал в 1972 году. Печатался в журналах «Дальний Восток» (Хабаровск), «Радуга» (Киев), «Изыщная словесность» (СПб), «Личности» (Киев). Пьеса «Когда я была мужчиной» шла в драмтеатре Петропавловска-Камчатского в течение шести лет. Лауреат конкурсов «Евразия» (Екатеринбург), «Согласование времен» (Франкфурт на Майне), «Город у моря» (Севастополь). Член Союза писателей России. Живет в Севастополе.

Ли Станислав

Родился в 1961 году в Казахстане, в корейском поселке Мопр близ города Уш-Тобе. Закончил в Алма-Ате технологический институт. Публиковаться в казахстанской периодике начал с 80-х годов. Первая книга стихов «Грядя» вышла в 1995 году в Алма-Ате. В 1998 году вышла книга «Редких звезд желтизна среди пепла» в Южной Корее с параллельными текстами на корейском и русском языках.

Макарова Ирина

Поэт, переводчик. Родилась в Запорожье.

Окончила Литературный институт в семинаре Инны Ивановны Ростовцевой. Автор книги стихотворений «Без оружия», трагедии «Молох любви».

Маркус Галина

Пишет стихи и прозу, увлекается живописью. Публикуется на литературных интернет-сайтах с 2003 года. Постоянный автор «Артбухты». В 2014 году вышел роман «Сказка со счастливым началом». Живет и работает в Москве.

Марченко Алла

Российский критик и литературовед. Основные труды Марченко связаны с творчеством и биографией Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и Анны Ахматовой, сфера интересов: русская литература 19 в., современный литературный процесс. Статья «Песнь Песней или исторический детектив?» впервые публикуется в журнале «Вопросы литературы» в 1979 году.

Матвеева Новелла

Русская поэтесса, прозаик, бард, драматург, литературовед. Родилась в Детском Селе (ныне г. Пушкин) Ленинградской области. Мелодии первых песен сочинила еще в детстве, в конце войны, однако выступать с ними стала лишь с конца 1950-х под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Песни Матвеевой в 1960-х пела буквально вся студенческая молодежь страны, нередко не зная их автора. В печати Матвеева впервые выступила в 1958. Первый сборник стихов вышел в свет в 1961 году. В 1962 окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. В 2002 г. Новелла Матвеева стала лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Медведева Любовь

Поэт, автор более полутора десятков поэтических сборников, наиболее значительные из которых – «Сокровенное солнце», «Камнепад», «Лиловое пламя», «Неожиданный праздник», «Письма на лепестках сна», «Родина дождей», «Огонь души моей», «Речная речь», «Тайна просветов»... В разное время организатор и руководитель нескольких литературно-творческих объединений.

Михайлов Валерий

Главный редактор журнала «Простор» СП Казахстана. Поэт, прозаик, критик, переводчик, публицист. Родился в Караганде в 1946 году. Окончил геофизический факультет Казахского политехнического института. Ав-

тор более 20 книг стихов и прозы. Его произведения переводились на английский, немецкий, казахский, белорусский, корейский и другие языки. Документальная повесть «*Великий джунт*» («Хроника великого джунта») выдержала 9 изданий, издана, кроме Казахстана, в России, Германии, Великобритании. Книга о Лермонтове выходила в 2011 году в Алматы и Москве, а в 2012 году издана в серии «Жизнь замечательных людей» (издательство «Молодая гвардия», Москва). Секретарь правления Союза писателей Казахстана. Лауреат нескольких литературных премий, в частности международной литературной премии «Алаш». Награждён орденом «Парасат», медалями Республики Казахстан.

Муминов Салахитдин

Кандидат педагогических наук, доцент, литературовед. Лауреат международной премии им. А.С. Пушкина для учителей русского языка и литературы стран СНГ и Балтии. Рассказы были опубликованы в различных газетах СНГ, альманахах, коллективных сборниках, в «Литературной газете», в журналах «Русский глобус» (США), «Топос», «Наша улица», «День и ночь», «Кольцо А» (Россия), «Книголюб», «Простор» (Казахстан).

Насыров Газиз

Сценарист, режиссер. Родился в 1965 году. С 1991 года работал редактором и ассистентом режиссера на студии документальных фильмов «Парыз» (киностудия «Казахфильм»). Соавтор сценариев «Остров Возрождения», «Секер», «Поздняя любовь». Режиссер-постановщик фильма «Гакку». С 1993 года опубликовал несколько рассказов в журнале «Простор».

Овечкин Леонтий

Родился в 1950 году. Окончил Чимкентский пединститут. Работал корреспондентом городской газеты в г. Кентау, рабочим, кочегаром в Чимкенте. Стихи публиковались в областной и республиканской печати. Автор двух стихотворных сборников, вышедших в Алма-Ате.

Тойшибеков Бауржан

Родился в 1955 году, по образованию историк, публикации в периодике и в интернет-изданиях, в сборниках афоризмов, таких, как «Антология мысли в афоризмах», М, 2008, «Мудрость Востока», М, 2011, «Лучшие афоризмы», СПб, 2010 и др. Живет и работает в Алматы.

Фомин Сергей

Родился в Москве в 1958 году. Служил в ВМФ. Окончил факультет журналистики. Работал в в пресс-центре Гостелерадио СССР, в «Независимой газете», газете «Сегодня» и других СМИ. Автор повестей: «Дембельская тетрадь», (журнал «Россияне» №7, 1993), «Привычка жить или отпуск без содержания» (журнал «Литературные незнакомцы» № 6 (10), 2005), пьесы «Развязка «Игроков» (журнал «Литературные незнакомцы», №2 (6), 2005), юмористических и криминальных рассказов. Стихи (под псевдонимом Эдгар Попов) печатались в сборниках и периодических изданиях. Академик Евразийской Академии Телевидения и Радио с 2002 года, с декабря 2010 – член президиума ЕАТР.

Хабаров Александр

Родился в 1954 году в городе Севастополе. В 1971 году «благословлен» написание стихов мэтром авангарда Андреем Вознесенским. В 1987–1990 годах работал в АПН (журналы «Диалог», «Экос»). В 1989 году – первые публикации стихов (журнал «Простор», книга стихов «Спаси меня», подборки в альманахе «Истоки», «Литературной России» и др. изданиях. Лауреат поэтических премий журналов «Москва» (1996), «Юность» (им. Владимира Соколова 1997). За книгу стихов «Ноша» – Всероссийская литературная премия им. Н. Заболоцкого-2000 и «Золотое Перо Московии»-2004.

Чернова Надежда

Родилась в селе Баянаул Павлодарской области. Баянаул – бывший российский форпост, построенный её дедами, казаками Сибирского казачьего войска, которые пришли в казахскую Степь из Омска. Окончила факультет журналистики Казахского Государственного университета им. С.М.Кирова. Автор пятнадцати книг стихов и прозы. Печаталась в сборниках и журналах России, Украины, Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, Франции, Болгарии и др. Лауреат Международной литературной премии «Алаш».

Шашкова Любовь

Поэт, переводчик, критик. Родилась в Беларуси, окончила факультет журналистики Казахского государственного университета. С 1971 года живет в Казахстане. С 2003 года работает в журнале «Простор». Член Союза писателей СССР и Казахстана с 1990 года. Автор девяти книг стихов, поэм, публицистики.

Шашгайулы Жумабай

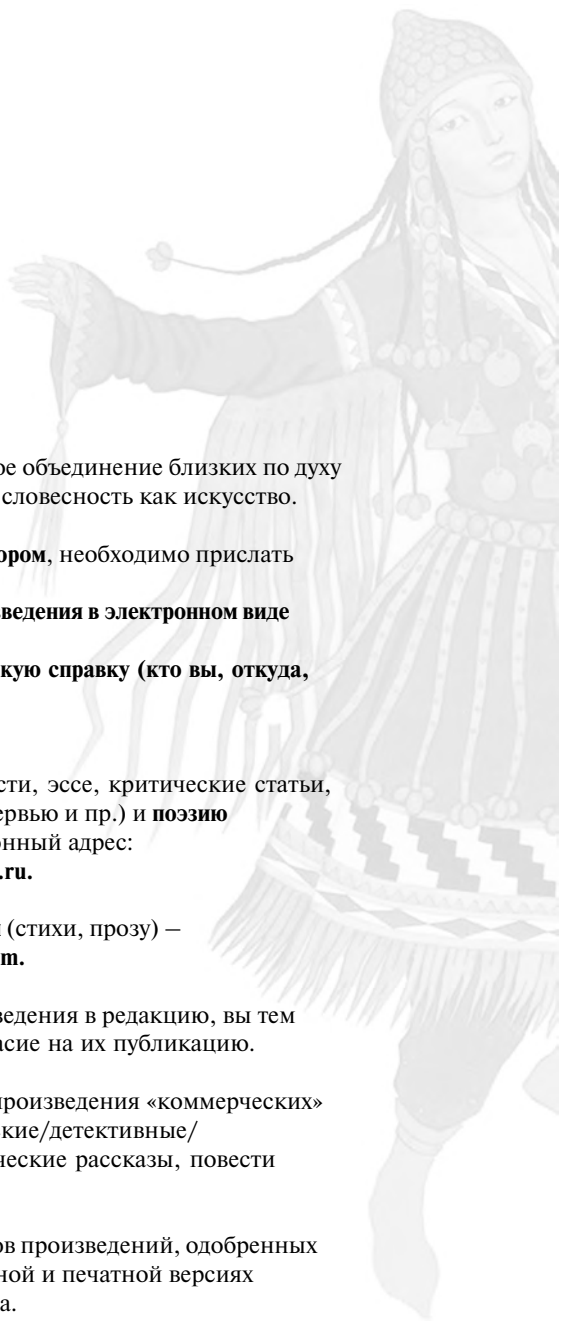
Родился 10 октября 1950 года в Алматинской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Главный редактор литературной газеты «Казак әдебиеті». Автор ряда сборников рассказов и повестей, романов «Аяз би нашего времени» и «Эхо», избранного в 2-х томах. Стипендиат Президента Республики Казахстан.

Шекеров Бекболат

Кинодраматург, журналист, поэт, прозаик. Родился в 1975 году в Костанайской области. В 1996 году поступил в Казахскую национальную академию искусств им. Т.Журенова, факультет кино. В 2000 году получил диплом кинодраматурга. В 2009 году окончил ВГИК им.С.А.Герасимова (мастерская А.Э.Бородянского). Стихи и рассказы пишет с 12 лет. Работает на киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова.

Шеметова Ольга

Родилась в городе Кокчетаве (Северный Казахстан). В 2003 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: в журнале «Нива» (г. Астана), московских литературно-художественных журналах «Мы», «Юность», «Литературная учеба», «Наш современник», сетевых изданиях «Альтернатива», «Пролог», «Журнал литературной критики и словесности», «Филград», «Точка зрения».



«Артбухта» – творческое объединение близких по духу людей, которые любят словесность как искусство.

Чтобы стать нашим автором, необходимо прислать в редакцию:

- **рукопись своего произведения в электронном виде (.doc, .docx, .rtf);**
- **краткую биографическую справку (кто вы, откуда, чем занимаетесь);**
- **фотографию (jpg).**

Прозу (рассказы, повести, эссе, критические статьи, рецензии, очерки, интервью и пр.) и **поэзию** присылайте на электронный адрес:
artbuhta.produce@inbox.ru.

Произведения для детей (стихи, прозу) – на **redaktor.kr@gmail.com.**

Отправляя свои произведения в редакцию, вы тем самым даёте своё согласие на их публикацию.

Мы не **рассматриваем** произведения «коммерческих» жанров: фэнтези, дамские/детективные/остросюжетные/эротические рассказы, повести и романы.

Публикация для авторов произведений, одобренных редакцией, в электронной и печатной версиях «Артбухты» – бесплатна.

Содержание

От редакции.....3

ПО ДОРОГЕ НА ПАРНАС

Жумабай Шаштайулы	Вершина Есбая	6
Галина Маркус	Это такая штука... ..	19
Газиз Насыров	Плацебо	27
Валерий Былинский	Рождение	32
Бекболат Шекеров	История одной домбры	41
Юрий Крутов	Вероника и белый пароход	48
Смагул Елубай	В загоне	59
Екатерина Злобина	Вот и сказке... ..	76
Вячеслав Киктенко	Клубничка	88
Аскар Алтай	Сорока-киллер	110
Ника Батхен	Скрипичный ключ	121
Виктор Лановенко	По дороге на Парнас	153

ОГНЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Александр Хабаров	Обходя пропускные заставы	171
Орынбай Жанайдаров	Солнце Ван Гога	175
Валерий Михайлов	Есень-река	178
Новелла Матвеева	Какой большой ветер!.. ..	181
Надежда Чернова	Мы падали с неба... ..	186
Станислав Ли	Над рисовым полем отца	189
Любовь Медведева	За вечными приметами... ..	193
Ольга Григорьева	По дороге в Дамаск	197
Роман Казимирский	По кругу	201
Юрий Арабов	В скобках	204
Вячеслав Куприянов	Последний антрополог	209
Бахытжан Канапьянов	Степная Аллилуйя	212
Наталья Иванова	Воля – камень, сердце – глина	216
Эмиль Гайсин	Орлы и решки	220
Сергей Комов	Кино моего детства	227
Любовь Шашкова	Над Василёвкой... ..	230
Леонтий Овечкин	Первый рейс	234
Ольга Шеметова	Дом	238
Анна Гуркова	Детское ремесло	241
Дидар Амантай	Реквием по осени	244

Наталья Баева	Тревожное «да»	248
Ирина Макарова	Цаган Ава. Огненное дыхание	252

ГЛИНЯНАЯ КНИГА

Олжас Сулейменов	Глиняная книга	263
------------------	----------------------	-----

НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ

Алла Марченко	Песнь Песней или исторический детектив? ...	390
Софья Гуськова	Единственный рай	406
Новелла Матвеева	«Великие народы всегда всем мешают...»	414
Ольга Абишева	Путешествие в край Аруаны	418
Юрий Арабов	«Идея Бога – основание культуры»	432
Василий Розанов	Из записной книжки писателя	439

А ВИНТОВКУ ТЕБЕ, А ПОСЛАТЬ ТЕБЯ В БОЙ!

Леонид Аринштейн	«А винтовку тебе! А послать тебя в бой...»	444
------------------	--	-----

НЕУЧТЕННОЕ

Владимир Гуга	Путь пса	477
Ингвар Коротков	Трудное коровье счастье	483
Салахитдин Муминов	Ангел ты, Ангел я	489
Сергей Фомин	Книжный шкаф. Заметки при чтении	493
Бауржан Тойшибеков	Афоризмы	497
Наши авторы.....		502

В оформлении альманаха использованы фрагменты работ художников
Ивана Билибина и Галины Котиновой.

ISSN 2308-4502



9 772308 450009

АРТБУХТА

Литературно-художественный альманах
№ 3, 2014 г. Международный спецвыпуск:
Россия-Казахстан.

Свидетельство о государственной регистрации
СМИ ПИ №ФС77-52605 от 25 января 2013 г.

Главный редактор: Екатерина Бубнова
Редакционная коллегия: Екатерина Бубнова,
Павел Косов, Наталья Баева
Ответственный за выпуск: Наталья Баева

Адрес редакции: 699043, Россия,
г. Севастополь, ул. Молодогвардейцев, 22-а
Сайт: <http://artbuhta.ru/>

Подписано в печать 07.11.2014 г. Формат 84x108/32.
Печать офсетная. Гарнитура Newton. Печ. л. 16.
Тираж 500 экз. Заказ № 0000

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь, www/pareto-print.ru

АРТ
БУХТА



Никто в табуне не заметил, как фыркнула старая Кербие. А ведь белолобый Каракаска первым должен был насторожиться. Но жеребец в это время увлекся кобылицей Акбакай — та ненароком прижалась к нему, и он теперь мордой потянулся к ее паху. Кербие, наблюдавшую за всадниками, охватила тревога, и она снова всхрипнула. На этот раз Каракаска услышал ее. Насторожился. Вытянув шею, устремил взор в сторону чужаков. Уши его чутко подрагивали. Заржал. Забил передними копытами. Весь табун встревожился, вглядываясь в ту сторону, куда смотрел Каракаска. Тем временем трое всадников галопом взлетели на склон...

ISSN 2308-4502



9 772308 450009

п р о з а
п о э з и я
к р и т и к а